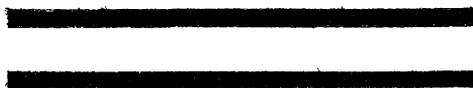


МОСТЫ

1

1958

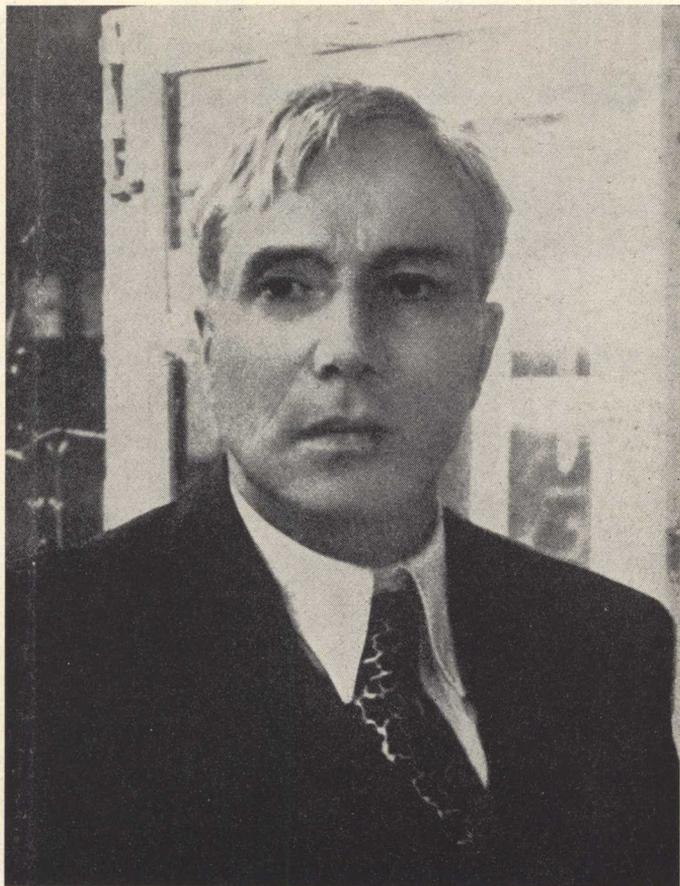


BRUCKEN

Hefte für Literatur, Kunst und Politik
Verlag ZOPE, München

BRIDGES

Literary-artistic and social-political almanach
ZOPE Publishing House, Munich



Борис Леонидович ПАСТЕРНАК
лауреат нобелевской премии 1958 г.

МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

1

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

ОТ РЕДАКЦИИ

Альманах «Мосты» предназначен в первую очередь для советского читателя. Это определяет содержание и характер альманаха. Цель, поставленная его издателями, вполне реальна: опыт последних лет показывает, что книги находят свои дороги из зарубежья на родину.

Три последних года были для нашей родины временем «реви-зионизма», «критицизма» и почти повального «вольнодумия». Из этого периода всеобщей неустойчивости нам хотелось бы выделить три имени и поставить их в качестве «духовных вех». Владимир Дудинцев поднял свой голос в защиту гражданских прав человека: за труд и талант, которые человек отдает обществу, он должен получить возможность свободно трудиться и творить — пусть даже в условиях советского режима. Е. Евтушенко предъявил право человека на индивидуализм: право быть «разным», «натруженным и праздным», «целе- и нецелесообразным». Борис Пастернак в романе, который сам по себе является целой эпохой в развитии советского общества, утверждает право человека на приоритет его личного внутреннего мира. Главное — «грудная клетка», остальное — только второстепенный фон, на котором разыгрывается судьба отдельного человека.

Не только Дудинцев, Евтушенко или Пастернак ищут на далекой родине тропы, по которым можно выйти к духовному раскрепощению и возрождению. Сейчас на том берегу идут общие напряженные поиски собственного свободного мировоззрения, глубоких философских основ, на которых можно построить новый порядок — в себе и вокруг себя.

Такие же неустанные поиски идут в зарубежье. Поэтому только простой и естественной кажется мысль о том, что искать надо вместе. Для этого нужны встречи, необходим обмен мнениями. Наши сборники и должны стать местом таких встреч. Нам видятся мосты, переброшенные через пропасть, разделившую на две части единую русскую интеллигенцию. . .

Разумеется, покамест это лишь визия — далекого или близкого — будущего. Но уже сейчас — это замысел, ради которого стоит работать. Осуществление его — дело всего творческого русского зарубежья.

Пускаясь в путь, не следует терять твердой почвы под ногами. Таковой почвой для нас служит полное неприятие советской системы и несостоятельной коммунистической идеологии. Но что же напишем мы на наших собственных знаменах?

Мы можем сказать об этом словами Вильяма Фолкнера, речь которого помещаем в этом номере альманаха. Обращаясь к молодым писателям и писательницам, духовным водителям нового поколения, он говорит:

«Я верю, что человек не просто уцелеет: он восторжествует. Он бессмертен... потому, что у него есть душа, дух, способный к состраданию, самопожертвованию и терпению. Долг поэта, писателя — напоминать об этом. Поэту дано великое право поддерживать человека на его тернистом пути к бессмертию, возвышая его душу, напоминая ему о мужестве и чести, о надежде и гордости, о сострадании, жалости и жертвенности — обо всем, что составляло былую славу человека».

Если мы обратимся к советской «крамольной» литературе последнего времени, то не сможем не заметить разительного сходства между тем, что ценит выше всего один из крупнейших представителей современного Запада, и тем, что влечет мыслящих людей на той стороне. Очевидно, именно эти простые и большие ценности, все то, «что составляло былую славу человека», направляет сейчас поиски самых различных людей в самых различных частях земного шара.

Мосты нужны — между нашим и тем берегом, между родиной и Западом, между сегодняшним и завтрашним днем.

Нам кажется, что время распада русского общества прошло и мертвый пункт в его внутреннем развитии перейден. Наступает время больших и малых синтезов и связей.

Перед нами дни великих странствий в будущее. Мы верим, что там ожидает нас новый образ России.

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА



БОРИС ПАСТЕРНАК

УЕЗД В ТЫЛУ

ДВА ОТРЫВКА ИЗ ГЛАВЫ РОМАНА

I

Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колена в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятина уже было заслонено беженцами, австрийскими военноплен-

ными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал, как в зеркале, изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобяниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих «Этнах», ревельских трубопрокатных и «Перунах», и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарьинских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли, и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора был заезжий двор, куда я и поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвения. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою. Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос. — Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступленье утра как бы вторично. Поздней обычной тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу, как какую-то невидаль, и раскупали лопогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них выросла.

По крашеной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-крымженских заводов я нагнал седобородого юрятинского горожанина в сибирке со сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высмотрался в красный платок, надел серебряные очки и принял развлекать объявления, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекали его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о одновременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме по ценам, близким к довоенным.

— Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек; масла постного два фунта... — читал по складам юрятинский мещанин. Я застал его потом перед одной из конторок за справками, согласилось ли бы правление рассчитывать по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами, — как именно он сказал, — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразумение. Меня отвлек Вяхрицев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса устряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то-есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако, это не имеет никакого отношения к Вяхрицеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

II

Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, и с какой-то сложной и несчастной судьбой. Ее отец, адвокат с нерусской фамилией Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неуставленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлиненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, дожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходивших на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитана.

— Вот, наконец, решилась, — сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос. — Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладилась и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что же теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на ку-

хонных? Ах, ведь я сама послала ее в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаянием. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры, и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи, и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь первой проволоочки, я стал прощаться. — Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свидания. Дороги просохли, ехать сейчас — одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоянного мне не прямо домой, а еще в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако, до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью своей кухни. Дорогой мысли мои вернулись к Истоминоей.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер часто сама походила на воспоминание.

На вокзале было сущее столпотворение. Я сразу понял, что уйду не солоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешенные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся и я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода

бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, вглубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда пошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути, лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразаясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошастью. Малоезжая дорога пролетала сечью. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душой.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровье. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новою стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду, и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганию лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитростное чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти пристрастия, уже стояло за лесом, и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыханье, и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел Иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дорожке которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межвою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем доро-

га, показался пригорок с несколькими строениями. Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшим в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, это была, может быть, самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовский уголок. Александр Александрович, не глядя, дал письменное согласие на сделку, вместо приобретения луговых земель где-нибудь в Средней России, где ему с большой пользойгодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще молодой человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тоней, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище его надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

Показался флигель под малиновой крышей. Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с угра настежь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обоняние. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать, — сказала Тоня. — Что это ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь — пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать Сороку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношенье. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердисься?

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа — у своей родни, та — еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности. . .

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть

в приписники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращение посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывающуюся в задней части роци над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом, как бы в сознании своего речного имени, и тут же на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежавшие ее заглятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал в ней, растянувшись, но вместо того, чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все вышло не по моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете, и разнообразившихся лишь их долею и личным складом, да еще отличьями поры, в которую они приходили; тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного порошу. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне со-

храняет мне жизнь, настолько уже на себя непохожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было бы на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней со зловещей яркостью, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отражения засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце зашло. Оно село за моей спиной. Река запылдилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратской чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне, громко, но без причины. Трава подо мною заметно отсырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдаль возобновился, но роли в пространстве переменились. Теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

Публикуемый нами «Уезд в тылу» занимает и во времени и в смысле творческих особенностей Б. Пастернака-прозаика переходное место между «Детством Люверс» (20-е годы), «Повестью» (1934 г.) и романом «Доктор Живаго».

Сравнивая «Уезд в тылу» с этими произведениями нетрудно убедиться, что «Доктор Живаго» написан Пастернаком не после 1953 года, как думают многие, а писался роман более 25 лет, включая самые страшные годы сталинского террора — «ежевщину», в конце которой и был опубликован «Уезд в тылу».

В «Детстве Люверс» героиню зовут Женя. У нее есть брат. Этот брат — герой «Повести» 1934 года; в «Уезде в тылу» Истомину тоже зовут Евгения. Из нее впоследствии вышла героиня «Доктора Живаго» (уже под другим именем). Урал ранних повестей — место действия печатаемых отрывков. Но больше того: место действия «Уезда в тылу» есть именно тот самый Юртин, где протекает и часть романа «Доктор Живаго». Впечатление создается такое, что Пастернак много лет примеривался, как продолжать «Детство Люверс». Все его начинания приводили к попыткам написать роман из жизни своей ранней героини, ставшей взрослой женщиной. В первых строках «Повести» он сознается, что все, что он пишет, есть как бы «версии одной вещи», даже поэма в стихах «Спекторский». «Уезд в тылу» — одно из этих начинаний, ко-

торые и привели Пастернака, в конце концов, к главному делу его жизни — роману «Доктор Живаго».

Герой «Уезда в тылу» уже носит в себе черты Живаго и ситуация, намеченная в «Уезде в тылу», как бы предвосхищает ту, которая впоследствии разработана в «Живаго». В этих двух отрывках уже чувствуется будущее «толстовское» письмо Пастернака; самый ход рассказа более близок к позднему роману, чем к ранним повестям. Даже в выборе слов без особых натяжек мы узнаем словарь «Доктора Живаго», особенно некоторых стихов в конце романа: «сторожка» появляется в «Осени», «березы... всматривались» — напоминает строку из стихотворения Живаго «На Страстной»: «деревья смотрят»...

Из этого становится бесспорным, что «Доктор Живаго» писался, так сказать, всю жизнь, что его содержание, стиль, словарь, герои создавались Пастернаком в течение десятков лет, пока, наконец, через «повести», отрывки, недоделанные главы, он не пришел в окончательной форме к содержанию своего романа.

Печатаемые нами два отрывка были опубликованы в декабре 1938 года в «Литературной Газете», но прошли незамеченными как в Советском Союзе, так и за границей. Сейчас, после появления романа «Доктор Живаго», они приобретают особую ценность.

Мы приносим искреннюю благодарность Г. П. Струве, обратившему наше внимание на эти малоизвестные страницы Пастернака.

РЕДАКЦИЯ

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

НАД КАНАДОЙ

Крылья резко шуршат,
И в массивные стекла потоком
Брызжут волны рассвета,
Расплавив кристаллики льда.
Самолет неспеша
Проплывает замерзшие топи,
И зеркальным макетом
Под ним золотится вода.
Под крестом плоскостей
Безграничное поле для взгляда,
Лабиринт островов
В серебристых прожилках воды . . .
Предрассветная тень
Залегла над притихшей Канадой
И туман обволок
Острова, перелески, пруды.
Там внизу, далеко —
Лес нетронутый, иссиня-серый,
Здесь — вселяется в душу
Смиряющая высота:
Нам дано с облаков,
С самолета почуять размеры
Океана и сушу
Под нами как карту читать.
Это тысячи миль,
Это тысячи футов над морем,
Это тысячи лет,
Проведенных в плену у земли,
Это звездная пыль
За стеклом, это вспышки в моторе
И соседство планет,
Проплывающих в синей дали.

1956

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ



Черный лес кишит светляками,
Населен водой и листвою,
И летучую мышь привлекает
Говорящий осины ствол.
В лунном зареве лес светлеет,
И в листве берез молодых
Кружатся легконогие феи,
Рожденные от бегущей воды.
Ботичелли бы рисовать их
И роднить с фиалкой лесной,
Мотыльков рассыпать на платях
И пускать на луга весной.
На смешки безобидных леших
Отзываются голоса,
Серебрится в луне орешник,
Золотится в луне роса.

1957

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

У О Г Н Я

К камину села, подогнув колени,
И пристально смотрела на огонь,
Такая маленькая по сравненью
С огромной тенью, согнутой дугой.
Каминный уголь светлой дрожью метит
Ее глаза, а золотая прядь
С огнем сосновым соревнуясь в цвете
Летает, гребешку не покорясь.
Камин горит и синим дымом курит,
Летят и тухнут искорки звеня —
Ей быть бы по повадкам и фигуре
Сестренкой шустрой этого огня.
Она вся в штрихе, который утрачен,
Как только подмечен и тотчас стерт.
Едва зарисован. Она задача,
Которая с каждым шагом растет.
Она сидит и двигаются тени,
Сидит перед пылающей сосной,
Такая маленькая по сравненью
С моим огромным чувством за спиной.

1957

ВЛАДИМИР ЮРАСОВ

СТРАХ

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

БРЕД

Федор сидел за столиком, охваченный какой-то разудалостью. Выпитый киршвассер отодвинул действительность. Гастштетте казалась ему старинной таверной из давно прочитанных книг, посетители — регенсбургские обыватели — портовыми ворами, авантюристами, морскими волками. Он оглядывал их с надменностью бывшего человека, убежденного, что крепкий кулак — лучший пропуск во всех случаях жизни, и все жалел, что за столиками не было хороших женщин.

Костя, отпивая из пивной кружки, рассказывал, то и дело приговаривая: «Так, так, — сказал бедняк, — денег нет, а выпить хочется», и тут же то, о чем рассказывал, сам называл «разговорами в пользу бедных».

Потом за крайним столиком толстяк-баварец громко сказал «руссише швайн»; в публике стали оглядываться и смеяться. Если бы Федор не был пьян и если бы соседи баварца не стали того уговаривать, этого не случилось бы. Федор поднялся и пошел к их столику, удобнее складывая кулак — в редких школьных драках он почти всегда выбивал себе большой палец и, в конце концов, научился складывать кулак, для чего иногда брал в руку монетку или носовой платок. Федор стал над баварцем, тот смотрел снизу зло и вызывающе, красное лицо жирно блестело, он что-то выкрикнул Федору обидное на диалекте, чего Федор не понял, но тут же — всем корпусом — ударил в середину мясистого лица. Он помнил, как баварец повалился вместе со стулом, показывая толстые икры в белых толстых чулках, как вскочили сидящие за столиком, как со всех сторон стали надвигаться кричащие рты и размахивающие кулаки. Не вмешайся сосед баварца, Федор вернулся бы к своему столу и стал бы нарочно спокойно пить свой киршвассер, как подобает человеку, не

позволяющему над собой шутить. Соседа он сбил прямым ударом левой. Потом бил, зажав в кулак чужую салфетку, выбирая для ударов подбородки. Костя оказался рядом — он бил табуретом, матерился и кричал: «Срывайся!». Затем перед глазами взметнулся ослепительный сноп, как будто бесшумно разорвалась граната, и все кончилось.

Очнулся Федор в «Виллисе». Первое, что почувствовал — ветер, пронизывающий холод и тупую боль в затылке. Первое, что увидел — темноту и рядом скрюченного Костю. Федор повел непослушными глазами — впереди маячили два силуэта в форменных фуражках. Испуг отрезвил; преодолевая боль, он всмотрелся — фуражки были не советского образца. Пробуя сесть, почувствовал на запястьях холодное железо наручников, — это было так необычно, — и он окончательно пришел в себя.

- Влипли, — хрипло сказал Костя.
- Куда они нас? Кто? — язык опух и мешал Федору говорить.
- Эм-пи, американцы. Кажись, в Платтлинг.
- Куда?

— В лагерь, — Костя придвинулся и зашептал в ухо: — Я тебе не сказал — я бежал из Платтлинга. Я власовец. Меня опознали, решили, что и ты. . . Тебя кто-то долбанул стулом по башке. На меня навалились и скрутили. В полицию. Приехала эм-пи. Я требовал, чтобы тебя в госпиталь, но полицейский сказал, что череп цел. В эм-пи меня кто-то из лягавых опознал. Влипли! — Костя заскрипел зубами. — Как привезут, ты требуй — что не власовец.

Понимал Федор Костю плохо, но одно было предельно ясно — опять арестован и уже по своей вине.

Познакомился он с Костей у газетного киоска — заметил, как тот покупал брошюрку на русском языке. Заговорил. Костя сказал, что он «остовец» и что пробирается к дружку в Штуттгарт. Похожий на цыгана, с веселыми, озорными глазами, он понравился Федору тем, что не скрывал, что советский. О себе Федор сказал, как говорил всем: из Балтики. Решили держаться вместе. У Федора оставалось тысячи две марок и две продуктовые карточки, которые дал ему американский капитан. У Кости не было ничего. Он уговорил Федора захватить в Регенсбург, к приятельнице. — «Она нам бумаги устроит и денег подкинет». Приятельницы в Регенсбурге не оказалась — уехала в деревню «на менку». Вечером попали в гостиницу. Почему он напился — Федор не мог понять — в его-то положении! Он помнил, что отговаривал Костю, но усталость, радость от встречи со своим, советским, наконец, уверенность, видимо, бывшего Кости взяли свое, и Федор согласился «погреться». «Так тебе и надо! — подумал, злясь на себя, Федор. — И этот тоже хорош: беглый власовец, а говорил остовец, — ему бы прятаться, а он в Регенсбург

поперся!». О власовцах Федор слышал на фронте, потом в Берлине, в комендатуре, здесь — из разговоров с американцами узнал, что власовцев выдают. На фронте власовцами называли всех советских, кто служил в немецкой армии: в плен не брали, каждый имел право застрелить на месте.

— Что это за Платтлинг?

— Лагерь власовцев и пленных.

— Ты бежал?

— Бежал. Выдать могут. . . В других местах были выдачи. Многие порезались, — прибавил после недолгого молчания Костя.

— Как порезались?

— Да ты что, в самом деле? Не знаешь, что ли, что там будет? Пленных и тех, наверно, к стенке, не только что нашего брата.

«Опять. . .» — подумал Федор, вспоминая последние дни, и тут же подумал о записке капитана.

— Алло! — громко крикнул он, приподнимаясь.

Правый силуэт в фуражке обернулся.

— Шпрехен зи дойч? — крикнул ему Федор, стараясь перекричать шум мотора.

Солдат отвернулся.

— Алло! Шпрехен зи дойч? — повторил Федор, хотя каждое слово отзывалось в голове тупой болью.

— Но, — ответил второй солдат, не оборачиваясь.

— Ты что? — повел цыганским глазом в темноте Костя.

— У меня есть знакомый капитан, американец, — чтобы позвонили.

— Американец?! Эй! Бойс! Стопинг! Май френд вил колинг ту юрс кэптен, америкэн кэптен!

Правый солдат обернулся и что-то крикнул.

— Что он говорит?

— А хрен его знает! Я в лагере научился несколькими словами поихнему, а что говорят, не понимаю. Эй! Май френд вил колинг ту юрс кэптен! Америкэн кэптен! Плиз!

Солдат крикнул опять, сосед за рулем засмеялся. Впереди показались огни. Костя матерно выругался.

— Платтлинг, — сказал он и завертелся. — Карандаш есть у тебя?

— Зачем?

— Скорей напиши на какой-нибудь бумажке телефон твоего капитана! Пока не въехали в лагерь, надо этим попкам всунуть, может, позвонят. Шане! Среди них есть хорошие ребята — может, позвонят!

Федор, боясь опоздать, обеими скованными руками достал из нагрудного кармана пиджака продуктовую карточку и оторвал

угол с номером телефона. Костя взял клочек, близко поднес его к глазам, прочел.

— Эй! Бойс! — закричал он солдатам. — Хир ис нумеро фром кэптен, Кол хим, плиз! Ю кол хим, плиз!

Солдат за рулем сказал что-то соседу, тот обернулся и взял клочек у Кости. Зажег фонарик.

— Плиз, бойс! Плиз! — кричал Костя. — Май френд ис френд юрс кэптен!

Затормозили перед большими деревянными воротами в отделке из колючей проволоки. Из проходной вышел солдат в белой каске и с белой повязкой на рукаве. Ворота медленно открылись, и Федор увидел ряды ярко освещенных прожекторами барачных корпусов. Костя молчал.

Их поместили в пустой комнате. Пришел блондинистый, бесцветный лейтенант. При виде Кости он весело сказал, по-иностранным выговаривая русские слова:

— А, старый знакомый! Дронов собственной персоной. Недалеко же вы ушли.

Костя скрипнул зубами и не ответил.

— А это кто будет? — так же весело, словно играя, сказал лейтенант в сторону Федора.

У Федора от яркого электрического света так разболелась голова, что ему трудно было говорить.

— Ваши лягавые схватили человека ни за что ни про что! — зло ответил за него Костя.

— Власовец?

Федор с трудом открыл опухшие веки.

— Его полицаи избили. Позовите лучше доктора, голову ему разбили. Он старый эмигрант из Балтики. К армии никакого отношения не имел, — опять за Федора ответил Костя.

— Документы есть?

— Полицаи забрали, — не моргнув, соврал Костя.

Федор полез в карман и достал кельнскую справку.

— Сейчас придет доктор, — прочтя справку, сказал лейтенант. — Утром разберемся.

Как только он вышел, Костя принялся ругаться:

— Зануда староэмигрантская! Переводчиком здесь. Он и еще один такой же субчик.

Федор смутно понимал происходящее. Доктор с капитанскими знаками перевязал ему голову, дал каких-то порошков. Потом два солдата перенесли его в соседнюю комнату — тоже пустую, на полу которой сидели четыре человека в нижнем белье. Один из них, крупный, с толстыми рыжими усами, вскочил и радостно забасил:

— Дронов! Костя! Вот это да!

— Да никак Петро Богданович?! — узнал усача Костя.

— Вас откуда?

— Не говорите, Петр Богданович! — махнул рукой Костя, усаживаясь рядом со знакомцем. — Как идиота схватили! Я шесть дней тому назад деру отсюда дал. Вместо того, чтобы срываться дальше, решил искать в Регенсбурге Марию — помните, одно время у полковника Кромиади работала? Ну, и подзасыпался по пьянке. Да еще корешка подвел, — он показал на лежащего с закрытыми глазами Федора.

— Наш?

— Да нет. Хороший парень... из Балтики. Из-за меня тоже в непонятную влип. А вас откуда?

— Из Дахау.

— Из Дахау? — Костя оглядел полуголых людей. — Так, ведь, всех, кто там оставался после выдачи, в январе перевели к нам сюда?

— Мы не после выдачи. Мы прямо с выдачи.

— Как с выдачи?

— Да так. С ротой Протодиаконова нас выдали. В советской зоне уже были. Удалось доказать американскому офицеру, что старые эмигранты. Тринадцать человек вернули; может, помнишь кого: Сутулов Иван, Александр Степанов, Зорин Вадим, Захаров Семен... А помнишь Трофима Сахненко? Его тоже должны были вернуть, да отравился. Перед самым возвращением... Не вытерпел...

— Ну, теперь не выдадут, если вернули. Старых эмигрантов не трогают.

— Не трогают? За милую душу! Помнишь поручика графа Шереметьева? Выдали.

— А чего это вы в исподнем?

— Отобрали одежду, боятся, что бритвы зашиты.

Федор вспомнил про свои, зашитые в пиджаке и брюках, лезвия. Его удивил тон, каким усач рассказывал о выдаче и смерти. Остальные тоже сидели безучастно, один даже спал, а Костя словно хвастался...

Лекарство стало действовать, и Федор, свернувшись у стены, уснул. Засыпая, сквозь боль, он слышал, как ругался Костя, и как они с усачем вспоминали каких-то знакомых...

Класс. Парта. Спины и затылки. Екатерина Антоновна вычерчивает на доске треугольник — АВС... Белый треугольник по черному — негатив. Только успел понять: теорема о трех перпендикулярах! — как с задней парты Витька Карякин дернул резинкой по затылку Федора — против волос — снизу вверх! От боли закричал, но никто в классе не обернулся. Он сам не может обернуться к Витьке. А тот опять, еще больше! Закричал снова, но уже одной спине с длинной талией и сильно

обтянутыми бедрами Екатерины Антоновны. Она медленно, как в замедленном кино, обернулась. И оказалась Катей. Смеется. . . И в классе уже пусто, как на перемене. Катя у доски, медленно говорит: «соня, вставайте». И это сигнал: класс с Катей, с доской, с негативом треугольника пошли каруселью. Быстрой, быстрой, потолок выше, выше, а когда все разрослось в сумеречную залу, осталось только повторяющееся эхо: «соня, вставайте. . . соня, вставайте. . .». Потом все сразу исчезло, и кто-то тихо и просто сказал: «соня, вставайте». И это было началом стихотворения:

« — Соня, вставайте! — свежий наряд

В раме дверной от солнца оранжевый.

— Как вам не стыдно спать столько подряд!

Как не грешно вам. . . А помните, раньше вы. . .»

Но это было давно, задолго до Кати. «Оранжевый» и «раньше вы» — как он тогда гордился этой составной рифмой. Но что дальше? Боль мешала вспомнить. . . Боже ж ты мой, как же было дальше? . . . Сверху из ничего выплыла стена, на которой с фотографической точностью, как было на листе черновика, написано:

Милые руки, улыбка, очей

То же сиянье — как мог я забыть их!

Не удержать, упустить! Но ничем

Мне не вернуть прошлых годов событий. . .

Дальше стерто. Резинкой. . . Теперь и это исчезло — стена, как стена. Белая. Где-то тает с крыши. . . Капнет и вслушивается, капнет — вслушивается. . . Да, это кто-то ходит по комнате. . .

Федор открыл глаза, успел разглядеть потолок и стену. Попробовал повернуть голову, но сразу же заскользил, валясь в яму, на краю которой сидел старичок с белой бородкой и в очках.

. . . У самого лица тяжело, медленно, слева направо двигалась отполированная металлическая поверхность — он лежал на спине, головой под огромным маховиком. Маховик монотонно и ровно двигался. У глаз мелькали наклеенные обрывки телеграфных лент. На каждой надпись, но прочесть, как он ни старался двигать глазами, не удавалось. Потом бумажки стали отскакивать от маховика — оторвется на мгновение, перевернется у самых глаз — как сальто делает, упадет на несущуюся поверхность и улетает вправо. Теперь он успевал прочесть написанное: СОЗНАЙТЕСЬ. . . ПРАВДУ. . . ГОВОРИТЕ ПРАВДУ. . . Потом маховик стал набирать скорость, и все снова слилось в мелькании. Бумажки отскакивать не успевали, но зато тоненько выкрикивали: Сознайтесь. . . Будет лучше. . . Маховик завертелся еще быстрее. Вместе с гулом громче кричали и бу-

мажки: МАЙОР ПАНИН... СОЗНАЙТЕСЬ... — Федор узнал голос полковника Колчина. ВАША СУДЬБА В ВАШИХ РУКАХ. — Голос американца с усиками. СЛИШКОМ МНОГО ДУМАЕТЕ О СЕБЕ... — голос Серова. ПОЛИТИКА ПЕРЕМЕНИТСЯ... — голос Инги. Но разве Инга жива? Значит, это Василий подговорил Карла сказать, что Ингу застрелили на границе! Догадка была, как вздох, как освобождение. И маховик стал замедлять обороты, сплошные линии над глазами перешли в мелькание — реже... реже... ре-же... Было необыкновенно интересно — на какой бумажке он остановится у глаз? Как в рулетке. Маховик прошел последний оборот и, покачнувшись, остановился над лицом Федора длинной телеграфной ленточкой: «До последнего дня все был мальчиком и не верила фронтовым фотографиям». Мама! Из письма Сони! Значит, и мама жива? Недаром на кладбище он не верил... Снег падал тогда на непокрытую голову... Прохладно... Ух, как хорошо и тихо...

Федор увидел белую бородку, очки с вправленными в них добрыми глазами. Услышал обыкновенное слово: УСНУЛ.

Река текла спокойно, серебрясь и позванивая. Он лежал в траве и смотрел в небо. Облака и синь... Кто-то разговаривал за кустами. Густой усатый голос говорил:

«... Тема революции, пережитой тобой, революции, изуродовавшей твою жизнь, требует сильного и сознательного волевого напряжения».

Другой голос, знакомый, отвечал:

«... Процесс познания — это разговор человека с Богом. Стремление большевиков заставить людей в этом разговоре перестать быть учениками, а стать в позу учителя — есть не что иное, как влечение к смерти...»

Так это же профессор Рудаков! Что он здесь делает на реке?

«... Современный период истории есть переход от отдельных государств к единому мировому государству. С этим вы не можете не согласиться. Будет ли это государство говорить с Богом тоном знавшего ученика или останется почтительным и благоговейным — от этого зависит судьба мира, смерть или жизнь...»

Шумят кусты. Облака ускоряют свой лет. Какой ветер гонит их?

«... Наша трагедия даст свои плоды познания большевизма. Все познается по сравнению — в этом методологический смысл познания большевизма...»

Вместо паузы — шум кустов и журчание реки у берега.

«...Родословная Ленина не так от Маркса и Энгельса, как от Ткачева, Нечаева и Бакунина. Недаром Бакунин революционеров выводил от библейского дьявола...»

Усатый голос перебил:

«...Максим Горький про Ленина лучше сказал: «Протопоп Аввакум от марксизма». Но все это, извините, перестало меня интересовать. Вы историк, а я стою на социологической, а, вернее, на обыкновенной человеческой точке зрения. Для меня духовная родина — наше сегодня, живой человек. Все, что не имеет прямого отношения к настоящему — для меня мертво...»

Кто он? Почему он спорит?

«...Миру надо поставить голос, а вы хотите заставить его молчать, раз петь не умеет. Вот вы рассказывали о «передовой» современной литературе Запада, а для меня Сартр, Джойс, Пруст и все остальные — только искусство соусов, а я, извините, люблю мясо, простой хороший кусок настоящего мяса!..»

Кто он?

Федор хотел приподняться, но полетел в яму.

Кто-то тасовал колоду больших — в два раза больше нормальных — карт. Потом карты сами раскладывались на столе в пасьянсе. Федор посмотрел, а там оказались не карты, а фотографии. Карточка Кати легла вместе с карточкой соседки по дому, в котором он жил мальчиком. Капитана Боба — рядом с Сониной, а мамина оказалась по соседству с фотографией Тоденгаузена... Кто перетасовал колоду лет пережитого? Пасьянс не вышел — одна карта осталась на столе закрытой. Непослушной рукой Федор перевернул ее — он сам, пополам с Костей! Он никогда не видел этой фотографии своей — бледный, с чужими глазами. Оглядел стол и вдруг увидел, что у фотографии шевелятся губы. Прислушался: Федя...Федя... Федя... Потом громче: Федя!.. Федя!.. Федя!.. а затем в крик: ФЕДЯ... ФЕДЯ!.. ФЕДЯ-А-А-А! Стол сдвинулся и стал вращаться — быстрее, быстрее! Лиц уже не видно, только крик: ФЕДЯ-А-А-А!.. Бешено, воронкой! И-и-и... Он бросился в канаву, прижался к грязи... Взрыв! Его отбросило, оглушило. Теряя сознание, успел понять звук взрыва: ПАНИН!

Тот же потолок, та же стена. Справа на койке, лицом к Федору, старичок в очках и другой, со спины, в халате. Федор пошевелил головой, но комната стала наклоняться, и он поторопился закрыть глаза.

— ...Зачем закрывать глаза? У нашего народа явно проступают черты оккупированного народа. Власть не своя!

Говорил в халате. О ком это он?

— ... старые оркестранты имеют такую же забитость. От многих лет команды, от жизни по дирижерской палочке. Разница между свободным человеком и нашим — это разница между солистом и оркестрантом. И обратите внимание — оркестрант умеет играть все, а солист нет. . .

Федор лежал, не открывая глаз, боясь свалиться в яму. Ему хотелось услышать, о чем дальше будет говорить усатый голос.

— ... Вы знали Россию, когда человек жил сам. Что бы ни происходило в мире, жизнь человека была по его воле. Вы знаете Европу — то же самое. Даже при Гитлере, в крайнем случае, человек мог бежать за границу. А в Америке, говорят, люди вообще вольны жить, как им заблагорассудится. Вам неизвестно постоянное давление страха на человека. Я говорю не только о страхе смерти. Я имею в виду советский страх, комбинированный. Грубо говоря, он состоит из собственно страха и психологической раздвоенности. В сознании каждого советского человека болезненно отражен государственный принцип распоряжаться человеком как вещью во имя политической целесообразности. У каждого советского человека — в той или иной мере — две реакции на все явления жизни: одна — для самого себя, другая — для среды. Первая — органическая, но запретная, вторая — дозволенная, но условная. Правда, эта раздвоенность, этот разлад — величина непостоянная. Будь разлад осознан, не было бы психологической раздвоенности. Страх несет функцию усилителя. Естественное он загоняет вглубь, часто в область подсознательного, а дозволенное усиливает. Он измучивает человека так, что инстинкт самосохранения, желание жить без непрерывной пытки, толкает сознание подчиниться. Вот вам иллюстрация. Каждый год приходит май, а с маем подписка на заем. Однажды, скажем, к инженеру, среднему советскому интеллигенту, приходит предзавком или парторг и говорит: подписывайся на месячный заработок, а лучше на полуторамесячный. Денег у инженера нет. Дома недостатка. Но отказаться нельзя — страх потерять службу, квартиру, страх, что в личном деле будет вписана характеристика: «Противник подписки на заем», что значит стать кандидатом в лагерь при очередной чистке. Инженер говорит: хорошо, товарищ парторг, с удовольствием подпишусь на месячное жалование. Но это не все. Парторг тут же требует от инженера выступить на собрании с речью о подписке. Человек выступает. Он вынужден говорить о том, чего он совсем не хочет. А что значит — говорить? Это значит думать так. Понимаете? И так каждый день, годы, жизнь. . .

Федор лежал, стараясь не пропустить ни одного слова. Как это он раньше об этом не думал? Бежал, чтобы думать, говорить, жить, поступать, как на душу ляжет! Вот, о чем надо было бы сказать тому, третьему американцу!

— ... Вы историк и все ищите исторических аналогий. Вы почти

пять лет наблюдаете нас, советских, и удивляетесь нашей переменчивости. Вам хочется установить, сколько процентов в каждом осталось человеческого, или, как вы говорите, божественного, а сколько процентов из этого большевикам удалось уничтожить. А человека советского надо рассматривать в движении. Фотографический, статический метод здесь не подходит. Сделайте сегодня точную фотографию советского человека, а через день или год он уже не тот! Другое соотношение процентов. И не потому, что он хамелеон, а потому, что на него все время давит, с одной стороны, его естественное, с другой стороны — дозволенное властью. Все время! Не одно, так другое. Совсем уничтожить человеческое — такой задачи себе большевики не ставят. Им важно время, им важно власть выиграть — раньше в России, теперь в Европе или Азии, а завтра во всем мире. И вот, на это время борьбы за власть большевикам важно сделать человека послушным. Фактор времени — вот, что для них главное. Они верят только во власть, они верят в бытие, которое, по их мысли, потом определит сознание людей. Вы не понимаете смысла перманентных чисток. А посмотрите с этой точки зрения — поймете. Кого чистят, кого ликвидируют? Тех, в ком побеждает естественное. А его — раз, и долой. При этом заметьте, что советский человек, достигнув высокого положения, больше знает, может сравнивать, и, в конце концов, он начинает осознавать свой разлад. Поэтому чистки, главным образом, направлены против них. Теперь меня обязательно ликвидировали бы. А кого берут на их место? Пастухов, чернорабочих, которые за движение кверху, — за институт, за звание инженера, директора, дипломата — человеческое в себе забывают. А пока опомнятся, пройдет лет десять. Десять лет энтузиазма, службы. . . Вот что нужно большевикам! Для этого им и нужен страх. Страх сильнее всего убивает человеческое. Почему наша женщина больше сохраняет себя? Потому что меньше подвержена давлению власти. А с другой стороны — инстинкт материнства. Женщины, которые становятся депутатами горсоветов, Верховного Совета, уступают, и материнство у них обычно задавлено. Это счастье для нашего народа, что женщина не ищет власти и карьеры; если хотите — она менее способна в таких делах.

Старичок поднялся, подошел к Федору. Снял со лба компресс, зажурчала вода, на лоб легло прохладное, захотелось потянуться. Федор чувствовал, что в нем что-то прошло, как всегда бывало после кризиса болезни.

— . . . В тридцатые годы была такая пьеса Афиногенова «Страх». Герой ее — профессор — говорит: «Общим стимулом поведения 80 процентов обследуемых является страх. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партработники — обвинения в уклоне, ИТР — обвинения во вредительстве». Он говорит, что мы живем в

эпоху великого страха. Страх заставляет отречься от матерей, подделять социальное происхождение, пролезать на посты. А в конце говорит: уничтожьте страх, уничтожьте все, что порождает страх, и вы увидите, какой богатой, творческой жизнью расцветет страна. Эта пьеса появилась еще до ежовщины, в начале политики страха.

Да, такая пьеса была, — подумал Федор. — Но что там было дальше? Не помню. А вот, когда болен, страха меньше. Я теперь могу им сказать, кто я!

Собеседники замолчали. И Федор уснул. А когда проснулся, на потолке уже горела лампа. Скосил глаза — старичка справа не было. На следующей койке лежал кто-то с головой под одеялом. Разговаривали слева. Говорил тот же усатый голос.

— . . . Выдадут, ну, и черт с ними! Мне бы только узнать — что там? Как там теперь? Если бы вы знали, как я хочу это знать! Не может быть, чтобы война — такая война! — чтобы победа не изменила человека. Не может быть! Мы, власовцы — порождение страха, вернее, бегства от страха, началом которого было поражение первого года войны. Хотя бы одного живого человека оттуда повидать! Не тех, кто нас встретит, а настоящего, обыкновенного человека. Узнать, что я не ошибаюсь — и все. Тогда и умирать легко. Пусть выдадут!

Федор пошевелил ртом, проверяя — может ли он говорить. Рот, язык действовали.

— А что вы хотели бы знать? — ясно произнес он, глядя в потолок.

В следующее мгновение над ним выросли два лица: с бородкой — его он уже знал, и другое — длинное, бровастое, с блестящими черными глазами.

— Я, кажется, опомнился.

— Вы вторые сутки лежите и бредите, — сказал старичок, снимая компресс. — Доктор говорит, что кость цела, но сильное сотрясение.

— Я слышал, о чем вы. . . Я недавно оттуда. . . Майор. . . Только никому не говорите. . .

— Как же вы к нам попали? — быстро спросил длиннолицый.

— Случайно. . .

— Вам надо немедленно заявить. Вы союзный офицер.

— Нельзя. Меня выдадут. Есть такое соглашение. . . Как вас, так и нас.

Лица переглянулись. Старик прохладной рукой пощупал лоб Федора.

— Вам лучше не разговаривать. Вот, примите таблетку. — Он

умело и ловко вытряхнул таблетку и подал Федору. — Поспите. Потом поговорим.

— А какое сегодня число?

— Двадцать второе февраля. А теперь спать, спать.

— «И не видеть снов» — подхватил Федор.

Длиннолицый по-новому взглянул на него, видимо, узнал пастернаковскую строку.

— А я думал, у вас усы, — сказал, глядя на него, Федор. — У вас голос усатый.

Оба улыбнулись, как взрослые — выздоравливающим детям. Федор закрыл глаза, хотелось плакать.

В Л А С О В Ц Ы

Профессор истории и философии Иван Иванович Осьмеркин до войны преподавал в Юрьевском и Пражском университетах. У Владова читал лекции в школе пропагандистов. Второй — полковник Чугунов — до войны был вторым секретарем райкома Москвы, на войне — замполитом пехотной дивизии.

Оба сидели на койках и ждали пробуждения Федора.

Федор проснулся поздно, оглядел потолок, пошевелил головой — в ушах шумело, но «ямы» не было.

— Ну, как, молодой человек? — подошел профессор.

— Кажется, в порядке.

Полковник сразу же пересел на койку Федора и сбоку горячим глазом оглядел его.

— Это правда, что вы вчера сказали?

— Правда.

Полковник повернулся всем корпусом и посмотрел на Федора в упор.

— Вы когда оттуда?

— Месяц с небольшим.

— Вот это здорово! — Полковник встал, хотел по привычке пройти, но, сделав шаг, вернулся к Федору.

— Вы извините, если я начну вас расспрашивать.

— Пожалуйста.

— Нет, нет, Павел Петрович, — вступился старичок. — Раньше надо выяснить его положение и решить, что делать. Вы, — сказал он Федору, — должны немедленно заявить, что вы не пленный

— Я не могу сказать, кто я — выдадут. Я уже сидел у американцев и... бежал.

— Что же вы скажете здесь?

— Я заявил, что из Балтики и что документы забрали немецкие полицейские. Какой-то офицер взял у меня справку УНРРА. . .

— Костя Дронов нам рассказал, — вмешался полковник. — Как вы могли так глупо напиться?

— Я и сам не знаю. Измучился, наверно. То побег, то предательство немца, то предательство русского. Потом арест, допросы, опять побег. . . Цу филь — как говорят немцы — для одного месяца.

— Вас-то на каком же основании выдают? Ведь, в Объединенных Нациях речь идет только о коллаборантах, военных преступниках.

— Для нас Соколовский подписал с американским командующим отдельное соглашение. Как дезертиров.

— Вот видите, профессор. Всех! Всех им подавай! Как мальчишек, ваших демократов обкручивает геноссе Сталин. А вы говорите: европейский гуманизм, право убежища! Вздор, профессор: всех выдадут! — Полковник подошел к койке Федора: — Скажите мне только одно: что дома? Что изменилось? Вы, офицеры, солдаты, члены партии — те же, или другие?

— Как вам сказать. Сложно это. . . Лучше я про свой разговор со своим другом, подполковником расскажу. Он сын колхозника, член партии — типичнее.

Федор рассказал о своих разговорах с Василием — тогда, в дивизии, и в последний раз перед побегом.

Профессор слушал, крутя какую-то веревочку, полковник сидел, ловя каждое слово Федора. Когда Федор рассказал про записку бежавшего из дивизии на Запад сержанта Егорова, полковник вскочил и чуть не закричал профессору:

— Вот оно, видите! «Держись, гад!» Я, русский Иван, еще вернусь домой! Вот оно, сознание победителя! Ведь это он и мне мог так написать! Сукин сын! — в восторге произнес он, блестя глазами. — Вы понимаете, что это значит? Разве до войны такое было!

Рассказал Федор и о своей поездке домой, и об аресте Сони, и о встрече с безногим Митей Седых. И опять вскакивал Чугунов. Безногий Седых подействовал на него, как записка сержанта. Федору было приятно волнение полковника, и он для того, чтобы поддержать его радостное возбуждение, сказал:

— У нас солдаты сейчас любят петь «Песенку фронтового шофера», особенно последние слова припева: «Помирать нам рановато — есть у нас еще дома дела».

Полковник попросил пропеть еще раз. А когда Федор спел припев, стараясь петь бодрее и энергичнее, полковник вскочил и забегал по комнате.

— Это же необыкновенно! Ах ты, чорт тебя дери! До чего за-

мечательно! «Есть у нас еще дома дела» — вы понимаете, профессор? А смысл-то какой — «помирать нам рановато»! Ура!

Старичок из-под очков взглянул на полковника.

— Но вы совсем не обратили внимания, Павел Петрович, на арест сестры, на массовые аресты в бывших под оккупацией губерниях, на запрет говорить о Европе. . .

— Эх, Иван Иванович, это наш народ знает. Это Сталину не поможет. Разве, — он ткнул пальцем в сторону Федора, — разве раньше так разговаривали с начальником областного НКВД?

И опять рассказывал Федор, и опять вскакивал полковник, а профессор крутил веревочку.

Принесли завтрак — чашку кофе, кусок хлеба и немного повидла. Профессор прошел к четвертой койке, где все так же, укрывшись с головой, лежал кто-то.

— Что с ним? — спросил Федор полковника.

— Горло перерезал себе.

— Горло? . .

— Только здесь, в лагере, узнал о ликвидации Калмыцкой республики. Он калмык. И, конечно, — страх. Ночью вот так же укрылся с головой и бритвой. . . — полковник дернул ладонью по горлу.

Профессор принялся кормить забинтованного калмыка. Полковник словно ждал этого, подвинулся к Федору и шопотом спросил:

— А к нам. . . о нас что говорят? В народе? В армии?

Федор не знал, что отвечать.

— Только, пожалуйста, правду, как есть! — жарко зашептал Чугунов.

— Армия всех, кто был на стороне немцев. . . не любит. . . На фронте, сами знаете. . . на месте расстреливали. Но кто такие власовцы — толком никто не знает. Я, честно говоря, смутно себе представляю. . . Вот в Белоруссии, по-моему, знают больше, но говорить боятся. Теперь, после ареста генерала Власова и других, чувствуется, что жалеют. Даже в армии.

— Как же это? Не знают? Не слышали про РОА? Про Пражский манифест?

— Я не слышал. . . — сожалея, что делает полковнику больно, ответил Федор.

— Но в Белоруссии, говорите, знают, да?

— Думаю, что знают.

Чугунов опустил седеющую голову и замолчал.

— Вы еще, — подошел к Федору профессор. — Вас как зовут?

— Федором Николаевичем.

— Раньше подкрепитесь, Федор Николаевич, а наговориться успеем.

После завтрака расспрашивал больше Федор. Рассказывал профессор — как лекцию читал. Чугунов лежал на койке, о чем-то думая своим, редко вставляя замечания.

— К концу сорок пятого было здесь около десяти тысяч: эсесовцы, венгры, просто немецкие пленные, и мы, власовцы — тысячи три. У нас и театр свой, и оркестр, и курсы иностранных языков, журналчик издаем. Церковь есть — сами устроили. Свои художники алтарь расписали, иконы... Хотя и произошли уже выдачи в Лиенце, теперь вот в Дахау... Но мы верим в право на политическое убежище. Ведь, власовское движение — движение политическое: Пражский манифест тому доказательство.

— Даже слух пустили, — отозвался с койки полковник, — что сам генерал Айзенхауэр читал манифест и сказал: «Это демократическая программа, и армия Власова — самая демократическая из армий, какие я только знаю», — усмехнулся и добавил: — Пустили и утешаются.

— Может быть, и придумали, а, может быть, и нет, Павел Петрович. Да... Жизнь, Федор Николаевич, конечно, не легкая. Барак темные, сырые, питание скудное. Что поделатъ — пленные. Но дух поддерживает церковь. Рождество встретили, как подобает православным. Церковь не могла вместить всех желающих. Службу простояли на дворе. Горячо молились...

— Бога, профессор, вспоминают, — проговорил Чугунов, — когда страшно становится.

— В январе пришло известие о выдаче в Дахау, — продолжал тем же голосом профессор. — Настроение, конечно, упало. Люди опустили головы. Страх, — профессор поглядел в сторону полковника, — придавил... Талантливый художник Мельников, тот, что церковь расписывал, покончил с собой. Доктор Быстролетов в знак протеста голодовку объявил. Восемнадцать дней держался молодцом — выполнял туалет, выходил на построения. Подали общий меморандум коменданту лагеря, подполковнику Джиллесу. Ответил: «Никто насильно выдан не будет». Успокоились. Русская общественность из-за проволоки помогает, чем может: посылочками, ободрением. Насколько священников хлопочут. Одному из них удалось вывезти тридцать человек под видом церковного хора. Участились попытки побегов. Вот, как лейтенант Дронов. Слухи, что за проволокой людей хватают на улицах советские офицеры, сдерживают. Да и вообще избегаем раздражать американцев...

Чугунов на койке шумно выдохнул:

— От страха сопротивляемость падает, профессор. А насчет русской общественности — преувеличиваете. Она, ваша общественность, сама трясется.

— Прибыла военная комиссия под председательством генерала Робертса, — продолжал свой рассказ профессор. — Опять слух —

среди американцев, мол, переодетые советские. Люди реагировали болезненно. Послали делегацию к генералу. Успокоил. Комендант выдал блокам документ за своей подписью: «Никто насильно репатрирован не будет. Даю слово американского офицера». А двум — казаку, бежавшему из советского плена, и другому — Герою Советского Союза — лично обещал скорую свободу. «Вы уже одной ногой стоите за проволокой», — сказал при этом. К генералу Роберту может идти каждый запросто и разговаривать. — Полковник опять шумно вздохнул, но ничего не сказал. — Люди еще больше успокоились. Но снова слух — советские офицеры будто бы рядом, в Дегендорфе. Будто бы все анкеты из комиссии каждые два часа возят им на аэроплане. Как видите, служи, а вот Павел Петрович отпускает...

— Руку чувствую, Иван Иванович, — отозвался Чугунов, — руку знакомую, не американскую. Одни анкеты чего стоят. Нам, советским, анкета, ох, как знакома.

— Всех вызывали в комиссию. Все заявили: родине не изменяли, хотели бороться против антинародной власти Сталина, за светлое будущее России. Каждый советский человек о лишениях, репрессиях, концлагерях рассказывал. И о колхозах...

— Вы лучше расскажите о вопросах анкеты.

— Вопросы были такие: носил ли военную форму, имел ли оружие, какие погоны, пользовался ли правом голоса на родине? Вопросы, как вопросы.

— Ах, профессор, — Чугунов сел. — Не понимаете! Мы-то знаем, куда такие вопросы клонят. Военную форму носил? Носил. Погоны, оружие? Да. Значит, военный преступник. Правом голоса пользовался? Пользовался. Значит, изменник родины. Да кто такой вопрос мог поставить — о праве голоса? Американцы? Нет. Американцы-то думают, что право голоса у нас вроде как у них в Америке.

— Я, Павел Петрович, рассказываю объективно, — обиделся профессор.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — Чугунов снова лег.

— Комиссия опрос окончила, уехала. Осталось несколько наблюдающих офицеров. Но тут опять, знаете, случилось. Наши уборщики нашли в помещении комиссии несколько смятых бумаг. Принесли мне — я английский знаю. Оказались бланками решений комиссии. Внизу бланка два пункта: является ли данное лицо военным преступником? Подлежит ли выдаче в Советский Союз? Расстроились люди ужасно. Я, как мог, успокаивал. А тут эти два офицера, владеющие русским языком. Вместо того, чтоб успокоить, один сказал, что у нас «хорошо поставлена разведка». Людям не до шуток. А другой сказал, что все решать будет Франкфурт. Напомнили им обещание генерала, слово офицера, подполковника Джиллеса. А лейтенант заявил, что это, мол, личное дело подполковника. На него набросились — он русского происхождения. А он тоже вскипел: у

каждого из вас, мол, личные недоразумения со Сталиным, каждый чем-либо обижен советской властью, говорит, но на родине у вас, мол, не так уже плохо, если Красная армия героически защищала ее против Гитлера. Поднялся крик, ссора. А он горячится: вы все скомпрометировали себя союзом с нашим общим врагом. Вы шли на риск, как военные авантюристы, и вы проиграли. А поэтому имейте мужество нести ответственность... Молодо-зелено...

— Заметьте, Иван Иванович, что это говорил сын русских эмигрантов. Что же вы хотите от настоящих американцев? — отозвался полковник.

— Я, кажется, его знаю, он у меня справку УНРРА взял. Блондин? — спросил Федор.

— Да, он, — ответил профессор. — Другой, чернявый, в очках, еврей. У того хоть есть определенные основания ненавидеть всех, кто был с немцами. Но у этого... очень неприятно. Ему, конечно, возражали: хоть с чортом, но против Сталина. Случай этот подействовал угнетающе. Опять самоубийства. Мы с Павлом Петровичем решили поднять настроение, устроили концерт. Концерт вышел на славу. Приняли меры самообороны: устроили внутреннюю охрану, наблюдение. Стали писать всем и вся — Черчиллю, Труману, Папе Римскому. Тут уж главную роль играл Павел Петрович. Он считает, что в случае опасности надо забаррикадироваться в бараке и оказывать сопротивление... Вот так и живем. Да... Но я уверен, что выдачи не будет. Вначале, пока мировая общественность не знала, выдавали, но сейчас... быть этого не может. Право политического убежища — это святая традиция Запада. Павел Петрович считает, что выдадут. Вот и спорим.

— Что ж вы, Иван Иванович, не рассказали, за что вас и меня в больные произвели и в лазарет засадили?

— Это к делу не очень относится, Павел Петрович.

— Нет, относится, и еще как! — сказал Чугунов, решительно принимаясь: — Ивана Ивановича посадили сюда за знание английского языка: вел курсы английского, писал всякие прошения, был за переводчика. А это американцам неудобно. Меня изолировали в плане борьбы с «вождизмом». Я народ организовал по принципу борьбы со страхом. Американцы боятся, что в случае чего такой бой дадим — долго помнят будут. Если это к делу не относится, так почему же вы, Иван Иванович, не рассказали, что немецких и венгерских пленных вывезли? Что остались только мы да двести эсесовцев? Почему же не рассказали о запрете хождения по лагерю с двадцати одного до шести часов? Что был обыск — забрали топоры, пилы, ножи, бритвы? Что вторую неделю не выдают бритвенных лезвий?

— Против участвовавших самоубийств, Павел Петрович. А вывоз пленных — это вам прямое доказательство, что лагерь эвакуируют.

— А почему переписку и свидания запретили?

— Вы знаете, позавчера опять разрешили и уже без очереди, без ограничения времени.

— Вот то-то и оно, что без очереди и без ограничения. Как перед казнью, осужденному. Неисправимый вы оптимист, Иван Иванович.

Федор, ухватившись за подоконник, подтянулся к окну. За мокрыми стеклами он увидел замешанную автомобилями грязь, выстроившиеся длинные бараки с квадратными заколоченными оконцами. Дул ветер. Низко шли снеговые тучи. Людей на дворе было мало, и те перебегали, согнувшись под ветром, из барака в барак.

— Теперь я расскажу, Федор Николаевич. — Чугунов несколько секунд сидел, то сжимая, то разжимая руки, словно разминал перед тем, как крепко за что-то ухватиться. — Глубокоуважаемый Иван Иванович, видите ли, верит, глубоко верит в демократический мир, в котором он прожил без малого тридцать лет. Он историк и на все смотрит глазами исторических параллелей и сравнений. Сравнения эти его успокаивают. А мы с вами, советские, вернее, подсоветские люди, мы лучше, чем кто на свете, знаем: политика дело безжалостной выгоды — государства или партии. На Западе люди любят все подгонять под свои желания. Им хочется, чтобы Сталин почил на лаврах и стал таким добрым дядей — вот они и умасливают его и верят в перерождение советской власти. Вы рассказали о послевоенном — вот в чем надежда моя! Поднял голову человек! Победитель! Сталинские «сестры и братья» помнит и не забывает. И не забудет! На фронте привык говорить так, как думает. Травма страха и раздвоенность утихли или совсем исчезли. Война для народа стала освобождением от страха. А без страха, дорогой Иван Иванович, Сталину крышка. И это он знает лучше, чем мы с вами. Отсюда его вывод: во что бы то ни стало восстановить страх. Это и есть первая неписанная статья послевоенной пятилетки восстановления. Сталин что угодно заплатит, а нас заполучит. Это его логика, и я ее хорошо знаю, Иван Иванович.

— Возможно, вы и правы, Павел Петрович. Но восстановление страха скорее относится к ним, — профессор кивнул в сторону Федора.

— А власовцы — это что, не они? Не их порождение? — вспыхнул Чугунов. — Смысл власовства уже ясен — в страхе Сталина перед ним. Рожденное бегством людей от страха, власовское движение есть не что иное, как постепенное освобождение от советского страха. Люди сдавались в плен от нежелания умирать во имя жизни в страхе и от страха смерти, конечно. И, заметьте, большинство, собственно, не сдавалось в плен, не переходило на сторону врага, а сидело и ожидало, когда их возьмут в плен. А было и другое: отступали с надеждой, что их догонят и окружают. Вы понимаете разницу? До последней минуты боялись! И страх искусственно поддерживался заградотрядами, расстрелами, штрафбатальонами. Вы не знаете. Ведь

нас — генералов, комиссаров расстреливали десятками, офицеров — сотнями, солдат — десятками тысяч. Инстинкт самосохранения — вот чем действовал и действует Иосиф Кровавый. Из немецкого плена к Власову шли от страха голодной смерти, от страха тифа, холода. Некоторые отказывались от родителей, от родины, называли себя фольксдейтчами, незаконными детьми немцев. Все это было этапами освобождения человека от советского страха. Болезнь роста, как говорили у нас. Суть в том, что когда люди освободились, началось рождение идеи освобождения. Власовство — это метаморфоза запуганного человека в борца. Поэтому власовство есть часть общего явления освобождения нашего народа от страха в горниле войны. Мы, пленные, власовцы, мы не дошли до победы. Но народ дошел. Народ победой закрепил свое освобождение от страха. Я так думаю, я верю в это. Власовство только стало обрастать плотью, мускулами, но гитлеровцы оказались плохими педиатрами, вырасти ему не дали. Теперь на поверку оказалось, что страх в нас только заглох, отступил, не исчез из сознания или подсознания. Вы посмотрите: в бараках люди ходят серые от страха, давятся по ночам, режут себе вены, боятся агентов, сексотов. Вы слышали, как стонут они во сне? Страх душит их, и они вскакивают, обливаясь холодным потом. Сновидения — мир подсознательного. Мы с вами свидетели рецидива советского страха.

— Но вы-то, Павел Петрович, сами освободились же от страха, — заметил профессор, как-то нервно крутя веревочку.

— Я? — ответил Чугунов. — Да, я освободился. Мыслями, верой, что дома освободились. Я там всегда. А, может быть, еще потому, что все потерял. . . Мне теперь нечего бояться.

— Как же совместить, Павел Петрович: эти же люди, серые от страха, как говорите вы, учат иностранные языки, изучают новые специальности, готовятся к жизни?

— Языки? Одни учат, чтобы выдать себя за выходцев из Польши или Балтики, другие, чтобы уметь по-английски просить американцев не выдавать их. А специальности: вдруг после победы Сталин подобрел и не станет расстреливать, а только даст лет пять-десять лагеря. Кто сидел у нас в лагерях, тот знает, какие специальности там дефицитны. Знают, что электрику, сварщику или санитару выжить в лагере легче. Выжить! — вот для чего учат специальности, Иван Иванович. Перестраховка и типичная раздвоенность советского сознания.

— А как же вы объясните, я сказал бы, подвиг протеста, когда двадцать наших власовцев сожгли себя заживо в бараке в Дахау?

Чугунов криво усмехнулся:

— Вы думаете, раскольники? Нет, Иван Иванович. Страх. Вы знаете, я не трус, и наши люди не трусы, не о трусости я говорю, а о великом советском страхе. Вот Федор Николаевич бежал. Рис-

кую жизнью. А почему? Испугался, что в жизнь опять вернется страх...

За стеной, в углу, раздались голоса. Молодой сильный голос запел:

Не знал отца, не знал я мать,
Мальчонка был с задором.
Провел я детские года
В канаве под забором.

Чугунов подошел к окну и попытался заглянуть в сторону:

- Иван Иванович, а, по-моему, это Костя.
- Очень похоже. По-моему, он.

Мне жизнь копейка, смерть плевков,
Гляжу веселым взором.
Я все на свете пережил
В канаве под забором.

— Вот вам пример. Храбрый солдат, толковый офицер. Мог бы стать настоящим борцом за освобождение. А кем был? Дезертиром, хулиганом, советским криминалом. — Чугунов остановился, прислушиваясь к песне:

И вот когда сентябрь пройдет
По переулку вором,
Тогда и я умру в ту ночь
В канаве под забором.

— Советский криминал, наше знаменитое хулиганство имеет в себе большой процент человеческого протеста. Возмущение молодости против страха. В этом отличие его от западного криминала. На Западе из вора и гангстера никогда не получится политический борец, а у нас — Костя вам пример.

Профессор пошел к калмыку, дал тому напиток. Полковник лег. Разговор, казалось, прервался. Вдруг Чугунов рывком сел и стукнул кулаком по койке.

— Тупица нацистская! А демократический Запад ваш продолжает! Сейчас надо было бы все сделать, чтоб уберечь наш народ от рецидива страха. Не давать Сталину снова оседлать сознание человека. А народ остальное сам бы доделал. А они? Они делают все, чтоб помочь Сталину. Почему я не бежал? — затосковал Чугунов. — Старый дурак, думал — здесь товарищам помогу. Мне бы бежать и домой пробираться, а там действуй...

Профессор сел рядом с Федором.

— Я понимаю, Федор Николаевич: для вас, для Красной армии, мы, власовцы, кажемся изменниками, военными преступниками. Это

понятно, раз вы ничего о нас не знали. Но поверьте мне, наша трагедия — это трагедия единственной попытки свергнуть режим Сталина своими силами. Мы имели все шансы стать многомиллионным движением. Только жадность, колониальная глупость Гитлера и его окружения предали эту историческую задачу. Но я уверен, что демократические державы этого предательства не повторят.

Чугунов собирался возразить, но неожиданно, без стука, открылась дверь, будто кто подслушивал за нею. Вошел знакомый Федору лейтенант. Полковник лег и отвернулся. Профессор, наоборот, встал.

- Здравствуйте, господин профессор, как вы себя чувствуете?
- Здравствуйте, господин лейтенант, благодарю вас.

Лейтенант прошел по комнате, заглянул в какой-то листок.

— Я имею сообщить вам, господин профессор: вас и этого, — он показал на калмыка, — сегодня или в понедельник перевезут в госпиталь. — Лейтенант остановился против койки Чугунова: — А как чувствует себя господин полковник Чугунов? Надеюсь, хорошо? — Чугунов не ответил. — Вас, господин полковник, одновременно переведут в ваш барак. — Лейтенант сделал паузу. — Но сегодня у меня есть к вам личная просьба, полковник. В вашем блоке имеется русская пишущая машинка. Мне очень хочется переписать на память стихотворение Лермонтова «Бородино». Ваши парни требуют письменного разрешения от вас, как от старосты блока. Я очень прошу вас. . . — Чугунов встал, молча написал записку и так же молча подал ее лейтенанту. — Благодарю вас.

Федор ждал, что лейтенант и ему что-нибудь скажет. Только дойдя до двери, офицер обернулся к Федору:

— А по вашему делу, господин Таневский, сделан запрос. Вы останетесь здесь до получения ответа.

— Господин лейтенант, нельзя ли мне позвонить знакомому капитану?

— Какому капитану? — насторожился лейтенант, отводя глаза в сторону.

— Американскому. Он знает, что я не военнопленный и. . . — Федор хотел сказать «и не власовец», но присутствие полковника и профессора остановило его.

— Я передам вашу просьбу коменданту, господин Таневский.

За стеной опять запел Костин голос: — И вот, когда сентябрь пройдет. . .

Лейтенант подошел к окну, но ничего не увидел, оглянулся на Чугунова, усмехнулся.

— Люблю русские песни, музыку. Чайковский, Мусоргский, Рахманинов. . . Конфуций сказал: «Если бы все люди любили музыку

— не было бы войны». Поэтому будем любить музыку. До свидания, господа.

Не успела щелкнуть задвижка, как Чугунов громко, вголос сказал: — Дурак.

Профессор испуганно замахал руками.

— «Господа». Никак не могу привыкнуть к этому слову, — заметил Федор, вспоминая Тоденгаузена.

— И не привыкайте, — ответил Чугунов. — Нет лучше слова «товарищ», как бы его ни профанировали сталинцы.

— В армии только в шутку говорят «господа офицеры».

— Ассоциация, наверно, не столько военная, сколько литературная, от Куприна, — поспешил сказать профессор, стараясь отвлечь Чугунова.

— А кому это вы хотите звонить? — спросил Федора полковник.

— Одному американскому капитану. Замечательный человек.

В комнате вдруг потемнело, все трое оглянулись на окно. За стеклом смеялось белозубое лицо Кости. Чугунов отодвинул задвижку, слегка приоткрыл окно.

— Господин полковник, — сказал Костя, оглядываясь, — в бараках приказано сломать перегородки между койками и не закрывать на ночь вторых дверей. Сняли телефоны. Свидания сегодня опять не дают.

— Как ты побрался?

— Так я ж вроде в штрафроте, на работу пригнали.

— Что народ?

— Волнуется, некоторые паникуют.

— Скажи, что завтра воскресенье: американцы отдыхают — завтра ничего быть не может.

— Да я им говорил. Ну, а как Федя? Кумпол зажил?

— В порядке, — ответил, подвигаясь к окну Федор. — Мы с тобой маху дали: записку с телефоном отдали. Отсюда можно было бы позвонить.

— Да ты что? Так давай — звони: Мюнхен, ГР 4-23-00.

— А ты откуда знаешь?

— Так я ж перед тем, как отдать, прочел? — засмеялся, блестя цыганскими глазами, Костя.

— Что ты говоришь! Постой, запишу.

— Господин полковник, что передать ребятам?

— Скажи, что вернусь завтра или послезавтра. И чтоб духом не падали. Устрой там что-нибудь для веселья.

— Есть, господин полковник. — Костя оглянулся. — Срываюсь, а то попка идет.

— Ну вот, — сказал Чугунов, пройдясь между коек. — Что вы на это скажете, высокоуважаемый Иван Иванович? А если приба-

вить факт двух грузовиков с резиновыми палками, привезенными на комендантский двор, то пахнет горячим, как говорит Костя.

— Причем здесь палки, Павел Петрович? Имущество, положенное, как говорит тот же Костя, всякому лагерю военнопленных.

— Нет, вы неисправимы, Иван Иванович! — отмахнулся Чугунов.

Профессор хотел ответить, но передумал и пошел к калмыку.

Чугунов снова спрашивал Федора, и снова Федор рассказывал, ловя себя на умолчаниях и усилениях, не желая огорчать полковника в его уверенности в переменах дома. Федору самому начало казаться, что он просто не заметил этих перемен, что армия на самом деле возвращалась из Европы некими декабристами, как сказал Чугунов. Слушая Чугунова, Федору было жалко, что Гитлер так глупо поступил с Власовым, хотя понимал, что те же власовцы могли убить и его, Федора, и Василия, и генерала. . .

Принесли обед, а вместе с обедом — по пять пачек немецкого табаку.

— Это еще что? Откуда такая щедрость?

— Вам, Павел Петрович, и здесь мерещится умысел, — тоненько засмеялся профессор. — Без табаку плохо и с табаком не так.

Полковник взглянул на профессора и не ответил.

По заведенному Чугуновым порядку, после обеда полагалось спать. Когда полковник снимал халат, Федор увидел у него под рубашкой не то образок, не то крестик. Это было так не похоже на Чугунова, что Федор уставился и глядел, пока тот не заметил. Чугунов молча полез за ворот, вытащил заношенную, потемневшую от пота тесемку и стал отвязывать. Узелок затянулся и отвязывать пришлось довольно долго. Федор смотрел и ждал.

— Ключ, — сказал Чугунов, протягивая бронзовую пластинку. — От московской квартиры моей.

Федор взял теплый ключ и стал рассматривать: обыкновенный ключ от английского замка — стертый, как старый пятак, с чернизной в пазах.

Чугунов лег, натянул одеяло до подбородка, вздохнул и сказал:

— Открыть бы им сейчас дверь, войти. . . — Федора, как в ледяную воду, бросило в жалость к этому большому, сильному человеку. — Вы вчера обмолвились строкой Пастернака. Вот у кого замечательно сказано об этом:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь. . .

За стеной, жалуюсь, завизжала пила. Что она пилит? День и ночь, день и ночь.

— А вы знаете, какое сегодня число? — продолжал Чугунов. — Двадцать третье февраля — День Красной армии. В Москве парад, приемы. . . — Федор увидел, как крепко полковник зажмурился.

— Да. . . — ответил Федор, сам вспоминая Берлин, комендатуру, дивизию.

Чугунов отвернулся к стене. Профессор уже спал, а может быть, притворился. Калмык все так же лежал с головой под одеялом.

П Л А Т Т Л И Н Г

Проснулся Федор от стука — по крыше хлопала оторвавшаяся доска. На дворе дул штормовой ветер. Дощатые стены гудели, где-то в щели посвистывало. От окна тянуло холодом. Вся комната, в полусвете далеких прожекторов, перекрещенная тенями оконных рам, казалась больше.

Стараясь никого не разбудить, Федор подтянулся и глянул в окно. За ночь выпала снежная крупа — земля лежала белая, тоскливая. Свет прожекторов был мертвее, бараки — ниже и безлюднее. Над входом крайнего барака размеренно подмигивал фонарь.

— Вы что не спите, Федор Николаевич? — услышал Федор шопот профессора.

— Стучит, вот. . . — так же шопотом ответил Федор.

— Ветер-то какой поднялся. . .

— Да. . .

— «Ветер, ветер, на всем белом свете. . .» — неожиданно громко раздался голос Чугунова.

— А вы почему не спите?

— Думаю, профессор, думаю. . . Вы молитесь, а я думаю — каждому свое.

— От молитвы, Павел Петрович, легче. . .

— Наверное. От мыслей тяжелее. — И, помолчав, полковник тихо, совсем по-другому сказал: — жизни, Иван Иванович, жалко.

Профессор не нашелся и стал закуривать. Федор тоже закурил. Один только калмык лежал, укрывшись с головой. О чем он думает? За все эти дни он не произнес ни звука.

— Сколько бы еще можно было сделать. . . — опять проговорил Чугунов.

— И сделаете, голубчик, Павел Петрович.

— Знаете, чем я сейчас занимался? Арифметикой. Да. Мне недавно исполнилось сорок шесть лет. Если бы мне дали десять, то

46 плюс 10 было бы только 56. А ведь в пятьдесят-то шесть лет еще многое можно было бы. . . — И как бы подводя черту под высказанным, прибавил: — Только Иосиф Кровавый мне десять не даст.

— Что с вами сегодня, Павел Петрович?

— Иосиф Кровавый мне десять не даст. . . — не слыша профессора, повторил Чугунов.

Где-то далеко, сквозь ветер, загудели автомобильные моторы — по дороге проходила автоколонна.

— А почему это отец Сергей вчера не служил? — меня разговор, спросил профессор.

— Не пустили отца Сергея — и все. Сегодня воскресенье — пусть, — ответил полковник. — А который час?

— Без двадцати шесть. Не нравиться вы мне нынче, Павел Петрович. Завтра вас в барак вернут, там гам, шум, заботы нахлынут. Отоспались бы.

— Стучит, как сказал Федор Николаевич. Помните, профессор, Уленшпигеля? «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Да и что спать, Иван Иванович? Поговорим лучше. В последний раз, наверно: вас в госпиталь, меня в барак. А завтра. . . Вот, вы в темноте молились, я и подумал: у профессора Бог, а у меня что? У меня вера в человека. Вы страх верой в Бога побеждаете, а я, я верой в него, в человека. Но мы с вами оба страх победили. И победим. Победим, Иван Иванович?

Профессор ответил не сразу:

— Должен вам сказать, Павел Петрович, и я думал о том же. О страхе. Вы напоминаете мне философов страха, только со знаком минус. Был такой — Киркегор. Тот категорию страха выдвигал, как необходимое условие истины, как основу человеческого совершенства и спасения.

— Слышал, Иван Иванович, слышал. Не верю я им, Иван Иванович. Ни человек не умрет, ни жизнь не умрет. Ведь, из них кто-то, кажется, Сартр, договорился до того, что жизнь наша, мол, не что иное, как авантюра, без единого шанса на успех. А вот я — обреченный на выдачу и смерть, обанкротившийся власовец, утверждаю — все это чистейшая чепуха! Старость — вот что это! Молодость никогда не верит, что умрет! И, знаете, Иван Иванович, даже у Сталина больше здоровья, чем у этих гавриков. Будь я на месте Сталина, я делал бы все, чтобы этот самый экзистенциализм распространить на весь Запад. И было бы это полной сталинской победой над Западом. Только нас, русских, этим не возьмешь. Не выйдет! У нас уже было: хлысты, «свобода полов», «долой стыд и позор». А что вышло? Дегтем на ворота — вот чем русская женщина ответила. Вцепилась в дитя свое, в семью свою и — отстояла. И страха у нее, у нашей женщины, намного меньше, чем у нас, мужчин. Вот у кого

надо учиться философии жизни, Иван Иванович. Женским терпением силен наш народ. Они, женщины, больше, чем мы на войне, спасли родину. И я в нее верю. В великое материнство на земле верю! Только оно, материнство, спасет человечество от человеческой выдумки. А не ваши европейские умники.

— Материнство, Павел Петрович, я понимаю, как любовь, а любовь — это Бог.

— Так и не так, Иван Иванович. Материнство — любовь деятельная, эгоистическая, земная. Любовь же Бога меня всегда пугает некоей абстрактностью, этаким, знаете, непротивлением злу.

— Христианская любовь, Павел Петрович. . . Не так вы ее понимаете.

— Может быть, может быть. . . Ведь я, Иван Иванович, двадцать четыре года был большевиком. Теперь я кающийся большевик. Помните кающихся дворян? Так вот я — кающийся большевик. И власовство мое было таким покаянием. Не от меня зависело, что оно вышло этаким Рудиным, да еще в стиле модерн. — Чугунов замолчал, молчал и профессор. — Сталина победить можно, но для этого надо быть хитрее, а, главное, здоровым и чистым. У вашей Европы нет здоровья. В нашем власовстве не было чистоты. Понимаете, к чему я веду? В христианстве есть большая чистота, а в материнстве — и чистота и здоровье.

Федор первым услышал непонятный гул. Где-то совсем рядом, сквозь ветер еще громче загудели десятки автомобильных моторов, послышались крики команды, свистки. Когда раздался топот многих ног, услышали и Чугунов с профессором. К окну вскочили втроем. Двор был полон солдат. Группами, по свисткам, они быстро расходились, окружая бараки. Все были вооружены, с резиновыми палками в руках. Вдоль забора стояли часовые.

— Вот оно. . . Началось, — задыхаясь, прохрипел в оконное стекло Чугунов.

Солдаты врываются в бараки и, подгоняя палками, выталкивали людей — в белье, в одеялах, многих босиком — на двор, на снежную крупу. Их отводили между бараками и там выстраивали. Истошно гудели десятки невидимых автомобилей. Люди кричали, но, как в немом кино, крика не было слышно.

Из офицерского барака вытащили какую-то фигуру в нижнем белье и тут же поставили лицом к стене.

— Пропагандист, поручик Милонов, — словно диктуя, сказал Чугунов.

Выволокли еще двоих. Один, в разорванной рубахе, отчаянно сопротивлялся, но солдат взмахнул палкой, и человек, как вдребезги пьяный, повис на руках у других солдат. На большой скорости к ним

подъехал «Виллис». Солдаты, торопясь, впихнули троих на заднее сиденье, автомобиль развернулся и помчался в сторону ворот.

— Вот вам гарантия и слово вашего генерала! — кричал вне себя, отбегая от окна, Чугунов.

Федор догадался: те двое были — Герой Советского Союза и казак, прибежавший из советского плена.

— Господи, не может быть! Господи, что же это такое? — шептал профессор, не отрываясь от выволакиваемых, выталкиваемых, босых, полураздетых.

Гудели моторы. Ветер, обезумев, налетал на выстроенных, рвал на них одеяла, полы шинелишек, дул в лица солдатам, словно желая помешать, не допустить.

Стало светать. Похудел свет прожекторов и фонарей. По белой земле носились какие-то бумажные листы.

— Господи, холодно ведь. . . Босые. . . — кого-то уговаривая, шептал профессор.

Чугунов упал спиной на койку и лежал бледный, с зажмуренными глазами. В рассветном свете он казался мертвым.

Потом погасли фонари, за ними прожектора. Земля у барачников превратилась в черную грязь. Только площадка за окном все еще была безукоризненно чистой. Из-за второго барака вывели шеренгу полураздетых и по одному стали загонять в барак.

— Павел Петрович, в бараки назад ведут! — кричал профессор.

Чугунов вскинулся к окну. В это время из следующего барака три солдата вынесли человека в брюках и нижней рубашке. На белой рубашке алел широкий галстук.

— Господи. . .

Чугунов бросился к двери и стал, что было силы, бить ногой в нижнюю филенку.

— Алло! Алло! Откройте! Немедленно откройте!

Профессор засеменил к полковнику.

— Павел Петрович, голубчик вы мой, остановитесь.

За дверью отозвался часовой.

— Откройте! Профессор, переводите! Я требую, чтобы меня немедленно вернули в барак! Как старосту барака!

— Павел Петрович, милый вы мой, чем вы поможете?

— Переводите! — зверяя, кричал Чугунов на профессора. — Они режутся там!

Профессор, повернувшись к двери, как на молитве, стал быстро переводить. Чугунов стоял рядом, одна нога его заметно дрожала.

— Успокойтесь, Павел Петрович, успокойтесь. . .

— Они не трусы! Они на смерть стояли! Под огнем, под бомбами! Они за родину умирали! Теперь перед встречей с родиной боятся насмерть!

— Павел Петрович, часовой сказал, что доложит.

Из третьего барака стали выводить одетых, с вещами. Подгоняли палками, прикладами, — загоняли в освободившийся барак. Странной была походка людей: сторбленные, едва передвигая ноги, даже от ударов не отклоняясь, они послушно шли, оглядываясь на тех, кто еще стоял под ветром в белье и одеялах.

На крышу офицерского барака вылезла фигура в американской форме с киноаппаратом и стала прицеливаться.

Федору показалось, что только что кончился уличный бой: выводят пленных немцев, суетятся младшие офицеры, проходят команды. Он только теперь увидел в конце дороги два танка с наведенными на бараки пушками.

В коридоре загромыхали шаги, стукнула задвижка, вошли лейтенант и два солдата. Следом — втиснулся сержант с вещами, тут же у порога он бросил их на пол. На солдатах висели гранаты, лица были красные, возбужденные, глаза смотрели растерянно. В комнате запахло водкой.

— Вы хотите в барак, господин полковник? — спросил лейтенант успешного лечь на койку Чугунова. — Там никого нет. Своих ребят вы увидите немного позже. Зачем же показывать темперамент и ломать дверь?

— Я хочу только помочь вам, господин лейтенант, — не вставая, неожиданно спокойно проговорил Чугунов. — Помочь делать ваше иудино дело.

Лейтенант постно поглядел на него, раскрыл папку и стал читать:

— Павел Чугунов, Иван Осьмеркин, Иван Багудов — приготовить. Одевайтесь. Федор Таневский остается здесь.

Больше всего Федора удивило, что калмыка звали так же, как профессора.

— Ну вот, Павел Петрович, значит вместе, — сказал профессор, как только вышли солдаты и лейтенант. Чугунов встал, взял профессора за плечи, оглянулся на Федора и улыбнулся. И была улыбка его необычна — по-человечески жалкая и всепрощающая.

— Ничего, Иван Иванович, надо было бы дать им бой, да не стоит рук марасть. Помните: тема революции, пережитой тобой, революции, изуродовавшей твою жизнь, требует сильного и сознательного напряжения. А теперь — поможем одеться Багудову. — Затем что-то вспомнив, подошел к Федору: — А вам, майор, на память я подарю вот это. — Он вытащил из-за ворота тесемку, рванул и подал Федору ключ. — Берегите, майор, ключ от нашего дома.

Чтобы не расплакаться, Федор отвернулся к окну. На дворе оченевшие люди прыгали, хлопали руками, как это делают извозчики, терли лица, уши. Из барakov все больше выводили одетых, с чемоданами, мешками. Их вели за бараки, где, видимо, шла погрузка.

На дорогу выехал грузовик. Федору опять показалось, что это приехал за пленными советский «Студебекер». Разница была, и не столько в американской форме охраны, сколько в торчащих из кузова подошвах — люди лежали на дне, вниз лицом.

Как только скрылся грузовик в сторону ворот, оттуда показался черный легковой автомобиль. «Начальство» — подумал Федор. Из крайнего барака вынесли окровавленного, и автомобиль, как бы желая рассмотреть, покотился к нему. Сидящий в автомобиле офицер спросил о чем-то солдат, один из них показал рукой прямо на окно Федора. Федор отвернулся.

Чугунов уже был одет. Профессор помогал калмыку. Немецкая форма делала их непохожими, чужими. Странно было глядеть Федору на нервное бровастое лицо Чугунова, на седенькую бородку и очки профессора в сочетании с формой, которая вызывала в памяти пленных, убитых у дорог, неприятельские фигурки, перебежавшие в бинокль. От охватившей его неловкости Федор опять отвернулся к окну.

Черный автомобиль, оставляя четкий след на снежной крупе, разворачивался перед окном, и Федор вдруг узнал в сидеке своего капитана — своего капитана.

— Капитан! — закричал он, не помня себя, выдавая и испуг, и страх от всего, что случилось. — Капитан! — Он стал бить кулаком по раме, потом схватил стеклянную пепельницу и мелко застучал по стеклу.

Услышал ли его капитан или оглянулся случайно, но он явно заметил жестикулирующего в окне Федора. Остановив автомобиль, вылез, захлопнул дверцу и пошел прямо к окну, оставляя за собой пунктир следов — и все в каком-то ровном, одинаковом ритме. Федор, ранив пальцы, сорвал задвижку и распахнул оконные створки. Холодный, сырой ветер, моторный рев, крики, окрики, свистки хлынули на него, но он ни холода не замечал, ни криков не слышал. Он видел, как никогда никого в жизни, одного капитана — на белом фоне площадки, ровно соединяющего автомобиль с окном пунктиром следов. Когда стали видны глаза — светлые, опять спрашивающие — ну, что? — Федор замолчал и только смотрел — уже на одни приближавшиеся глаза.

— Это что за помещение? — разглядывая забинтованную голову Федора, спросил подойдя капитан.

Федор не сразу нашелся — забыл, что говорить надо по-немецки.

- Лазарет.
- Вы больны?
- Голова... Ударили.

Капитан заглянул через подоконник.

- Что вы здесь сказали о себе?
- Я дал им справку УНРРА, русский из Эстонии.
- Ол райт. Я увижу вас. Закройте окно.

Когда капитан сел в автомобиль, Федор услышал за спиной тишину. Профессор сидел рядом с калмыком на койке, Чугунов стоял выпрямившись, и все трое глядели на Федора.

— Это... это мой знакомый... Капитан американский... Он придет... Я ему скажу... Он непременно... Он понимает...

Первым ожидание чуда пропало в глазах Чугунова. Он застегнул воротник, поправил пояс. Потом и профессор отвернулся и принялся надевать на Багудова шинель. Никто ничего не сказал.

— Правда, он... Он сделает все...

Но они даже не обернулись.

Капитан пришел с сержантом. Чугунов и калмык были уже готовы, профессор натягивал сапог. Капитан показал на Федора и что-то сказал сержанту.

— Йес, сэр, — ответил сержант и быстро заговорил, по очереди оглядывая калмыка, профессора, Чугунова.

Чугунов сел на койку спиной к американцам, будто их не было. Федор ждал, что капитан заговорит с ним, но тот даже не взглянул на него. Как только капитан и сержант вышли, профессор в одном сапоге, припадая на босую ногу, подбежал к Федору.

— За Павла Петровича просите, за Павла Петровича... Меня и Багудова отправляют в Фильцгофен, в госпиталь, а его...

— Перестаньте, профессор, — не оборачиваясь, сказал Чугунов. — Что он про Федора Николаевича сказал?

— Приказал одежду принести, с собой, кажется, забирает.

— Очень хорошо. — Чугунов потянулся, поглядел в окно. — Видите, Иван Иванович, зачем им это, как вы изволите назвать, лагерное имущество — резиновые дубинки, понадобились? Врали все. Давно решено было. Как по расписанию действуют. А этот сукин сын просил машинку «Бородино» перепечатать, а сам прокламации печатал, видите, сколько накидал...

Капитан вернулся с одеждой Федора.

— Одевайтесь.

Федор принялся одеваться, как по тревоге. Натягивая брюки, заметил на столике ключ Чугунова. Торопливо положил в карман.

— Вот ваша справка, — капитан протянул Федору кельнскую справку.

Справку Федор положил в другой карман.

Несколько минут он одевался при общем молчании. Никто на него не смотрел, он чувствовал почти стыд — «радуешься, людей на смерть... бежишь...»

— Вы кто? — вдруг спросил капитан профессора.

— Профессор истории, Иван Осьмеркин, — ответил тот по-английски. — А это коновод Иван Багузов. А это, сэр, замечательный человек, полковник Павел Чугунов. Редкой души человек, сэр, прошу вас обратить внимание... .

— Кем был полковник в советской России?

— Крупным партийным работником в Москве. Во время войны — комиссаром дивизии, защищал Одессу, Севастополь, Сталинград. В Сталинграде попал в плен. Потом стал близким сотрудником Власова — борцом за освобождение родины от тирании... . Теперь... . хотят выдать сталинцам. Это... . это вопиющее попрание права и христианства, сэр. Мы с вами христиане, сэр... .

— Вы хорошо говорите по-английски, господин профессор. Вы слышали, что мне сказал сержант?

— Да, сэр. Поэтому я и осмеливаюсь просить вас как-нибудь помочь полковнику Чугунову. Во имя справедливости, во имя Бога... .

Пришел сержант с двумя солдатами. Они стали укладывать Багузова на носилки. Профессор потерянно забегал по комнате, не решаясь подойти к Чугунову. Но потом подошел и, смахивая слезы, чуть слышно проговорил:

— Павел Петрович, простите меня, голубчик... . Дай вам Бог... .

Чугунов обнял его, крепко, по-мужски поцеловал, но слова сказать не смог. Никто не обратил внимания на Багузова на носилках. Повернув голову, он пристально смотрел на Чугунова, а когда солдаты носилки подняли, протянул руку и похожим на клекот голосом, при общем молчании, сказал:

— Бывай... . здоров... . хороший человек... .

И то, что он впервые заговорил, и то, как сказал это, словно толкнуло Федора.

— Будь здоров, Багузов, — срывающимся голосом ответил Чугунов.

Больше всего Федор боялся сейчас прощания. Но о нем забыли.

— Что сказал этот человек на носилках? — подошел к Федору капитан.

Федор негромко пересказал.

— Что вы думаете о полковнике?

— Он на самом деле замечательный человек... Если бы ему можно было помочь...

Дверь вдруг хлопнула, и по наступившей тишине Федор понял, что с профессором и Багудовым кончено. Чугунов сидел на койке калмыка, обмякший, ссутулившийся.

— Он понимает по-немецки? — тихо спросил капитан.

— Да, капитан, я говорю по-немецки, — не поднимая лица, ответил Чугунов.

Капитан прошел к двери, выглянул в коридор, к чему-то прислушался, потом осторожно прикрыл дверь и сказал:

— Я попытаюсь вас вывезти отсюда, полковник.

Федору показалось, что он ослышался. Он смотрел на капитана и не узнавал. Капитан был взволнован.

— Вы сейчас выйдете за мной — в помещении никого не осталось, все там, — он кивнул в сторону окна. — Впрочем, я лучше выйду и проверю. Как только я вернусь, вы идите за мной, шагах в трех-четыре, на всякий случай. Мой автомобиль стоит у крыльца. Я отпущу багажник и пойду к мотору. Сразу лезьте в багажник. Я запрю. Сидите там, что бы ни случилось. Если в это время придут солдаты, — он обернулся к Федору, — вы, Федор, скажете, что приходил сержант и полковника Чугунова увел.

Капитан вышел. Он назвал его по имени — Федор скорее угадал, чем понял, что произошло с капитаном. Чугунов встал, тут же сел, снова встал, обошел комнату.

— Чортов инстинкт! — задыхаясь, радостным шопотом проговорил он, беря Федора за локоть. — Шанс жить, как сказал бы Костя.

Дверь открылась, капитан махнул Чугунову. Полковник решительно пошел, но на пороге обернулся и подмигнул Федору.

— «Боже, помоги! Помоги!» — твердил про себя Федор, удерживая дрожь.

Капитан вернулся так скоро, что Федор испугался.

— Ол райт. А теперь покурим. — Федор увидел знакомую трубку. — Нам лучше переждать. Лагерь оцеплен. Все дороги контролируются.

— Но могут хватиться...

— Посмотрим. Как ваша голова?

— Я совсем забыл про нее. Я хочу вам сказать, что вы... Боб, замечательный человек...

— Вы оптимист, Федор: я замечательный, полковник замечатель-

ный, профессор тоже, ведь, замечательный? А? — Он засмеялся, но потом серьезно сказал: — Нет, Федор, я — американец и человек — должен хоть чем-нибудь исправить то, что я видел здесь и там, на станции. И что видел в других местах...

Его перебил стук в дверь. В комнату ввалились два солдата. Увидев офицера, они замялись у двери.

— Что вам нужно?

— Сэр, нас послали за полковником, — сказал один, заглядывая в бумажку. — Чуджунов.

— Полковника уже увели.

— Увели? Кто?

— Не знаю, меня здесь не было.

Солдат осмотрел Федора, но по гражданскому платью принял его за американца.

— Извините, сэр. Такая неразбериха — ничего не понять. Нам приказали отконвоировать полковника отдельно. Ничего не понимаю. Извините, сэр.

— Итс ол райт, сержант.

Федор изо всех сил старался понять, о чем они говорили; увидев, что солдаты уходят, поверил, что все обошлось.

Капитан поглядел в окно, о чем-то подумал и сказал:

— Нам лучше ехать. Из лагеря выедем, а там, в крайнем случае, полковник где-нибудь спрячется.

Над лагерем стоял стон. Где-то за бараками кричали, как кричат раненые в полевых лазаретах. У центральных ворот стоял грузовик. Кто-то в кузове высоко, не по-человечески вопил. Сидевший на скамье солдат взмахнул палкой, и вопль оборвался.

У ворот их остановил лейтенант с повязкой. Капитан показал книжечку удостоверения и какую-то бумажку. Лейтенант оглядел Федора, заглянул на заднее сиденье, обошел автомобиль. Когда он задергал ручкой багажника, Федор даже дышать перестал. Капитан сидел с лицом невозмутимым, только зрачки стали узкими. Лейтенант дал знак часовому, и тот замахал большим пальцем — проезжать.

Вдоль дороги стояли патрули и «Виллисы». У перекрестка — танк. Недалеко от лагеря толпилась кучка женщин. Они перебежали, солдаты отгоняли их. По платкам, завязанным под подбородками, по сапогам на высоких каблуках Федор догадался, что это были жены и подруги тех, кого вывезли, и тех, кто еще оставался в лагере.

На втором перекрестке их остановил патруль. Пока капитан предъявлял документы, мимо проехал грузовик. Снизу, из кузова, на грязь дороги что-то капало. Две капли упали на валяющуюся бу-

магу и ярко заалели, пока ехавшая следом санитарная машина не вмяла бумагу в грязь.

По всей дороге и по обочинам валялись бумаги, вещи, книжки, фотографии.

— Выбрасывают, — сказал Федор.

— Зачем?

— Боятся. Без документов постараются выдать себя за других.

Капитан затормозил, вылез и что-то поднял. Передал Федору — это был почтовый конверт с письмом и фотографией. С карточки смеялась молодая женщина в украинской блузке. На руках у женщины сидел удивленный годовалый мальчик, рядом стояла девочка с косичками. На обороте надпись: «Папке на память — чтоб скорей домой возвращался. Харьков. Июль, 1941 год». Письмо промокло. Федор стал переводить: «... трудно. Местные жители — ташкентцы, хотя и жалеют, но у них самих голодно. Я целый день на фабрике. Поля нянчит Митю. Последнее письмо от тебя пришло в ноябре. Милый мой Ваня, ты по нас не убивайся, береги себя. Проклятая война, сколько . . .» — дальше не разобрать.

Капитан опять затормозил и показал рукой на обочину со стороны Федора. Там валялся раскрытый чемоданчик — какая-то одежда, газеты, толстая книга в сером переплете, зеркальце — круглый кусочек неба. Федор открыл дверцу и, наклонясь, достал книгу. «Русско-английский словарь». Между страниц закладки, заметки. Учил английский. Готовился жить. И сам выбросил. Капитан взял книгу, положил рядом на сиденье: книга для капитана была чем-то более значительным, чем словарь — так собирает улики следователь.

Въехали в городок. Улицы к вокзалу охранялись. Из окон глядели испуганные лица обывателей. Площадь у товарной платформы была оцеплена. Капитан поставил автомобиль у тротуара и пошел к старшему офицеру разузнать про выезд из города.

Вдоль платформы стоял большой состав из четырехосных вагонов. Четыре вагона были заперты. Оттуда неслись вопли и крики. Остальные вагоны были открыты: Федор увидел свежие деревянные решетки, делившие вагон на две части с проходом посередине. Вот что день и ночь пилила за комендатурой циркулярная пила!

На площадь на большой скорости, один за другим, въехали два грузовика. Развернувшись, подкатили кузовами к дверям вагонов. Солдаты принялись поднимать людей и загонять в вагоны. Из второго грузовика вытащили окровавленного, видимо, без памяти, и кинули, как труп. Справа, за забором, кто-то истерически закричал. Федор увидел двух немцев с бинтами и ватой. Они выскочили из калитки, но солдаты оттеснили их назад. Только тогда Федор увидел на окружающих крышах и заборах немцев. Они, как и американцы,

молча смотрели на площадь. Происходившее там, как стихийное бедствие, как наводнение, пожар, тянуло взгляды потрясенных людей.

Еще не окончилась разгрузка грузовиков, как подъехали два других. Они остановились рядом. Федор не сразу понял, что это значило: в одном грузовике пели. Это было так неожиданно, что немцы за забором стали перебегать поближе, американские солдаты с испугом смотрели на грузовик. Подошел какой-то офицер и крикнул солдату охраны, сидевшему с краю грузовика. Тот зло оглянулся, махнул рукой и, видимо, пустил крепкое американское слово. Песня была русская, но Федору незнакомая. Запевал молодой, сильный голос:

... Поведут нас всех огулом,
Отдадут команду: пли!
Чур, не хныкать перед дулом,
Не лизать у ног земли.

Припев подхватывали всем кузовом:

Эх, доля-неволя, глухая тюрьма.
Долина, осина, могила темна.

У Федора повело по спине. Голос стал опять запевать. И Федор вдруг узнал — тот, что тогда у лазарета, — голос Кости. Костя! — захотелось крикнуть ему, но тут же вспомнил про Чугунова в багажнике — тот мог крикнуть, — ведь там пели его ребята.

Не к лицу нам покаянье,
Не пугает нас огонь.
Мы бессмертны! До свиданья!
Трупом пахнет самогон.

Эх, доля-неволя, глухая тюрьма.
Долина, осина, могила темна.

Место у вагонов освободилось, и грузовик с припевом поехал к платформе. Вдоль эшелона забежали солдаты. Грузовик оцепили кольцом. Песня перепугала. Со стороны паровоза показался советский офицер. Федор даже назад подался. Офицер подошел к стоящему в стороне американскому офицеру и, смеясь, протянул тому руку. Американец отвернулся, сделав вид, что руки не заметил.

— Что они поют? — услышал Федор голос вернувшегося капитана.

Федор стал переводить слова песни. Его трясло. Капитан слушал, крепко держась за руль. Из другой улицы на площадь въехал закрытый автомобиль с большими радиорепродукторами на крыше. Не успел он остановиться, как из репродукторов раздались джазовые звуки фокстрота — заглушая крики, песню, плач.

Капитан стукнул кулаком по рулю и зло закрутил, выезжая на дорогу. Свернули в ближайшую боковую улицу.

— Надо получать пропуск в комендатуре, — и без связи с этим, чему-то отвечая, добавил: — Солдатам сказали, что военные преступники собираются бунтовать. Солдат есть солдат... Выдали виски...

У здания комендатуры с колоннадой, с американским флагом на крыше, стоял грузовик. В кузове сидели и лежали люди в немецкой форме. Почти все были наспех забинтованные. У некоторых на бинтах — кровь. В одном из лежащих Федор узнал Багудова. С самого края сидел, качаясь, большой бородатый человек. Он смотрел невидящими, очень светлыми глазами вверх толпившихся на тротуаре немцев и однотонно выкрикивал: «Мама, горит... Мама, горит...» Никто его не понимал, а кто понимал — не знал, что горит. Душа ли его, мысли, воспоминания? Женщины плакали. Кто-то в толпе выкрикнул:

— Майн Готт! Теперь это не Платтлинг, а Блютлинг!

Из парадного комендатуры вышли старичок и солдат. Федор чуть не закричал:

— Профессор! Боб, это профессор.

Капитан вылез и стал на дороге профессора. Тот посмотрел сквозь очки и узнал:

— Сэр, вы видите! Вы видите, сэр! Это торжество зла, — голова профессора тряслась.

— Куда вас везут?

— В больницу. Одиннадцать человек: кто порезался с самого начала... Багудов, вот доктор Быстролетов... Трое... трое резались, сэр, одним ножом. А этот, — он показал на бородатого, — сошел с ума. Торжество зла, сэр... Подобно распятию Христа... Вы, сэр, как те римские воины, помогавшие распинать Спасителя... — профессор говорил как в бреду. — Но кровь, сэр, она не пропадет даром. Через нее познаете зло... Мы православные, мы прощаем не ведающим, что творят, сэр...

Сопровождавший солдат испуганно глядел то на профессора, то на капитана. Было видно, что солдату страшно от слов профессора.

— Мама, горит... — тоскливо выкрикнул безумный. Профессор оглянулся и, семеня, пошел к грузовику. Солдат помог ему влезть. Капитан побежал по ступенькам в здание.

Что думал сейчас Чугунов? Что думают те, что уже загнаны в вагоны? Федор представил себя на их месте и почувствовал весь хаос страха, надежд, отчаяния, безнадежности тысяч людей, заброшенных центробежной силой событий из далеких донских станиц, си-

бирских деревень, заводских поселков Урала в этот маленький баварский городок.

— Мама, горит!.. Мама, горит!.. — тоскливо кричал сумасшедший.

Федор оглянулся на здание. В холодном небе рвался звездный флаг. Федору показалось, что флаг старался сорваться с древка и улететь, и что это имело отношение к происходившему в бараках, на станции, в грузовиках, в вагонах и к тому, что в автомобиле сидел он, а в багажнике лежал Чугунов, и к Бобу там, в комендатуре.

ПОПЫТКА ВЕРНУТЬ СВОЕ «ВЧЕРА»

Капитан оставил их в деревне под Нюрнбергом. Зобатая, пучеглазая хозяйка пансиона отвела им лучшую угловую комнату на втором этаже: американская форма капитана ее напугала, а несколько долларов заставили думать, что Чугунов и Федор нужные американцам персоны. По дороге из Платтлинга — Чугунов так и лежал в багажнике — капитан купил для него комбинезон и куртку. Переделался Чугунов в лесу.

Капитан уехал, пообещав вернуться на следующий день и перевезти их куда-то под Вюрцбург.

Пообедав, они пробовали уснуть. Но реакция на пережитое уснуть не давала. Федор лежал, разглядывая чужую комнату, и все прислушивался к проезжавшим автомобилям. Чугунов ходил и не переставая говорил:

— Косте бы песенку о шофере! Вы понимаете, что надо было бы? С самого начала грянуть по баракам «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела» — никто не резался бы. Я на фронте это не раз пробовал — песней можно организовать народ...

— В Дахау люди молились и все равно резались, — нехотя возразил Федор, разглядывая коврик над кроватью. На коврике бежал, преследуемый охотниками в шляпах, олень. Одна стрела торчала в предсмертно изогнутой шее оленя. Олений глаз тоскливо смотрел на Федора, спрашивая — «за что?».

— Молитва очищает, конечно, но и расслабляет. Да наши и молить не знают. Правда, американцы и этого боялись — отца Сергия не пустили не случайно. — Чугунов остановился и тоже посмотрел на оленя, а потом устало проговорил: — Лучшие наши намерения только несчастье навлекли на молодежь. — И словно оправдываясь перед Федором или оленьим глазом, добавил: — Ведь я не бежал до этого, потому что ребят не мог оставить... Но теперь я бежать обязан! — И горячась, уже одному Федору: — Чтобы дома про них узнали! Это долг! Вы сами говорили: народ даже манифеста не

знает. Значит, я обязан бежать! Не дать Иосифу Кровавому замолчать нас! Не дать страху убить идею освобождения! Это значит — не давать ходу страху. Вы понимаете? Это моя программа. Чем больше нас уцелеет — тем хуже для Сталина.

Федору вдруг показалось: а не тронулся ли Чугунов? Все страх, страх, как навязчивая идея.

— Я вам говорил, что капитан понимает и поможет...

— Что капитан! Храбрый и хороший... А что делают его демократические соотечественники? Видели?

— Он и теперь нам поможет, — защищая Боба, сказал Федор. Чугунов сел на кровать рядом с Федором.

— Послушай, Федя, я старше и опытней тебя. Капитан парень хороший, он, наверно, понимает, а, может, у него свои планы на нас... Но все равно, скажем ему спасибо, а сами двинемся...

— Куда?

— Домой.

Федор даже приподнялся:

— То-есть как домой?

— Да, Федя, — домой, на родину.

— Да вы что, Павел Петрович? Вы понимаете, что вы говорите?

— Да, да, Федя. Родина зовет. Не так, как об этом говорят посланцы Иосифа Кровавого, а так, как душа твоя говорит. Ты прислушайся. Ведь там твои друзья, твои близкие, сестра, которой ты нужен... Там все, что зовется отчизной, Федя.

Федор отодвинулся к стенке и с испугом глядел на исступленное лицо Чугунова.

— Да вы что, Павел Петрович? Ведь, это самому в петлю лезть!

— Нет, Федя, нет, мой молодой друг. Человеку, познавшему то, что мы сегодня видели, все возможно. Здесь тебя предавали вчера, сегодня, предадут и завтра. Предадут и выдадут. Но даже если ты спрячешься, забьешься, как клоп, в глухую щель, разве для этого ты собирался жить? Я четыре года здесь прожил, я знаю, Федя... Это чужое небо, эту чужую землю, чужие глаза, чужие вещи...

— А там и дышать нечем, не только... Там жизнь чужая!

— Нет, Федя, нет! Я сторожем на бахчу пойду, дни и ночи просто в небо — в **свое** небо — смотреть буду. Песни наши слушать буду, с людьми — своими, родными мне — разговаривать буду. И ты их поймешь, и они тебя поймут. Знаешь, как в старину странники по Руси ходили, вот так и я — отпущу бороду, возьму палку, узелок и пойду по земле...

— Вас на первой же дороге схватят и в лагерь, — Федор усмехнулся: — за нарушение паспортного режима и прописки.

— Не так-то просто, Федя. Это со страху кажется. Люди кругом свои, а порядки наши я вон как знаю. У меня друзья есть: крупные

партийные работники, фронтовые товарищи, однополчане, — они помогут. Здесь тебя на самом деле на первом углу схватят. Мало с тебя Платтлинга? Мало тебе Тоденгаузена? Куда пойдешь? К кому притулишься? Может быть, в иностранный легион сбежишь? Сложить голову в Сахаре или джунглях Индокитая? А жить-то, жить-то чем будешь?

— А там чем жить? Очередными постановлениями «партии и правительства»? Очередными авралами? Нет уж, благодарю покорно.

— Дома чем жить? Бороться, Федя. За себя, за близких своих, за народ свой. Ведь не боролись со страху. А без страху будут! Еще как будут! Ты бежал, потому что заставляли жить по указке, ты долго еще будешь бегать, если не поймают. А кончится побег, оглянешься ты и станешь втупик с вопросом: «ради чего жить?»

— Не надо мне никаких вопросов! Хватит с меня! Жить хочу, чтобы просто жить — и все! Чтобы не бояться! Чтобы радоваться тому, что живу!

— Эх, Федя, так ли это? Жить «без вопросов» мы не можем. Русские такими уже выросли. Здесь к этому не скоро придут. Ну, скажем, станешь ты немцем — разве ты сможешь жить для «Великой Германии»? Станешь англичанином, американцем — так ведь только так, формально, а по-настоящему они тебя и не примут к себе. Прости за цитату, но в ней большая правда — Достоевский сказал: «Быть русским значит быть всечеловеком...». Это заложено в нас и никуда не денешься. А такой ты никому здесь не нужен.

— Оставьте! Бороться, бороться... Здесь тоже можно бороться. А вот дома с вашим Иосифом не поборешься. Вся надежда на Запад, на Америку. Вот и надо вправлять мозги Западу.

— Мозги им вправит — рано или поздно — сам Сталин. А бороться надо дома — на передовой. Наш народ, Федя, на революцию надеялся — революция обманула его; на Запад надеялся, на войну, но и Запад и война обманули его. Германия, ведь, для нас была Западом, Федя. На что ж теперь народу надеяться? Только на себя. Это логика надежды. И эту надежду надо нести в народ. Помогать ей. А это опять же значит — не допускать возврата страха, убивающего надежду. Это наш долг, тех, кто освободился от страха. Вот почему я пойду домой, Федя. Освобождение от страха — это ключ от нашего запертого дома, Федя.

— Не верю я в это, Павел Петрович! — защищаясь, выкрикнул Федор. — Сталин опять навалил на людей тонны вашего страха. Преувеличиваете вы это самое освобождение от страха во время войны. Вас в плен в сорок втором взяли, а видели бы, как потом трибуналы шлепали солдат и офицеров! Видели бы вы, что делал СМЕРШ, заградотряды! Вы отступали, а мы наступали. В наступление гнали тем же страхом: сзади заградотряд — верная смерть, а

вперед, может, в живых останешься. В плен не сдавались, знали, что плен — та же смерть.

Чугунов сбоку смотрел на Федора чужими, непринимаящими глазами.

— Да ведь, по-вашему, опять все свернет на ту же революцию, а она, как вы сами говорите, обманула народ.

— Молоды вы еще, Федя, — вдруг сказал Чугунов, переходя на «вы». — До войны вы вряд ли побежали бы сюда. А теперь бежали.

— Попал за границу, вот и убежал. Из Советского Союза и сегодня не рискнул бы.

— Нет, не только это. Я за полтора года войны насмотрелся: и на генералов, и на комиссаров, и на солдат. Они мне — замполиту — в глаза говорили такое...

— Это первое время, потом языки прикусили, а после войны при одном имени Сталина — по стойке смирно становятся.

— Ну, а женщина?

— Что женщина?

— Она как, боится?

Федор вспомнил Наталью Николаевну, Катю, Соню, сестер санбата, регулировщиц...

— А что они могут? Они и до войны в очередях ругали Сталина. Больше того — бабьи бунты в деревнях поднимали. А мужчины на печках прятались.

— Вот тут-то оно и есть, Федя. Теперь мужчины, пройдя войну, прятаться не будут. Время коллективизации, ежовщины, когда как овцы шли в лагеря, — прошло. У людей сознание победителей, защитников родины, защитников той же жены и матери. Мужчина на фронте за них насмерть стоял, а не страх, Федя. Русская женщина доказала, что она сильней Сталина и сильнее страха. Она и бомбежки легче переносила, чем иные солдаты. Материнство — вот ее сила. Среди женщин и сумасшедших меньше, и боль переносит она легче. А страх — это, ведь, болезнь. Верь в нее — русскую женщину, Федя. В великое материнство верь. Тургеневская воробиха — вот символ подвига и силы его.

— Так вы, что же, революцию женщинами сделать хотите? Материнством Сталина сбросить?

— Важно, что Сталин его боится, Федя. Теперь надо только не давать Сталину страхом снова мужчин подмять.

— Туманно это все для меня. Может, мне и плохо здесь будет, но корабли свои я сжег.

— Ничего ты не сжег! Просто дома по молодости не разглядел смысла. «Большое видится на расстоянии», Федя. Был один, как все, а теперь нас двое. А там у тебя друзья, у меня... Ты только подумай...

— Нет уж, Павел Петрович. Вы говорите, что здесь плохо, но в этом вы сами убедились, а я не верю — русский человек сам пощупать любит.

Чугунов закурил. Затянулся.

— Был у меня минер один. Однажды пощупал так вот мину и... все. Страх в вас силен, тот самый, советский...

— Да, и страх! Я с ума пока не сошел на верную смерть идти. В дверь постучали. Федор испуганно обернулся.

— Герр Таневский, — сказал за дверью голос хозяйки, — вас к телефону.

— Наверно, Боб, — обрадованно вскочил Федор и стал натягивать сапоги.

Телефон был внизу, в конторке.

— Алло, Теодор?

— Я! Алло! Я слушаю!

— У меня неприятности, — сказал на краю света капитан. — Через полчаса улетаю в Париж...

— Как?

— Неприятности. Уезжаю. Вы меня не ждите и сейчас же уезжайте тоже. Вы меня понимаете?

— Я... понимаю... — ответил не своим голосом Федор.

— Немедленно. Я, если вернусь, то не скоро. Понимаете? Желая удачи. Напишите мне в Мюнхен до востребования. Понимаете? До свидания! — В трубке щелкнуло, и Федор услышал какую-то радиомузыку.

Он с трудом поднялся со стула и не сразу понял, что говорила ему хозяйка. Она стояла в дверях и протягивала ему газету.

— Герр Таневский, может быть, вы хотите посмотреть последние газеты?

Федор взял газеты и, не поблагодарив, пошел наверх.

— Капитан? — встретил его Чугунов.

— Да... — Федор сел у стола и только теперь увидел, что на дворе темно и льет дождь.

— Что случилось?

— Дознались. У него неприятности. Звонил, кажется, с аэродрома... Улетает в Париж... Нам надо бежать...

— Что?!

— Два раза повторил, чтобы уезжали немедленно.

— Вот это некстати. Наверно, про меня узнали. — Чугунов энергично прошелся. — А, может быть, развязаться решил?

— Он не стал бы врать... После всего...

— Пожалуй, вы правы. Да и вас он забрал из Платтлинга не имея права, наверно.

— Не знаю... — Федор вдруг необычайно ясно вспомнил, что вот так же он сидел за столом в своей берлинской квартире, когда

прочел записку Кати. Тогда в комнате была Инга, а теперь Чугунов. Даже комнаты были чем-то похожи.

— Вот видишь? Так все силы и будут уходить на убегание. Те не успокоятся, пока не затравят. А выдадут — ни себя не спасешь, ни сестру, никого.

— Ради Бога, перестаньте, Павел Петрович! — Федор посмотрел на черное окно — по стеклам, серебрясь от света лампы, текли дождевые струи. — Дождь какой... Куда же мы пойдем?

— Идти некуда, Федя. Но уходить надо.

Федор дотоптался до кровати, лег, отвернулся к стене. Что же делать? Что теперь делать? Капитана не было. Справка на Таневского... Полиции, наверно, дали знать. В книге пансиона записано «Таневский». Уходить надо немедленно. Но приметы... Денег нет. Жить не на что... Чугунов уйдет... Один. Куда?

По окну дробно прошумело ветряной капелью. На диване Чугунов шуршал газетами. Поймают обязательно... А тогда...

— Вот послушай, Федя, — окликнул Федора Чугунов, показывая газету. — Прочти вот тут.

Федор подумал, что о них что-нибудь напечатано, о побеге, но Чугунов прочел:

«Заседание Сессии Объединенных Наций... Советский делегат Арутюнян заявил: «Все дело помощи беженцам должно быть организовано на чисто гуманитарных основах, исключая возможность использования беженцев в политических, антидемократических целях»...»

«Первая задача в деле организации помощи — прекратить помощь предателям и военным преступникам, скрывающимся под видом беженцев... Истинный гуманизм заключается в том, чтобы воздать должное предателям и военным преступникам, наказать их, как требует справедливость. Основная задача в деле помощи беженцам заключается в том, чтобы помочь им вернуться на родину. Организация Объединенных Наций не может превратить институт беженцев в постоянно действующий. Не могут существовать вечные беженцы.»

Чугунов поглядел на Федора и усмехнулся:

— Слушай дальше:

«Те беженцы, которые не хотят вернуться на прежнее место жительства, должны получить содействие в скором устройстве на месте с согласия правительства страны, гражданами которой они являются...»

«В состав обслуживающего персонала лагерей привлечь в первую очередь представителей заинтересованных государств, гражданами которых являются беженцы.»

«Содействие заинтересованным странам в проведении совместных мероприятий по репатриации беженцев на родину.»

После каждого параграфа Чугунов смотрел на Федора и зло усмехался, словно это было не выступление советского делегата Арутюняна, а Федора.

— Но это еще не все. Тут жена президента Рузвельта выступала. Послушай:

«Никто из нас не будет возражать против того, чтобы лица, активно действовавшие против своих стран, были возвращены туда и наказаны». Ну, что теперь скажешь?

Федор отвернулся к стене.

— Пойдем домой, Федя, пойдем, милый. Увидишь, все будет хорошо. Никто и не узнает, что ты был здесь, — демобилизовался и все. Два месяца, мол, ездил в поисках работы.

Федор подумал о пакете с демобилизационными документами — пакет остался в Берлине, у Карла, в гараже. С документами, конечно, можно выехать в Союз законно. . . если что, можно сказать, что пьянствовал с горя. . . Но тут же все внутри него отмахнулось и запротестовало: возвращаться? После всего, что было? После того, как выбрался далеко за черту границы? С ума сошел! Федор чувствовал на себе взгляд Чугунова и словно отвечал ему: — Нет, я с ума не сошел еще! Пусть Иностранный Легион, пусть Африка, пусть Индокитай — хоть к чорту на кулички, но не назад! Но снова навалились безжалостные мысли о звонке капитана, о безденежье, о фальшивой справке; он ясно увидел, как бросили того, окровавленного, в вагон, вспомнил профессора — «одним ножом резались» — и опять бессильно забилась внутри безвыходность: поймают, обязательно поймают и выдадут. . . Увидал себя со стороны, выдаваемого на границе, потом колючие, ледяные глаза Колчина, Делягина и всех тех, кто будет допрашивать, и тех, кто поведет в подвал. Собственно, он не знал, как расстреливают, но всегда представлял себе, что ведут в бетонный подвал и там стреляют в затылок. Что же делать? Господи, что же делать?

Чугунов сидел на диване и переобувался. Заметив, что Федор обернулся, он поднял налившееся кровью лицо и, глядя насмешливыми, блестящими глазами, спросил:

— Ну, как?

— Не знаю, не знаю я, Павел Петрович.

Чугунов пересел к Федору, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, заговорил:

— Ты же не маленький. Они, — он показал на газеты, — своего добьются. Если уж жена президента, — а она умный и, видимо, не

плохой человек, — если она вынуждена говорить так, то будь уверен — товарищи демократы не устоят, всех выдадут. А мы с тобой возьмем и обманем и тех, и других — сами вернемся. Ты мне не веришь? Ведь, они — сталинцы — вон как, — он опять показал на газеты, — боятся нас, невыданных и ненаказанных. . .

Чугунов сказал, что двинется в путь перед полночью. Он сходил вниз в конторку, где висела карта Баварии, и зарисовал нужные дороги к границе. Федор все лежал и думал — и о безнадежности своего положения, и о гибельности возвращения. Страшно разболелась голова, он не мог даже прислушиваться к проезжавшим автомобилям.

Когда внизу пробило одиннадцать, Чугунов выложил свой последний аргумент:

— Ну хорошо, если ты так боишься, то я на твоём бы месте все-таки уходил отсюда, а так как уходить некуда, то ушел бы в советскую зону. Здесь тебя поймают обязательно, поймают и выдадут. Советскую же зону ты знаешь хорошо. Там у тебя друзья, знакомые. Снесешься с ними, где-нибудь отсидишься, обдумаешь все, посоветуешься. . .

Головная боль мешала Федору, но, слушая Чугунова, он вспомнил Василия, генеральшу, Карла, Катю. . . Мысль о Кате переборола.

Из пансиона они вышли незамеченными. Дождь еще шел, но мелкий, холодный. Сразу же свернули в темный переулок и скоро вышли к лесу. Пошли в темноте по опушке, держась дороги.

Через час дошли до какого-то городка. Улицы лежали в черных развалинах. Городок был похож на разложившийся, затем замерзший, а теперь лежащий под весенним дождиком, труп какого-то огромного животного.

Небо плакало мелкими старушечьими слезами. О чем оно? Кого оно оплакивает? Федор шел за Чугуновым, занятый одной мыслью о невидимой черте границы. Ему все казалось, что что-то непременно произойдет и переходить границу ему не надо будет.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА



Я — первый серый щебет,
Зажженная скала,
И мне навстречу — в небе —
Два розовых крыла . . .

Но вот по веткам брызнет
Пытливый солнцем день,
И упадет от жизни
Отчетливая тень, —

И камнем будет камень,
И я — какой была,
И просто облаками
Два розовых крыла.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

* *
*

Мы — крошки с Божьего стола,
Осколки первой тайны, —
Все наши жизни и дела
Так странны, так случайны.

Но как, беспомощно любя,
К Тебе вернуться снова?
Как вылупиться из себя,
Из зеркальца кривого?

Забывать, что в нем отражено,
Разбить земные меры,
И снова стать с Тобой одно
В огне плавилином веры? . .

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

* *
*

С орехом белка бросилась к дуплу,
И ласточка в гнездо нырнула — дома!
И муравей по серому стволу
Перебежал тропинкою знакомой.

А я без цели медлю на пути.
Легла в траву. Тепло. Глаза прикрыла.
И мне не то, что некуда идти,
Но только, вот, зачем идти — забыла!

Л. РЖЕВСКИЙ

ПОЛДЮЖИНЫ ТАЛАНТОВ

РАССКАЗ

Уж перед самым отъездом домой, на север, в конце августа, я забрел с удочкой на одно преуютное баварское озерцо, в котором знал, что водились карпы. Хозяйка озерца (также и трактирчика, и купальных будок на берегу), немоложаво-жеманная и в кудряшках, долго ломалась пустить, ссылаясь на везде расставленные столбики с надписью «Naturschutzgebiet», но все же сдалась, наконец, заставив поклясться, что не стану ловить у всех на глазах, а из камышей, где не видно, и что предьявлю ей улов при выходе для весов и оплаты. Слово «забрел» — анахронизм: не забрел, а заехал, на машине, и, получив разрешение удить, порядочно еще ждал, покуда откроют мне запертую на замок перекладину въезда. Открыл вахтер, пожилой и прихрамывающий, в мятом комбинезоне и форменной шапке. Когда я запарковался (а вот это уж новое слово, придуманное, кажется, русскими в эмиграции), содрал с меня целых три марки: марку за «паркен» и две вообще за визит. Долго и неловко отлеплял загрубелыми пальцами листок от листка, выдавая квитанцию и объясняя, что к чему... Акцент же при этом был настолько славянский, что я спросил наугад:

— Вы русский?

— Русский, — ответил он, без всякого энтузиазма, а скорее с недоумением, и несколько мгновений стоял, не зная, что сказать дальше и делать. Потом, повернувшись, стал снова вдевать перекладину, а я, захватив снасть подмышку и в банке червей, отправился к берегу. Уходя, я чувствовал, как он смотрит мне в спину, и знал почему-то, что непременно придет поговорить.

Он и пришел, правда — только к полудню, когда я уж и позабыл про него, переползая то и дело в тень от наступавшего солнца и перекидывая удочку (ни разу не клюнуло); даже и испугал меня, зашуршав за моей спиной камышом и кашлянув:

— Не помешаю?

Уже пока он, прихрамывая и страдальчески морщась от бьющего в лицо с озера солнца, пробирался ко мне по берегу, я составил себе о нем некоторое понятие. — Было что-то биографически-интеллигентское в его неловко балансирующей по мокрым кочкам фигуре, в контрасте между словно бы брезгливыми движениями и рабочим комбинезоном с налатанными наколенниками на широких штанах, между барски-замшевыми складками узкого лица и дурацким форменным картузом с надписью «Wächter» золотой канителью. Впрочем, картуз он тотчас снял, уместившись на плоском камешке, и я увидел большой его лоб в два поперечных цвета (загара и белого) под седым бобриком и глаза, то и дело останавливающиеся в раздумье над иной высказанной фразой (своей или чужой) — тоже непрерываемо интеллигентский признак.

— Не помешаю?

Тут я выпускаю обычные и столь надоевшие в такого типа рассказах «Мы разговорились»... «Он оказался»... и тому подобное, то-есть приблизительно полчаса ознакомительного диалога, и пере скакиваю к моменту, когда у меня вдруг дернуло поплавок, до того безнадежно толокшийся в мелкой солнечной зыби. Дернуло и повело к камышам в матово затененную гладь. Я подсек — неудача! Перекинул накоротке в ту же тень — снова сразу будто бы тронуло, и поплавок застыл теперь у самой камышевой зеленоногой стенки, уже не бессмысленно-лежебоко, а как сеттер на стойке, словно налитый весь невидимой дрожью, напряженный и сторожкий. . . Вот-вот. . . Я не выдержал — полез к нему в воду, закатав брюки. Мой новый знакомец, на камне рядом, зашевелился, что-то вытащил из кармана, кажется, блокнот, зашуршал листочками. . . — мне было не до него: известная издевка над удильщиками: «На одном конце червяк, на другом»... и так далее — справедлива, если не в части «дурака», то в части слиянности обоих концов. — У берега, с удильщиком в руке и морщась от острых камней под ногами, стояло лишь мое материальное тело, а второе, астральное, так сказать, все перекинулось на проткнутую перышком неподвижную красную пробку, ничего не слышало и не видело — ни человека на камешке, ни водяную курочку, пеглявшую в камышах, ни кувыркающихся вдали уток — только выслеживало с пробкою вместе хризолитовую недвижность вокруг, два мелких серых пузырька, лопнувших вдруг под боком, только вслушивалось в угадываемую ниже жизнь, всем ухом в глубь. . . И вот поплавок нырнул! Да как! Удилище в дугу свело от рывка, а тяжесть, когда подсек, была такая, словно зацепил за корягу. И вот, мотая катушку, я повел эту тяжесть к себе, ощущая ее живую упругую дрожь и толчки, то пугающе податливые, то снова упрямые, — повел с тем замиранием сердца и страхом, и алчностью, которых не знают остряки, утешающие себя за

неполноту своей жизни приведенной выше антирыбацкой поговоркой. Какой был карп! Чудовище! Он сопел и фыркал, как еж, когда я, вытащив из толстой стеклянной испуганно откляченной губы крючок, пихал неверными пальцами его, склизкого, горбатого ключего, с вытолкнутыми на меня глазами, в круглую сетчатую корзину...

Но я отвлекся от темы и от соседа на камне. Когда, после порядочной-таки возни, корзинка с уловом пристроена была в воду и к тростнику (на веревочке), — он протянул мне листок из блокнота с карандашным наброском, изображающим нас с поплавком в камышах. Похоже было до удивления и очень умело, насколько я мог судить, — линии на редкость скупые и точные. По этому поводу и завязался у нас первый значительный разговор.

— Да, учился... — сказал он в ответ на мои полупохвалы-полувопросы и стал набивать трубку, глядя в сторону остановившимся (на воспоминаниях, должно быть) взглядом, так что половина табачку из-под вслепую двигавшихся пальцев сыпалась наземь; я же в третий раз, украдкой, его оглядывал — несомненно незаурядны лицо и профиль, на переносице — крупная, с ягодину, бородавка, тоже стильная (он теребил ее иногда, раздумывая), у виска, заросшего серым кудрявым пухом, попрыгивает мелкий тик...

— Учился во Вхутемасе, — продолжал он закуривая. — Знаете? бывшем Строгановском. Год, однако, всего: за увлечение Врубелем и за задор — вычистили. Главным образом — за задор: много уж позже постиг науку подлаживаться. Вычистили не так, чтобы уж в шею: предложили, понимаете ли, перейти на архитектурное. Ну, а я метил в Рембрандты, оскорбился, конечно, да так, что и кисти с красками из окна выпшвырнул... Вообще, мои данные по части искусств (он вздохнул) фортуна не охотно поддерживала...

— А были еще и другие данные?

— Были. Голос был, например. Баритон. Это, конечно, дар больше физической и случайный, как, скажем, большой нос или плоскоступие, — недаром среди этого рода артистов так много неодушевленностей, но все-таки... Пел даже и на крупных концертах. Опять же недолго: баритон взял и пропал. До сих пор не знаю причины — так прямо и вытек из горла в одну неделю, как под землю ушел. Тогда, отравленный уже аплодисментами, я толкнулся на сцену. Способности обнаружались и здесь.

— Где же вы играли?

— В подмосковном одном городишке. Там в голодные годы много московских спасалось, из «сливок»... Приезжал раз как-то, помню, Иван Михалыч Москвин посмотреть на наш коронный спектакль — «Гибель Надежды», я играл там Баренда. После занавеса потребовал меня к себе. «У вас, говорит, дорогуша, не жилка сценическая, а жилища. Не партизаньте здесь, езжайте в Москву». Дал

письмо. С ним поехал я к М. — был он тогда, помните, в самой силе. Ну, встретил благосклонно, а потом, когда заставил попрыгать и кое-что почитать, так и вовсе восторженно. Принял к себе, дал рольки две выходных, тоже прыгающих, хвалил. Дал потом и одну покрупнее, настоящую, но тут-то и сорвалось. Кстати: вы что же карпов-то? За поплавком не следите?

— Нет, я смотрю одним глазом, — сказал я (и ему, я видел, понравилось, что я сказал неправду, то-есть, значит, интересуюсь его рассказами). Так почему ж сорвалось?

— Понимаете ли, пожелал, чтобы из этой роли сделал я дурака. Любил балаган покойник; да, кроме того, выходило так, по-его, пропаганднее. Ну, а в тексте нет дурака, и я не хотел уродовать. Возразил. Слово за слово и — крах! Сняли меня с актерства, перевели на режиссерскую линию, в молодежные кадры.хлопотно было, а главное — нудно: массовые эти сцены, чертежи, геометрия, людей расставляй, как кубики. . . И я остыл. Остыл и повернул, понимаете ли, в поисках своего пути на сто восемьдесят градусов. В науку!

— Гм. . .

— Да. Занялся химией. Вот вы сказали «Гм. . .», а я вам скажу: до сих пор убежден, что тут-то мое настоящее призвание и скрывалось. Ведь как захватило! С макушкой! За два всего года институтской учебы я почти что карьеру ученую сделал. Эксперимент поставил один с углеводами, по пищевой части, практический, но. . . В общем — был шум, напечатали и даже, слышать было, немецкий один журнал перевел. Чувствовал я себя без пяти минут Менделеевым, и вдруг — хлоп! Все опять кувырком! На этот раз Иван Музыка ножку подставил. Недоумеваете? Это такая подпись была под доносом — в дирекцию института, парторганизацию и профком, три копии, — «Иван Музыка». Я этого «Музыку», сочинителя, знал, спали через койку в общежитии. Не поделили мы с ним, видите ли, одну девушку и одного профессора, научного нашего руководителя. — оба предпочли меня, ну, того и заело. Ах, как подвел, щукин сын! Я, знаете, в этих наших простынных анкетах всегда обычно все правдиво указывал; так, например, и писал: «Из дворян». Что ж, в конце концов, не дворяне разве сделали нам революцию? Но в одном единственном пункте — «Место рождения» — допустил незначительную передержку: указал наше бывшее именье и полустанок того же названия, теперь исчезнувшие с лица земли; это — вместо Москвы, где крестился, — чтобы не напали на метрику: у меня там воспреемники совершенно, понимаете ли, были неподходящие. Вот Иван Музыка невинный этот трюк и разоблачил, и на этот раз вышибли меня, как говорится, с волчьим билетом. Никуда даже невозможно было податься, кроме как разве в заочники. Я и подался, и опять с поворотом: теперь уже в науки гуманитарные. Увлёкся, понимаете ли, марксизмом. Вас как, от Маркса, не корчит? Спрашиваю потому, что здесь, в эмиграции, ему, как известно, уж и рога

и копыта приделали. Теперь-то я давно не марксист, но, говоря откровенно, несмотря ни на что, очень ведь стройное было учение. Главное же — универсальное, и потому для людей с известным складом ума совершенно убедительное и неотразимое. Я, во всяком случае, в те свои юные годы находил гениальным и до того вгрызся, что первые же две контрольных работы, по почте, выпши у меня целыми диссертациями. Ну, на месте, конечно, заинтересовались, и в результате не только что допустили, но сами, чуть что не с музыкой, перевели меня в «очники», и так попал я на ФОН.¹⁾ Год с небольшим продолжал разгрызать диалектику, большую стяжал себе популярность. А потом . . . У вас клюет, кажется . . .

Верно, клевало, но куда схватился я за удилице — от клева остались только почти уж на-нет разбежавшиеся круги на воде и мокрый поплавок посередке, больше не шевелившийся.

— Так что же было потом? — спросил я, снова пристроив на берегу удочку.

— Так то же самое, что и прежде, — ответил он, покусывая в углу рта погасшую трубочку. — У меня, знаете ли, разнообразились только формы, а финал был стандартный. На этот раз «отгрозил» я, как у нас говорилось, на семинаре доклад на тему «О базе и надстройках в нашей революционной современности». Надо вам сказать, что хоть и увлекался я Марксом, но уж и тогда понимал, что именно к нашей-то тогдашней современности притягивают его, так сказать, за бороду. Станным образом как раз это крамольное соображение и прозвучало в моем докладе во весь, понимаете, голос. Сам не знаю, как это вышло, потому что и задор мой к тому времени уж ополовинился, и наивным я не был, но — вышло. Все растерялись: и сам, и слушатели, и руководительница — это была К. (он назвал фамилию), теперь, слышал, академик. . . Ну, представляете себе резонанс! Принимая во внимание, что подавал надежды, а время было еще не столь уж свирепое, — предложили мне перейти на . . . педологический факультет. Декан в разговоре по душам даже намекнул, что разумнее бы всего и благонадежнее специализироваться на глухонемых. Я всякого рода дефективных органически не перевариваю и прямо сказал, что лучше пойду в пожарники. Сторговались на литературно-лингвистическом отделении. Здесь я удержался уже до выпуска. . .

— На этом истребление ваших дарований и кончилось?

— Не совсем. В процессе педагогического, так сказать, опыта, открылось еще красноречие. Я бы, пожалуй, и не заметил, но начали понемногу со всех сторон «златоуст! златоуст!» — Я сам к себе прислушался и вижу: да, словно бы и получается. Поднажал, и вскоре

¹⁾ Факультет общественных Наук.

пригласили меня в Центральное лекционное бюро — знаете, было такое у нас, — читать популярные массовые лекции. По этой боковой линии снова пошел было в гору. Да как! Отбою не было от персональных приглашений и вызовов. Ну и, конечно, отрава: хлопки, «восторженных похвал минутный шум» и прочее. С такими уж тузами начал конкурировать, что самому иной раз и лестно, и страшно было. Но...

Я уже ждал этого «но» и, улыбнувшись невольно, повернулся совсем в его сторону, спиной к удочке. Улыбки он не заметил, снова принявшись набивать свою трубку и соря табаком на залатанные колени.

— Продолжение, или, точнее, финал, вы, вероятно, себе представляете? — спросил он. — Ну да, выперли. Эта моя очередная карьера лопнула с треском, как воздушный игрушечный шарик, если поднести к нему папироску. Поднес кто-то из слушателей одной моей лекции, о Маяковском, — какой-нибудь мученик бдительности, вероятно, либо профессионал. Я позволил себе несколько вольную трактовку народности этого поэта. Трагическая ведь фигура — его, бедного, окончательно поставили на голову. Причислили к соцреалистам, хотя он, по роду своей поэтики, формалист весьма чистой воды; объявили «трибуном» и «рупором масс», хотя он всегда был индивидуалистом по духовному своему облику, массы же распевали себе «Ты жива еще, моя старушка», а к трибуну относились вполне равнодушно и слушали его стихи, как слушают барабан. Этого всего я, разумеется, не сказал на лекции, но мысль была ясна и отпереться, когда позвали к расчету, не было возможности, ибо энтузиаст бдительности приложил к доносу застенографированную выдержку. Скандал был громкий, я даже не надеялся отделаться одной только выкидкой — в тридцатых ведь уж годах происходило дело. Во всяком случае, это была уж действительно последняя попытка продвинуть скромные свои, как вы выразились, дарования.

— Я не выразился, что «скромные», — их прежде всего и по количеству много: художник, актер, баритон, исследователь, лектор... Шутка ли!

— Добавьте и литератора, и это было. Всего ведь не расскажешь...

— Ну вот, видите, сколько талантов!

— Да, на шестерых бы хватило, если б поделить. У меня ж не расцвел ни один, как, знаете, если в цветочный мелкий горшок набросать разносортных семян, все и заглохнет. С одного, впрочем, и сейчас получаю небольшие проценты, — он кивнул на блокнотный листочек с рисунком, лежавший на моем рюкзаке. — Рисую иногда на заказ знакомых баварцев в коротких штанах и с альпийским бритвенным помазком на шляпе. Нравится. Нет, вы можете взять бесплатно, — добавил он быстро, поймав, должно быть, на

моем лице внезапную мысль-замешательство. — Вам дарю на память. Давайте и подпишу теперешним своим псевдонимом. Вот, пожалуйста. Не разбираете? Шустер — моя фамилия. Теодор Шустер. Проще не мог подобрать. Проще уж только неприличные какие-нибудь или комические. А хотелось именно проще... Потому что уж и тогда еще, дома, после этой истории с Маяковским, пришел к убеждению, что «премудрый пескарь» был мудр по-настоящему, и что жить надо как можно тише и проще, без всяких там талантов и поклонников...

— И «поклонниц»? — спросил я. — Потому что были, наверное?

— Гм... — сказал он, теребя бородавку на переносице. — Были, конечно, и интересовали, признаться, но... Не делал из них ни кумира, ни занятия. Хоть и женился дважды на своих ученицах. Оба раза — печально, то-есть больше для себя печально, не для них. Они как-то через меня просто-напросто перешагивали... на очередную, вышнюю, так сказать, ступень... Нет, именно, без талантов и без поклонников. Я тогда даже от литературы отказался — стал, знаете, военное дело преподавать. Так и трубил в этом качестве до самой до войны. Точная, знаете ли, и спокойная наука: сборка-разборка винтовки образца 91-го года, и как устроен противогаз. Всерьез никто не берет и не стенографирует: лишнего здесь не скажешь и талантов нет надобности проявлять. Да... Тогда мне казалось это дорогой к безопасности. Теперь, после войны и двух пленов — немецкого и платтлинговского — думаю, что это и дорога к с ч а с т ь ю. Потому что только теперь, когда я всего лишь Шустер, стерегущий фольксвагены, я окончательно и совершенно счастлив...

«Вот так так!» — сказал я себе. «Какой-то тайный мажор я прозевал, должно быть, в его рассказах: концовка о счастье уж очень внезапна». Снова, в который уж раз, оглядел я мельком вялую его позу на камешке и стильный взгляд — не на озеро в горной лиловой кромке вдаль: это было бы подходящим аккомпанементом к утверждению, — а вниз, на мокрые кочки, почти под ноги.. Любопытство и недоверие зашевелились во мне.

— А как насчет ностальгии? — спросил я. — Эмигрантского недуга?

— Не страдаю. Ни в малейшей степени. Слушаю иной раз Москву, все эти «выполним-перевыполним» насчет мяса, молока и преданности, и дико, знаете, и странно становится: как могут люди слушать эту пошлость вот уж сорок лет и сохранять человеческое достоинство? Что до меня, то каждый раз, выключая, подытоживаю: «Благодарю Тебя, Господи, что унес меня из этой несчастной страны!» Нет, повторяю: здесь я счастлив...

Он произносил это «счастлив» с нажимом, но, как мне показалось, без того внутреннего дрожания и тепла, с каким обыкновенно

выговаривают это редкое слово применительно к самим себе. Была убедительность — не было убежденности. И уж во всяком случае подразумевался необычный для подлинного счастливица дедуکتивный путь утверждения: «счастлив, потому что»... и дальше по пунктам. Ладно, попытаемся узнать — почему...

— Что ж, много свободного времени? Пишете что-нибудь? — продолжал я допрашивать.

— Нет, так больше... размышляю про себя. Философствую. Писать — куда же? От эмиграции я в стороне. А иначе — языки надо, а я... Не помню, кто это сказал, что некоторые хорошо языки усваивают, потому что в головах у них много пустого места. У меня нет пустого. Я думаю! Думаю и...

— The-o-dor! — принесся со стороны крыш и купален (наши камыши были шагах в полтора от них) женский тонкий с металлическим дребезгом голос — и моего собеседника так и подкинуло на камне с полуслова.

— Бог мой, заболтался! — поднялся он, отряхивая картузом табак с коленок. — Совсем позабыл, что Эрика ведь дежурит там за меня, с машинами. А время уж обедать... Кстати, насчет уженья: тут один мой приятель, кнехт здешний, ловит на сыр. Белый такой сыр, вроде нашей брынзы. Вы бы попробовали...

— Да где ж его взять сейчас, сыр?

— The-o-dor! — прилетело снова, на ноту еще пронзительнее.

— Иду, иду! — кивнул он сам себе, пускаясь уж без осмотрительности к берегу через кочки и лужицы и продолжая на прыжках скороговоркой: — Сыр есть у нас, могу дать. Вы, верно, тоже проголодались? Здесь кормят прилично. Я вас найду в ресторанчике. А сейчас бегу, простите...

— The-o-do-o-or!

Он и в самом деле почти побежал, выбравшись на тропинку, махая рукой с картузом и прихрамывая. А я колебался: ловить — не ловить: было знойно и душно, поплавок безнадежно подобрался к самым уже камышам и дремал, хоть червяк оказался целехонек. Замаскировав корзинку и удочку, я пошел вслед за Шустером: обед — обедом, но больше толкала охота к продолжению встречи и разговора с этим необычным «счастливецем».

* * *

Я курил уже вторую послеобеденную сигарету, когда он, дымя трубкой, показался меж столиков, уж без картуза, с закатанными рукавами и немного опростевшим, по-крестьянски красноватым после еды лицом.

— Поднимемся, если хотите, ко мне. Тут мы и живем. Дам сыр и потолкуем. У нас прохладно. . .

Мы вошли в какие-то сени, пахнувшие парным молоком и коровами. По ветхой лесенке и потом еще по другой, уже прямо поющей, поднялись в заставленный коридор, на второй этаж, а оттуда — в комнатушку с узким завешенным чем-то окном, самодельным столом посередке и полками; из нее, правда, была дверь и в другую, видимо, спальню, сквозившую из-за дверной цветастой гардинки желтым полированным боком кроватей и белизной. Впрочем, все это заметил я уже после, а сперва — только женскую мелкую фигурку у стола, в полумраке, над небольшой бадейкой с горячей, судя по пару, водой и посудой.

— Эрика, моя жена, — сказал Шустер, качнувшись в сторону бадейки. — Унд дас ист герр, мейн ландсман. . . — продолжал он на своем российско-немецком языке, покуда мы раскланивались. То есть раскланялся я, а она только кивнула острым подбородком, не вынимая из бадейки рук. Она, эта Эрика, показалась мне в полупотемках необыкновенно уродливой: тонкая, как муравей, в брючках дудочками, и вся колючая: острые плечи, острым треугольничком лицо, вытянутый нос, подбородок — все тоже острое и колкое. Слово для того, чтобы я лучше ее рассмотрел, а, вернее, из замешательства, Шустер подковылял к окошку и, сдвинув шторку, впустил в комнату такой взрыв озерного ослепительного света, что даже сам призажмурился и растерянно начал стряхивать набухшую в трубке золу в цветочный горшок на подоконнике.

— Was machst du denn, Theodor! — крикнула Эрика все тем же, что и на озере, пронзительным голосом с металлическим лязгом, и он торопливо стал сгребать пальцами сброшенный пепел в горсточку.

Теперь, при свете, и когда Эрика вскинула сердито кверху колючий подбородок, я мог рассмотреть ее пристальнее: да, очень невзрачна, сера, даже как-то без возраста — тридцать ли, сорок, не разберешь; неприятное, скошенное вглубь, подлобье — глаз не видно, одна переносица. А волосы, зализанные в мелкий пучок на макушке, — с зеленоватым отливом.

«Кикиморка!» — пришло вдруг мне в голову, и, Бог знает почему, я чуть не улыбнулся при этом, поскорее переведя глаза на Шустера.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он в ответ. — Я сейчас сыру...

Над бадейкой теперь взлетали, как бабочки, посверкивая, тарелки, на миг потухали в витках полотенца и, снова сверкнув, плавно спускались на стол. Проворству этих даже не видных в мелькании рук, вытиравших посуду, мог позавидовать любой фокусник. Острый

подбородок взлетал тоже от времени до времени, следя за тем, как Шустер шарил по полкам.

«Кикиморка!» — подумал я снова, тут же припомнив, где и когда в первый раз услышал я это словцо в применении к повествовательной, так сказать, героине. — В сказке, которую мне, совсем еще малышу, рассказывала одна вышневолоцкая бабка, в мелочную деревенскую лавчонку которой прибегали мы покупать запретную дома коврижку. В этой сказке, довольно сумбурной и после мне никогда не встречавшейся, Кикиморка была неким миниатюрным чудом, вроде Дюймовочки или Мальчика-с-пальчика, родившимся непонятным образом у «жили были старик и старуха», в утешение их старости и в ответ на молитвы. Также была зеленоволосая, сперва хохотушка и непоседлива — этакий маленький порох, кузнечик с бубенчиком: «Все ширк-ширк по углам, минуты на лавке не усидит», — как говорила бабка. А потом случилось, что в поисках, чем бы полакомиться, забралась она с загнетки в только что истопленную русскую печь. Там ее, по недоразумению, и прикрыли заслонкой. А когда спохватились и вытащили, — тут бабка, сложив и без того печеное личико в самые жалостные морщинки, тянула слезливым голосом: «она — чуть жива, высохла вся и пожелкла. . . А главное дело — душка у нее вся от жару повыкипела, злая стала, как крыса, кусачая. . . Совсем было стариков заела. В одну ночь раз как-то перекокала всю посуду в избе и в лес убежала». . .

Такова была Кикиморка в сказке, а Кикиморка в комнате, куда я вспоминал да прикуривал, отмелькавши посудой, как-то во мгновение ока уж и пристроила все, и бадейку, на полки, что-то там дотирая в углу.

Шустер тоже подсел к столу, напротив меня, с кусочками сыра в газетной бумажке. Я держал сигарету и жженую спичку в руке, боясь уронить.

— Theodor! — сказала Кикиморка из угла (не так громко на этот раз, но оба мы вздрогнули), — Haben wir keine Aschenbecher? Нет у нас пепельниц? — Она смерила Шустера сверху вниз взглядом, от которого, если бы придать ему вещественную остроту, должен бы тот развалиться на две половинки, как яблоко, «ширкнула» куда-то в сторону — и пепельница села на край стола стремительно и неслышно, как планер; потом метнулась к дверям и оттуда опять позвала «Theodor», уже совсем негромко, хоть и повелительно.

— Vergiss nicht! — сказала она, когда он подошел, и ее темные глаза, казалось, буравили его насквозь (спина у него ежилась). — Du hast nur eine Viertelstunde zu plaudern. . . — тут она перешла на свистящий шопот и диалект, который понимал я плохо. Мне показалось, что мелькнуло там что-то вроде «Immer schreiben und schreiben», и это было интересно, потому что, значит, Шустер утаил, что пишет. . .

Исчезла Кикиморка незаметно, как пар — я не услышал даже, как открылась и закрылась дверь, а только — тишину в комнате и как посапывает Шустер, снова подсаживаясь к столу.

— Через четверть часа, — начал он несколько виновато, — придется мне уходить. Пригласили, понимаете ли, в соседнюю деревушку на «пóмочь», как у нас говорилось. Со средствами несколько тугоовато, портретики мои приносят сущую ерунду, важно, значит, заработать что-нибудь «экстра». Вот мы и ходим оба посменно на отхожие промыслы. Эрика строго следит, чтобы я не отлынивал. И правильно: я ведь ленив, признаться, и беспорядочен, а она у меня настоящая муза труда и организованности. Как она умудряется при наших доходах не только кормить нас обоих, я бы сказал, перво-классно, но еще и прикапливать — непостижимо уму! Эта вот, например, спальня, — он, наклонившись, откинул немного гардинку с двери, откуда блеснул желтый лак и снежность подушек, — куплена недавно на одни только ее сбережения. Теперь на очереди у нас «в о н ц и м м е р», чтобы выбросить эту всю самодельщину, чтобы не стыдно было принять. . . Не знаю, как вы, а я прежде не понимал, только теперь начал понимать, какое это дает удовлетворение. Не понимал, потому что вывез сюда наше российское интеллигентское, либо полуинтеллигентское, пренебрежение к «барахлу» и канарейкам (обязательно заведу себе одну, если разбогатею), — пренебрежение, за который, ведь, ничего не стоит, решительно ничего, кроме позы и фразы, кроме нашей душевной растрепанности и неспособности к конкретному мышлению. Да! Потому что не могли и не можем понять, фыркая на западное мещанство, что за ним, за этими салатными грядками по линейке, спальнями и канарейками, стоит человек — его привычки, традиции, то-есть, значит, его воля, его человеческое достоинство: моя спальня, моя канарейка, мой дом, моя жизнь — «хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю», моя свобода! — да, да! вот куда это идет! А мы? Не за то ли жали и жмут нас сорок вот уж лет, что мы от своих спален и собственных грядок с такой готовностью и так форсисто отказались? Ах, отказались? Так и валяйтесь на нарах, являйте жертвенность, вкалывайте день и ночь, как средневековые рабы, до седых ранних волос и после. Только рабам, кстати сказать, обещано было за это Царствие Небесное, а что обещали нам? . .

Он порывисто, с подергивающимся виском, взялся за трубку, продул, разбрызгивая по столу зловонные желтые капельки, стал потом набивать, как и раньше недвижно уставившись куда-то мимо моей головы и щедро просыпая на пол табак.

— А я, понимаете ли, в этой пресловутой меркантильности Запада различаю традиционный дух прометеевского человека, который попрежнему по уголочку, по искорке крадет у богов огонь, зажигая от него собственную свою свечку. Я не о разумном эгоизме

и не из Штирнера, а есть в этой вещной организации своей жизни что-то в высшей степени подкупающее, естественное, и недаром Робинзон Крузо, после Евангелия, самая распространенная книга в мире. Да, что-то естественное, стройное и гармоническое. В русской же душе стройность и пропорция всегда отсутствовали, гармония и не ночевала. Вот уж поистине — возьмите кого угодно, от какого-нибудь пропойцы, ловящего на рукаве зеленых чертей, и до Достоевского, даже Толстого, — всю почти нашу возьмите литературу и поэзию после Пушкина, — что это, как не совершенное отсутствие гармонии? А у меня. . . Вот давеча я говорил вам, что счастлив. Да, счастлив, потому что чувствую: здесь, на Западе, начинаю обретать, наконец, гармоническое начало, оно входит в меня, заполняет постепенно в качестве, если хотите, очередного таланта, седьмого таланта — таланта жить гармонически. . . Ну, конечно, тут главное — Эрика, посланная мне Небом в компенсацию за все прошлые терзания, неудачи и пустоту. Она теперь для меня. . . — в ней для меня весь дух и гармония Запада. Именно, гармония. Вы не представляете себе, как гармонически слиты в ней воедино разум, воля, энергия, привязанность, женственность. . .

Он похрипел трубкой, высосав из нее несколько тощих клубков дыма, посмотрел на меня из-за них, добавил:

— У нее, как вы, конечно, заметили, нет этого внешнего блеску и красоты — сколько раз обманывали они меня на моем веку, хватит! Но. . . разве красива, скажем, платина, самый драгоценный металл?

Монолог звучал живо, что и говорить. Но, странным образом, несмотря на патетику, снова ощущал я в нем какую-то трещинку, делавшую его больше разговором с самим собой, вслух. . .

— Я случайно подслушал, как ваша супруга говорила про ваше писанье, — сказал я. — А вы признавались только в том, что философствуете мысленно.

— Гм. . . философствую, ну и записываю иногда кое-что из прошедшего в голову. Примем такой компромисс. Грешен!

— Но о чем, не расскажете ли? Я сам немного пишу, поэтому — интересно. . .

— Да все о том же. . . О практической гармонии в жизни. В частности, сейчас вот как раз — о проблеме времени в человеческом бытии. Но надо начать от печки. . . Вам сколько лет, если можно узнать?

Я сказал.

— Ну, не на много меньше. Это хорошо, то-есть, я хочу сказать, удобнее для понимания. Видите ли: теперь, когда стал я счастлив, я стал вдруг чувствовать старость, само понятие старости, так сказать. Прежде, там, и потом также здесь, до женитьбы, впопыхах

и в отчаянии, как-то не замечал. А теперь ощущаю, и не как-нибудь лирически, «куда, куда вы удалились!», а, понимаете ли, как боль, постоянную, ноющую, вроде зубной. . . А случается — и взрывом, непереносимую, когда хочется — об стенку головы и заплакать, завывать по-звериному: Караул! Ограбили! Кто? Когда? Как не заметил? И так далее. Поводом для взрыва иногда — самое что-нибудь незначительное. Не знаю, случалось ли с вами: попадетс я вам на улице где-нибудь, либо на пляже, красавица. Цветет вам навстречу, как ландыш, сирень, резеда, душистый горошек и прочее — и вот вы уже задышали всей грудью, тянетесь, понимаете ли, на аромат, как к цветку, и вдруг — скользнет по вас взгляд, совершенно невидящий, отсутствующий, как по забору. . . взгляд — как локтем в трамвае, нет — хуже, потому что вполне и безукоризненно безразличный. Вы не подумайте: я не ловелас и не сексуален, но — так, для примера. Да. . . и вот, значит, вдруг камнем на плечи — твои почти шестьдесят, и едва двигаешь ноги в кошмарном и каждый раз новом открытии, что жизнь-то прошла, что только мизерный и полупригодный кусочек остался. . . Кстати: это «сколько осталось» не так уж остро и больше уже головное. Но вот с ним я как раз сейчас и вожусь: как бы не растратить остатка-то, или, может быть, даже как р а с ш и р и т ь ? Не поймите неправильно, я не про омоложение и не про теорию относительности, у меня все это — только в психологической плоскости, в смысле такой организации в о с п р и я т и я времени, когда оно распределялось бы во мне полнее, длительнее. И я в нем. . . Не понимаете?

— Признаюсь, не совсем.

— Будем проще: течение времени, как вы знаете, может нам представляться различно по скорости. Время т я н е т с я, говорим мы, например, в поезде, когда весь день едем, глаза в окно, и забыли взять с собой криминальный роман. Время л е т и т — говорим, когда в хлопотах и не поспеваем с чем-либо управиться. Налицо, таким образом, два типа восприятия времени, или две установки: суета и созерцание. С созерцания, кстати, я все и начинаю. Здешний покой, тишина, живописность декорации очень этому способствует. Ну-с, созерцать мы уже не умеем, отвыкли и потеряли вкус. В темп мотора включились, вместо темпа травы. Созерцать, говорят, не забыли еще на Востоке, а у нас . . . До чего это жаль и ошибка! Есть, если выразаться высоким штилем, чудесный мир, необъятный сад и музей нерукотворного и непостижимо прекрасного, куда впускают человека на тридцать, примерно, лет полнокровного любования, а он морщится, забивается в щель, откуда ничего не видать, и клянет эту щель, принимая ее за вселенную . . . Но оставим это. Перцепция времени в смысле полноты его и течения зависит вообще от того, как, под каким углом и какими глазами смотреть. Тот же пример с поездом: смóтрите вы в окно, и сразу же за ним, поблизости, все летит кувыркoм, стремглав до невнятности: столбы, кусты, будки и

прочее... Взглянули немного подальше — все бежит уже медленнее. А там, совсем вдаль, церковь какая-нибудь или башенка будет и вовсе не движется, а стоит, и только уж когда совсем приглядеться, заметишь: нет, тоже плывет, уплывает куда-то от вашего взора, но куда исчезнет совсем, протечет иной раз — как покажется — целая вечность... Вы следите за мыслью? Перцепцию времени можно изменить, воспитать в себе по-другому, понимаете? Время можно раздвинуть. Можно...

— Theodo-or! — раздалось за окном.

— Ведь, вот скажите, как перебила! — развел он руками и вздохнул. — Пустяки ведь осталось договорить. А теперь вы — как? Уезжаете из наших мест?

— Завтра утром. До следующего лета!

— Досадно. Значит, только через год... Ну, переписываться не предлагаю: в письмах многого не изложишь, другое дело — поболтать. Отсутствие собеседника единственное, что здесь тяготит. Да, досадно...

Он, я видел, был огорчен искренне, даже как-то сразу увял и словно уменьшился весь. Вообще в этих последних его рассуждениях о возрасте и «раздвижении» времени было больше искренности и чего-то непосредственно от себя, чем в прежних.

— Theodo-or!

— Иду, иду... Сыр не забудьте, вы ведь сейчас снова рыбачить? Иду! — крикнул он в третий раз в сторону окошка и, засунув в карманы табак и трубку, пошел похрамывая к двери.

Когда он спускался, впереди меня, по скрипучей лесенке, «колдыбая», как говорят в смоленщине, со ступеньки на ступеньку одной ногой и оглядываясь, мне снова бросился в глаза контраст между его устало-неловкими движениями торопящегося на «помочь» батрака и бледным большелобым профилем с седым бобриком. Как-то обиженно, если смотреть сверху, сутулились у него под широким, вероятно, чужим, комбинезоном плечи, и мне стало немножко не по себе...

Из послеобеденного уженья ничего, стоящего рассказать, не получилось: я к нему уже и поостыл, но, выгатавив из воды посмотреть металлическую дырчатую корзинку с карпом (он сидел в ней этаким грузной двухкилограммовой флегмой, оранжево-розовый от тесноты), — воодушевился и поймал еще двух окуньков (на червяка: сыр только крошился, и на него ни разу не клюнуло). Один из окуньков, шкурнически-энергичный, завел поплавок в самый тростник и запутал так, что пришлось, отцепляя, и выкупаться...

Автоплощадка, когда я собрался домой, рассчитавшись с хозяйкой, похожа была на солнечную сковородку, на которой поджаривалось, сверкая и чуть не шипя раскаленным лаком, с десятков ма-

шин. Я распахнул дверцы в своей, тоже горячей, как духовка, и осмотрелся: к воротцам у выезда подбегала Кикиморка, заменившая на дежурстве мужа. Позвякивая ключами в связке, проворно сняла замок, отмахнула перекладину в сторону. Потом шмыгнула ко мне, я думал — поглазеть на улов: как раз укладывал корзинку с подпрыгивающим нутром в ноги у переднего сиденья. Нет, любопытства Кикиморка не проявила, а, чуть посторонив меня острым локтем, отщелкнула — раз-два! — дворники и принялась тереть запыленное ветровое стекло неизвестно откуда взявшейся тряпчатой ветошью. Муравьиная фигурка ее с ломкой талией вся пружинила, руки мелькали по стеклу, как усики, выводя из него на поверхность поистине порвобытный блеск. Мне видна была ее щека — теперь почему-то не землисто-серая, как в комнате, а смуглая, с очень тонкой кожей, просвечивающей на солнце. Нет, ей не могло быть и тридцати. . .

Кончив, она обернулась ко мне, слегка запыхавшись, в первый раз близко, лицом к лицу. Тоже и глаза оказались теперь вовсе не буравчато-темными, как представлялось раньше, а желтоватыми, светлыми и прозрачными в черни глубоких глазниц.

— Glänzend! — сказал я, имея в виду работу.

Она улыбнулась тонкими подкрашенными губами, углами кверху, и на секунду с лица ее непонятным образом исчезла колючесть.

Я дал ей две марки.

— Danke! — кивнула она, толкнув ко мне ребрышком руку, сухую, теплую и такую мелкую, что вся кисть проскочила в мою, — тоже и на запястье кожа была необыкновенно шелковиста на ощупь и горяча.

— Гм! — подумал я, забираясь за руль, — если она вся такая шелковая и горячая, Кикиморка, всем телом, то можно в известной мере и объяснить гиперболические шустеровские восторги. Мысль эта, несколько фривольная в изложении, никакой, однако, фривольности в истоках своих не имела: мне всерьез хотелось разобраться в обстоятельствах встречи с этой необыденной парой. О ней всю дорогу и думал, нарочно выбирая подлиннее маршрут, и только упруго-отчаянные толчки под ногами, в корзинке (окуньки! карп страдал недвижимо), побуждали увеличивать скорость: хотелось довести их живьем и, быть может, даже поплавать дать в ванне до того, как их выпотрошат. . .



Уехав из Баварии, я записал этот эпизод кое-как, в виде очерка, и отложил впрок. Мне казалось, что если и повторится через год эта встреча, нового чего-нибудь вряд ли прибавится. Встреча не

повторилась, но, тем не менее, очерк ожил и даже вот вырос в рассказ — потому что возникло неожиданное продолжение.

Следующее лето у баварских озер было несносно дождливое, особенно в первое время после приезда: лило недели три сплошь — ни в лес, ни на воду с удочкой, ни в гости, ни к тебе кто. Наконец, выдохлось, стало течь с перерывами, и в первую же солнечную паузу я поехал на озерко, больше для Шустера, чем ради ловли.

По случаю несезонной погоды там было все серо и заброшено: перекладина у въезда снята, мокрые столики — один на другом, чехардой; в ресторанчике (я заглянул в окно) ремонт — лесенки, липкие ведра в известке и кляксы на полу, устланном газетами.

Хозяйка, заметив меня, высунулась по пояс из другого окошка, откуда обычно продавались напитки, поспешно поправляя увядшие на безлюдьи кудряшки:

— Wieder in Bayern? Herzlich willkommen! Fischen? . .

Я объяснил, что да, «фишен», и, главное, повидать г-на Шустера, земляка. У нее высоко, двумя аксансирконфлексами, взлетели брови: — Sie wissen nichts? Вы ничего не знаете? Его же у нас нет. Он пропал! . .

— Как пропал? Когда?

— Месяца два уже, в мае. Взял и ушел от нас, почти без вещей и даже без шляпы. Неизвестно куда.

— А . . Эрика?

— Она убежала от него еще в апреле, весной. Тоже не знали? O mei, o mei . . Это же целая история! . . Нет, я вижу, вам нужно все по порядку. . . Могу я предложить чашку кофе? . .

У нее даже кудряшки прыгали — так не терпелось рассказать «историю» свежему слушателю. Мне не терпелось тоже — услышать. Мы уселись во второй, задней комнате ресторанчика, уже обновленной.

— Когда ушла Эрика, — рассказывала она «по порядку», — он слег. Mein Gott! Это такой был для него удар! Мы неделю кормили его в кровати, почти с ложечки. Потом поднялся, но — как тень (wie Gespenst), даже не отвечал, когда спрашивали. . . Однажды вечером вышел, никто не заметил, как и — исчез, не вернулся. Мы даже все глубокие места у купален осматривали, подозревали, что . . вы понимаете? Заявили в полицию. Там тоже принимали меры. . . O mei, что было! Две, три недели. . . (она сделала паузу отчаяния). И только недавно вот, в конце июня, из полиции сообщили, что пришло от него Abmeldung* . .

— Ах, так? Все-таки? . .

*) Заявление в полицию об отписке.

— Да, но подумайте: целый месяц! И ничего, ничего не сказать! . .

— Отчего же бросила его Эрика?

— O mei, o mei. . . Все ее осуждают. Очень было жестоко с ее стороны. Но ведь ей всего только двадцать два года, а ему. . . И она так хотела как следует (ordentlich) жить. Теперь уж о ней все нам известно. Недавно прислала грузовик за спальней. Новый ее дружок тоже совсем еще молод. . .

Тут я, признаться, не очень и слушал, занятый собственными мыслями: куда теперь мог податься Шустер со своим «созерцанием» и поисками «гармонии»? — Вы говорите: Abmeldung, — спросил я хозяйку. — А откуда, из какого города?

— O mei, разве я не сказала? — Из Н. Он, между прочим, получал оттуда и письма. Я нашла. . . Правда, только конверты. Я сейчас покажу. . .

Она притащила конверты, штук пять, все — с бланком одного эмигрантского издательства. Чувствуя себя чуть-чуть Шерлоком Холмсом, я разобрал на почтовых штемпелях даты, сравнил — все оказались недавние и довольно близки одна к другой. Действительно, у него была весьма оживленная переписка с этим городом.

— Может быть, он там теперь и поселится? Нашел, может быть, работу? Знакомых? — наседала хозяйка, дрожа завитушками.

Я тоже сказал «может быть» (что еще было ответить!), поблагодарил за кофе и пошел на берег, раздумывая, стоит ли закидывать: на солнце вползали тучи, утюжа по озеру серыми косяками теней, — вот-вот польет снова. . . Место у кампшей, где сидели с Шустером, заболотилось и расклякло, не подобрешься; плоский камешек торчал весь в воде. Нет, ужение не состоится, как не состоялось и продолжение разговора об «укрощении времени» и таланте «гармонически жить». На самом деле чувствовал он в себе этот талант или только примыслил? — думал я, возвращаясь к купальням. Где-то у Горького: люди, искавшие подо льдом утонувшего мальчика, начинают вдруг сомневаться: «Да был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?» Не так ли и тут? . . А вера в Кикиморку и гармоническое в ней начало была у него на самом деле? Любовь, кажется, была, и потому, когда я, бывало, вспоминал их обоих, такая жесткая развязка ни разу не приходила мне в голову. Где теперь станет искать он замену? . .

Пошел дождь. . .

ЛУНД, 1958

Н. БЕРБЕРОВА

ПАМЯТИ ШЛИМАНА

РАССКАЗ

Автобус «Площадь Шлимана — Большие Фонтаны» отошел от памятника переполненный, но мне нашлось в нем место: я сел у спущенного окна, подсунул под сиденье небольшой парусиновый мешок, забросил шляпу на полку. Был шумный, пыльный вечер, мгlistый от дневного зноя, по улицам шли толпы — из душных, жарких контор и мастерских в душные, жаркие городские квартиры, а я мчался вон из города, подальше от Площади Шлимана к Большим Фонтанам.

Эти три свободных дня выпали мне недаром, я заслужил их. В большом учреждении, где я служил уже два года и занимал скромное место младшего счетовода, работало более четырехсот человек, начиная от людей, которых никто никогда не видит, и кончая человеком со щеткой, которого все время видят все, так как он целыми днями загоняет в широкий красный совок бумажки и всякий сор из-под наших столов и стульев. Рабочее время там исчислялось особым, сложным, мало кому понятным способом. Неделями казалось, будто нас обсчитывают, и вдруг выходила награда. Целый год у меня не было ни одного дня каникул, и вдруг: «во вторник четвертого, в среду пятого, в четверг шестого вы свободны». Это решила огромная машина, которая отпускала нам жалованье и наградные, которая вычисляла, кто и сколько имеет права болеть и кому когда ехать в отпуск. Эта машина была похожа на мавзолей, которые когда-то строили на кладбищах для четырех поколений сразу.

Для этой машины, еще до того, как я поступил, проломили потолок в следующий этаж и под пол подвели подпорки. Служащие только кивали на нее: она никогда не ошибается! Из нее вышел мне отпуск, из нее выходили награды, из нее же вышел одной барышне с золотистыми волосами и дребезжащими браслетами расчет за то, что она постоянно опаздывала.

Но выдумать машина ничего не могла. И однажды, глядя на нее с балкона, который обегал большой зал, где мы все работали, мне пришла в голову странная мысль: как увеличить время работы на одну двадцатьчетвертую в сутки, то-есть как сделать приятное тем людям, которых я никогда не видел.

Мысль эта была следствием праздной игры моего воображения. В ней не было никакой корысти и желания выслужиться. Я очень далек от тех идеалов, которым следовали изобретатели тюремного глазка или специальной контрольной кнопки, регистрирующей время, потраченное служащим на завтрак. Мне просто пришло в голову, что если каждый день начинать работу на час раньше, то это, без заметного ущерба, могло бы увеличить, так сказать, продукцию. В понедельник, скажем, день начинался бы в девять, во вторник — в восемь, в среду — в семь; через неделю день начинался бы в два часа ночи. Но так как весь город передвинулся бы на такую ускоренную жизнь, то в сущности это не имело бы значения; в конце года выяснилось бы, что человек выиграл около двух недель жизни, что совсем не так мало. Следовательно, удовольствие было бы доставлено не только эксплуататору, но и эксплуатируемым. Работая двадцать пять лет, человек был бы награжден, так сказать, лишним годом жизни.

Понятия дня и ночи кажутся мне совершенно устаревшими. Теперь, когда ночью открыты магазины, рестораны, кинематографы, больницы, когда одна пятая жителей в больших городах работает по ночам, было бы очень просто перейти на новые рельсы. Прежние понятия о том, что ночью надо спать, а днем работать, годились для тех эпох, когда днем было светло, а ночью темно, когда днем было шумно, а ночью тихо. Почему мы обязаны жить, как жили наши предки? Не разумнее было бы перейти на непрерывное действие? И разве не разумнее было бы перейти на постройку зданий в ни з параллельно с постройкой их в в е р х, чтобы выгадать место, если и освещение, и охлаждение, и отопление, и, конечно, идеальная вентиляция могут заменить свет и воздух?

Следовало бы издать закон: если строится дом в двенадцать этажей, плюс двенадцать этажей, то его обязаны выстроить и минус двенадцать этажей, вглубь земли, где неоновый свет, теплый воздух, холодный воздух, морской воздух подавались бы непрерывно, незаметно, бесшумно. Каких-нибудь десять-пятнадцать лет было бы, может быть, не совсем удобно, пока не привыкнут, но зато потом! Люди бы к имени своему, знакомясь, прибавляли знак плюс или знак минус:

— Петров-плюс.

— Сидоров-минус.

Это значит, что если вы сами Иванов-минус, то дело с Петровым иметь не можете, вы больше никогда не встретитесь с ним, а удобно дело иметь вам с Сидоровым. И опять — вы выиграли время.

Мысль моя работала все эти недели, как хорошо смазанный мотор. Я думал: вместо политических речей, проповедей, длинных разговоров за чайным столом, долгих бесед под лампой или неторопливых прогулок, давать друг другу свои окончательные решения общественно-нравственного или индивидуально-психологического характера. Например:

- Делай добро. Часто совершенно невыгодно делать зло.
- Если взял — отдай. Но никому ничего не давай.
- Здоровых уважай. Больных избегай.
- Забудь о старых. Их скоро не будет.

Все ясно. Собеседник понимает вас в меру своего разумения. И опять — вы выиграли время.

Помню, с неделю тому назад, вдохновленный этой идеей, я позвонил по телефону Дэли и сказал, что соскучился по ней и хотел бы придти. Она обрадовалась, я слышал в телефонную трубку, как зазвякали ее браслеты, и в тот же вечер я пришел. Она достала из печки сложное блюдо, над которым трудилась, должно быть, много часов, оно вздулось и подрумянилось, тянулось во все стороны и пахло сыром. Мы сели. Ее подруга, с которой они снимают квартиру пополам, играла нам на мандолине, на которой училась по самоучителю. У них была целая полка самоучителей, и когда подруга играла, она смотрела в книжку, скосив глаза. Я видел, между прочим, что Дэли, мешая что-то ложкой в кастрюле, тоже, скосив глаза, смотрела в какую-то книжку, которую держала раскрытой в левой руке.

— Почему вы всегда опаздывали на службу? Вот видите, теперь вас уволили, — сказал я довольно сухо.

Она печально посмотрела вокруг. Волосы ее были так прекрасны, что мне захотелось выдернуть гребень, который их держал, и спрятать в них лицо.

— Ждать автобуса. Ждать метро. Толпа. Не попасть, — сказала она грустно.

— Надо было вставать раньше. Будет время, когда всем будет просторно и никто никого не будет давить.

— Бомба? — спросила она робко.

— Не бомба, а вдвоенная жизнь, — сказал я. — Когда-нибудь объясню вам все это. Ничего страшного. Могу впрочем и теперь сказать: сколько будет наверху, столько и внизу, сколько будет днем, столько и ночью. Чтобы больше было времени и места.

Мандолина тихонько тренькала, я чувствовал, что мне хорошо, спокойно, и даже как-то весело с ними. — Выньте гребень, — сказал я.

Подруга тотчас встала. Она ушла и унесла с собой мандолину и самоучитель, и через минуту за стеной раздалась музыка, с той самой прерванной ноты. Точно мы были в Японии.

Хоть она и не вынула гребень, я на расстоянии чувствовал, что волосы ее пахнут смесью ландыша и жареных каштанов, тех, что продают иногда на углах, когда наступает осень, и в золотистых волосах тоже было что-то осеннее. Это в те минуты мне пришла в голову мысль о поездке с ней за город. Въехав в этот огромный город, где мы с ней жили, я никогда не выезжал из него. Сейчас было лето, знойное, долгое, но должны же были быть где-то цветы, и листья, и золотистый, как ее волосы, воздух?

— Поедем куда-нибудь, — сказал я тихо.

— Куда? — спросила она, и опять с такой грустью, будто некуда было ехать.

Но из этого ничего не вышло, потому что она через неделю нашла службу и ничего не совпало — как если бы она была плюс, а я — минус. Или наоборот.

Автобус несся по прямой. Проходил час за часом. В спущенное окно мимо меня бежали дома, люди, автомобили, вывески, магазины. Я думал о Больших Фонтанах, я думал о трех днях, о машине, которая мне их подарила. Она никогда не ошибается, сказал мне как-то старший счетовод, и это было правдой-истиной и правдой-справедливостью.

Мне показалось, что солнце село, но через несколько минут оно опять сверкнуло, с другой стороны (мы поворачивали), правда, не надолго. Огни уже зажигались. Начало медленно смеркаться. Иногда мы останавливались, люди сходили, входили другие. Промелькнула площадка с большим низким серым кустом посередине, вокруг которого бегали дети, мимо нас пошла железная дорога, а поверху — автострада, по которой неслись автомобили нам навстречу непрерывной цепью, прямо по поездам, бегущим вниз, чем-то напоминающая мне мои мечты о будущей жизни.

Возможно, что другим уже приходили, и не раз, мысли о том, как перепланировать человечество. Каждый век, нет, скорее каждые четверть века мысль о каком-нибудь новом удобстве поворачивает под острым углом и открываются новые горизонты. То это был восьмичасовой рабочий день. Остановка. Поворот. И впереди показываются новые идеалы: бесплатный госпиталь, пенсия на старость. Но и этого, конечно, мало. Новый поворот — новый идеал: застрахованные похороны, бесплатное лечение зубов. Теперь мы мчимся к тому, чтобы продлить время, чтобы расширить пространство. Я прихожу к заключению, что мне пора изложить все эти мысли на бумаге, послать куда-нибудь и взять патент. Да. Взять патент. Открываются новые перспективы. Десяти, пятнадцати, двадцатимил-

лионные города, переустроенные, переосмысленные. Сутки перекроенные, рационализированные. Особые машины, которые вычисляют все, как быть должно: кому где жить, кому как жить, кому чем быть, кому когда жить. Разделы: семья, труд, развлечения. Подразделы: искусство, воспитание детей, способы передвижения... Для всех найдется место, даже для тех, кто любит одиночество. Пусть живут!

— Одиночество — не преступление. Есть люди, которые ищут его. Не мешай им.

— Как это ни странно, прокаженные тоже имеют право жить.

Не сливать эти два лозунга, оставить их раздельно, и даже, может быть, вставить между ними другой:

— Оставь в покое своего соседа. Он не хочет твоих забот.

Я должен быть готов к нападению на меня с двух сторон. Всякой мысли, даже такой древней и потерявшей всякий смысл, как «есть Бог» и «нету Бога», всегда грозит нападение с двух сторон: со стороны прогрессивного человечества и со стороны реакционеров. А тем более — мысли новой. Прогрессивное человечество (которое вот уже скоро семьдесят лет, как олицетворяется государством, занимающим ровно половину земного шара, и на престол которого недавно взошел Кузьма Второй, племянник Сидора Великого), прогрессивное человечество поторопится поставить мне западню не столько с точки зрения осуществления моих пространственных задач, сколько с точки зрения осуществления задач, связанных с временем: эти две недели в год, которые, как премия, будут падать на голову рабочего класса (и всего человечества), оно сейчас же прикарманил, потребует распределить между хорovým пением, атомными вычислениями, изучением биографии Сидора Великого и парадами. А реакционеры, конечно, поставят мне на вид праздники, посты, грегорианский календарь, юлианский календарь, времяисчисление со дня появления Вифлеемской Звезды и землетрясения на Ближнем Востоке в Первый век нашей эры.

Но поймите, поймите же меня! Я вовсе не обещаю вам легкое разрешение всех мировых задач, я, наоборот, вовлекаю вас в большие трудности: архитекторам (в первую очередь!), начальникам железнодорожных станций, докторам, инженерам, писателям, забойщикам, портным, домашним хозяйкам — всем предстоят громадные трудности, но зато потом!.. зато потом, лет эдак на сто или двести, какое будет облегчение! Пока опять все не смешается в тесноте и спешке, и не явится какой-нибудь новый гений, с новыми идеями переустройства пространства и времени.

Новый гений. Это звучит так, будто я себя считаю гением. Между тем, это совершенно не так. Я человек скромный, мой идеал — место старшего счетовода, может быть — младшего бухгалтера, женитьба

— и почему бы не на Дэли? Какое было бы счастье быть с ней, быть с ней всегда, а главное — быть ею любимым. «Ты меня любишь?» — стал бы я спрашивать ее каждый день и целый день. И она отвечала бы каждый раз и всю жизнь: «Да, я люблю тебя».

Было почти темно, когда мы, наконец, остановились, завернули под густые деревья и стали.

— Большие Фонтаны, — сказал кто-то сзади меня. Пронесли в клетке собаку, с которой я на мгновение встретился глазами. Я вынул из под сиденья свой парусиновый мешок, надел шляпу, и предвкушение какой-то радости вдруг снизошло на меня. Ни о чем никого не спрашивая, я сошел с автобуса, вышел из-под деревьев на широкую площадь и остановился у будки мороженщика. Я прислушался, чтобы сообразить, в какую сторону идти — но не услышал никакого журчанья. Между тем, я отлично помнил, что от фонтанов должно исходить журчанье.

Передо мной была площадь, кругом горели фонари; широкое и совершенно лысое место было окружено ровным кольцом небольших деревьев, за которыми высились дома, высокие, каменные, в большинстве окон которых горел свет. В боковой улице был видимо затор в движении, потому что оттуда доносился рев автомобильных гудков. Когда он прекратился, я опять прислушался, но никакого журчанья не было. Прямо передо мной был огромный сухой цементный бассейн фонтана, метров в шестьдесят в диаметре. Он был наполнен людьми.

— Фонтаны? — спросил я мороженщика.

— Не действуют, — сказал он.

Я подошел к бассейну.

Прежде всего скажу, что у меня было такое впечатление, будто я попрежнему находился в центре какого-то большого города, что я никуда не уезжал. Так же горели малиновые и голубые вывески за деревьями, где шли автомобили, так же светились окна в домах, сплошными этажами, словно это опять были конторы, где шла вечерняя уборка, так же пахло пылью и сигарой, и если бы на шапке мороженщика не были золотом вышиты буквы «Б. Ф.», я бы мог подумать, что нахожусь где-нибудь недалеко от дома, по дороге, скажем, в табачную лавочку, куда, когда надо было идти, следовало пересечь скучную площадь.

Над сужим бассейном стоял смутный гул голосов. Он был совершенно полон сидящими, стоящими, лежащими в нем людьми. При свете фонарей можно было различить лица — молодые и старые, странные одежды; услышать отдельные слова, голоса шепчущие, поющие, говорящие что-то; словно в эту душную летнюю ночь все эти люди вышли из своих домов и как-то случайно, неожиданно для самих

себя, остались на площади, в этой огромной раковине, или лучше сказать — на этом огромном цементном плоту, пытающемся уплыть в ночные пространства. Трудно сказать, кто здесь был, легче было бы назвать тех, кого здесь не было. На глаз здесь было много сотен человек, несколько котят, несколько собак, не менее дюжины детей, из которых двоих кормили грудью, и большая клетка с попугаем, которого должно быть тоже вынесли подышать вечерним воздухом.

Те несколько человек, которые стояли кружком в центре бассейна, собирались что-то запеть, скрипка и банджо сидели у их ног по-турецки, но мне казалось, что эти стоящие люди сейчас взмахнут веслами, и все это тихо отчалит, теперь, когда все собрались сюда после кораблекрушения, и я был с ними. Я сел на край, где кто-то подвинулся, чтобы дать мне место, и спустил ноги.

Тут были: старики, принесшие с собой складные стулья и шахматные доски; старухи, подстелившие под сиденье газеты, держащие на животах толстые сумки; девушки лежали в объятиях мальчиков и мальчики лежали в объятиях девушек, дети ползали по ним, котята играли на коленях у беременной красавицы; двое бродяг угощали друг друга из фляги; какой-то оживленный, едва внятный разговор шел между двумя людьми в сандалиях и мексиканских поясах; лысый человек что-то рассказывал самому себе; красногубая, с дерзкими глазами навывкате, опираясь на двух молодых людей обеими руками, сверкала зубами третьему; рядом с ее разгоряченным, широкоскулым лицом торчал костыль сидящего спиной к ней бледного немолодого барина в куртке с кистями.

Далее шел ряд женщин — домашних хозяек, толстых, крепких, все на одно лицо, в низко вырезанных ситцевых платьях, до колен коротких, без рукавов; над ними стоял запах кухонного чада. Девочки, стриженные под мальчиков, в штанах, другие с волосами, распущенными до пояса, шестнадцатилетняя мать, дремлющая над детской колясочкой; какие-то три хулиганки, играющие в дикую игру, наваливаясь на соседей, валя их с края бассейна вниз, давясь от тихого хохота; чинно одетые, в кисейных шляпках, сестры-близнецы с мамашей и папашей; огромные негры в ярких шелковых шейных платках и пиджаках на голое тело; испанцы с гитарами; женоподобный херувим с умным, старым лицом; толстые маменькины сынки, держащие в каждом кулаке по вафле с мороженым; калеки с лицами всех оттенков, от бледно-зеленого до черного, как сажа; два веснучатых брата в одинаковых шотландских шапочках; какие-то еще, чего-то как-будто ждущие, пришедшие сюда, к видимо давно сухим фонтанам, дышать этой ночью, смотреть, как медленно выходит на черно-красное небо луна; и вот она вместо того, чтобы заиграть в струях фонтана, играет на лицах этой странной, бессонной толпы. Кто-то ударяет по

струнам, и не то африканская, не то южно-американская песня звучит, кое-кто начинает подтягивать, особенно из тех, что лежат в объятиях друг друга. И вот уже цементный бассейн весь наполняется и звучит песней, и не хватает только благоуханной летней дали, кудрявых деревьев и притихших соловьев.

Так сидели мы часов до трех ночи, дремали и пели, и опять дремали. Здесь, несомненно, было прохладнее, чем в душных домах, здесь было свободнее, беззаботнее, и здесь что-то еще напоминало о высоких брызгах и упругом сверкании воды. Пахло пылью. Мороженщик все еще стоял на своем посту, но автобусы ушли, последний протрубил и исчез, завернув за угол. И я, как все, дремал и пел, а потом положил свой мешок под голову, примостился у края бассейна и крепко уснул. И какие-то шопоты, и тихая музыка вокруг перешли в сон, и во сне кто-то все спрашивал меня о чем-то, какое-то звучало вопросом двусложное слово, это был короткий, назойливый вопрос, на который у меня не было ответа.

Когда я проснулся, бассейн был почти пуст, в нем продолжало спать не более десятка человек. Начинался новый душливый день, солнце уже палило всюду, хотя еще не было и восьми. Я пошел искать где бы позавтракать. Во все стороны бежали улицы, полные утренней городской жизни. Люди спешили кто куда, газетчик открывал свой ларек, чистильщик сапог примастивался со своими табуретами, открывались кофейни, пахло булками. Я неторопясь выпил кофе и съел яичницу, и все напоминало мне мой перекресток, где я жил, словно после пяти часов автобусного пробега я опять оказался на старом месте.

Но я вовсе не хотел этого! Машина, которая дала мне трехдневный отпуск, сделала это не для того, чтобы... И вдруг я увидел длинный ряд зелено-желтых автобусов, в стеклах их горело солнце, двери были открыты настежь. На первом было написано: «Синий Берег», на втором — «Зеленый Берег», на третьем — еще какой-то берег. «Они все идут более или менее на озеро, — сказал человек женщине, подсаживая ее, — только этот, знаешь, огибает городские сады, а тот лупит прямо вдоль реки, пожалуй, будет короче?» Неведомо откуда набегали люди, шофер включил мотор, и я, повторяя про себя: «синий берег, зеленый берег, синие, зеленые, розовые сады», вскочил тоже, подsunул под сиденье мой мешок, забросил шляпу на полку и сел у спущенного окна. Мы с ревом понеслись мимо пустого бассейна, завернули в тесную улицу, в другую пошире, в третью, и тут я потерял им счет. Сотни людей стремились, казалось, во всех направлениях, шли стеной друг на друга, огромный город гремел вокруг. Был ли это тот самый, в котором я жил и из которого хотел вырваться вчера, или другой, смежный и сходный, или еще третий — я не знаю. Мы катили по нему теперь не останавливаясь, и ему, казалось, не будет конца.

Я мысленно возвращался к вчерашнему вечеру. На один квадратный метр в сухом бассейне их было по крайней мере двое. А вот если бы осуществить мою идею, то их было бы вдвое меньше, потому что были бы, скажем, только одни плюсы, после знойного летнего дня отдыхающие, хоть и в пыльном, но все-таки сквере, перед тем, как заснуть до утра, а утром — опять на работу. В это время минусы протирали бы глаза, шли бы под краны, глотали кофе, вскочив по будильнику, разбегались бы по фабрикам, заводам, по конторам, по школам. Да, в сухом фонтане, на этом цементном плоту, было бы вдвое меньше народу. Положительно, мне надо набросать свой проект, как говорится, предать его, наконец, бумаге. Только в каком виде? Это надо обдумать. И не было времени более подходящего, чем сейчас: автобус теперь, шелестя шинами, катил по автостраде, изредка мелькали какие-то строения, пассажиры дремали, дорога стлалась без конца и края, до самого горизонта. И там, как мне верилось, ждали меня — сейчас же за горизонтом — синие, зеленые берега.

Если написать нечто вроде романа, то сейчас же найдутся люди, которые скажут, что я позаимствовал у великих утопистов нашего столетия если не идею, то самый прием, а, может быть, и манеру ее изложения. Но, ведь, предсказания всех этих гениев, в общем, надо признать, не оправдались, и мы, в нашем восемьдесят четвертом году, вовсе не так уж далеко ушли от дедовских времен. И потом я, ведь, хочу взять патент, это дело серьезное и совсем на утопию не похожее. А если я и позаимствую кое-что у гениев первой половины нашего века, так, ведь, и они без зазрения совести брали, что могли, у других, живших ранее, и, главным образом, у нашего же пра-пра-прадедушки, так что выходит, что я беру у них обратно мое же, мне принадлежащее. Но нет! Оставим роман в стороне. Лучше и проще, да и как-то серьезнее, написать доклад и подать его старшему счетоводу (ведь даже с младшим бухгалтером мне удастся перекинуться словом не чаще, чем два раза в год!). Прочитать его передать записку выше, и еще выше, все выше, и выше. . . Впрочем, и просить не надо: не может быть, чтобы моей идеей не заинтересовались самые важные люди. А уж разрабатывать они ее будут без меня: я скромн и не мечтаю стать председателем какойнибудь Особой Пространственно-Временной Комиссии. Разрабатывать идею будут специалисты, факультеты, академии. После вчерашнего вечера я окончательно укрепился в мысли, что написать все это надо. Иначе скоро на один квадратный метр в лунную, в звездную ночь в городском саду будет приходиться по четыре человека!

Несмотря на быстрый бег автобуса, несмотря на открытые окна, становилось все жарче. Мы неслись теперь в знойном дрожании летнего дня, солнце жгло, приспустили холщевые шторы, и я стал

дремать под однообразный шелковистый шум колес в мутном и пыльном свете. «Оставь в покое своего ближнего, — думал я, — ты ему совершенно не нужен», — вот еще один лозунг; эти лозунги придадут моему докладу некий философский оттенок. «Не делай своему соседу ни хорошего, ни дурного, забудь о нем». И я понемногу стал дремать в каком-то внезапно нахлынувшем на меня чувстве безмятежности и сладкой уверенности, что изумрудные сады и лазоревые берега подходят все ближе и ближе, и никоим образом от меня не уйдут.

Я проснулся от толчка. Автобус остановился и люди выходили гуськом; встал и я. Через секунду я пришел в себя: это уже не тот, не первый автобус, это уже второй, сказал я себе, это второй день моего путешествия, середина второго дня. Я соскочил с подножки на землю и огляделся: был ли это Зеленый берег или Синий, я не спросил. У небольшого озера, на плоском берегу, стоял огромный кирпично-стеклянный завод, и весь содрогался от лязга и грохота, ворота главного здания были открыты настежь, там, в темной глубине, сверкала плавильня, чем-то напоминающая то страшной мощи красное солнце, которое стояло над моей головой. А вокруг озера, сколько хватало глаз, стояли тесными рядами раскаленные, неразличимого цвета, все одинаковые автомобили.

Подле одного из них я растянулся в каком-то одурении, стараюсь уложиться в его узкой тени, на камешки и окурки. Черный дым, застилавший полнеба, начинался в той стороне, откуда мы приехали, и не кончался ни над озером, ни за ним. Там, на том берегу, виднелся двойник ближнего завода, тоже кирпично-стеклянный, огромный, чем-то живой: даже отсюда чувствовалось, что он полон людей, грохота, механической силы гуденья и дрожанья, а за ним, слегка сбоку, возвышалась гигантская электрическая станция, вся прозрачная, сложным узором своим похожая на разобрannую не до конца Эйфелеву Башню.

Я дышал горячим воздухом, пропитанным автомобильными испарениями. Несмотря на тень, бок машины, которого я старался не коснуться и возле которого лежал, был раскален, с озера не шло никакого дуновенья, и меня начало мутить от бензинового перегара, которым наполнялись рот и нос, которым наполнялся я сам, от запаха раскаленных шин, металла, масла. Где я? Сколько городов я проехал, городов, переходящих один в другой? Где тот горизонт, который был обещан мне? Где я? Что это за озеро, окруженное гудящими заводами, где трава, где лес, где поле? Куда ведут эти улицы? Опять к жилью, магазинам, вывескам, автобусам и другим автомобилям? И придут ли сюда люди купаться перед вечером, чтобы и я мог с ними вместе войти в воду? Но вода казалась черно-свинцовой, металлической тоже, как все кругом, и шагах в тридцати от меня стоял столб с надписью: купаться запрещено.

Двое людей подходили теперь ко мне, один был в форменной фуражке, другой — голый до пояса — вытирал лоб и шею платком, и видимо искал свою машину. Они перешагнули через мою шляпу. И я вскочил и крикнул им вслед, громче, чем полагалось:

— Как уйти отсюда? — я хотел спросить: где все остальное? — но в последнее мгновение мне показалось, что этот вопрос прозвучит неразумно.

— Вы завернете направо и третий поворот выведет вас на авто-страду, — сказал неторопясь тот, что был в форменной фуражке, остановившись и оглядев меня.

— Я — пешком.

— Пешком? — второй тоже остановился, и они оба смотрели на меня.

— Когда идет автобус? — опять спросил я слишком громко.

— Автобус идет завтра утром, — сказал первый, и они пошли дальше, все дальше от меня. Полуголый наконец нашел свою машину, завел ее, выехал и исчез в пыли. Первый, в форменной фуражке, пошел обратно.

— Послушайте, — сказал я уже тише, — я не туда попал, я ехал на озеро, то-есть, я думал, что это озеро, ну, знаете, как бывают озера. . . Я проехал четыре города, самое меньшее четыре, их, может быть, было пять. Я думал. . . У меня еще есть полтора дня. Не можете ли вы мне сказать. . .

— Обратитесь в информацию, — сказал он, — здесь лежать не полагается. — И он пошел от меня.

Я пошел за ним, волоча свой мешок.

— Понимаете, — говорил я, все стараясь, чтобы он меня слышал, — у меня есть чувство юмора, и я вчера ужасно смеялся, когда Большие Водопады, то-есть, я хотел сказать — Фонтаны, со мной сыграли одну штуку (разве я смеялся? я совершенно не помню, чтобы я смеялся!). Но сегодня это уж слишком, это уж не смешно. Я сердит, я прежде всего на самого себя сердит, вы только послушайте. . .

— Обратитесь в информацию, там вам скажут, — повторил он, и я увидел его лицо — оно не выражало ничего. Оно даже не выражало неприязни, в нем просто отсутствовало какое-либо выражение, как в листе бумаги или в чайном блюдецке.

Часы мои показывали без четверти пять. Я был голоден, я шел по дороге между тянущимися до бесконечности стенами завода. Потом начались двухэтажные дома, где, видимо, жили рабочие и служащие ближних заводов: крыльцо — окно, окно — крыльцо, и так далее, до бесконечности, в совершенно пустой улице, без единого дерева, без скамейки, без лужайки, без прохожих, без детей. Я шел часа полтора, пока не прошел ее всю, и ничего, кроме окна — крыльца не видел. Затем она кончилась, и я попал, видимо, на глав-

ную улицу, потому что подряд налево и направо шли одна за другой бензинные станции. Потом — площадь, большие стеклянные магазины, три церкви, библиотека, школа, гостиница. Я вошел.

— У вас есть комната?

Комната нашлась. Я умылся, переменял рубашку, спустился вниз, пообедал, но не почувствовал покоя. От усталости, от жары, тягостное состояние овладело мною, то состояние, когда внутри все мечется и хочется метаться самому, но нет сил метаться, тянет лечь, а как только ляжешь, внутри еще сильнее все мечется, и ничем этого метанья не утишить, разве что если придет сон и задавит тебя всего, со всеми твоими внутренними трепыханьями, бие-ньями, всеми этими пульсами, которые стучат в тебе, как сталели-тейный завод, на невероятной глубине, не имеющей никакого отно-шения к собственным твоим видимым размерам.

Я проснулся среди ночи и услышал опять тот же самый звук, который прошлой ночью в полусне не давал мне покоя, когда я лежал на дне цементного бассейна. Какой-то короткий настойчивый во-прос звучал, может быть — одно слово, с ударением на первом слоге, или два слова, каждое в один слог. Может быть, это было совсем не слово, а так просто чиркало что-то двойным чирканьем, или ка-пали капли — одна громче, другая тише, вперед-назад, короткие взмахи, но нет, было в этом звуке какое-то слово.

Утром я спустился в ресторан, в котором, несмотря на ранний час, уже пахло супом, как во всех дешевых ресторанах. Подавала мне толстая, в ночных туфлях на босу ногу и чистом переднике хо-зяйка. У нее были чистые, спокойные руки и неподвижное, когда-то милостивое лицо. Я решил вдруг, что скажу ей все, что она меня научит, что делать. Она выслушала мой рассказ и тяжело вздох-нула.

— Попали не туда? А что же не спросили? И такая жара все эти дни стоит! Я всегда думаю — лучше ехать на каникулы, когда не так жарко, только намучаешься. В такие дни только у залива хорошо.

— У какого залива?

— А у залива, на море. На берегу. По крайней мере, хоть и пе-чет, а, все-таки, иногда и ветерок есть.

— Далеко это?

— Часа полтора. Нет, пожалуй, больше. Вы на машине?

— Нет, я автобусом ехал, а потом пешком шел.

Она с недоверием посмотрела на меня, и я малодушно добавил:

— То-есть от остановки автобуса к вам шел пешком, — пред-полагая, что есть же где-нибудь в городе этом и автобусы, и оста-новки. — Она успокоилась. В глазах ее появилось даже какое-то со-чувствие.

— И вы понимаете, что время идет, — уже не мог я остановиться, — и я все куда-то еду, просто глупо, и даже если иметь чувство юмора, а оно у меня есть, честное слово! то все это может показаться очень смешным. Просто страшно смешным, ха-ха-ха!

Она показала ряд зубов, это она так улыбнулась, а затем пошла к другим столикам, но я уже думал только о заливе.

— Есть поезд, — сказала она, возвращаясь со счетом, — вы на него поспеете. Он подвезет вас к самому заливу, это пассажирский поезд, хороший. Идет часа два. Там вы купаться будете, загорать. Песок мелкий, купанье знаменитое. И такой широкий пляж, в полкилометра. Залив!

Я с благодарностью взглянул на нее. В это мгновение я со всей силой желания, на которую был способен, пожелал ей благополучия, ее детям, ее внукам, житейского благополучия в этой гостинице, в этом ресторане, запах которого преследовал меня до самой станции.

Мешок — под сиденье, шляпу — на полку. Вагоны побежали от одной станции к другой, маленькие, жаркие, гулкие; пассажиры сменялись, было мелькание людей, но я был счастлив, вернее, почти счастлив, потому что сожаление о потерянном времени нашло на меня, как темная туча; было жарко, совершенно так же, как вчера, — я с трудом мог себе представить, что это было вчера, когда я лежал в узкой тени чужого автомобиля и зловещее озеро было рядом со мной, и потом эта ходьба, а еще раньше был сухой водоем, и я потерял счет автобусам и городам, и был уже не совсем уверен, сколько времени ношусь я по этим городам в этих автобусах.

Опять раскаленное добела небо было в окне, и солнце, к счастью — с противоположной стороны, пекло, и жгло, и сверкало. Я старался не двигаться, от малейшего движения пот обливал меня всего. Я смотрел в окно и там, в странной, наверное несколько не нарочитой, случайной смене мелькали: дома высокие, дома пониже, железнодорожные пути между ними, кусок автострады, дерево, за-тертое между двумя церквами, фабрика, бензинная станция, опять дома, пролет улицы, полной движения, улицы, будто вымершей, пересечения проводов надо всем, станция, аэроплан, как серебряный муравей, ползущий по небу, надземная дорога, идущая под углом к нашему поезду, мост, состоящий из четырех мостов, сплетенных между автострадой и улицами, — и так продолжалось не два часа, не три, а без малого — все четыре, когда поезд вдруг приостановился, прошел еще чуть-чуть и окончательно стал. И в окно, в которое я выглянул, за крышами, трубами, церковными шпилями и крестами, водонапорными башнями и газовыми резервуарами, я увидел Залив в дымке зноя. Он мелькнул на одно мгновение, встречный поезд, входивший на станцию, закрыл его. Но я уже знал, что он есть.

Как все это будет выглядеть в будущем? Меня это интересует, по правде говоря, гораздо больше, чем то, как это выглядело в прошлом. Прошлое я не могу изменить, оно прекрасно (так мы все верим), еще двадцать, тридцать лет тому назад все было прекрасно, это вам скажет всякий. Тут, я думаю, сойдутся и прогрессивно-мыслящие (как принято их называть), как величайшего ума человек Кузьма Второй, так и какие-нибудь ретрограды, верящие в дурной глаз. Итак, прошлым я не интересуюсь. А вот в переустройстве будущего я могу сыграть некоторую роль, и хотя я не знаю за собой честолюбия чрезмерного и болезненного, но все же должен признаться, эта мысль утешает меня в моей, будем говорить прямо, серой жизни, в моей ничем не замечательной судьбе. Кто этот человек? — спросит кто-нибудь, и ему скажут: это тот человек, который выгадал каждому в среднем одну двадцатьчетвертую жизни и кто сдвоил пространство. Смотрите, мы теперь на некоторое время устроены вполне сносно. . . Я непременно обязан продумать все до конца, прежде чем писать свой доклад, не говоря уже о романе. Иногда мне даже странно, что это все не приходило в голову другим. Ведь, думают же некоторые (и самых различных направлений люди) о том, как устроить судьбу человечества.

Я двигался в густой толпе по направлению к Заливу. Рестораны были полны, под цветными зонтиками люди обедали, пили ледяные напитки; из громкоговорителя гремела музыка, прерываемая рекламой. Я ничего не имею против рекламы, но не понимаю, как можно ее любить больше музыки! А, ведь, есть люди, которые слушают музыку только нехотя, отдыхая на рекламе. Потом мы зашагали по длинному туннелю, где было прохладно, где вдоль стен сидели не то дачники, не то экскурсанты, наслаждаясь прохладой, и несколько человек из нашей толпы осталось в нем, уверяя, что «здесь лучше». Но я не остался. Туннель вел нас от одного заворота к другому, наконец, вдали появился свет, блеснуло все то же страшное, неотвратимое солнце, и открылся Залив, водяной простор, уходящий в далекую дымку, в туман, и я знал, что буду смотреть в эту дымку до боли в глазах, только бы не оборачиваться на проделанный путь, на шесть, семь, а может быть и более городов, оставленных позади.

Да, все было прекрасно на этом раскаленном песчаном берегу: длинным рядом влево и вправо, обращенные фасадами к Заливу, стояли белые небоскребы, видимо, на десятки километров занявшие широкий, пологий берег. Мы все разулись и шли босиком по горячему тонкому песку, осторожно обходя лежащие тела, осторожно ставя ноги, чтобы не наступить на кого-нибудь, перешагивая через чужие ноги, руки, а иногда и головы. Ревела реклама, прерываемая музыкой, иногда другая ревела прямо из-под ног, из аппаратов, принесенных сюда купальщиками. Там, где можно было

найти незанятый кусок пляжа, люди оседали, и я тоже скоро осел между телами, поколебавшись на мгновение, рассчитывая, не задену ли кого, когда буду ложиться. Но кто-то вежливо подвинулся немного, вернее, перевалился на другой бок, и я вдвинулся, втянув в себя плечи и живот, чтобы занять меньше места. Я слышал вокруг себя дыхание людей, разговоры, храп, детский плач, а некоторое время не двигался, чтобы никого не беспокоить, а потом сбросил брюки, рубашку и в одних трусиках блаженно растянулся на животе, положил голову на руки и замер. Низко пролетел геликоптер, тень его на миг задела меня. Я отодвинул от лица консервную банку, пустую бутылку, смятую, полуистлевшую на солнце газету, которую кто-то уронил на меня, и закрыл глаза. Мне показалось, что сквозь тысячи шумов — гул геликоптеров, крик купающихся, визг, радио, свистки блюстителей порядка, я услышал плеск волн. Это было воображение совершенно счастливого человека — Залив был безмолвен и недвижим.

Я, вероятно, забылся. Я пришел в себя и осторожно выпутался из-под рук и ног дремавших в оцепенении соседей, опять, внимательно ставя ноги, прошел до края воды и стал в очередь на купанье. Здесь был полный порядок. Залив, сколько хватало глаз, был заполнен купающимися, и длинные хвосты ждали у самого края берега, когда настанет их очередь войти в воду, когда можно будет поместиться в воде. Солнце все палило, хотелось броситься с сомкнутыми руками в голубую, совершенно плоско лежащую бесшумную волну, но броситься было некуда, все было полно, нельзя было бы даже втереться хитростью. Плечо к плечу стояли люди, держали детей, ныряли осторожно, через одного, удивительно слушались команды надсмотрщиков. Через одного, — сказал я себе, — это подтверждает мою теорию. Интересно, какой великий ум выдумал это «через одного»?

Наконец, дошло до меня. Я вошел. Вода была теплая, но все-таки освежила. Я прошел по грудь, людей стало меньше, и я поплыл. Впереди был дальний берег Залива, — так я догадывался — и я все смотрел в него, в туман его зноя, в котором он маскировался под океан. Туда, туда, когда-нибудь, с тобой вместе, — заговорил я вдруг стихами от полноты чувства легкости и надежды, — в конце концов, не так это далеко, есть, наверное, пароходики, такие чистые, такие белые, словно протертые одеколоном, и мы взойдем с тобой на такой пароходик, отчалим и поплывем, и там не будет никого, или почти никого, или только такие, как мы с тобой, и мы проживем там с тобой не два дня, не три, а столько, сколько позволит машина — твоя и моя — умная, добрая машина, если мы подождем года два, нам выпадет вместе такое счастье; и подумай, как будет чудесно: там будет лес, поле, лужайка, птицы и цветы. Тот туманный берег казался мне обетованной землей, я любил его, я мечтал

о нем, и мне казалось, что эта любовь начинает переходить в другую, в ту, которую я никогда не мог ощутить в себе, которую столько раз мечтал пережить, и все как-то не умел, чего-то недоставало. Я повернул обратно и полуприкрыл глаза; впереди появилось все то, от чего мне так хотелось уйти. Там, за этими стекляннно-марморными, розово-снежными небоскребами, подступившими к воде, лежали отравленные озера, сухие фонтаны, по горизонтальной плоскости протянувшиеся города, один выходил из другого и входил в следующий; там были душные пыльные ночи, знойные пыльные дни, счетоводы младшие и счетоводы старшие, и ты, ты, которую я так сухо и жестко, с таким равнодушием отчитал за то, что ты опаздывала на службу, приведя в пример самого себя, который никогда никуда не опаздывает! С полужакрытыми глазами я плыл и плыл, и мне показалось, что в какое-то мгновение слезы стали течь у меня из глаз, мешаясь с солоноватой водой Залива, слезы жалости и любви, и нежности, и вечности, которой не до смеха. Почувствовав под ногами дно, я встал на него и пошел, все помня, что за мною, через Залив, в голубой дымке лежит иной мир, с которым я на короткое время оказался наедине, вдали от всех, мой мир тишины, нашего общего с тобой одиночества, и радости, тоже нашей общей.

А впереди был все тот же берег, толпа, покрывающая его так, что если бы меня спросили, какого цвета песок, я бы не знал, что ответить, солнце, плавающее в небе, уже чуть склоненное в сторону зданий, и хвосты людей, ожидающих в полной дисциплине минуты, когда освободится место в воде. И надо всем этим стоял тот шум, когда не слышишь собственного голоса.

Я протиснулся, чтобы выйти из воды, протиснулся, чтобы дойти до своего места, вытерся, как мог, задевая лица соседей мохнатым полотенцем, и все время извиняясь, и уже не мог больше улечься в тесноте, а, забрав свои вещи, пошел обедать. Я терпеливо дождался очереди, ел много, выпил бутылку пива, побродил по горячему тротуару под искусственными пальмами, послушал громкоговоритель, предвещавший ясный вечер и сравнительно прохладную ночь, и посидел на каменной скамейке. Начало вечереть. Солнце зашло за небоскребы.

— Хорошо было бы остаться здесь до утра, — сказал женский голос, и я увидел, что рядом со мной сели двое, мужчина и женщина.

— Но мы же заказали комнату, — возразил он, — и дали задаток.

— Он сказал, что будет ясный вечер и прохладная ночь.

— Да, он сказал.

— И мы выкупаемся еще раз, когда никого не будет, и потом уснем на песке.

— Если все так будут рассуждать, то никто никуда не уйдет, и будет так же тесно.

— Этого не может быть. Уйдут и уедут в конце концов почти все. Во всяком случае — половина.

Я улыбнулся, но смолчал. Она сказала: половина. Я скоро дам им то, чего они хотят. Они еще не знают этого.

— Жестко будет спать, — сказал мужчина и зевнул.

— Это ты от воздуха, — сказала женщина. — Да, может быть, ты и прав. — Они помолчали.

— Знаешь, что, — вдруг протянул он сонно, — пойдем.

— Пойдем, — согласилась она. И они встали, и ушли, оставив меня с моими мыслями.

Они текли, эти мысли, и в неосвязаемой, но тесной связи с ними во мне просыпались смутные чувства, все время то следуя за мыслями, то опережая их, точно ткалась какая-то ткань, соединяя две нити разных цветов в один рисунок; во мне словно ходили два челнока, и если бы я не боялся показаться старомодным, я бы сказал, что один был в мозгу, а другой — в груди, один имел отношение к моей идее, другой — к Дэли. Две нити свивались вместе, и потом вдруг первый челнок начал отставать от второго, удаляться, тускнеть. Он показался мне не таким важным, значительным и решающим, а второй в это время стал даже как-то расцветаться красками золотистыми, рыжими, какими-то осенними. И среди всего этого вдруг прозвучал тот вопрос, тот двусложный ночной звук, который как будто бы на этот раз не захотел дожидаться ночи, а среди людского шума, криков, беготни, тесноты, все еще палящего, но уже как-то косо, солнца, прошелестел или протикал, пролепетал:

— Где ты? — и потом, секунд через пять, снова: — Где ты? — и снова после внутреннего во мне молчания: — Где ты?

И я вдруг понял, что человечеству не надо от меня ничего, что нет причин вздваивать пространство и давать каждому продление времени, чтобы эта жизнь вокруг продолжалась дольше, чем она сейчас продолжается, и чтобы хвосты купальщиков стали вдруг наполовину короче, что этим все равно ничего не поправишь, что есть только одно нужное и важное: тот берег Залива, в дождь, в снег, в палящий зной, в грозу и бурю, где мы вдвоем с ней, с единственной моей навеки, побудем, сколько можно, сколько нам позволит машина, чтобы, пройдя по полям и лесам, как два ангел-хранителя (она — мой, а я — ее) почувствовать, что только она может все простить мне, а я — ей, защитить меня, а я — ее от всего на свете. настоящего и будущего. Что эта прогулка, которая когда-нибудь будет, иначе жить нельзя, будет и обручением нашим, и венчанием, до которого нет и не может быть никакого дела никому

на свете. Отчаяние и счастье в эти минуты как бы свились во мне в один нестерпимый клубок, челнок ходил в сумасшедшем смятении, громко отбивая: где ты? где ты? где ты? Ткалась ткань, самая основа моей жизни, и я слышал и видел ее — как бывает, может быть, один или два раза в человеческой судьбе.

Когда я очнулся от всего этого, солнца больше не было и толпа на берегу поредела. Я пошел вдоль берега, у самой воды, где теперь можно было пройти, никого не задевая. Я шел и шел, влево от меня нескончаемой сплошной стеной стояли небоскребы, теперь сверкая в огнях реклам, справа едва слышно колебался зелено-голубой Залив; вдалеке, там, где берег заворачивал, на фоне черневшего неба, зажегся гигантский экран и какие-то великаны уже двигались на нем, началось представление. Теперь во мне было тихо, все молчало, все было спокойно, словно было принято какое-то решение.

Перед тем, как улечься на еще теплый песок, я долго вглядывался в даль: толпа все редела; кое-кто еще плескался в темной воде: несколько человек поодаль от меня приготавливались ужинать, раскладывали скатерть для пикника; в воздухе стало тише, медленно пролетели чайки, прогудел еще один аэроплан. Я растянулся — не поперек, а вдоль, чтобы быть лицом к горизонту и спиной ко всему тому, что было, чтобы почувствовать, что на этот раз я лежу на краю моей прежней жизни, что она вот здесь, у этого Залива кончается, а за ним начинается другая.

Ночь наступила. Пикник кончился. Я стал засыпать, положив голову на свой мешок, сон подходил так медленно, так осторожно, что мне казалось, что я в каждое мгновение чувствую его приближение, как если бы он был дух, едва касавшийся земли, идущий ко мне. Мне показалось, что кто-то положил мне руку на лоб, и медленно и плавно между моим лбом и ее ладонью заструились длинные пряди ее волос. И тогда я уснул и, наверное, за всю ночь не пошевелился. потому что, когда я утром открыл глаза, я все так же лежал на боку, выгнув руку вдоль тела.

Я открыл глаза и не двинулся: прямо передо мной начинался рассвет. Длинная, бледная полоса тянулась над Заливом, а на горизонте, там, где вчера томила меня и соблазняла туманная дымка, стоял черный, огромный город, восьмой или девятый по счету, замыкая горизонт вогнутым полукругом.

Я оставался лежать неподвижно, вглядываясь в черный силуэт этого города. Ломанная линия его крыш четко вырисована была на розовой заре, он был огромен, небоскребы уходили ярусами один за другим, и не то все это тяжкое, черное видение возникало из воды, не то было спущено на воду из узкого разрыва тех предрассветных облаков, которые нежились над ним, и сквозь которые солнце уже тянулось к воде и земле. И самое удивительное в этом видении было

для меня сочетание ужаса и красоты, гибели чего-то, что едва возникло во мне, и возвращения того, что всегда было, чего-то привычного, с чем я жил, с чем я сжился, с чем я примирился, что ли. Оно выросло теперь, кладя предо мной свои пределы, свои законы, и не могло быть и речи, чтобы бунтовать против него или спорить с ним, или вообще вести какой-либо с ним диалог. Город стоял, непреложный, как этот закон. А над ним, за ним, вставало солнце, и он начинал из черного силуэта превращаться во что-то сквозное, в кружево из железа, бетона и камня, преграждая путь туда, куда, мне казалось, была возможность уйти — на час, на день, или навеки.

День начинался, но, казалось, тот раскаленный воздух, которым мы дышали все эти дни, рассеялся, ушел, и с Залива несло прохладой. Пары и одинокие люди, уснувшие на песке, не двигались, все было тихо, жизнь еще не начиналась, только откуда-то, должно быть, из ближайшей кофейни, неслась первая передача утренних новостей. Я встал. С минуту я колебался, не выкупаться ли? Но никакого желания идти в воду не было. Я обулся, повернул к берегу и не оглядываясь ни на Залив, ни на засиявшее в небесных прогалинах солнце, зашагал туда, откуда несся голос громкоговорителя.

А на следующий день я сидел в кресле, в комнате, а она — на табурете подле меня. Я говорил ей о том, что ехать, в общем, никуда не стоило, что фонтаны не бьют, в озерах не купаются, в заливах места нет никому, но что скоро все это переменится.

— Эпидемия? — спросила она, поднимая на меня свои грустные глаза.

— Не эпидемия. Я уже говорил вам об этом, но вы такая рассеянная и никогда ничего не слушаете, и все забываете.

Потом я рассказал ей про свой обратный путь, который оказался короче, чем я предполагал, и как мы опять оказались на Площади Шлимана.

— Вы, небось, даже не знаете, кто такой Шлиман? — спросил я снисходительно, чувствуя все мое превосходство перед ней, всю серьезность, всю деловитость моей натуры.

— Не знаю, — сказала она, и в голосе ее не было заметно раскаяния.

— Шлиман нашел Троя, — сказал я, рассматривая свои записки. — Потому ему и памятник поставили. Вы знаете, что такое Троя? — она отрицательно качнула головой. — Он делал раскопки, он выкопал девять городов. Девятым была Троя. Вертикально, понимаете, они лежали один под другим.

Но оттого, что она тряхнула головой, выпал гребень, и волосы ее рассыпались.

О. АНСТЕЙ



Весь в нетерпении въездной уборки
Светло-необжитой и звонкий дом.
Девически белеют окон створки
И двери хлопают веселым сквозняком.

Так ты, душа, едва из-под неволи,
Общипанная, с перьями в крови —
С надеждой в новой селишься юдоли,
Пьешь разреженный воздух нелюбви.

Так прибрано, так звонко-одинокое.
Для новых песен приготовлен дом.
Свободны руки, внятно видит око
И сердце хлопает веселым сквозняком!

О. АНСТЕЙ

НОЧЬЮ

Красный отсвет от лампадки.
Начал фитилек дрожать,
Точно мается в припадке:
И лампадке умирать.

Вьется под гору дорога,
Но не страшно темноты:
И фитиль, и я, и ты —
Все в руках живого Бога.

КАК ЧИТАЛ РЕБЕНКОМ

О эти главы после Воскресенья —
Прохладные и солнечные главы!
Их так читаешь, как читал ребенком,
А в детстве — кто б меня разубедил,
Что в эти дни ученики и Он
Сидели в длинной, светом напоенной,
На нашу детскую похожей зале.
Сидели, отдыхая так глубоко,
Как в Светлую неделю отдыхаешь
От трудных служб Страстной.

Он тут, Он с ними,
И долго-долго, целых сорок дней
Еще им до разлуки . . .

А в проемы
Недавно выставленных чистых окон
От тополя в сережках рыжих — тень
Струилась мелкая и молодая,
И без докучных стекол внятно звон
И крик грачей вливался со двора.

Я чувствовала ясно так за них,
Учеников: вот так же было им,
Как детям нам на Пасху, — нет уроков,
И свежестью отглаженной полна
Душа, как скатерть на столе пасхальном.

И вокруг Него, на скамьях, на полу,
В глубоком празднике они сидели,
Прислушиваясь к голосу, который
Они уже не думали услышать:
— Меня ты любишь, Симоне Ионин?
Паси овец Моих . . . —

А во дворе
С дождем минутным дети торговались, —
Сулили, что поедут на Ердань,
И под окном блестели на дорожке
От крашенных скорлупок черепки.

В. ЧЕНЦОВ

НА ХУТОРЕ

РАССКАЗ

Тяжелая, сизая туча шла низко, поблескивая внутренними молниями, и — прямо на мальчиков. Потемневшая вдруг степь притихла, остро запахло травами.

Коле, впервые попавшему в деревню, надвигающаяся туча казалась животом какого-то чудовищного болотного млекопитающегося, готового вот-вот кинуться сверху на все живое. И когда ослепительно сверкнула молния, соединив на мгновение ломанной электрической линией горизонт с тучей, Коле показалось, что от земли взвился колючий огненный змей и впился в мягкий, незащищенный живот ползущего по небу чудовища, похожего на первобытных животных на картинах, развешанных в школьном кабинете естествознания. В воздухе с шипением оглушительно разорвался гигантский кусок материи и, следом, с грохотом сорвалась и покатилась где-то наверху огромная балка. Налетевший ветер положил траву и она заметалась волнами по степи, отливая темной изнанкой. Все в Коле сжалось и он закричал что было сил в сторону скрывшихся за бугром Бори и Кирюшки:

— Ребята! Подождите!

Коля как бы увидел со стороны свою маленькую фигурку посреди бескрайней, затаившейся степи, где вот-вот сойдутся какие-то таинственные силы природы, его охватило чувство одиночества и страха, и он со всех ног бросился бежать.

С бугра он увидел далекие рубашки — белую Бори и темную — Кирюшки. Кирюшка что-то кричал Коле, показывая в сторону одинокого, безлюдного хутора.

Коле пришлось бежать по прошлогодней пахоте. Ноги в сандалиях увязали в сухой земле, в воздухе запахло пылью. Бежать напрямик было тяжело и Коля побежал вдоль борозды, к дороге. За-

капали первые тяжелые капли, то там, то тут стали вздрагивать отдельные травинки, капли, падавшие на дорогу, тут же сворачивались в пыльные мягкие шарики.

Коля застал друзей на крыльце дома, они сидели под навесом, весело переводя дыхание. Не успел Коля отдышаться, как крыша над головой загудела на одной ноте, вокруг полило, степь затянуло дождем. Гроза, гремя и сверкая, стала поить почерневшие поля.

— Шли в хату, — по-хозяйски распорядился Кирюшка.

— А чей это дом? — спросил Боря, которому, как и Коле, по городской привычке входить в чужой дом было неловко.

— Это хутор Севастьянова-кулака, — ответил Кирюшка и первым вошел в темные сени.

На захламленном полу валялись поржавевшие обручи, остатки кадки, в углу были свалены тяжелые круглые «галыши», которыми хозяйки придавливают соленья.

Кирюшка, в роли хозяина, показывающего городским гостям свои владения, толкнул босой ногой дверь в первую комнату. Большая, низкая, в три окна, она была замусорена, на крашеном полу валялись пожелтелые бумаги, старые газеты, разное тряпье, осколки дешевого зеркала; плита в углу разворочена, конфорки побиты.

— Где ж он теперь? — негромко спросил, оглядываясь, Коля.

— Кто? — не понял Кирюшка.

— Да кулак.

— Чудило, не знаешь, что ли, куда кулаков девают? Арестовали на Пасху, а на той неделе остальных отправили на станцию.

— В тюрьму?

— Не, в Сибирь, говорят, куда-то.

— Кто ж теперь будет тут жить?

— Никто не будет. Хутора приказано ломать, чтоб все гуртом жили в деревне.

Высокого, насуразно сложенного Борю судьба хозяина дома, видимо, не интересовала, он ковырял железным прутом в плите.

— Ты что там ковыряешься, Борька? — спросил Коля.

— Может, клад, — Боря недавно прочел «Тома Сойера» и ему повсюду мерещились клады.

— Какой там клад! — засмеялся щербатым ртом Кирюшка, — все раздербанили! Сегодня в деревне дележка идет. Бабы, наверно, опять подерутся. Отец потому и выпроводил нас.

— А зачем тебе, Борька, клад? — подхватил Коля, — разбогатеешь — тебя и раскулачат, и тоже в Сибирь.

— А-а... что вы понимаете! — Боря отошел к окну и вдруг закричал:

— Кирюшка, смотри, какой-то дед с винтовкой дует сюда!

Мальчики сгрудились у окна. По дороге из деревни под проливным дождем быстро шел сгорбленный старик с мокрым брезентовым плащом на голове. В руках у него было ружье.

— Да это дед Лукашка, — рассмеялся Кирюшка, — сторож наш. Наверное тоже от дождя хоронится. Он у нас чудной.

— А зачем ему винтовка? — Коля побаивался вооруженных людей.

— А чорт его знает! Куда-нибудь сторожить послали. Он чудной, — опять повторил Кирюшка и чему-то засмеялся. — Знаете, давайте напугаем его! — и ничего не объяснив, Кирюшка отворил дверь в соседнюю комнату. — Давай сюда!

В комнате-спальне было темно — на юге спальни строят без окон, чтобы летом не было так жарко. Дети затаились у двери за каким-то ящиком. Кирюшка прикрыл дверь и стал следить в щель.

Старик вошел, стукнул ружьем об пол, стал стряхивать брезентовый плащ, долго старчески кашлял, затем уселся, сплюнул, достал кисет, оторвал кусок газеты и стал сворачивать цыгарку. Он что-то говорил себе под нос, повторяя: «прости Ты, Господи».

Когда он стал чиркать отсыревшей спичкой, Кирюшка, втянув подбородок, сказал баском:

— А мне, дед Лукашка, дашь закурить?

Старик не донес зажженной спички до цыгарки, оглянулся, покачал головой, что-то пробормотал, и стал закуривать.

— Дай закурить, дед, слышишь? — требуя, повторил Кирюшка, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться.

Старик быстро обернулся к двери спальни. Боря, которому было любопытно посмотреть, полез было поближе к Кирюшке, но зацепил ногой за ящик, что-то в темноте упало и покатилося. Кирюшка увидел, как старик выронил цыгарку изо рта, вскочил и кинулся вон из хаты.

Мальчики с хохотом выбежали из спальни. У стены стояла берданка, на табурете лежал плащ, на столе — кисет с табаком и спички. В окне было видно, как по дороге, под ливнем, с непостижимой для его лет быстротой, убегал старик. Он поскользнулся, упал, быстро оглянулся на дом, вскочил и побежал чуть ли не еще быстрее.

И хотя Коле было жалко старика, но он тоже хохотал над тем, как они «испугали старикана», тоже пробовал потянуть из заслонявленной цыгарки и только закашлялся; но когда Боря предложил «бабахнуть» из ружья, испугался и заявил:

— Вот увидишь, скажу тете Нюре! Вот увидишь!

Боре тоже было страшно «бабахать», но он стал дразнить Колю:

— Стукач-трепач! Маменькин сынок-сосунок!

Потом все шумно спорили, почему берданка не винтовка, а ружье, но Боря, что-то вспомнив, зажег кусок газеты и пошел в спальню, он тут же выскочил оттуда с перекошенным от ужаса лицом:

— Ребята! Там... там... — но что было «там», выговорить не мог.

Кирюшка подошел и стал вглядываться.

— Там повешенный! — наконец выговорил Боря.

— Врешь, выдумывает он! — испугался Коля.

Кирюшка зажег какую-то бумагу с полу и через порог осветил спальню. Мальчишки увидели висящее в углу длинное тело в штанах и в рубашке без пояса. Удушенник был бос, по бокам вытянувшегося тела висели длинные руки с большими ладонями. Лица его не было видно, он словно отвернул его в угол комнаты, где висела уцелевшая от разгрома иконка — металлический темный лик святого поблескивал в свете колеблющегося пламени горевшей бумаги.

— Севастьянов! — шопотом ахнул Кирюшка.

Бумага догорела. Коля схватил Кирюшку за руку:

— Бежим!

Боря попятился к выходу:

— Как же он сюда попал? .. Ведь в Сибирь... ..

Коля что-то увидел в окне:

— Кирюшка, смотри!

Далеко из деревни выбегали люди: мужчины, бабы, дети. Дождь перестал, в воздухе стало светлее. Впереди всех бежал человек в белой рубахе навывпуск, без шапки.

— Председатель! — узнал Кирюшка. — Срывайся!

В сенях дети свернули на скотный двор, там перелезли в хлев и затаились у щели, из которой было видно крыльцо.

Вскоре послышался топот многих ног, возбужденные голоса, и люди стали подбегать к дому, останавливаясь метрах в десяти от крыльца. Председатель, высокий, цыганистого вида человек, держал в руке наган. Он бешено оглядывался на подбежавшего позже других сторожа Лукашку и кричал:

— Ну, где твой воскресший кулак? Где, я тебе говорю?

Деда Лукашку выталкивали вперед, но тот упирался.

— Не пойду... .. Чего хотите — не пойду... ..

— А под суд хочешь? По какому праву бросил пост? А? Повесил беглый классовый враг, тебе поручили сторожить, а ты что? Вот придет следователь из района — узнаешь, как бросать доверенный пост!

Старик, испуганный угрозой председателя, взорвался:

— Чего ты пристал, как репей? Я сторож в деревне, а не при покойниках! Я у него ничего не брал! Ты брал — ты и отвечай.

— Ты мне тут контрреволюцию не разводи, зараза! Агитируешь на народном суеверии? Срываешь колхозное собрание, посвященное разделу кулацкого имущества?

— Вот и иди сам, если такой грамотный! — отрезал старик. — Когда он попросит у тебя на цыгарку, тогда и хорохорься. «Суеверие!»

В толпе шумели. Было слышно, как причитают бабы, некоторые плакали.

— Загубили живую душу, вот она и не дает покоя. . .

— Страсти-то какие, Господи-Исусе! Что же это теперь будет?

— В свой дом помирать прибег. . .

— А как же, своими руками строил!

— Я — что? Я одну скатерть взяла, — говорил чей-то высокий женский голос. — По бедности взяла. Я отдам, на что она мне? Истинный Бог, отдам, при людях говорю.

— Что ж, и я отдам. . . — крестилась старушка в большом черном платке. — Мне ихнего не надо.

— Тише вы, сороки! — налетел председатель на женщин. — Разгалделись! Может, Лукашка в подкулачники перемахнул! Мутит народ. . .

— Да что ты к нему пристал, окаянный! — не выдержала старуха. — Твой грех, ты и отвечай! Нечего на него валить!

Председатель видел, что надо было на что-то решиться. Идти в дом одному ему было страшно.

— Коммунисты, комсомольцы, ко мне! — вспомнил председатель.

Из толпы сразу же вышел мрачного вида парень, вытер рукавом рот и стал рядом с председателем. За ним бочком вышел из толпы чахоточный человек в кубанке, потом — с полдесятка парней.

— За мной! — скомандовал председатель и пошел на крыльцо, держа наган перед собой.

Сельский актив, сгрудившись, двинулся за председателем. Толпа затаила дыхание. Какая-то баба не выдержала и закричала вслед сыну-комсомольцу:

— Андрюшка! Паршивец! Не ходи, говорю!

Парень испуганно обернул веснущатое лицо, сердито отмахнулся и пошел в дом вслед за остальными.

Воспользовавшись, что внимание толпы было приковано к крыльцу, Кирюшка шепнул:

— Срывайся!

Мальчики высочили из хлева, прячась за кустами, добежали до огорода, поросшего высоким бурьяном и, скрытые домом, пустились наутек через мокрое после дождя поле.

Долго рассказывали потом по окрестным колхозам о происшествии на хуторе Севастьянова. Говорили, будто по ночам бродит кулак-самоубийца по своему полю, а перед первыми петухами стучит в окна домов, где было его разграбленное добро.

Н. НАРОКОВ

Т А Н Я

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ЛЮБОВЬ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА»

... Эта «история», как назвал ее Корытников, была, действительно старая, потому что началась она давно. Можно с точностью указать не только год, но даже и день, когда она началась, потому что Евгений Александрович Петровский, шутя и подсмеиваясь, так говорил про своего племянника, Виктора Алексеевича Шатилова:

— Если помните, то у Островского какая-то там Капочка или Липочка спрашивает у Бальзамина: «Давно вы меня полюбили?» А тот очень точно отвечает: «В четверг на прошлой неделе после обеда!» Вот так и наш Виктор... Когда он полюбил свою Лизочку? 4 марта 1888 года, в пятницу, на блинах у Волошиных!

Он говорил шутливо, но в том, что он говорил, никакой шутки не было. Виктор Алексеевич и Лиза Туманова полюбили друг друга именно в этот день: сразу, по первому взгляду, как не бывает даже в самом сентиментальном романе.

Год тому назад Лиза окончила славгородскую женскую гимназию и начала учиться пению. Еще тогда, когда она пела в гимназическом хоре, все обращали внимание на ее удивительный голос, а ее старенькая учительница пения уверяла, что «на дюжину хороших меццо такое, как у Лизочки, не всегда встретится».

Марья Васильевна, мать Лизы, вдова судебного пристава, жила на небольшую пенсию и имела собственный домик, который давал кое-какой доход: сдавала одну половину под квартиру, да сбоку была бакалейная лавочка. Средства были очень скромные и учить Лизу пению было почти не на что, но Марью Васильевну убедили: учить надо, потому что «Лиза — звезда!» И с осени она поступила к Зобовой, которая тогда считалась лучшей учительницей пения в Славгороде.

Зобова была строга и требовательна. Она согласилась заниматься с Лизой, но предупредила, что потребует от нее очень большой работы:

— Так вы и знайте! А если не будете работать, а будете романсы разучивать, то я вас от себя прогоню. Вот и решайте: хотите вы у меня учиться или не хотите?

Лиза покраснела, заволновалась, хотела ответить — «Хочу!», но нечаянно выговорила совсем другое:

— Pardon, madame!

Зобова расхохоталась:

— Я вам потом припомню это „pardon“! Вот, когда вы станете примадонной, я вам его обязательно припомню!

Работа над голосом сразу стала для Лизы радостью. В девических мечтах она уже рисовала себе и сцену, и громы аплодисментов, и восхищенную толпу. Пробовала вообразить себе и поклонников, но по своей наивности поклонников вообразить не сумела.

Но зато она с волнением понимала и чувствовала: своим голосом она может дать людям радость. И когда думала об этом, сердце начинало биться, а глаза разгорались, и дыхание слегка стеснялось. Она хорошо знала эту радость, она переживала ее всякий раз, когда слушала оперу и, особенно, когда слышала любимую арию. Первый аккорд увертюры в «Фаусте» заставлял ее сказать неслышное «Ах!», и это «ах» мучило ее сладкой мукой, не утихая и не слабей.

Но главным для нее была не сцена, не аплодисменты и даже не радость людей. Главным для нее было то, что она верила: ее голос дан ей от Бога.

Она с детства была религиозна простой, покорной, ни о чем не спрашивающей религиозностью. Когда ей было лет 5-6, она любила, ложась спать, всматриваться в иконку, которая висела на спинке ее кровати, и чувствовала себя тепло и умиленно. «Боженька! Боженька!» — шептала она и, крестясь, крепко прижимала сложенные пальцы ко лбу, к плечам и к груди. Но теплота и умиленность почему-то вдруг прошли. Вероятно, потом что-то очень властное поразило ее, и детски простодушное представление о «Боженьке» сменилось затаенным, постоянным страхом: «Бог накажет!» Эти два слова говорили ей все: и мама с няней, и их приходской священник, и законоучитель в гимназии, и строгая классная дама. Она еще не знала, что такое грех, но она уже боялась греха: робко и смятенно. А грех, говорили ей, был во всем: грешно не только нарушать Божьи заповеди или причинять людям зло, но грешно есть скоромное в посту, не знать наизусть 50-й псалом и ходить в театр по субботам:

— В церкви, небось, всенощная идет, а ты — в театр! Грешно это... Вот Бог-то тебя и накажет!

«Бог накажет!» Она холодела, страшась Божьего наказания, и когда она через открытые царские врата видела в алтаре изображение Всевидящего Ока, она опускалась перед Ним на колени и в смятенном испуге начинала молить:

— Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости!

Когда она потом вспоминала свою первую встречу с Виктором Алексеевичем, она сознавалась:

— Он посмотрел на меня так, что я... Я и не знала, что взгляд может быть таким!

А Виктор Алексеевич уверял:

— Я даже испугался, когда в первый раз увидел Лизу, честное слово! Как будто меня что-то стукнуло... Именно стукнуло: и по мозгу, и по сердцу!

За обеденным столом на блинах у Волошиных они сидели рядом: случайность. Вокруг них было шумно, немного чадно блинным чадом, приподнято весело и слегка пьяно. Но оба они очень искренно не видели того, что было вокруг них: они разговаривали. Говорили бесвязное, непридуманное и, уж конечно, непродуманное, но вышло так, что к концу обеда они знали друг о друге «уже все»! Виктор Алексеевич успел рассказать Лизе, что он сирота, сестер и братьев у него нет, воспитывался у дяди. В прошлом году окончил славгородский университет, но скоро после окончания заболел, а потом всю зиму возился «с нелепейшим осложнением». Поэтому на службу еще не поступил, но с осени начнет преподавать русский язык во 2-й гимназии, где много уже лет преподает его дядя.

— Может быть, знаете? Петровский...

— Евгений Александрович? — почему-то обрадовалась Лиза.

— Знаете? — тоже обрадовался Виктор Алексеевич.

— Он у нас историю преподавал... Очень строгий!

— А у нас географию... Но только он не строгий, а пунктуальный и требовательный. Но он очень душевный! Я, ведь, тоже у него учился, когда еще в 3-4 классе был. И он до сих пор помнит, как я его обидел: спутал Юкон с Юкатаном, а потом начал уверять, будто это почти одно и то же. Он даже теперь возмущается: «Одно — река, а другое — полуостров... А ты — одно и то же!»

Потом Виктор Алексеевич похвастался тем, что он, в сущности говоря, «помещик», потому что у него в дальнем углу суразовского уезда, на каких-то Митрохинских Выселках, есть «имение»: 32 десятины земли, огород и дом в четыре комнаты под железной крышей.

— По наследству от своего другого дяди получил!

Землю он сдает в аренду крестьянам и получает «большущий доход»: 400 рублей в год.

— И сад есть? — заинтересовалась Лиза.

— И сад есть... Только очень уж одичавший и запущенный.

— А что растет в саду?

— Яблони и черемуха... Впрочем, там, кажется, есть еще одна груша, но только на ней вместо груш сосновые шишки растут!..

Их любовь началась по первому взгляду, и была она такая, что

они ее не стыдились и ни от кого не скрывали, а смотрели на всех ясно и безгрешно: «Да, мы любим друг друга!» И все сочувствовали им, светло улыбаясь, когда смотрели на них, и так искренно желали им счастья, что сомневаться было нельзя: конечно, они будут счастливы. Никакой помолвки не было, и к свадьбе начали готовиться не потому, что вот, мол, Виктор Алексеевич «сделал предложение», а Лиза «дала согласие», но потому, что «это же само собою разумеется!»

Когда Виктор Алексеевич обменялся с Лизой кольцами, он сжал ее руку в своей и, упиваясь ее лучистым взглядом, взволнованно сказал:

— Вот ты и обручена . . . Мне обручена! На счастье?

— На счастье! . . . — тихо ответила Лиза, но сердце у нее сжалось: может быть, это грех — так верить в счастье?

Ее пугала ее вера в счастье и жажда этого счастья, ее пугал и страх: не грех ли ее любовь? не накажет ли ее Бог за то, что она так сильно любит? Она не делилась с Виктором Алексеевичем своим страхом и сомнением, потому что тоже боялась: не грешно ли говорить о таком страхе с ним, именно с ним? Искала ответ, но искала не у людей, а в книге, которую чуть ли не с детских лет непрестанно читала. Напряженно всматривалась в строки и старалась понять их смысл: явный и тайный.

«Во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа».

«Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак».

«Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорбь по плоти».

«Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше».

Лиза понимала эти строки, но они не приводили ее ни к чему: они не запрещали, они даже разрешали, но они сдерживали порыв и предостерегали. И она затаенно страшилась этих предостережений. По вечерам, когда она оставалась одна, свободная от дневных встреч, дел и забот, сомнения начинали мучить ее особенно сильно, и она опускалась на колени перед образом:

— Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости!

Ее молитвы перед образом всегда были полны именно просьбами о прощении: никогда ни о чем другом она не просила, безмерно пугаясь Божьего наказания. Милостивого и прощающего Бога она воспринимала и в Него верила, но чувствовала она Бога карающего.

Но чаще, полно и свободно слыша свое сердце, она отдавалась ликованию: «В моей любви нет греха! Нет греха!» Тогда она освобождалась, сама становилась легче, и будущее начинало казаться ей прекрасным.

— А я буду учиться пению и дальше? — спрашивала она Виктора Алексеевича. — Ты не запретишь мне?

— Я? О, Господи! Да, ведь, я же на коленях буду ползать за тобой и умолять тебя: пой! пой! пой!

И она радовалась тому, что у нее есть голос, такой прекрасный Божий дар. И, наполненная любовью, она продолжала работать: не для себя, а для голоса и «для Вити».

— Из вас выйдет толк, ma chère! — ласково говорила ей Зобова.

Лиза была в упоении. Смотрела вокруг себя, но видела не то, что было вне ее, а только то, что было в ней. И от этого жизнь, которая шла мимо нее, и люди, которые окружали ее, не были ни обычными людьми, ни обычной жизнью: все было необычайное. Все было (она все видела таким) светлым, ликующим, полным радости и любви к ней. Казалось, будто бы все («Все-все-все!») наполнено заботой о ее счастье, и ничего другого в жизни нет. И даже весна в этом году пришла только оттого, что весна нужна ее счастью.

Пасха в том году была поздняя, 24 апреля, а поэтому Фомина неделя, на которой можно было венчаться, приходилась уже на май. Марья Васильевна ни за что не соглашалась с тем, чтобы Лиза венчалась в мае («В мае венчаться — всю жизнь маяться!»), и настаивала на том, чтобы свадьбу назначить в июне, перед Петровками. Но Лиза и слышать об этом не хотела.

— Я? Маяться? С Витечкой? Да ты понимаешь, мамочка, что ты говоришь?

И Марья Васильевна в конце концов согласилась.

Своего нетерпения Лиза не замечала или, вернее, видела его не в себе, а в других: ей казалось, что этим суматошливым и веселым нетерпением охвачена совсем не она, а все остальные. И именно эти все остальные ждут не дождутся, когда же, наконец, придет этот необыкновенный, такой желанный и такой немного страшный день. И она с чарующим простодушием успокаивала и уговаривала:

— Скоро, скоро уж! Потерпите немного, дорогулечки! Ведь, всего только две недели осталось, ведь, это же совсем уж скоро!

А 4 мая, в день свадьбы, с самого утра все сияло голубоватым сиянием и было как бы не настоящее, а слегка призрачное: не полностью и не во всем уловимое. Лиза видела лица, слышала голоса, даже понимала слова и отвечала на вопросы, но вместе с тем она все это видела, слышала и понимала словно бы «откуда-то», словно бы из другого мира. А в том мире, в котором была она, с нею был только Виктор: его глаза, его лицо и его голос. Но и он был не просто с нею, а иначе, по необыкновенному с нею: и с нею, и в ней. Он и она — одно.

И всю жизнь потом Лиза по странному помнила этот день: не как бывшую явь, а как ускользающий сон.

А на другой день после свадьбы молодые уехали до августа в свое «имение»: в глухой угол суразовского уезда, в Митрохинские Выселки.



Выселки были небольшие: всего одиннадцать дворов, которые стояли разбросанно, не в ряд. Шатиловский дом был, действительно, под железной крышей, но был он маленький и старенький. За домом был небольшой сад, обнесенный скосившимся плетнем, а в саду росли совсем одичавшие яблони, знаменитая груша с сосновыми шишками вместо груш и буйная черемуха. За Выселками тянулся длинный овраг, где били холодные ключи, от которых, извиваясь в траве, бежал ручеек. Этот ручеек в версте от Выселок впадал в единственную в уезде речушку Жеребеевку, которая здесь была капризная: то широко разливалась между отмелей, то начинала пугать тихими и темными омутами.

Мебель в доме была самая простая, а к тому же старая, топорная. Ситцевые занавески на окнах давно пожелтели и даже истлели, стекла в маленьких окнах отливали радужными отсветами, двери плохо затворялись, и половицы уныло скрипели под ногами. Хорош был в угловой комнатке большой, старинный образ Христа. Но краски на нем почернели и, почернев, изменили выражение кротких глаз: глаза смотрели проникновенно и строго. Даже непреклонное осуждение почудилось в них Лизе, и сердце у нее сжималось всякий раз, лишь только смотрела на Лик образа.

Когда молодые приехали в Выселки, весна была в разгаре. Яблони уже отцвели, но черемуха обливалась одуряющими белыми кистями, и, до истомы охваченные весной, безумствовали по ночам соловьи.

Лиза очень смутно помнила потом все эти налетавшие и опьянявшие дни. Каждый из них казался до бесконечности долгим, и вместе с тем каждый пролетал с непонятной быстротой. «Как? Уже вечер?» Был уже вечер, но если вспоминалось сегодняшнее утро, то начинало казаться, будто оно было давным-давно: так много прожито было за день.

Один раз в неделю (по четвергам) в старенький шарабан с рассыпавшимися колесами запрягали пегую кобылку Машку и ездили в село Савельцово: 8 верст, за лесом. Там было почтовое отделение и кое-какие лавки. Машка хоть и очень быстро перебирала ногами, но бежала она медленно, а около нее семенял ногами и подпрыгивал жеребенок, от которого Лиза не уставала приходить в восторг. Писем домой она сначала не писала (не было ни сил, ни времени), а каждый четверг отправляла телеграмму, старательно пытаясь сберечь каждое слово: «Здесь мне чудно», или — «Все любят всех». И только в середине июня Марья Васильевна получила от нее первое письмо. Оно было длинное, сумбурное и написанное таким торопливым, путанным почерком, что Марья Васильевна два вечера разбирала его, во-

оружившись даже лупой. И все же она не смогла разобрать некоторых слов, а только непонятным чутьем разгадала их. Буквы, казалось, утверждали: «В бинте хонадный рубль», но Марья Васильевна, присмотревшись и подумавши, прочитала правильно: «В балке холодный ручей». Лиза писала обо всем: и о жеребенке Машки, и о том, как скрипят половицы, и о Марфе Игнатьевне, которая им стряпает, и о том, как она, Лиза, счастлива. Потом (в конце июня) пришло второе письмо, такое же сумбурное и счастливое, а недели через две-три пришло третье. В нем Лиза сообщала, что они уже начинают собираться обратно в Славгород («В самых первых числах августа приедем!»), а потом, немного хитро и словно бы поддразнивая, добавляла: «А меня начало тошнить . . . Отчего бы это?» Марья Васильевна, конечно, сразу поняла «отчего», счастливо улыбнулась и перекрестилась.

А потом все сразу оборвалось. Дня через три после этого письма пришла телеграмма: «Витя утонул». Подписи под телеграммой не было.

В тот же день Марья Васильевна суматошливо собралась и поехала в Выселки, плохо представляя себе, где эта вологуевская волость и где эти Митрохинские Выселки.

Виктор Алексеевич утонул, купаясь в Жеребеевке. Как это случилось, никто не знал, потому что никого при этом не было. Тела сразу не нашли, но на другой день оно всплыло и приткнулось у отмели.

В первую минуту, когда Марья Васильевна увидела Лизу, она почти не узнала ее. Лиза показалась ей совсем иной, с потемневшим лицом и с другими, не своими глазами. Она поздоровалась с матерью спокойно и сказала (тихо сказала) только одно слово:

— Утонул.

И ушла в свою комнатку.

Потом прошло 2-3 тяжелых дня. Приезжал становой, доктор и совсем молодой следователь. Тело вскрывали, о чем-то спрашивали, что-то записывали, но все это делали очень тихо, деликатно, стараясь быть незаметными. Все они называли Лизу «Елизаветой Петровной», и Марье Васильевне стало ясно: ее Лиза перестала быть Лизой, она отныне — другая.

Лиза потребовала было, чтобы тело похоронили в садике, под черемухой, но когда ей объяснили, что этого нельзя сделать без особого разрешения, она не стала ни спорить, ни настаивать, а коротко сказала:

— Хорошо.

Похоронили на савельцовском кладбище. На похоронах почти никого не было: Марья Васильевна с Лизой, стряпуха Марфа Игнатьевна и две-три старые бабы из Выселок: день был рабочий. Лиза ка-

залась спокойной, но Марья Васильевна все время была настороже, все время следила за нею и каждую минуту готова была «поддержать»: ее пугало то, что Лиза была чересчур неподвижной и как будто безучастной. Даже тогда, когда гроб опустили в могилу и когда по крышке гроба глухо ударили первые лопаты земли, Лиза не вздрогнула: смотрела в яму, а видела ли что-нибудь, трудно сказать.

Погребение кончилось, батюшка свернул епитрахиль и выжидательно остановился. Но никто не уходил. Бабы сбились в кучку и нерешительно посматривали на Лизу. Марья Васильевна взяла ее за руку.

— Пойдем, деточка... Пора!

Лиза посмотрела пустыми глазами.

— Домой надо... Пойдем! — пояснила Марья Васильевна.

— Да... Домой... — безучастно согласилась Лиза.

А когда пришли домой, она, не сказав ни слова, ушла в свою комнату: в угловую. Марья Васильевна осталась с Марфой Игнатьевной, но обе молчали и только вздыхали время от времени да посматривали друг на друга понимающе и значительно. Каждая думала про себя. И наконец, Марфа Игнатьевна медленно проговорила:

— Вот так-то Лизавета Петровна и все время: а-ни слезиночки! Как тело-то сюда привезли, я боялась, как бы чего-нибудь, знаете ли, с нею не было, а она — ни слезиночки! Сухая совсем стала, жесткая вся... Только смотрит!



Прошла неделя. Марья Васильевна никак не могла понять: что же теперь надо делать? Ей было ясно, что надо возвращаться в Славгород, но сказать об этом Лизе она не решалась: не то, чтобы ей что-то мешало и чтобы она чего-то опасалась, а не решалась она по неясной для нее самой причине. Ждала день, ждала другой, пытливо всматривалась в дочь (но старалась всматриваться незаметно) и все никак не решалась сказать. Наконец, решила:

— Что ж, Лизанька... Едем! Домой-то!..

Лиза сдвинула брови и что-то обдумала.

— Да, конечно! — ровно сказала она. — Поезжай.

— А... а ты?

— Я?

Лиза так посмотрела на мать, словно услышала что-то невозможное и невероятное. Молча покачала головой и коротко ответила:

— Я тут останусь.

— А домой-то когда же?

— Не знаю... Потом!

И совсем тихо добавила:

— Тут Витя. Я с ним.

Марья Васильевна понимала, что «так нельзя»: нельзя оставаться в Выселках и нельзя ничего не делать, а просто «жить». И надо еще выяснить: а чьи же теперь эти Выселки? Кроме того, ей надо было съездить в Славгород и по своим делам: получить с квартирантов, уплатить проценты по закладной, получить пенсию. Но уехать и оставить дочь одну она никак не решалась. Довольно бессвязно написала обо всем Петровскому («дяде Жене») и просила помочь советом: «У меня, ведь, никого нет, и как теперь быть с этими Выселками, я, право, не знаю, а Лизочка ни за что не хочет уезжать отсюда: на его могилку здесь не очень далеко, и она каждый день на нее ходит». Петровский прислал в ответ очень сердечное письмо, просил сообщить все подробности смерти племянника, «который с малых лет был мне вместо сына» и уверял, что о Выселках беспокоиться нечего: он все устроит. И действительно: скоро он прислал какие-то бумаги, которые Лиза подписала, а через несколько месяцев Лиза была утверждена в правах наследства.

Марья Васильевна прожила в Выселках после похорон еще недели две, а потом, скрепя сердце, договорилась с Марфой Игнатьевной и все же съездила в Славгород. Пробыла там недолго, сделала дела, повидалась с Петровским и вернулась.

Началась странная жизнь.

Лиза (Елизавета Петровна) все время молчала. Смотрела перед собой пустыми глазами и не видела того, что было перед ними. Не видела она и того, что было в ней самой. А то, что было в ней, было большим и тяжелым. Понять его было нельзя, потому что оно было бесформенное и неопределенное, и когда Елизавета Петровна вспоминала потом это время, оно представлялось ей клубами черного тумана. Но туман этот не был легок, а давил как глыба.

Есть жизнь, в которой нет жизни. И есть пустота, которая наполняет. Живая жизнь доходит до этой пустоты только заглушенным отзвуком: утром надо встать и одеться, а вечером надо раздеться и лечь. Надо сесть за стол, когда зовут к обеду, и надо съесть то, что дают. Что еще? Надо переходить из комнаты в комнату и надо впопыхах отвечать на нехитрые вопросы:

— Хочешь еще супа?

— Нет, спасибо.

— Сегодня после дождя грязно. . . Надень калоши!

— Да, я надену.

Это не наполненная жизнь. Это — ненужный отзвук жизни.

По ночам Елизавета Петровна не спала. Лежала на спине и смотрела в темный потолок. Клала ладонь на живот и старалась понять: чувствует ли она то живое, что растет в ней? В комнатке было темно, едва намечавшимися пятнами смутно чернели отдельные предметы да неровным огоньком мигала лампадка в углу. Но Елизавета Пе-

тровна понимала эту тьму по своему: в комнате темно не оттого, что в ней нет света, а оттого, что в ней — тьма. И уйти от этой тьмы нельзя.

Она клала свою руку себе же на руку и острыми ногтями что есть силы давила на нежную кожу. Было больно, но боль только сознавалась, а не чувствовалась. Елизавета Петровна понимала, что это — боль, но больно ей не было.

О Боге она не вспоминала: Бога для нее не стало. Для нее была только жестокая сила, которая убила Виктора и убила ее. Этой силе молиться нельзя, потому что она не слышит молитв. Бороться с нею тоже нельзя, потому что она недостижима. Но ее можно проклинать проклятием раздавленного человека. И Елизавета Петровна, в беспомощности испуга, начинала проклинать: без слов, одним только сердцем. А потом, обессиленная, откидывалась на подушки и лежала вытянувшись. Боль подступала к сердцу, и тогда она закрывала глаза: пусть будет боль.

А ребенок рос в ней. И если она не думала о том, что не одной же только пуповиной связан он с нею, не думала о том, что тысячи невидимых и незримых нитей связывают их обоих и что по этим тысячам невидимых нитей льется в ребенка и боль ее, и ее проклятья, если она не думала обо всем этом, то все это было: ребенок рос не сам по себе, а рос в ней.

— Лиза! — иногда умоляла ее Марья Васильевна. — Побереги себя! Подумай: ты, ведь, не одна. Ты, ведь, уже мать. Подумай о ребенке!

— Да, да, мамочка! — беззвучно, безо всякого выражения отвечала ей Елизавета Петровна, смотря в какое-то «никуда». — Я думаю, мамочка. Я берегу.

Прошло и два месяца, и три. Казалось, будто Елизавета Петровна начинает свыкаться. Она еще не пришла в себя, ее лицо еще продолжало быть спокойным каким-то невозможным спокойствием, а глаза все еще были пустыми, но она уже начинала смотреть и слушать. Она еще не вернулась к жизни, но она уже начала возвращаться. И Марья Васильевна неуверенно убеждала себя:

— Время свое возьмет! Время все залечит!

Каждый день, с самого утра, Елизавета Петровна бесшумно и незаметно уходила: на савельдовское кладбище. И когда наступила осень, когда непрестанные дожди размыли скользкую лесную дорогу, она продолжала ходить. Возвращалась к обеду (обедали поздно, по городскому), а потом уходила в свою комнатку и оставалась одна.

— Ты бы хоть лошадку запрягала! — слезливо уговаривала ее Марья Васильевна. — Есть же эта Машка! . . . Восемь верст туда да восемь обратно. . . В шарбанчике, ведь, лучше!

— А? — словно не понимая, сдвигала брови Елизавета Петровна. — Нет, я — так.

Это было в начале декабря. Марья Васильевна сидела в той большой комнате, которую называли «зальцей». Сумерки уже совсем сгустились, но она не зажигала огня. И вдруг услышала, что Елизавета Петровна в тревоге ходит у себя, трогает стул, что-то дергает. А потом быстро толкнула дверь, но не вошла, а остановилась на пороге в непонятном испуге.

— Мама! — дрогнувшим, срывающимся голосом сказала она. — Мама! Мне страшно!

— Чего? — очень спокойно, чуть ли не равнодушно спросила Марья Васильевна.

Она усвоила себе этот тон, когда говорила с дочерью. Ей казалось, что именно такой тон должен как-то «по-хорошему» влиять на Елизавету Петровну, потому что он своим спокойствием и равнодушием как бы говорит, что все горькое и непосильное уже прошло, а теперь уже все в порядке, и будто горе, которое обрушилось, совсем уж не такое непереносимое.

— Чего ты боишься? — переспросила она.

— Я боюсь. . . А вдруг он. . .

Елизавета Петровна коротким движением показала на свой живот.

— Что?

— А вдруг он родится шестипальным?

— Что тако-ое?

Марье Васильевне сперва показалось, что она ослышалась, но слово прозвучало совершенно ясно.

— Почему. . . шестипальным? — растерянно пробормотала она и почувствовала, что ей тоже стало страшно. — Что такое — шестипальный?

— Это. . . Это, мама. . . Если — крохотная ручка, а на ней шесть пальчиков. Ты понимаешь? Шесть! Как у ящерицы!

— Разве у ящерицы шесть? — замирая, спросила Марья Васильевна.

— Не знаю. . . Кажется, шесть! . . Должно, должно быть шесть!

Марья Васильевна взяла себя в руки.

— Какие ты пустяки говоришь! — заставила она себя улыбнуться. — Ну, пусть даже и шесть. . . Что ж тут такого? Это иногда бывает, но. . . но ведь шестой палец так легко будет отрезать. Не сразу, конечно, а потом, когда ребенок уже подрастет. Вот спроси доктора, если хочешь.

— Нет-нет! — затрепетала Елизавета Петровна, сжавшись в испуге. — Если шестипальный. . . Если шестипальный. . . Ведь это — знак!

— Какой знак? — опять похолодела Марья Васильевна. — Знак... чего?

Елизавета Петровна ответила не сразу. Вглядывалась в мутную тьму сгустившихся сумерек и только через минуту сказала:

— Мой знак, мама. . . Знак того, что во мне.

Она, конечно, не знала того, что в ней. Но в минувшую ночь страсть проклятий овладела ею так, как океанский прибой овладевает тем челноком, которым никто не управляет. Эта страсть захватила ее и понесла. Она лежала на кровати, закусив губу, и прислушивалась, как в ней нарастает злоба. Не боролась с ней, а радовалась ей. Приподнялась с подушки и села. Выпрямилась, посмотрела вверх и вызывающим шопотом явственно сказала:

— Ты! Бог! Если Ты убил его, то убей и меня. Не боюсь.

Она не боялась. Не оттого, что она пересилила в себе страх, а оттого, что страха в ней не было: Виктор утонул, любовь оборвалась, жизнь обманула злым обманом. А сама она, мертвая, жива. . . Может ли она бояться?

И, подождав с минуту, она добавила, не опуская головы:

— Не убиваешь? Ну, что ж. . . А Ты мне не нужен.

Она продолжала жить. Каждый день по глубокому снегу ходила на могилу и с непонятным упорством отказывалась и от санок и от Машки. Потом, усталая, возвращалась домой. В этом было для нее все, и это было для нее всем. И если бы кто-нибудь сказал ей о ее голосе, музыке и пении, она не поняла бы: этого не было.

— Лиза, нельзя же так! — умоляла ее Марья Васильевна. — Ведь, ты же изведешь себя, ведь, ты даже ничего не ешь! Посмотри на себя, какая ты стала!

— Да, да. . . То-есть, нет! Я ем, мамочка, я ем! . .

Марфа Игнатьевна смотрела на нее и сокрушенно кивала головой. Хотела рассказать, что и она потеряла мужа (убили в турецкую войну), но что это «еще ничего». Но она не решалась сказать: непонятно чувствовала, что горе Елизаветы Петровны не только в том, что утонул муж, а и в чем-то другом, чего трогать нельзя и о чем говорить нельзя, потому что — «тут большое». По вечерам она приходила в комнату Марьи Васильевны, скромно присаживалась на табуретку и начинала разговор. Ни она, ни Марья Васильевна о себе не говорили, а говорили только о Елизавете Петровне. Сначала немного пугали друг друга: «Изведется совсем!» или — «Как бы рук на себя не наложила!» А потом, напугавши, начинали успокаивать, утешать и уверять, что «Бог даст, все будет по-хорошему», что «не век же ей тоской тосковать», что «придет час, и она улыбнется, вот увидите!» Нужно только подождать до родов, а тогда все пойдет по-иному.

— В марте, стало быть, ждете?

— В марте. . .

— Ну, и хорошо. . . Вот зиму перезимуем, а там все другим повернется. Ребенок, он, знаете ли. . .

И расходились почти успокоенные.

Это было как раз накануне Сретенья. Марья Васильевна и Елизавета Петровна сидели после вечернего чая, который пили «в зальце». Марья Васильевна шила какие-то загадочные распашонки из старого, мытого, мягкого полотна (где она его раздобыла?), а Елизавета Петровна сидела поодаль, прячась в тень от самовара. Потом она встала, бесцельно прошла по комнате и подошла к тусклому, кривому зеркалу в деревянной раме, которое висело над этажеркой. Посмотрела на себя и, верно, что-то увидела: приблизила лицо к стеклу и смотрела долго, напряженно, пытливо. Потом сдвинула брови и отошла, но через два-три шага приостановилась и, словно за ответом на вопрос, снова подошла к зеркалу. Опять долго всматривалась. Марья Васильевна отложила шитье и исподтишка следила за нею, чувствуя смутную тревогу: ей казалось, что это «недаром», что это «что-то значит».

— Какая я. . . — сказала Елизавета Петровна, не смотря на мать.

— Что? — своим нарочито спокойным и деланно равнодушным тоном спросила Марья Васильевна.

— Какая я стала. . . Почему я стала такая?

— Какая ж такая особенная? — успокоительно и даже вразумительно переспросила ее Марья Васильевна. — В таком положении у всех женщин лицо меняется: и желтизна, и пятна идут, и. . . и. . . Вот Ирина Григорьевна. . . Помнишь? У нее, когда она носила Костеньку, так даже. . .

— Нет, не то! — чего-то боясь и в чем-то сомневаясь, сказала Елизавета Петровна. — Я не про то. А почему я — такая злая?

— Злая? — заставила себя рассмеяться Марья Васильевна. — Какие ты глупости говоришь! Разве ты злая?

У Елизаветы Петровны слегка расширились глаза: так глубоко посмотрела она в себя.

— Я не злая, я. . . Ты, мамочка, не знаешь! Я не злая, но во мне — злое. Во мне — очень злое.

У Марьи Васильевны остановилось сердце: она поняла, что дочь к чему-то подошла и подвела ее с собою.

— Разве ты. . . — попробовала она что-то сказать.

Елизавета Петровна выпрямилась.

— Почему Витя утонул? — с вызовом спросила она, и ее голос слегка зазвенел. — Как посмел Господь допустить это? Воля Божья? Я не хочу такой воли. Она — зло. И я. . .

— Лиза! — почти в ужасе подняла руки Марья Васильевна. — Лизочка!

— Бог отвернулся от меня! — в страсти внезапного обличения еще больше выпрямилась Елизавета Петровна. — Ну и — пусть! И я отвернулась от Него. Я любила Его, и я боялась Его, а теперь не люблю и не боюсь!

— Лиза! — схватила ее за руку Марья Васильевна. — Лиза! Опомнись!

— Грех? Да, я знаю: грех! Грех против Духа Святого? А разве не грех совершил Бог, когда убил Витю? Я грешу, я — грех! Но и Он — грех!

Марья Васильевна заметалась. Вскочила со стула, бросилась к дочери, но остановилась, потому что словно бы боялась приблизиться к ней. И ждала, замирая: что еще скажет она? А потом протянула руки, умоляя ее и в то же время отстраняя.

— Молчи. . . Молчи. . . Молчи. . .

Всплеснула руками и пошла было прочь. Но остановилась, постояла секунды две-три и подошла: поцеловала дочь в лоб и перекрестила.

— Молись! — очень тихо, но очень сильно шепнула она. — Бог простит. . . Бог спасет. . . Молись!

Елизавета Петровна не отвечала. Марья Васильевна заглянула ей в глаза и неуверенно отошла два шага в сторону. А потом подошла к углу, глянула скорбными глазами на образ и опустила на колени.

— Да будет воля Твоя. . .

И Елизавета Петровна очень больно закусилась себе губу.

* * *

18 марта Марья Васильевна отвезла дочь в савельцовскую больницу, а на другой день Елизавета Петровна родила дочку.

— Покажите мне ее! — слабым голосом попросила она акушерку, когда пришла в себя и немного оправилась.

Акушерка улыбнулась.

— Чудесная девочка! Закричала, когда я даже не успела встряхнуть ее. Девять с половиной фунтов!

Елизавете Петровне принесли дочку, и она дрожащими пальцами распеленала ее. Акушерка стояла сбоку в позе человека, который знает, когда надо вмешаться и как надо вмешаться. Елизавета Петровна бегло оглядела сморщенное, красное тельце и, замирая от страха, пересчитала пальчики на руках и на ногах девочки: на крохотных ручках и ножках было по пяти пальчиков. Елизавета Петровна облегченно вздохнула, как будто гора упала у нее с плеч, и, обессиленная напряжением, упала на подушки.

— Девять с половиной фунтов? — слабым голосом спросила она.

— Девять с половиной! — тотчас же подхватила акушерка.

— Это не. . . Это не много? — со странной тревогой посмотрела Елизавета Петровна.

— Ну вот! Что еще за «много»? Вполне нормальный вес!

Елизавета Петровна приподнялась и впилась глазами в дочку: что-то искала в ней, но, вероятно, не находила, потому что робко, с невысказанной просьбой взглянула на акушерку и неуверенно спросила:

— Она нормальная? Вполне нормальная?
— А что такое? — даже немного встревожилась акушерка. — А что вы в ней видите такое?
— Она не... странная?
— Сами вы странная! — слегка рассердилась акушерка, но тотчас же сдержала себя и улыбнулась. — Это у вас первый? То-то вы и привередничаєте... Погодите: родите пятого, как я, так перестанете фокусничать!

Весь день Елизавета Петровна всматривалась в дочку, но не могла ничего увидеть в ней: девочка тихо и помногу спала, а, проснувшись, мягко брала грудь нежным ротиком и начинала так сладко посасывать, что Елизавета Петровна замирала и даже начинала улыбаться отдаленной тенью улыбки. Но когда акушерка подходила к ней, она с тревогой поднимала глаза и умоляюще спрашивала:

— Нормальная? Ничего нет в ней странного?

— А подите вы! — шутливо отмахивалась акушерка. — С рогами и с хвостом!

— Нет, нет! — пугалась Елизавета Петровна. — Не шутите так, Вера Богдановна!

К вечеру допустили Марью Васильевну. У нее сияла каждая складочка на лице, и когда она вошла в комнату, где лежала роженица, то можно было подумать, будто в комнате посветлело. Она расцеловала дочь и долго не могла оторваться, а все целовала и глаза и в щеки.

— Ну, поздравляю! Поздравляю тебя, деточка! Счастлива? Очень? А где же внучечка?

Ребенок лежал в кроватке рядом с кроватью Елизаветы Петровны и спал особенным, детским сном.

— Не надо будить! Боже сохрани будить! — остановила Марья Васильевна движение дочери. — Я и так, по личику вижу: чудная девочка!

— А она не странная, мамочка?

— Что такое? Почему странная?

— А вот вы испортите себе молоко вашими фокусами! — строго вмещалась акушерка. — Тогда и будете знать! Разве ж можно позволять себе всякие глупости? То какие-то шесть пальцев выдумали, то — «странная»!.. Все так хорошо, а вы выдумываете!

— Хорошо? Да? Хорошо?

— А что ж, плохо по вашему? Радоваться надо, вот и все!

Но Елизавета Петровна не радовалась, а с непонятной для себя тревогой следила за дочкой: странная та или не странная? Когда ребенок спал, и когда она не видела его глаз, она не находила ничего странного, но когда он открывал глаза, еще затянутые молочно-белой пленкой, она начинала видеть в них что-то странное и пугалась.

— Вера Богдановна! А она не слепая?

— Да Христос с вами! Скажете же такое! . .

— Не слепая? Нет? Вы уверены?

Еле дождалась доктора. Тот пришел, внимательно осмотрел девочку и уверил:

— Видит пренормальнейше! Не выдумывайте глупостей и не расстраивайте себя!

— Вы уверены, доктор? Совершенно уверены?

— Я же говорю вам: не выдумывайте глупостей! Беда мне да и только с этими молодыми матерями! Вы мне лучше скажите, — постарался он отвести ее мысли в сторону, — как вы ее назвать думаете?

— Татьяной. . .

— Имя хорошее. . . «Я так люблю Татьяну милую мою!» 12 января, стало быть, именинницей будет? Ну, что ж! Сердцу старого московского студента оно даже приятно. . . Gaudeamus igitur! . .

Девочку крестили. Она во-время заплакала, когда ее окунули в воду и во-время утихла, когда ее завернули в сухую простынку и в одеяло. Ничего странного в ней не было, но Елизавета Петровна с тревогой следила за нею и недоверчиво вглядывалась: кажется ей или не кажется? Странная Таня или не странная?

Недели через полторы уехали назад, в Выселки. «Домой», — сказала Марья Васильевна, и ни ее, ни Елизавету Петровну не удивило это «домой»: глухие Митрохинские Выселки стали для них обеих домом, а славгородская жизнь, старые знакомые, уроки пения и надежды на что-то словно бы ушли, исчезли, вытесненные новым: страшным и таящим страшное.

***ЛИТЕРАТУРА
ИСКУССТВО***

Н. ОТРАДИН

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР

С УМИЛЕНИЕМ И БЕЗ

Не так давно в одной зарубежной газете попалась мне рецензия, — начало ее умилило меня. Автор, говоря, что «давно пора примириться с фактом оскудения» нашей литературы, дальше восклицает: «Но следует ли мириться? Не нужно ли тем, кто стоит на страже русской культуры в эмиграции, неустанно прилагать новые усилия, поощрять молодых писателей, поддерживать творческую инициативу в них...».

Знакомым и милым пахнуло от этих слов. Милым, как милы могут быть иные грехи молодости, если они, так сказать, остались без тяжелых последствий. В самом деле: «страж русской культуры» — как это звучит! «Неустанно прилагать новые усилия», «поощрять», «поддерживать», «творческая инициатива», — да ведь в этом целая эпоха! И какая! От всегда дорогого сердцу неистового Виссариона и... и до наших дней. Разве не встречаем мы эти же слова-заклинания в «Правде», в «Литературной газете» по пять, по десять, по двадцать раз в каждом номере?

И умиления как не бывало. Так ли уж невинны были грехи молодости?

«На страже русской культуры», — о ком и о чем, собственно, идет речь? О защите русской культуры? Так, ведь, кажется, эмиграция этим преимущественно и занимается. Плохо, мало занимается? Но что же поделаешь: где теперь, через столько лет, найти людей, которые со всем основанием, с полным правом стояли бы на этом высоком, но и сомнительном по нашим временам посту. А немногие оставшиеся — они скорее будут продолжать работать, не предъявляя претензий на сомнительность, неся свою ношу, как крест.

Если же речь идет о «страже» на манер той, какой дома у нас хоть отбавляй — от такой стражи спаси нас Боже и помилуй: когда «стражу» зовут не на полицейский пост на улице, а в литературу, поневоле охватывает дрожь.

«Прилагать усилия, поощрять»? Но какие можно в данном случае прилагать «усилия»? Если бы даже была возможность, от-

крыть литературный институт и учить в нем как, что, зачем и почему писать? Таких институтов немало у нас дома, а новых Толстых, Чеховых, Буниных так и не видно. Да и любой человек в эмиграции, большого ли, малого ли таланта, написавший что-то более или менее путное, может без труда напечатать свое творение: журналы стонут от недостатка беллетристики. Какое же еще поощрение? Премии разве завести, вроде ленинских, высокие гонорары выдавать? А откуда, из каких капиталов?

«Творческая инициатива»? Но, ведь, в литературе там, где творчество, там и инициатива, а где инициатива, там и творчество, — зачем же ломиться в открытую дверь?

Конечно, это мелочи. Но таких мелочей собирается сейчас столько, что, цепляясь одна за другую, они создают те самые унылые узилища, куда заточается человеческий дух. И поневоле приходится спрашивать себя: в чем секрет, почему нетленным остается для нас «неистовый Виссарион», при всем нашем критическом отношении к нему? Может быть, потому, что он всегда был не только предельно искренним, а и человечным в самом высоком смысле? Что в нем не было ни высокомерия, ни позы, ни петушиной заносчивости, ни желания быть непререкаемым судьей, суд которого никакому обжалованию не подлежит? В самом деле, ведь какой человек был: мог даже искренне ошибки свои признавать, — неслыханное по нашим временам дело!

Потом случился не совсем понятный поворот: пришла добролюбовщина, писаревщина, чернышевщина — и память о них у нас уже другая, с явным изъяном. От них и пошли не «стоящие на стаже», а стражники, в наши времена облачившиеся в мундиры НКВД и попечителей культуры из соответствующего отдела ЦК КПСС. Белинский в качестве стража — приемлем, наверно, и сейчас. Добролюбов, Писарев, Чернышевский — воздержимся.

«Грехи молодости» — не от Белинского, а от тех, кто не по праву наследовал ему, и от их продолжателей. И нам, в свете ужасного продолжения этого опыта, разговор всегда приходится вести не только и не просто о литературе, а прежде всего о свободе литературы и о свободе вообще. О свободе — от стражи.

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

В последние пять лет, в краткие периоды «оттепелей», — а их было несколько, — и дома у нас слышались вздохи: когда же настанет этот день? Эренбург даже объяснял, почему сейчас нет Чехова и Толстого и почему появление их, пожалуй, и не обязательно. Вряд ли кого удовлетворили его объяснения: приглушенные вздохи продолжают. Выходят новые книги, в толстых журналах появляются новые фамилии: земля не оскудела талантами. Но все это,

как иногда признают и советские литературоведы, примерно на уровне Боборыкина, а часто и Боборыкин для этого уровня гигант.

В нынешнем году писателям даже не дали ленинских премий. Причины могут быть разные, в том числе и абсолютно не связанные с литературным мастерством. Но и то сказать, нельзя же бесконечно премировать собирательного Боборыкина? И как давать премию Шолохову за лубочный рассказ «Судьба человека», хотя бы автору и было пропето за него столько панегириков? Нельзя не видеть, что рассказ этот — в своем роде уникальное произведение в русской литературе, в которой невозможно было прославление убийц. У Шолохова герой рассказа так, в порядке профилактики, задушил своего соседа в лагере военнопленных и потом даже не вспоминал о своем доблестном поступке. Где уж там угрызения совести, муки Раскольникова, раскаяния Кудеяра: цельная, кристальная душа советского человека, по Шолохову, не может знать этих ненужных надстроечных чувств, пережитков проклятого прошлого. Убийца в качестве безупречного положительного героя, образца для поведения — это даже для советской литературы, по крайней мере в изображении простых людей, не такое уж обычное явление.

За границей не так давно вышел роман Пастернака «Доктор Живаго». По всем отзывам, это самое выдающееся произведение нашей литературы за много лет, замечательное во многих отношениях. Вероятно, его можно считать символом сохранения человеческой души, глубин которой, питающих, минуя всяческие средостения, вершины духа, не могли замутить сорок лет бесчеловечия. Этот антиреволюционный роман можно назвать в каком-то смысле революционным: утверждая подлинные ценности вместо мнимых, он ставит вещи на свои места. Но все же он — исключение, почти случай.

Нет сомнения, в периоды «оттепелей» прорывалось то долго сдерживаемое, без чего невозможна подлинная литература: обращение непосредственно к человеку, насильно закованному в броню социально-политической доктрины. Во многих рассказах, очерках, повестях, стихах прошла волна желания сбросить с себя мешающие доспехи, расправить занемевшие мускулы. Но порыв этот не был безудержным: он как бы сдерживал сам себя, — тем легче было сдержать его и власть имущим.

Можно ли утверждать, что это объясняется только внешними обстоятельствами: угрозой полицейского террора, вьевшимся в душу страхом, одним отсутствием свободы? Можно ли безусловно быть уверенным в том, что если бы наша литература «обвела свободу», у нас так и появились бы новые Чеховы и Толстые? И что тогда несомненно наступил бы некий ослепительный расцвет мысли и творчества? Вероятно, какой-то расцвет наступил бы. но поевратился ли бы он в тот «настоящий день», о котором мечтают уже много лет — об этом еще надо вести долгий разговор.

У нашей литературы, как и вообще в русской жизни, был период и после революции, когда надежды на большой взлет имели веские основания. Это было время НЭПа, его и сейчас у нас вспоминают, как время больших надежд. И, очевидно, вот почему: тогда происходил синтез, или, по крайней мере, восхождение к нему, русской предреволюционной и революционной мысли. Поэтому годы НЭПа были наиболее плодотворными за все советское время.

Конец прошлого века и начало нынешнего, — время, которое мы называем теперь «серебряным веком» русской культуры, — в нашем искусстве и общественной мысли не должны были бы остаться бесследными и для будущего. На поверхности тогда бушевали политические страсти, в сознании и подсознании росла тревога, предчувствие близкой катастрофы, — может быть именно эта тревога и вызвала немало болезненных психологических изломов, даже уродств, окрещенных модным словечком «декаданс». Но на самом вершине мысли тогда же шел важный обновительный процесс: наша общественная мысль освобождалась от увлечения в конце прошлого века марксизмом, а одновременно и упрощенным, просвещенческим народничеством, которое было здоровым и оправданным лишь примерно сто лет назад, когда наше общество преодолевало крепостничество, а затем и наиболее горшие его последствия.

Оба эти «греха молодости», — увлечение марксизмом и упрощенным, с более поздней точки зрения, народничеством (хотя их никоим образом нельзя ставить на одну доску), — сыграли одинаково губительную роль во время революции: большевизм черпал и еще продолжает черпать из обоих этих источников. Но из источника обновленной в начале века мысли он черпать ничего не мог: живая вода этой мысли убивает большевизм.

Религиозно-философские искания в начале века, питавшие нашу литературу и искусство и обусловившие их «серебряный расцвет», к сожалению, тогда еще не нашли отражения в нашем освободительном движении и оно оставалось в русле традиционного народничества и паразитировавшего на нем русского марксизма. А эти искания вели к нахождению нового общественного идеала, пути к которому видны, например, в сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 году. Может быть, сущность этих путей допустимо было бы сформулировать так: отказ от примитивного утопизма и признание высшего назначения человека без того, чтобы смотреть на него и на его прошлые и будущие дела через розовые очки.

Эти пути должны были бы оказать решающее влияние и на всю нашу последующую социально-политическую практику. Провал в трясину «октября» сделал это невозможным.

ЭТАЖИ И ПОДПОЛЬЯ

Наше убеждение, что «октябрь» был не неким закономерным событием, а случайной катастрофой, основывается не на одних исторических фактах, хотя они даже Ленина заставляли говорить, что его переворот был чудом. Наше убеждение коренится в более важном: в том, что какая-то глубинная духовная настроенность в нашей стране не совмещается с «октябрем».

Правда, настроения у нас дома остаются расплывчатыми, неопределенными: им не дают выявляться, принимать более или менее отчетливую форму. Но и в этой расплывчатости сплошь и рядом видно то явное, то скрытое упорное отрицание официальных дел, мнений и настроений, доставляющее властям так много хлопот и питающееся неуничтожимыми источниками. А в этих источниках, по-моему, постоянно пробиваются струи живой воды, знакомой нам по развитию нашей мысли в начале века.

Даже в наиболее тяжелые времена, в самые мрачные тридцатые годы, часто встречался явный и тайный здравый скептицизм, нежелание высоко оценивать чисто внешнюю сторону явлений, — всяческие «достижения», материальные и в области социально-политических идей и институций, — как и тяга к подлинному творчеству, к раскрытию своих подлинных настроений. Эти подлинные настроения почти не проникали в литературу, их допускали в нее лишь в искаженном виде, — например, в виде показа «вражеских» чувств и идей или «пережитков прошлого», подлежащих искоренению. Они отражались разве только в устном творчестве — в знаменитых антисоветских анекдотах, этом трагическом эрзаце подлинной литературы. Не высказанные в печати, остающиеся без обмена мнениями, не выявленные, но разлитые повсюду, эти стихийные настроения — не что иное, как более глубокий, подпольный слой сознания, которому не дают выхода наружу. Но если он получает хоть какой-то выход, как, скажем, в недавние короткие периоды «оттепелей», он немедленно создает большую взволнованность чувств, нередко, между прочим, обращающихся для своего оформления к идеям, — или хотя бы только к образам, — «серебряного века» и времени НЭПа.

Вот эта поразительная устойчивость каких-то основных настроений и сходство их, пусть хотя бы только внешнее, в одной окраске, с идеями и настроениями начала века, соблазняет ставить такой вопрос: да смог ли октябрьский переворот вызвать «прерыв сознания», его развития — или оно лишь затемнял, разжижал то его развитие, которое было намечено еще до революции? Удалось ли коммунистам изменить это развитие, или они только загнали его своим физическим и духовным террором в подполье сознания?

Ничто, вероятно, не доказало лучше, чем сорокалетняя коммунистическая практика, по крайней мере недостаточность «организован-

ной воли» для овладения подлинными настроениями, развивающимися по каким-то своим собственным путям. Колоссальные усилия по физическому и духовному принуждению, пролитые реки крови, необъятный пропагандный аппарат, занятый тотальной «обработкой сознания», воспитание людей «в духе социализма» чуть не с пеленок, — все это обеспечивает «вождям», в конце концов, лишь возможность властвования, но не больше. Их это, в общем, вероятно, устраивает. Но стать действительными властителями дум и устранить отрицательную для них настроенность, которую они облыжно именуют «пережитками прошлого», они не в состоянии: то от их воли ускользает. Все, чего они добились, это появления только поверхностного, защитного слоя в сознании людей, которые с помощью своей новой «коры головного мозга» ограждают себя от постоянного насилия власти.

Защищаясь, население у нас вынуждено всячески «ловчить» и приспособляться. Но и власти приходится ловчить не меньше, чтобы не только поддерживать существование защитной корки, но и стараться проникать глубже в сознание, перманентно зацепляться за то, что лежит ниже показной сознательности. Иначе, только на терпоре и на «сознательности», диктатуре было бы не удержаться. Поэтому же ей постоянно надо быть «бдительной» и следить, чтобы ничего, помимо ее воли, не проникало из подполья сознания в защитную корку и не разрушало ее, следить за тем, чтобы подлинные настроения не стали господствующими над «сознательностью». Настолько это опасный для нее процесс, показывают «оттепели», когда два-три крамольных рассказа, стихотворения, повести или две-три статьи заставляли диктатуру немедленно принимать карательные меры. «Пережитки», т. е. развивающиеся в подпольи независимые, подлинные настроения оказываются неискоренимыми.

В этой борьбе не за души людей, а, вернее, лишь за оболочки душ, коммунистам не откажешь в напористости, в динамизме, рождаемом, конечно, не «животворными идеями марксизма-ленинизма», а эгоистическим инстинктом, волчьей хваткой. И вопрос продолжительности их режима — это вопрос, очевидно, в первую очередь высвобождения подлинных настроений из-под корки «сознательности», несомненно, оказывающей свое влияние на подлинные настроения, затемняющей и затуманивающей их. Что окажется сильнее — жизненный инстинкт коммунистов, основа давящего все и вся их динамизма, или подлинные настроения? Когда пойдет на убыль нынешний коммунистический динамизм? Или, что, в сущности, то же самое: как скоро подточат этот динамизм подлинные настроения, разрушив грандиозно-ходульное здание коммунистического социализма, эту явно неправомочную надстройку над фундаментом нынешнего подполья?

Вот эта борьба между «подпольем» и «надстройкой», их постоянное взаимодействие, взаимопроникновение и влияние друг на друга,

составляет основное содержание жизни России в последние сорок лет. Без этого содержания невозможно понять ничего в облике ни современной России, ни современного ее человека.

Выход «подполья» наверх — это не что иное, как восстановление нарушенного и задержанного «октябрем» органического развития нашей мысли, литературы, жизни, несомненно, в каких-то новых формах, в другом, «синтезированном», виде, но все же восстановление, а не начало какого-то нового, неведомого пути. И вот, если мы посмотрим на нашу послереволюционную литературу с этой точки зрения, то, очевидно, обнаружим, что, за исключением периода НЭПа, а в последнее время — коротких, конвульсивных всплесков «оттепелей», основное содержание сорокалетнего периода отражения в нашей литературе находило очень мало. Но как же можно тогда надеяться на появление у нас большой литературы, если литература проходит мимо того, что составляет основное содержание времени?

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Для наиболее талантливых представителей «серебряного века» и начало большевистского натиска было убийственным. Одним из первых погиб Блок: по его словам, он задохнулся, потому что у него отняли воздух. Без воздуха свободы погибли Гумилев, Белый, Сологуб, Ахматова, другие писатели и поэты.

Была задушена и обезглавлена общественная мысль. Помимо ликвидации свободы высказывания и лишения аудитории, в самом начале НЭПа были высланы за границу виднейшие наши философы, писатели, общественные деятели, среди них Бердяев, Франк, Сергей Булгаков, Ильин, Степун, Вышеславцев и другие. Оставшиеся постепенно были уничтожены. Понять не трудно: для коммунистов НЭП был, ведь, тактическим отступлением, а не ступенью к восстановлению нарушенного развития.

Но в литературе НЭП стал попыткой такого восстановления. Более молодые — и совсем молодые, вступившие в литературу в годы революции, — естественно, оказались и более стойкими, а часто попросту лишенными многих «предубеждений» своих предшественников. Пройдя через революцию и в общем приняв ее, в своем творчестве они, однако, обнаружили к ней критическое, с большими оговорками, отношение, хотя часть этих писателей в годы гражданской войны с оружием в руках отстаивала «власть советов».

Пильняк, Леонов, Каверин, Бабель, Федин, Олеша, Иван Катаев, Зоценко, Шолохов (в первых частях «Тихого Дона»), — если называть почти первые попавшиеся имена — обращались не к одним эпохальным событиям, а прежде всего к человеку в них. События тогда еще не заслоняли человека, не ущемляли его. Только у некоторых, слишком уж «пролетарских писателей», и тогда в центре

были события сами по себе, «коллектив», поклонение технике, миражу «ослепительного будущего».

В большой литературе НЭПа этого миража не было заметно. В ней преобладали прежние характерные для русской литературы черты: сильная гуманистическая окраска и желание осмыслить роль и место человека в действительно грандиозных совершившихся событиях. И эти роль и место оказались созвучными идеям и настроениям начала века: большая литература НЭПа, тоже не отказывая человеку в высоком призвании, отказывалась надевать розовые очки. Иллюзий по поводу «достижения вершин» она не питала: в ней скорее царили ноты тревоги, сомнения и раздумья. И понятно, что наиболее талантливые писатели оставались тогда в разряде только «попутчиков».

Ничего странного в этом не было: русская мысль тогда еще продолжала питаться накопленным до революции. И пройдя через революционный переворот, выварившись в его кипящем котле, писатели оценивали происшедшее в свете этих накопленных богатств, преломленном в призме революции.

Это и можно считать началом синтеза предреволюционных и революционных идей и настроений, попыткой нового осмысления происходившего. Насколько плодотворным был этот процесс, можно судить по тому, что даже при отсутствии политической свободы в стране тогда начался несомненный расцвет творчества: в литературе, театре, кино проявлялось настоящее мастерство, подчас опережавшее западное, и обещавшее, может быть, появление в недалеком будущем новых Толстого и Чехова. Отличительной чертой этого процесса была несомненная искренность побуждений, отсутствие фальши и приспособленчества, т. е. подлинность литературы и искусства: они старались отражать подлинные настроения и положение. И если Замятин, как писатель принадлежавший еще к «серебряному веку», мог тогда говорить («Я боюсь»), что у русской литературы, наверное, будущее в прошлом, мы вправе утверждать, что его боязнь могла и не оправдаться.

Сталинскому «построению социализма», насквозь проникнутому фикционализмом и мифотворчеством, неореализм времени НЭПа был явным препятствием. И процесс синтеза был круто оборван. Часть «попутчиков» уничтожили, часть отправили в концлагери «на перековку»; большинство заставили пройти «перековку», так сказать, «без отрыва от производства». Вместо творческих групп воцарилось вполне полицейско-бюрократическое учреждение — «Союз советских писателей», а изгнанный неореализм заменили выдумкой: «социалистическим реализмом», которому и сейчас, через четверть века, не могут подыскать более или менее точного определения. Настал мир фикций, миражей и просто откровенной лжи, скромно именуемой теперь «лакировкой действительности». Все это имело одну цель: заменить выдумкой мир подлинных чувств и явле-

ний так, чтобы этот мир остался за бортом литературы, без раскрытия его в ней.

Отвлекаясь на минуту, — впрочем, это ведь не ученое исследование, а беглый просмотр, заметки «по поводу», где отвлечения у места, — стоит вспомнить, какую пагубную роль в сталинском насилии над нашими литературой и искусством сыграл Горький. Ходасевич вспоминал («Современные записки»), что Горький плохо уживался с правдой и в частной жизни: автор «чижа-лгуна и дятла, любителя истины», золотые сны и возвышающий обман явно предпочитал низким истинам, соответствию подлинности. Своим авторитетом, своей мировой известностью он прикрыл надругательство над литературой и искусством, и настолько, что это надругательство прикрывают его именем и сейчас.

Горького считают гуманистом, — но разве то, что совершил он в конце своей жизни, не раскрывает несостоятельности гуманизма Горького-романтика? Выдумщик, смотревший на жизнь сквозь романтическую дымку, он считал, что выдумка делает человека лучшим, помогает его «исправлять». Веря в это, он дошел до отрицания гуманизма, провозгласив необходимость беспощадного «уничтожения врага»: он благословил не только уродство «соцреализма», но и сталинский террор тридцатых годов против выдуманных «врагов народа».

Вина Горького огромна. В начале революции наиболее отчаянные «новаторы» пытались совершить невозможное: «сбросить Пушкина с корабля современности». Это от них не зависело и власти потом пришлось отказаться от таких новаторов. Горькому удалось горшнее: он помог тому, чтобы в советской литературе человек оставался за бортом. Своей выдумкой он помогал в литературе и в жизни утверждать не человека, а его карикатурное подобие, «с энтузиазмом строящее коммунизм», миф о таком человеке, ходящий и говорящий манекен.

Горький жестоко поплатился за свое преступление перед русской культурой, совершенное им в последние годы своей жизни. В конце концов, он, видимо, разошелся со Сталиным, — за это Сталин приказал сначала отравить его сына, а потом и его самого. Тем не менее, язык плохо поворачивается, чтобы Горького по-человечески простить. Может быть, потому, что слишком велика сейчас ответственность писателей, когда они самоуверенно берутся «руководить» жизнью, вместо того, чтобы ее ограждать.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Ждать от литературы, загнанной в рамки «социалистического реализма», к сожалению (кто же будет радоваться, видя, сколько тратится усилий и губится талантов?), многого не приходится. Даже сами писатели признают, что этот «реализм» — чистая фикция.

Михаил Шолохов, в Праге, рассказал, как он однажды спросил Фадеева, незадолго до его самоубийства, что надо понимать под «соцреализмом». Фадеев откровенно ответил: «А черт его знает, что надо понимать!» Так же откровенно и Шолохов сказал чехам: «соц-реалист» — это писатель, поддерживающий советскую власть. Литература в качестве средства властвования, в руках людей, «отдавших сердце партии», — какие могут быть надежды?

Опасения Замятина оправдались, но в какой форме! Классика объявлена образцом для подражания, как самая понятная, доходчивая, народная и т. д. И в будущее, — ныне настоящее, — вторглось прошлое, и настоящее в каком-то смысле стало прошлым, как при всяком неправомерном повторении, без того, что составляло его душу, главную ценность нашей классики: без ее бесстрашной покоряющей искренности и человечности.

Введена игра в «народность», под лозунгом «служить родине и народу» — синоним службы диктатуре. И естественное чувство любви к родине подменили чувствительностью, мармеладным млением при виде петушков и сарафанных красавиц в стиле увлечений конца XIX века, или угрюмой сосредоточенностью молодцов с оглоблями из «Союза русского народа» немного более позднего времени. В живописи идеалом объявлены передвижники — и за такую унылую безнадежность, как «Опять двойка», выдавали стотысячные премии. В литературу ввели эпигонство, нудное морализирование, внушение людям их «высокого долга», «преданности партии и народу». Всюду подделка, извращение, подмена искренности, чтобы не допустить выявления тех подпольных настроений, которые только и остаются подлинными.

Из наиболее известных романов последнего десятилетия возьмем такой превознесенный и премированный роман, как «Русский лес» Леонова. В годы НЭПа Леонов подавал большие надежды, — от них мало что осталось. Хороший язык, безусловное мастерство, местами яркие образы, чувствуются даже и «добрые намерения». А осилить роман — для этого нужен большой труд. Одних добрых намерений оказывается мало. И слишком много в романе показных героев, слащавости, рассчитанной на незамысловатую чувствительность, стандартных козней и врагов, надуманных ситуаций. Автор не мог сказать правду, что по русскому лесу опустошительным ураганом прошла, — она еще продолжается и поныне, — сталинская скорострельная индустриализация, ему, подчиненному правилам отворотной игры, приходится увертываться от правды. Он извернулся — и получилось не произведение искусства, а неуклюжий трюк, вызывающий чувство неловкости за автора.

Отрывки из следующего тома «Поднятой целины» Шолохова были уже напечатаны, их расхвалили. Может быть, они могут отвлекать внимание: да, местами красочно, будто бы полнокровно, хотя тут и там ясно выпирает ложь и опять лубочность, слащавость,

подменяющие подлинные события и чувства. Но даже если и обмануться, трудно не заметить: в конце концов это ведь только изображение плоти, страстей, не преображенное большой мыслью. Именно полнокровия-то и нет: кровь разбавлена сиропом мелкой мысли о необходимости «выполнения задания», а не сгущена глубоким осмыслением совершавшегося. Поэтому автор, тоже изворачиваясь, сплошь и рядом пускается в шутовство — и вместо произведения, отражающего неизбывную трагичность жизни, получается что-то вроде трагикомедии, местами чуть не клоунады, кощунственной в изображении таких событий, как коллективизация, переворнувшая жизнь стомиллионного крестьянства. Но автору задан обязательный оптимизм, бодрячество, он и занимается шутовством.

Это, конечно, не значит, что советской литературе надо бы стать более серьезной: тяжеловесной серьезности в ней хоть отбавляй. Помнится, Андре Жид в «Дневнике» писал, что великие произведения искусства не обязательно серьезны: «они значительны», писал Андре Жид. Вот этой значительности, отличающей нашу классику, немислимой без серьезного, нравственного отношения к изображаемому, без подлинной искренности писателя в оценке сути явлений, без раздумья над нею, — а не над тем, как бы приспособить эту суть к тем или иным требованиям, — недостает ни Шолохову, ни другим «соцреалистам».

Советский писатель обязан говорить то, что комом положено ему в душу. Он может добровольно принять этот ком и отказаться от своей свободы: это ничего не меняет. Не обладая внутренней свободой, в лучшем случае он способен отлично, красочно изображать плоть жизни и ее страсти, — однако, цветная фотография остается все же только фотографией. Осмысление, преображение подлинности плоти и страстей через «магический кристалл» и потому поднятие их из низин на вершины духа и показ нам, убеждение нас этой новой подлинностью — эта роль у советского художника отнята. Он должен препарировать плоть жизни по заданию партии, ему предписано быть помощником этой партии, «активным строителем коммунизма». Подумать только, что бы получилось, если бы Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Толстому, Чехову было приказано стать воспитателями и строителями, — очевидно, капитализма или какого-то там еще «изма»! В этом — и ответ на размышления Эренбурга, почему в советской литературе не может быть Чехова и Толстого.

В советской литературе сталинского и последующего периода есть и остроумная выдумка, изобретательность, проскальзывают и искренние, глубокие чувства: люди-то остаются прежними, и их талантливость нередко выпирает наружу несмотря ни на что. Да и за всеми не уследишь и не каждый так легко встает «на горло собственной песне». Но преобладает серость, одноплановость, обусловленные тем, что эта литература превращена в прикладное ремесло, в средство

«построения коммунизма», а точнее — в средство коммунистического властвования. И если она перешагивает это свое назначение и, изменяя «принципу партийности», хотя бы невольно изображает подлинную жизнь, ей быстро указывают ее место, вплоть до того, что писателей заставляют переписывать свои даже уже изданные произведения, как это случилось с Фадеевым и Катаевым.

Без применения оружия, но, как говорил Маяковский, приравненно к штыку, советская литература должна тащить людей на уготованный им властью путь и «не пущать» на другие пути. Для этого ей надо быть действенной, то-есть прибегать к полуправде, к кусочкам правды, — этим она приобретает прикладной характер уже для нас. Вылавливая кусочки правды и разгадывая, против чего именно эта литература борется, что она стремится заглушать, мы можем составлять мозаику подлинных настроений и положения у нас дома. И, может быть, когда-нибудь только эта ценность и сохранится у советской литературы, которая станет памятником самому мрачному и удивительному по своему безумию периоду нашей истории, — памятником тому, что было и чего не должно быть.

НА СВОБОДЕ, НО НЕ ДОМА

Русская эмиграция — исключительное в истории явление. Мы привыкли сетовать: как мало мы сделали и делаем! Как ничтожна наша роль! Сетования понятны. Но так ли уж мало делала и делает наша эмиграция в условиях, выпавших на ее долю?

Подсчитайте только названия выпущенных почти за сорок лет книг — получится внушительная цифра. Перелистайте десятки издававшихся в эмиграции журналов — какое множество в них ценнейших материалов по литературе, искусству, философии, по истории русской общественной мысли, по политическим и социальным вопросам. Одно «новоградское» течение составило бы честь любой стране; оно остается источником, откуда и в будущем можно черпать, работая над устройством нашей государственной и общественной жизни. И даже при нынешнем оскудении эмиграции людьми, мыслью, средствами, мы продолжаем издавать несколько традиционно-русских журналов.

Богатство большое, такого не было в истории ни одной эмиграции. Раскиданная по всему свету, наша эмиграция была как бы целым государством, в области культуры жившим разнообразной и интенсивной жизнью.

Но это богатство почти целиком осталось и остается втуне. Кое-что из него было передано другим народам — и ничего своему. Это еще одна, — и главная, определяющая, — черта современной эмиграции: «границы на замке» начисто отсекают ее от родины. И если эмиграция всегда — явление ненормальное, способное вести к разложению, к болезненному обострению отношений, к психическим вы-

вихам, то нынешняя изоляция от родины стократно усугубляет эту ненормальность.

Во времена «проклятого царизма» у эмиграции не прекращалось общение с домом, оттуда и туда шли люди, средства, мысли, — теперь у эмиграции десятилетиями нет живой связи с родной почвой и ей придется вариться в собственном соку и в конце концов чахнуть. У нее были и есть пополнения, но это — движение в одну сторону, не заменяющее основного: возможности отдачи своего творчества «туда». Одна мысль об этом, о бесплодии усилий, может гасить все стремления. И то, что, несмотря на тяжелейшие условия, эмиграция за сорок лет не только не умерла, но еще и продолжает как-то работать, — это можно было бы считать чудом. Объяснение ему надо искать, вероятно, в живучести основной идеи эмиграции.

Вряд ли стоит обольщаться: богатству, накопленному и копируемому в эмиграции, скорее всего, так и суждено будет остаться почти неиспользованным. Оно даст материал отдельным исследователям, историкам, — будущим историкам без него не обойтись. Кое-что, тщательно процеженное, из художественной литературы, после смерти того или другого писателя, может быть, напечатать, как печатают сейчас Бунина. Но надеются, чтобы все наши богатства могли переплавиться в ткань текущей жизни, — это, очевидно, надо отнести к несбыточным мечтаниям.

Изолированность эмиграции от родины была и основной причиной, почему в ней, и особенно в литературе, синтеза русской дореволюционной мысли и творчества с революционными, в сущности, тоже не получилось.

Правда, большинство русской так называемой «старой эмиграции» покинуло Россию, уже пережив в ней революцию, октябрьский переворот, а частью и годы гражданской войны. Но дальнейшее — годы восстановления, «советского строительства», а потом и «строительства социализма», старая эмиграция могла наблюдать лишь издалека. В условиях изоляции она могла только разгадывать суть происходившего в России, и эта исключенность из жизни родины тех лет не могла не наложить определенной черты на основное настроение эмиграции.

Этой основной чертой было прямое, — как принято в эмиграции говорить, «непримиримое», — отношение ко всему происходившему в России, как к «советскому», к «советчине». Это отношение в сущности не разграничивало коммунистического насилия и того, что было следствием вообще революции. И хотя в эмиграции было распространено мнение о необходимости «приятя» какой-то части совершившегося, были и такие явления, как младороссовство и даже хождение «в Каноссу», основная антикоммунистическая, смешанная с огульно-антисоветской, коренная, стихийная суть эмиграции оставалась неизменной. Это помогло эмиграции сохраняться, но это же еще больше отгораживало ее от родины.

Эренбург в первой части «Оттепели» нашел нужным перекликнуться с одним из рассказов, появившихся в эмиграции; в этой же части (в написанном, но не отправленном письме одного персонажа повести к дочери-эмигрантке), явно адресуясь к эмиграции, он писал, что эмиграция, дескать, не может понимать происходящего в России и не имеет права претендовать на участие ни в нынешней, ни в будущей ее жизни. Понимать и участвовать, писал Эренбург, может только тот, кто пережил все, выпавшее на долю нашей родины, кто вместе со всеми кирпич за кирпичем клал в новое здание.

В искренность писаний Эренбурга, понятно, верить не приходится: мало ли что приходилось ему писать! Написал же он в конце войны о наших военнопленных и «остовцах», безотрадная участь которых была известна всем, что они объедались у немцев белыми булками, «пока мы проливали кровь», хотя было совсем наоборот: белые булки ел Эренбург, сидя в Москве и проливая чернила, а не кровь. Но в каком-то другом, не эренбурговском смысле, одно, конечно, верно: при нынешней изолированности только на месте совершающегося можно это совершающееся знать достаточно полно.

Эмиграция от коммунизма означает разрыв всех связей с родиной. И как бы эмиграция ни пыталась сохранять эту связь, она могла хранить только память о прошлом. И тут опять оправдалась пророческая боязнь Замятина: и в эмиграции, в свободных условиях, будущим русской литературы оказалось прошлое.

Можно утверждать, что писатели, покинувшие Россию в начале революции, не дали нового: они дали лишь много новых произведений, и по форме и по содержанию неразрывно связанных с прошлым, в частности, с «серебряным веком». Их заслуга — в углублении настроений и идей «серебряного века», без связи с послереволюционной Россией, что тоже не мало. Тем не менее, Куприн, Мережковский, Ремизов, Алданов, Шмелев, многие другие, и самый блестящий — Бунин, создавший в эмиграции свои наиболее значительные произведения, такие, как «Жизнь Арсеньева» или сборник рассказов «Темные аллеи», которого с полным основанием надо считать классиком нашей литературы, — принадлежат к ее прошлому.

Сейчас в эмиграции почти не осталось и представителей этого прошлого. Не так давно ушел Бунин, потом Алданов, похоронили и Ремизова. Из больших прозаиков, вступивших в литературу в «серебряном веке», остался, кажется, один Борис Зайцев, из больших поэтов оставался ныне скончавшийся Георгий Иванов. Время безжалостно, а сорок лет, да еще в эмиграции — целый век.

Новое поколение из старой эмиграции, надо отметить, не оказалось бесталанным. Но оно в большинстве денационализировалось. Мы часто встречаем русские имена в театре, балете, кино, в литературе разных стран: дети старых эмигрантов и здесь нашли применение своим способностям. Но тех, кто не денационализировался и вошел в русскую литературу за рубежом, можно пересчитать, по-

жалуй, по пальцам одной руки. У них часто не было не только связи, но и памяти о России — и для них «русскость» оказалась уже мало характерной.

Самый талантливый представитель этого поколения, несомненно, Сирин-Набоков. Г. Адамович писал о нем, как о самом талантливом писателе во всей современной русской литературе, в России и в эмиграции. Это, безусловно, большой писатель, его мастерство временами просто разительно. Но в какой мере он — русский писатель?

Дело, конечно, не в том, что он одинаково легко, — или трудно, это уж ему самому знать, — пишет и по-русски и по-английски. Дело и здесь в основной духовной настроенности, обращенности. Русская литература, по крайней мере до сих пор, была немыслима без обращения к проблемам добра и зла, — творчество Сирина-Набокова, похоже, протекает где-то «по ту сторону добра и зла». И мастерство писателя, наряду с восхищением, невольно вызывает настороженность: что это за явление? Не свидетельство ли это распада, разложения, а не воссоздания?

О военном и послевоенном пополнении зарубежной литературы, может быть, еще рано говорить с такой же определенностью, как о старой. Стоит отметить один факт: больших писателей с той стороны с этим пополнением в эмиграции не появилось, все более заметные советские писатели остались в России, хотя многие из них могли бы оказаться здесь. Во всяком случае, большинство из нас только тут, за рубежом, обратилось к литературе, или начало писать вновь, не имея этой возможности дома: за малым исключением, никто из нас в России не печатался, хотя многие не уступают в мастерстве тем, кто печатается сейчас в России. И тут, надо сказать, больше повезло поэзии: новая эмиграция дала таких несомненно значительных поэтов, как Д. Кленовский, И. Елагин и ряд других.

ПЕРЕОЦЕНКА БУДУЩЕГО

Эти заметки, выражающие сугубо личное мнение и никак не претендующие на безошибочность, — чем больше будет оправданных возражений, тем лучше, — как видим, пока довольно безотрадны: у русской литературы просвета не видно и не приходится утверждать, что «настоящий день» у нее не за горами.

Но вот вопрос: что, собственно, подразумеваем мы под этим днем? Может быть, мы хотим повторения «золотого» или «серебряного» веков, то-есть повторения прошлого? Это можно предполагать, слыша сетования по поводу того, что было и чего нет. Но тогда не стоит ли заняться переоценкой, — на этот раз не прошлого, а будущего, наших о нем представлений?

И другой вопрос: да не переоцениваем ли мы вообще значения литературы, тогда как роль ее не соответствует нашим представлениям? Эти представления сложились, главным образом, в XIX веке,

во время расцвета нашей литературы — и во время преобладания просвещенческих взглядов. Но если эти взгляды были временными, то и расцвет литературы мог быть временным? Или — он может быть теперь совсем иным?

Из больших русских искусствоведов, — в эмиграции он остался, кажется, вообще единственным таким искусствоведом, — В. Вейдле писал о возможности «заката искусства». В. Вейдле писал, что если XVIII и XIX века были веками интенсивной духовной жизни, то в новейшее время, с его индустриализацией, с засильем техники, духовная жизнь отступает куда-то на второй план. Если это верно и интересы действительно переместились, то, может быть, законен и «прикладной», узко-служебный характер, который приобретает литература?

В наших представлениях, впрочем, она и прежде имела примерно такой же характер: мы долго считали ее лишь средством воспитания, пока не догадались, что она имеет свое собственное, самодовлеющее значение, и что ее воспитательное значение нельзя понимать слишком прямолинейно, вроде пособия для научения грамоте жизни и хорошего поведения. Завет «сείτε разумное, доброе, вечное», вероятно, останется для литературы постоянным, но без чересчур легкого понимания и «разумного, доброго, вечного», и самого процесса «сеяния».

Между тем, этот взгляд еще сильно владеет нами. Например, часто радуются тому, что дома у нас классиков издают огромными тиражами, — это, предполагается, воспитывает в людях добрые чувства, вопреки усилиям коммунистов. Но оправдана ли эта надежда? Допустим, что классическая литература воздействует на подпольный слой сознания. Но воздействие на защитную корку сознания остается во власти коммунистов, и пока это так, они и классиков используют на свою потребу. При современной технике властвования, им выгодно издавать и классиков: они тоже «служат строительству коммунизма». Чему же тогда слишком радоваться?

С другой стороны — любопытный факт: не так давно «Литературная газета» писала о миллионных тиражах издания таких книг, как «Всадник без головы», «Королева Марго», «Записки доктора Ватсона» и т. д. Газета встревожена: пока советская литература, а отчасти и классика, лежит на полках магазинов и библиотек, массовый читатель запоем глотает приключенческую и детективную литературу и местные издательства зашибают на ней не малую деньги.

Верно, массовый читатель, — а на него и рассчитаны миллионные тиражи классиков, — и прежде предпочитал Льву Толстому не только Шерлока Холмса Конан Дойля, а и Ната Пинкертона. Но если прежде мы проходили мимо этого факта, то теперь мы не можем его не замечать.

Нельзя не замечать более резкой дифференциации литературы в последние десятилетия. Произошло, хотя временами и не ясное, раз-

граничение литературы на несколько видов: на развлекательную литературу, царящую в иллюстрированных журналах и массовых изданиях и побивающую в распространении все рекорды; на литературу чисто воспитательную, главным образом для юношества и массового читателя невысокого культурного уровня; наконец, на собственно художественную литературу в том понимании, в каком мы привыкли смотреть на нашу классику. Последняя лишь в исключениях получает широкое распространение: чаще тиражи ее ограничены, и писателей, создающих эту подлинную литературу во всем мире насчитывается, может быть, не больше сотни человек.

Мы привыкли замечать только этот вид литературы и думать, что он властвует над всеми умами и воздействует на них. Да верно ли это? Для очень большой части читателей властителями дум остаются авторы развлекательной или воспитательной литературы. Они не попадут ни в пантеоны, ни в энциклопедии (впрочем, некоторые в энциклопедии и попадут, хотя бы несколькими строчками: та же детективная литература, например, достигла на Западе большого мастерства), но вычеркнуть их из современной жизни невозможно. И зачем вычеркивать?

В этом же ряду — увеличение значения документальной литературы: очерков и воспоминаний свидетелей тех или иных событий. Многие предпочитают этот вид литературы «выдуманному романам». И тут, очевидно, сказывается изменение характера нашей жизни, большее ее разнообразие, переполненность ее событиями и впечатлениями, как и ускорение ее темпа: читателя интересуют факты, а не осмысление и обобщение их, с чем он, пусть слишком самоуверенно, надеется справиться сам.

Все это свидетельствует, что мы живем «в другие времена», когда и на литературу приходится смотреть иначе и когда параллели и сравнения теряют прежние значение. Очевидно, надо свободно допускать законность любой литературы, и «второсортной», которую почему-то считалось необходимым «поднимать» до уровня большой литературы. Она была всегда, и мы не обращали на нее внимания, наверно, потому, что она не оставляла следа в истории, сохраняющей только большие ценности. Сейчас эта литература получила неизмеримо большее распространение, — но ведь это может быть и следствием распространения общего образования и расширения полиграфической базы, появления ротационных машин, а не снижения духовного уровня.

Наша привычка смотреть на литературу, как на водительницу, как на средство исправления общественных отношений и человека, открывающее путь к идеальному состоянию, объясняет и наши севования по поводу отсутствия в ней «положительного героя» и жажду его появления, тогда как из попыток нахождения такого героя пока путного не получалось. Не потому ли, что задача большой литературы остается в другой плоскости? Постоянная кристаллизация

духовных стремлений в ней, концентрирование вечного «святого беспокойства» может иметь разве лишь отдаленное сходство с задачей «исправления человека», где у места и оптимизм и утверждение временных ценностей. Большая литература не может совмещаться с поверхностным оптимизмом, она была и будет критической по отношению к тому, что есть, ибо «то, что есть», не может быть совершенным, конечным, чем только и могло бы удовлетвориться неучитожимое стремление к идеальному состоянию.

Именно с точки зрения этого стремления необходимо признать законность существования разных видов литературы без всякого обособления, без потуг поднять один вид до другого, высшего, что неминуемо влечет за собой появление бдительных стражей. Часть писателей «низшего» вида сама будет стремиться к тому, чтобы дотянуться до другого уровня — честь им и хвала. Другая удовлетворится своим занятием — и тут не может быть порицания или неодобрения: эти писатели тоже «выполняют свою функцию» в нашей очень усложнившейся, со всем ее огромным разнообразием, жизни.

Тогда и наше представление о желанном «настоящем дне», очевидно, будет другим. Контуры этого дня уже видны. В нем большая литература, не теряя своего значения и оказывая, может быть, не меньшее, чем прежде, влияние, будет лишь малым островком, высоко поднимающимся над морем, неустанно пополняемым потоками из ротационных машин.

Вот один из фактов этого дня: прежде у нас было два литературных центра, Москва и Петербург, — теперь к ним прибавилось еще несколько десятков провинциальных центров. Почти в каждой области издаются толстые журналы, альманахи, сборники местных писателей. Из этой литературы в большую, истинно ценную, несомненно, и в будущем почти ничего не попадет, но и относиться к ней с пренебрежением нет основания. Раз возникнув, она, стараясь равняться на большую литературу, будет существовать. И быть этим недовольным — примерно то же, что сердиться на плохую погоду.

НЕПРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Советская литература вся, до оплаченных премиями, орденами, почетом и прочими благами вершин, обязана иметь даже не служебный, а утилитарный характер. Однако, и это было бы еще не такой бедой: в конце концов, и настоящее искусство «служит», включая и то, которое хотело бы признавать только формулу «искусство для искусства». Но большое искусство и служит большой цели: созданию культуры, которая все более становится общей «для всех времен и народов».

Эта культура, по современным представлениям, не может быть рабовладельческой, — той, которую стараются создавать коммунисты. Поэтому они не только негодуют, но и приходят в смущение,

когда их «культуру» называют настоящим именем. Это не культура: это безнадежная и бесчеловечная попытка возвратить людей в допотопные времена.

Подчинение этой задаче и есть главная беда советской литературы. И пока блюстители дум, включая и крупных советских писателей, могут удерживать ее в рамках этой задачи, советской литературе до большой художественной литературы не дотянутся.

Большая литература должна быть свободной от внешних для нее заданий — только тогда она может свободно подчиняться идее служения и выбирать пути этого служения. И только этой литературе можно предъявлять высокие требования, без чего, по слову Гете, истинное искусство невысказуемо.

А такой литературы, может быть, за очень малым исключением, к которому можно было бы предъявлять эти требования, у России сейчас нет. И для того, чтобы она могла появиться, нынешней литературе надо было бы: в России — освободиться от сковывающего ее задания; в эмиграции — получить возможность пользоваться своей свободой.

Но это лишь первое условие. Оно необходимо для того, чтобы мог осуществляться кропотливый, нелегкий процесс освобождения сознания из-под «защитной корки», выявления подлинных настроений, очистки их от всякой шелухи и оформления в соответствии с ушедшим вперед временем, восстановление задержанного развития. Одно освобождение от заблуждения, что жизнь ценна не сама по себе, а ценны будто бы прежде всего те или иные формы ее организации, уже потребует немалых усилий.

Этот процесс освобождения от того, что крепко сидит в защитной корке сознания и что, как показали периоды «оттепелей», сдерживает самоосвобождение писателей, необходим, чтобы они почувствовали себя не партийными работниками или какими-то «строителями», а просто писателями, дело которых — изображать жизнь, а не ломать ее. Чтобы они могли подчинять себя только двум условиям — искренности и чувству человечности, ибо только эти два условия при нынешней неуверенности и «потере основ» остаются единственно верными для литературы, — и не для одной литературы, конечно, — непоколебленными основами.

Нашей литературе необходимо не одно освобождение, но и появление «воздуха свободы», который был у нее прежде, чтобы она могла свободно совершенствоваться во всех отношениях. Тогда появится и надежда, что из нынешних и будущих писателей, таких же, как нынешние, получатся и мастера большой литературы, может быть так, как лет семьдесят назад Антон Чехов вышел из Антоши Чехонте.

Тогда у России вновь будут не одни писатели-ремесленники, а и творцы культуры, с полным правом стоящие на страже ее.

ВЛАДИМИР ЖАБИНСКИЙ

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ФРОНТЕ

1.

В самоназначении первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по совместительству на пост председателя Совета министров СССР, то-есть, если не в ликвидации членов «коллективного руководства», то самого «коллективного руководства», ярко сказалась внутренняя логика режима. Сущность этого режима несовместима даже с такой незначительной демократизацией, как управление государством не одним лицом, а десятком равноправных членов Президиума ЦК. Концентрация власти по армейскому образцу неизбежна — она логически вытекает из тех задач, которые ставит себе режим, задач в плане «борьбы с врагом до победы», при этом победы по ленинскому принципу на уничтожение — «кто—кого».

После смерти Сталина тяга к демократизации сказалась во всей советской жизни в самых различных формах. На верхах она дала «коллективное руководство», в литературе, например, сказалась в дискуссиях вокруг свободы творчества, в критических и художественных произведениях периода «оттепели», «рассвета», достигшего своего апогея осенью 1956 года.

1957 год был годом возвращения «зимы» после кратковременной «оттепели», «ночи» — после «рассвета». Не случайно «коллективное руководство» ликвидировалось одновременно с другими явными проявлениями тяги к демократизации в советской жизни, в частности — в советской литературе. Подготавливая удар по «коллективному руководству» Никита Хрущев перед июньским Пленумом ЦК 1957 г. проявил большую активность и на литературном фронте — в первой половине 1957 года он провел три «беседы» с писателями в помещении ЦК; в марте 1957 года был проведен 3-ий пленум Правления Союза Писателей. К июлю 1957 года было покончено с «коллективным руководством» в управлении страной и с видимыми ростками демократизации в литературе. Любопытно, что вскоре после 4-го

Пленума Правления Союза Писателей СССР, в феврале 1958 года, был смещен и последний равноправный член «коллективного руководства» Н. Булганин.

Все это — не внешние сходства между политическими событиями в стране и событиями в литературной жизни, их связывают не всегда прямые, сложные первопричины, в основе которых лежит общая тяга к демократизации режима и борьба с ней со стороны партийной диктатуры.

Эта внутренняя связь особенно заметна в единстве тактики Хрущева, к которой он прибегнул, чтобы вернуть концентрированное единство партийному руководству. Надо отдать должное Хрущеву, он обладает острым партийным инстинктом и понимает, что любая демократизация в любой области, будь-то верховная власть или художественная литература, несовместима с внутренним содержанием и логикой коммунистической диктатуры. Хрущев понимает, что концентрация власти в одних руках соответствует задачам, которые ставит себе, чаще скрывая их, партийная диктатура.

Стараясь снова связать по рукам и ногам советскую литературу, Хрущев понимает, что так он может избавить режим от опасности, которая таилась в литературных произведениях 1956 года, чей критицизм в отношении многих советских порядков и советской действительности вообще, чьи идеи человечности сразу же стали жадно впитываться миллионами советских читателей, особенно советской молодежью и интеллигенцией.

Невозможность в наше время прибегнуть к сталинским методам террора и истребления непослушных и несогласных, заставила Хрущева прибегнуть к методу децентрализации оппозиционных сил с тем, чтобы, децентрализовав их, снова подчинить партийному аппарату. Оппозиционные силы среди правительственных кругов, среди хозяйственников и технической интеллигенции Хрущев раздробил децентрализацией управления промышленностью, тем самым лишив их единого центра в Москве. Надо сказать, что в Москве, в течение последних двадцати лет, особенно послевоенных лет, собралось целое поколение государственных, партийных, военных деятелей, ученых, литераторов, деятелей культуры и искусства с большим жизненным и рабочим опытом, к тому же, что особенно важно, близко знакомых с Европой и западной жизнью вообще. Москва стала котлом, кипящие силы которого Сталин сдерживал периодическими чистками и тяжелой крышкой страха, но после Сталина пары стали вырываться наружу. Хрущев придумал метод децентрализации, метод переноса центров тяжести на периферию, оставляя в Москве центр единого партийного руководства.

В литературной жизни московское отделение Союза Писателей фактически задавало тон всему Союзу Писателей СССР и всей советской литературе. В период «оттепели», «рассвета» в советской литературе были созданы значительные произведения, и явными стали

творческие поиски именно среди московских писателей: назовем альманах «Литературная Москва», сборник «День Поэзии», рассказ «Собственное мнение» Градина, роман «Не хлебом единым» Дудинцева, поэму «Семь дней недели» Кирсанова, поэму «Станция Зима» Евтушенко, рассказ «Квартира № 13» Вальцевой в журнале «Москва» и т. д. Не случайно главный докладчик на последнем 4-ом Пленуме Правления Союза Писателей в феврале 1958 года, Н. Тихонов, говорил:

«В последний период некоторые литераторы (преимущественно в Москве) попали в туман идейных шатаний, проявили склонность к ревизионизму перед лицом атак со стороны зарубежных врагов советской литературы, поставили под сомнение целую четверть века ее истории и ополчились против теории социалистического реализма. Кроме журнала «Новый Мир» и сборника (уже не альманаха! — В. Ж.) «Литературная Москва», эта тенденция нашла свое отражение в сборнике «День Поэзии» за 1956 год, журнале «Театр» и некоторых других изданиях, и на некоторых литературных дискуссиях.»

Начиная с весны 1957 года, Хрущев систематически проводит децентрализацию литературных сил: организовано объединение писателей РСФСР, создан Союз Писателей РСФСР во главе с «хрущевцем» Л. Соболевым, создаются многочисленные областные отделения Союза, областные издательства и литературные газеты и журналы. Созданы девять новых издательств: в Белгороде, Вологде, Калининграде, Калуге, Мурманске, Орле, Рязани, Томске, Ульяновске. Появились новые литературные журналы: «Литературная Вологда», «Литературная Калуга», «Калининград», «Литературная Рязань», «Литературный Мурманск». На 4-ом Пленуме выявился перенос центра тяжести всей советской литературной жизни на национальные литературы.

Н. Тихонов в своем докладе на 4-ом Пленуме говорил:

«Свыше двух тысяч двухсот человек будут состоять в Союзе писателей РСФСР. Надо ждать большого оживления в таких организациях, как ростовская, новосибирская, воронежская, хабаровская, горьковская, смоленская, куйбышевская и других. Значительно оживится работа в литературах восемнадцати писательских организаций автономных республик и областей, входящих в состав Российской Федерации . . . У российских писателей будет и свое собственное издательство, будет и собственная газета «Литература и жизнь».

О хрущевской децентрализации советской литературы говорили и другие ораторы на 4-ом писательском Пленуме. Хрущевская «звезда», Н. Грибачев, говорил:

«После выступления Никиты Сергеевича Хрущева заметно оживилась литературная жизнь в республиках и областях, и это выразилось в более глубоком сознании главного направления литературного процесса, в критике тех, кто с умыслом или без умысла свернул

на кривые дороги. Тот же процесс, хотя помедленнее и с солидными издержками, происходит в среде московских писателей.»

О том же говорил на Пленуме А. Софронов:

«После выступлений товарища Хрущева, после 3-го пленума Правления Союза Писателей СССР . . . обстановка в Московском отделе хотя и медленно, но улучшается. Хочется пожелать руководителям вновь избранного правления московской организации продолжить плодотворную работу по рассеиванию всех и всяческих группировок.»

Смысл хрущевской литературной децентрализации ясен: отсечь и изолировать московских писателей, выросших до критического понимания советской действительности, до мужества иметь свое мнение и говорить о своем несогласии с навязанным партийным руководством, писателей, впитавших опыт товарищей по перу стран Восточной Европы, особенно венгерских и польских, а также опыт западно-европейской и американской литератур; лишить их возможности влиять на советскую литературу; смысл литературной децентрализации — подчинить раздробленную литературу через местные партийные органы центральному партруководству. Была принята во внимание и психологическая особенность провинциальных, особенно молодых, писателей — они за возможность печататься более послушны и безоговорочно выполняют «соцзаказы». Опыт памятного 1956 года показал, что писатели Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, в неизмеримо большей степени изолированные от нового в жизни, чем московские писатели, покорно подчинились директивам партийного руководства и первыми поднялись по указке партруководства против романа «Не хлебом единым», против альманаха «Литературная Москва» и других критических произведений периода «оттепели» и «рассвета».

В переносе центра тяжести на литературы народов чувствуется расчет и в плане международной политики партийной диктатуры в отношении бывших колониальных народов Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и народов Южной Америки. Похоже на то, что литература «братских республик» будет широко распространяться в этих странах в переводах на языки их народов, с целью пропаганды «национальной политики» коммунистической власти. Именно об этом говорил на 4-ом писательском Пленуме умный и опытный критик К. Зелинский:

«Союз Писателей СССР должен перестроить свою работу в том смысле, чтобы многонациональное лицо нашей литературы было бы более ясно представлено и советскому, и зарубежному читателю. В этом смысле нуждается в перестройке работа журнала «Советская литература» на иностранных языках, который должен больше печатать произведений писателей из братских республик.»

Сегодня, на первый взгляд, кажется, что Хрущеву удалось залить бетонным раствором из своих решений, постановлений, запретов, за-

мешанных по методу децентрализации, все ростки начавшейся демократизация режима—в партийной, хозяйственной, политической, литературной и других областях советской жизни. Но при внимательном рассмотрении видно, что Хрущеву удалось уничтожить только видимые ростки. Этим тяги к демократизации не остановить: вся советская земля пропитана критическими мыслями, тоской по человечности, по человеческой жизни. Дело не в Маленкове и не в писателе Дудинцеве. Хрущеву самому приходится делать многое из того, что хотел сделать Маленков — в сельском хозяйстве, в производстве товаров широкого потребления, а также в отношении большей творческой свободы для ученых и технических специалистов. Дудинцев ничего не выдумал, а только, в силу сложившихся обстоятельств, смог назвать вслух то, что появилось в сознании советских людей.

События последних месяцев показывают, что политическая борьба на партийных верхах далеко не прекратилась. 4-ый писательский Пленум показал, что борьба на литературном фронте тоже продолжается, только в иных формах. Борьба продолжается, силы, выступающие за демократизацию, питаются подспудными соками, исходящими из народной толщи.

Вспомним, как представлял себе Хрущев причины, породившие в литературе период «оттепели» и «рассвета». Июльский номер теоретического журнала «Коммунист» в 1957 году писал:

«Огромную долю ответственности за распространение нездоровых тенденций среди части художественной интеллигенции несет Шепилов. . . Определенный вред развитию литературы и искусства нанес не только Шепилов, но и другие участники антипартийной группы, например — Маленков. . .»

Через полгода на 4-ом Пленуме, в феврале 1958 г., о «дурном влиянии» на литературу членов «антипартийной группы» уже не говорилось ни слова. На последнем Пленуме правления Союза писателей уже говорилось о «ревизионистах», о «неразоружившихся», «не сдавших своих позиций», которые, мол, продолжают попытки подтачивать крепость «идеологических и исторических позиций с помощью литературоведческих экскурсов и эзоповских иносказаний». Сама жизнь показала, что дело не в Шепилове или Маленкове, не в Гранине или Дудинцеве, а в том, что в народе растут и крепнут силы, питающие самые различные требования необходимых перемен в жизни и литературе.

2.

Советскому писателю, чтобы сделаться знаменитым, не нужно создавать новые литературные формы, не нужно открывать неизвестные глубины человеческой души, не нужно находить новые образы — нужно только рассказать в общеизвестной литературной форме

немного из того, что известно всем, то-есть быть не столько писателем, сколько смелым человеком. Это положение ярче, чем что другое, показывает, что сделала партийная диктатура с литературой в Советском Союзе.

Правда, одной смелости писателю мало — нужно еще определенное сочетание обстоятельств, которое позволило бы писателю быть услышанным читателями, коротко говоря — позволило бы напечататься. Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», или рассказ Гранина «Собственное мнение», или рассказ Яшина «Рычаги» принесли авторам почти мировую известность именно тем, что в них рассказано многое из того, о чем знают все советские люди. Появиться на свет этим и другим критическим произведениям помогла жестокая борьба на партийных верхах в 1956 году.

Случай с романом «Доктор Живаго» Бориса Пастернака (мы ни в коем случае не сравниваем художественных достоинств романа Пастернака с произведениями других писателей) показал, что у советских писателей в наши дни имеется другая возможность — это передача своих произведений (конечно, под псевдонимом) за границу. Старый страх, наследие сталинских времен, не дает возможности советским писателям прибегнуть к открытой форме борьбы за свободу творчества. В то же время передача любого честного, правдивого произведения — романа ли, рассказа или стихотворения за границу — через иностранца-туриста, журналиста или студента, принесла бы произведению широкую известность — такое произведение так или иначе будет напечатано за границей и по-русски, и на иностранных языках, и станет достоянием миллионов читателей во всем мире, ибо люди в мире сегодня, как никогда раньше, хотят знать правду о советской жизни, правду о советском человеке. Напечатанное за границей по-русски произведение советского автора дойдет и до многих советских читателей — опыт последних лет показал, что книги, изданные по-русски за границей, находят свои пути в Советский Союз. Об этом говорят нам появившиеся в последнее время рецензии в журнале Академии Наук «История СССР» (№ 3, 1957 г.) и в журнале «Вопросы философии» (№ 1, 1958 г.) на книгу С. Франка о П. Струве, изданную в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, рецензии в «Комсомольской правде» и в «Советской литературе» на книгу Н. Валентинова «Мои встречи с Лениным», изданную тем же издательством. Есть многие другие доказательства, говорящие о том, что и русские журналы, изданные за границей, доходят до советских читателей.

Одним словом, сейчас в мире существует, с одной стороны, огромный интерес к правде о советской действительности, с другой — нарушенная изоляция Советского Союза от остального мира: такое положение предоставляет советским писателям большие возможности для обнародования тех своих произведений, которые ныне запрещаются к печати внутри СССР.

Оглядываясь на советскую литературу за период после июньского Пленума ЦК 1957 года, не трудно увидеть, что по ней — как Мамай прошел.

Судя по четвертому Пленуму, можно подумать, что лучшим произведением этого периода считается брошюрка самого Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Главный докладчик на Пленуме Н. Тихонов так и сказал:

«Важнейшим событием литературной жизни между двумя пленумами было опубликование в печати . . . «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

3.

Опустошение, которое произвела в советской литературе партийная политика за последний год, особенно заметно по книгам-кандидатам на Ленинские премии 1958 г. Книги эти, прежде всего, до зевоты напоминают литературное месиво из бесконечных романов, повестей, рассказов, стихов (названий их не помнят, вероятно, сейчас и литературные критики!), которое заполняло советский книжный рынок в сталинские годы. Роман В. Кожевникова «Заре навстречу» — слащавая книжица для казенного чтения юношества; посредственные, давно написанные стихи умершего В. Луговского «Солнцеворот» и «Синяя весна»; мало кому известный роман узбекского писателя Аскада «Сестры» — типичная партийная агитка на тему «национальной политики», маленький газетный рассказ М. Шолохова «Судьба человека» («оригинальный», как и его заглавие!) и роман украинского писателя М. Стельмаха «Кровь людская — не водица», на перепетую тему гражданской войны на Украине, — вот что нашлось для Ленинских премий 1958 г.! Характерно, что все эти произведения прошли незамеченными не только у читателей, но и у критиков!

Мало того, бывший редактор «Литературной газеты», весьма осведомленный в делах советской литературы, В. Кочетов, 24 апреля писал в «Литературной Газете»: «Нет ничего удивительного в том, что какое-то число членов Комитета (Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства. — В. Ж.) не сумело прочесть ни стихотворений В. Луговского, ни романа М. Стельмаха, ни некоторых других литературных работ . . .»

Единственное произведение из названных, в котором кое-что привлекает внимание — это роман М. Стельмаха «Кровь людская — не водица». На 4-ом писательском Пленуме Л. Новиченко говорил об этом романе:

«Полнокровной щедростью в изображении крупных народных характеров радует нас новый роман М. Стельмаха . . . Примечательны психологические богатства романа, вдумчивость и правдивость в изображении судеб людей.»

На самом же деле роман оставляет впечатление путаное и неровное — партийная пропаганда и авторская оглядка на начальство забывают интересные мысли и художественные удачи романа.

Вот как выглядят «правдивость» и «народные характеры» в романе — в словах крестьянина во время боя с бандитами:

«—Как же не радоваться! Сказано, рабочие пришли, надежда наша!.. А издали улыбается им дорогое лицо Ильича... Хлеб ему крестьяне принесли!»

Вот пример «психологического богатства» романа:

«Нечуйвитер — коммунист, для него человек и дело — выше собственного чувства.»

Что удалось автору романа — так это показ крестьянского отношения к земле. Размышления крестьян о земле в годы гражданской войны в романе дают представление, как и чем обманула крестьянство партийная власть:

«Мужик почуял уже свой долгожданный надел, а хлебороба и смерть не оторвет от земли.»

«В одно погожее, непременно солнечное утро вызовут его, кавалера двух Георгиев, добрые ученые люди, дадут ему на руки грамоту и скажут: «Вот тебе, Свирид, за твой пот и кровь — земля. Бери ее и живи, как в раю.»

«Неужто же и теперь она поманит да обманет мужика» — пророчески думает о земле крестьянин в романе М. Стельмаха.

Далее намек на то, что случилось с крестьянством, усиливается:

«Убыют в хлеборобе вековую надежду на землю, он и на тресты (колхозы? — В. Ж.) станет смотреть, как на барщину.»

Интересно в романе место, где старый крестьянин высказывает глубокую тоску крестьянства по порядку в жизни. Для читателя, который знает, что партийная власть отняла у крестьян землю и всю их жизнь поставила вверх ногами, эти слова старого крестьянина полны критического смысла:

«— Вот, ежели бы царь да с большевиками замирился. Кругом бы порядок был. Царь царствовал бы . . . , а большевики землю бы людям нарезали. Тогда было бы у нас государство на весь свет.»

Писатель, явно опасаясь, как бы ему за такие речи его героев не приписали «правый уклон», предусмотрительно ругает в романе Бухарина и Пятакова.

Описывая гражданскую войну, М. Стельмах, равняясь на партийную линию, лягает и Троцкого с явным уклоном в антисемитизм:

«Соверши такое Кульбицкий — об этом давно Москва знала бы, не говоря уже об Одессе. В полководцы бы выскочил!.. Живет одними речами да нагоняями, а тоже деятеля революции из себя корчит.»

Больше всего украинец Стельмах боится быть обвиненным в «национализме», поэтому не жалеет черной краски для Петлюры. Чтобы

как-нибудь объяснить успех петлюровского движения, автор пишет: «Природа наделила его редкостным даром красноречия».

Таково лучшее произведение из тех, что были кандидатами на Ленинские премии по литературе 1958 года!

Любопытно, что Н. Тихонов на 4-ом Пленуме, в своем докладе, с которым он выступил за несколько дней до присуждения Ленинских премий по литературе, перечисляя лучшие произведения последнего года, первым назвал рассказ М. Шолохова, вторым роман «Битва в пути» Г. Николаевой, а третьим — роман М. Стельмаха. Еще раньше, на кремлевском приеме представителей интеллигенции, сам Хрущев был вынужден признать успех романа Г. Николаевой. Н. Тихонов на Пленуме сказал, что роман «Битва в пути» привлек «широкое внимание читателей», и признал, кстати, и художественные достоинства действительно превосходно написанных очерков «Владимирские перелески» Солоухина («Новый Мир») и большой успех пьесы Н. Погодина «Сонет Петрарки» («Литературная Москва», № 2, 1956 г.), шедшей в московском театре имени Маяковского в сезоне 1957 года.

Казалось бы, похвала Хрущева, а затем — Тихонова обеспечивали роману «Битва в пути» Г. Николаевой Ленинскую премию, но, видимо, похвалы были сделаны под давлением читательской общественности, да и надо было чем-нибудь прикрыть пустоту, которую образовала в литературе хрущевская политика. Интересно отметить, что похвала-похвалой, а партийной критике одновременно были даны указания «развенчать» роман «Битва в пути». Приказ этот выполнил В. Архипов, выступивший против романа со своими «Заметками при чтении романа Г. Николаевой «Битва в пути» в Ленинградском журнале «Нева», в январе этого года. Партийный критик невольно выдал одну из причин, почему роман Николаевой не попал в список книг-кандидатов Ленинской премии:

«Секрет удач многих авторов в описании отрицательных героев.» Отрицательными же героями в романе Николаевой являются: начальник областного управления МГБ, секретари обкома и горкома, политиканствующий директор завода.

В. Архипов негодует на Николаеву за слова старой крестьянки в романе о «хороших» людях: «Больно хорош человек, такие-то долго не живут».

Но больше всего выдает себя партийный критик тем, что в своем разборе романа Николаевой он обходит гробовым молчанием главную тему романа — тему о замордованной, несчастной любви советского человека, тему неудачных браков, одиночества детей, тему безнадежного конфликта человеческих чувств и советских порядков. Именно эта тема и принесла роману Г. Николаевой большой успех среди советских читателей.

Причина невключения романа «Битва в пути» Г. Николаевой и пьесы «Сонет Петрарки» Н. Погодина в число произведений-канди-

датов на соискание Ленинских премий по литературе 1958 года, может быть, кроется и в том, что судьба произведений, выставленных официальными кандидатами, была где-то в Управлении Пропаганды и Агитации ЦК predetermined еще до решения Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства. Ни роману Кожевникова «Заре навстречу», ни стихам Луговского, ни роману Аскада «Сестры», ни рассказу Шолохова, ни роману Стельмаха — ни одному из них Ленинская премия присуждена не была. Будь в списке кандидатов роман Г. Николаевой «Битва в пути» и пьеса «Сонет Петрарки» Н. Погодина, понравившиеся читательской и литературной обществу, они имели шансы получить Ленинскую премию, что было бы ударом для хрущевской политики в литературе.

Сам факт, что советская литература не получила ни одной Ленинской премии — из четырех! — при этом в год, когда подводились итоги сорока лет советской литературы, показывает то состояние опустошения, до которого довела советскую литературу за полтора года хрущевская реакция.

4.

Что же показал февральский 4-ый Пленум Правления Союза Писателей СССР? Прежде всего — воскрешение сталинского курса в литературе. И хотя главный докладчик на Пленуме, Н. Тихонов, стыдливо оговорился:

« — Сказался на развитии литературы и культ личности Иосифа Виссарионовича (!) Сталина», — от всех выступлений на Пленуме явно отдавало сталинщиной самых черных лет.

Во всем, о чем говорили казенные ораторы, вырисовалось низкопоклонство перед Хрущевым, мало чем уступающее бывшему обожевлению Сталина, а также требование рабского низкопоклонства писателя перед партийной диктаторской властью.

В Обращении 4-го Пленума к ЦК КПСС сказано:

«Мы, литераторы . . . обсудив на 4-ом Пленуме правления Союза писателей СССР итоги сорокалетнего развития советской литературы, испытываем серьезную потребность обратиться со словами пламенного приветия и благодарности к Центральному Комитету великой партии Ленина. . . Сегодня мы особенно отчетливо видим, какую огромную роль на всех этапах жизни нашей литературы сыграла наша великая Коммунистическая партия. Эта неопределимая роль ощущается во всем. . .»

Н. Тихонов, в начале своего доклада, заявил:

«Величайшим событием литературной жизни между двумя пленумами (март 1957 г. — февраль 1958 г. — В. Ж.) было опубликование в печати партийного документа «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». . . Высказывания Никиты Сергеевича Хру-

щева в беседах с литераторами и деятелями искусства, положенные в основу документа, помогли очистить атмосферу литературной жизни. . . , с новой силой подтвердили основы партийной политики в области литературы и искусства».

Далее Н. Тихонов договорился до того, что «важнейшее событие литературной жизни» — брошюрка с подправленными редакторами выступлениями косноязычного Хрущева (почему только ей не присудили Ленинской литературной премии за 1958 г.? — В. Ж.) делает советскую литературу «законной наследницей всей великой мировой и русской литературы».

Не менее старался на Пленуме и Н. Грибачев — эта восходящая звезда хрущевской эры. Грибачев сказал:

«Если говорить о наших сегодняшних задачах, то они в наиболее исчерпывающей и четкой форме изложены в выступлениях Никиты Сергеевича Хрущева. . . Никита Сергеевич Хрущев исходил из великих и бесспорных традиций русской литературы».

По Грибачеву выходит, что изгонять из литературы правдивую критическую мысль, изгонять из литературы идеи человечности, то есть то, на чем выросла великая русская литература Пушкина, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Чехова, — это «исходить из великих и бесспорных традиций русской литературы»! Грибачев, вслед Хрущеву, подчеркнул, как он понимает великих русских классиков: «Для художника не существует вопроса о том, свободен или не свободен он в своем творчестве!» (выделено мной. В. Ж.) Здесь уместно вспомнить, как понимает традиции русских писателей другой «властитель дум» советской литературы — М. Шолохов. Во время поездки Шолохова по Западной Европе в 1957 году, кажется, в Дании, его спросили, что он думает о казнях и осуждении венгерских писателей, выступивших в октябре-ноябре 1956 года за свободу и независимость своего народа? Шолохов, не моргнув глазом, ответил: «Это внутреннее дело венгров». Как бы ответили на этот вопрос об убийстве и расправах над писателями Л. Толстой, Чехов или Короленко? Что сказали бы они о «русском» писателе М. Шолохове?

Выступления ораторов на последнем писательском Пленуме, как и статьи казенных критиков в литературных журналах и газетах, полны низкопоклонства перед партийной диктатурой и ее нынешним главой Хрущевым.

На Пленуме С. Смирнов говорил:

«Трудно передать, трудно сформулировать огромное, светлое, окрыленное чувство, которое мы все ощущаем после встречи руководителей партии и правительства с огромным отрядом интеллигенции. . . Замечательная, открывающая дорогу вперед встреча!»

Семен Кирсанов, который останется в русской литературе — в ее недавнем периоде «оттепели» — как автор поэмы «Семь дней недели», где он мужественно сказал высокое слово поэта о тоске подсо-

ветских людей по человечности, на трибуну 4-го Пленума вышел с покаянием:

«Каждый, кто прошел этот большой путь, знает и понимает, что с первых дней после Октября, партия проявляла к писателям, к людям искусства исключительную бережливость.»

О какой «бережливости» говорил затравленный, замордованный страхом перед этой партией поэт? О расстрелянном «после Октября» Н. Гумилеве? О загнанных этой партией в петлю С. Есенине и М. Цветаевой? О застрелившемся «лучшем поэте советской эпохи» В. Маяковском? Об умерших в лагерях О. Мандельштаме, Б. Корнилове, П. Васильеве? Или о погибшем в тюрьме критике Зенькевиче, который выкормил и вырастил самого С. Кирсанова?

Самое отвратительное низкопоклонство перед партийной диктатурой, пополам с чудовищной аморальностью, прозвучало на 4-ом Пленуме правления Союза писателей в выступлении писателя, кабардино-балкарца А. Шогенцукова. Что думал, что чувствовал этот человек, за спиной которого стояли тени замученных, погибших в ссылке от голода и холода детей, женщин, стариков, мужчин Кабардино-Балкарии (в том числе и писателей), когда он говорил с трибуны Пленума:

«Кабардино-балкарская писательская организация росла и поднималась, руководствуясь мудрыми решениями Центрального Комитета коммунистической партии.»

«Сталинские писатели» отлично поняли, что означает этот возврат к низкопоклонству перед партийной диктатурой, что означает новый культ — на этот раз культ Хрущева, — и явно воспряли духом. Автор печальной памяти романа «Кавалер Золотой Звезды», «полировщик» С. Бабаевский говорил на Пленуме:

«Недавно в «Литературной газете» печатались ответы писателей на вопросы, среди которых был такой: что является в вашей жизни самым памятным и интересным? . . . Если говорить о 1957 г., для меня лично и, очевидно, для всех нас, самым памятным днем был день 13 мая, когда писатели были приглашены в ЦК партии. С этого дня мы начали говорить по-новому и жить по-новому.» «Новым» Бабаевский называет, очевидно, замену культа Сталина культом Хрущева.

Вторым признаком возврата к сталинизму в литературе, определенно выявившимся на четвертом Пленуме правления Союза писателей, является стремление снова полностью подчинить литературу партийной политике.

Н. Тихонов заявил:

«Советская литература есть. . . помощница партии. Советский писатель выступает, и не может не выступать, как тенденциозный писатель. . . Мы откровенно тенденциозны. Ныне литература партийна. . .»

К. Симонов, выкрикнувши с трибуны Пленума очередную порцию покаяний в своих «ошибках» 1956 г., (Симонов отлично понимает, что «ошибки» эти — опубликование в «Новом Мире», который он редактирует, романа Дудинцева, рассказа Гранина, поэмы Кирсанова — только делают ему честь, как редактору, и как общественному деятелю), заявил:

«Некоторые наши зарубежные коллеги все ждут от нас, советских писателей, чтобы мы за что-то извинялись перед ними в своей деятельности, чего-то стеснялись или в чем-то оправдывались. . . Оправдываться в том, что у нас диктатура пролетариата, и что мы, советские писатели, горой стоим за эту диктатуру и всецело поддерживаем ее — в этом мы оправдываться или извиняться ни перед кем не собираемся. . . Мы, советские писатели, — такие, как мы есть, и мы не собираемся меняться ни при каких бушующих в мире непогодах.»

Интересно, что имел в виду К. Симонов под «бушующими в мире непогодами»? Не народно-демократическую ли революцию венгерских писателей, студентов, рабочих, венгерских комсомольцев и большинства членов венгерской компартии, выступивших на стороне революции в октябре-ноябре 1956 года? Что касается «извинений», «стеснений», «оправданий», то этого от советских писателей, в том числе и от К. Симонова, ждут не столько зарубежные писатели, сколько советские люди, советские читатели!

Н. Тихонов вторил Хрущеву:

«У нас нет борьбы классов и нет оснований для возникновения в литературе различных течений; у нас одно течение — советское».

От подобных афоризмов так и отдаст: «Кто не с нами, тот против нас», со всеми вытекающими из этого определения последствиями.

5.

Особенно заметен возврат к сталинщине в литературе в вопросе пресловутого «социалистического реализма».

Как известно, термин «социалистический реализм» появился в начале тридцатых годов, а на Первом съезде Советских писателей в 1934 году в Уставе Союза Писателей СССР ему было дано следующее определение:

«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии... При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма» (разрядка моя, — В. Ж.).

После смерти Сталина, в 1954 году, на Втором Съезде советских писателей в Новом Уставе из формулировки «социалистического реализма» был выброшен второй, дополнительный абзац. Еще в декабре 1956 года К. Симонов, защищая это решение Второго Съезда писателей, писал в «Новом Мире» в своих «Литературных заметках»:

«Сделали это потому, что практика литературы . . . показала, что эта как бы уточняющая дополнительная формулировка на деле оказалась лазейкой для людей, отрывавших проблему показа действительности в ее революционном развитии от проблемы ее исторически-конкретного, то-есть до конца правдивого изображения».

Именно такая точка зрения на «социалистический реализм» и подсказала К. Симонову напечатать в 1956 г. произведения, как роман «Не хлебом единым», где действительность показана «в ее революционном развитии», «исторически-конкретно», правдиво.

На 4-ом-же писательском Пленуме в феврале 1958 г. о «социалистическом реализме» заговорили явно по-старому. Так, Н. Лючевский заявил:

«Формулировка метода социалистического реализма, которая содержится в Уставе, принятом на 2-ом Съезде писателей, нуждается в уточнении; мне кажется, что она хуже, чем та формулировка, которая была принята на 1-ом Съезде писателей».

Выступавшая на Пленуме М. Шагинян поставила точки над «и»:

«Один очень острый вопрос всех нас волнует и интересует: вопрос критики действительности. Какой должна быть критика в методе социалистического реализма? Нужна ли она?»

Шагинян привела примеры из литературы сталинского времени: «Цемент» Gladкова, «Фронт» Корнейчука и несколько после-сталинских произведений, в которых «критика действительности» сделана авторами по разрешенным властью нормам.

«Почему она, — говорила Шагинян, — никогда не используется нашими врагами за рубежом? Потому что это критика с позиций социалистического реализма . . . Она ничего общего не имеет с критикой у В. Дудинцева».

Партнаместник Союза Советских Писателей А. Сурков в таких словах подвел итоги 4-му Пленуму: «На нашем 4-ом Пленуме восторжествовала партийная точка зрения» — и это, конечно, тоже относилось к возврату к сталинскому понятию «соцреализма».

Умный, ловко ориентирующийся в политической погоде критик К. Зелинский, в своем выступлении дал понять, что думают о «соцреализме» писатели, не выступавшие на казенном Пленуме:

«У нас сейчас намечается ложная тенденция подменять отличительный признак социалистического реализма — изображения жизни исторически, с позиций социализма, **общедемократическими идеалами и понятиями**. Даже создаются концепции некоего «гуманного реализма» от Стендаля до наших дней».

Здесь К. Зелинский явно намекнул на И. Эренбурга, который в статье «Уроки Стендаля» писал, что опыт Стендаля «рассеивает и многие иллюзии настоящего, порой выдаваемые за непреложные истины . . . Писатель как бы открывает человека, а открытие — это не изобретение, оно требует подъема и **внутренней свободы** искателя . . . Если бы общество могло подсказать Ньютону, Копернику, Менделееву или Эйнштейну, что именно они должны искать и что найти, не требовалось бы их гения, открытий не было бы. Ни Гельвеций, ни Руссо, ни Сен-Симон не могли подсказать Стендалю его душевных открытий».

То, о чем говорил на писательском Пленуме К. Зелинский, еще яснее сказал партийный критик Д. Стариков в Литературной газете от 10 апреля 1958 г. По поводу рассуждений И. Эренбурга о Стендале Стариков пишет: «Но разве никакая и ничья мысль не направляла сердце и глаз великих художников? И разве, в конечном счете, не политика партии в области индустриализации указала И. Эренбургу путь к его роману «День Второй»? А влияние Ленина на Горького?»

Стариков умышленно обошел молчанием слова Эренбурга о «внутренней свободе» писателя.

Еще больше выступление К. Зелинского на 4-ом Пленуме относится к предисловию И. Эренбурга к «Римским рассказам» Альберто Моравиа, в котором Эренбург высмеивает партийный подход к реализму в литературе: «Говоря о реализме, писатели прибавляли какой-либо эпитет. Я должен признаться, что мне менее всего кажутся убедительными литературные «измы». Тот же Стариков об этом замечании Эренбурга пишет:

«Такая формулировка заставляет вспоминать фразеологию некоторых критиков ревизионистского толка, рассуждающих о «реализме без прилагательного».

Д. Стариков, вслед за К. Зелинским, обвиняет И. Эренбурга в том, что тот «отождествляет социалистическое искусство с критическим реализмом путем подмены социалистического характера, присущего новому художественному методу, расплывчатыми определениями «революционный и гуманный».

За литературными разговорами и спорами о «социалистическом реализме», «гуманном реализме», «критическом реализме», нетрудно уловить нечто большее, чем литература: писатели, выступающие за критический или гуманный реализм, писатели, в чьих произведениях звучат идеи человечности и критическая мысль,вольно или невольно перекликаются с новым движением в мире, захватывающим и коммунистические партии, известным под названием движения за «человечный, гуманный социализм». Название «гуманный социализм» появилось в 1956 году в Польше и в Восточной Германии (программа осужденного ныне профессора Гариха).

О возвращении к «социалистическому реализму» в его сталинской интерпретации, то-есть к «задаче партийной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма», на писательском Пленуме говорили все.

Так, Н. Тихонов говорил о «характере нового человека — строителя коммунизма, который, деятельно, упорно переделывая мир, переделывал себя, свой характер, весь строй своих чувств».

Тихонов договорился до утверждения:

«Из всех наших произведений навстречу читателю выходят удивительные, новые, прекрасные люди. Таких героев не найдет он в произведениях старой или нынешней западной литературы».

И слава Богу! — скажет читатель. Что бы это было, если бы из старой литературы «навстречу читателю» выходили бы не Одиссей, не король Лир, не Тристан и Изольда, не Дон Кихот, не Вертер, не Наташа Ростова, а безликая толпа «железных большевиков», во главе с Павликом Морозовым!

В связи с новыми дискуссиями вокруг «социалистического реализма», интересно, что даже М. Шолохову во время его поездки в Чехословакию в апреле 1958 г. пришлось говорить совсем иным языком, чем говорят его коллеги внутри Советского Союза. Чехословацкий еженедельник «Литературные новины» № 16 и газета ЦК Польской компартии «Трибуна люду» напечатали отрывки из беседы чехословацких писателей с М. Шолоховым. Шолохова кто-то из чехов спросил, что он думает о социалистическом реализме? Опытный Шолохов ответил: «Теория — не моя область. Я вам расскажу историю, как я встретился с моим другом Александром Фадеевым, незадолго до его смерти. Тогда я задал ему тот же вопрос. Я спросил его, что бы он ответил, если бы кто-нибудь его спросил прямо, что такое социалистический реализм? Он ответил: если бы кто-нибудь меня об этом спросил, я бы должен был по совести ответить: чорт его знает, что это такое».

На вопрос чехов, считает ли Шолохов свои произведения социалистическим реализмом, тот ответил:

«Этот вопрос вызывает во мне воспоминания, как марксистские теоретики называли мои произведения сначала произведениями кулацкого автора, потом я стал для них писателем «контрреволюционным», а последнее время снова говорится, что я всю свою жизнь был социалистическим реалистом».

6.

«Главной опасностью для нашей литературы является ревизионизм, выступающий во многих формах — от оплевания всего сделанного нами, . . . до хитреньких, с помощью теоретических кислот, по-

сдвигающих на фундамент нашей литературы — ее марксистски-ленинскую эстетику», — так заявил на 4-ом Пленуме правления Союза писателей Н. Грибачев.

Понять же, что такое ревизионизм, о котором на Пленуме говорил почти каждый оратор, довольно трудно. Ясно одно: ревизионизм — это обобщающая кличка для всего, что как-либо, в чем-либо не согласно с меняющейся точкой зрения партийного руководства. Слово «ревизионист» продолжает родословную — «контра», «вредитель», «враг народа», «низкопоклонник перед Западом», «безродный космополит», «гнилой элемент», «нигилист» и так далее.

Н. Грибачев говорил на Пленуме и о западном ревизионизме «непрерывно и в самых вульгарных (?) формах» атакующем «нашу литературу», и о «доморощенных попытках свести эстетику социалистического реализма к безоглядному критицизму, что вполне устраивало апологетов буржуазного искусства, но ревизовало основные марксистско-ленинские положения».

А. Сурков о «ревизионистах» говорил, как о «разнуздавшихся силах, которые пытались под видом новаторства, под видом свободы творчества протаскивать в разных формах ревизионизм. Было это в формах статей, которые ставили под сомнение правомерность руководства партии процессами, идущими в литературе. Было это под флагом сомнений в ценности и содержательности принятых нами на первом съезде писателей положений о социалистическом реализме, как основном истоке советской литературы. Было это в той серии произведений разных видов и жанров литературы, в которых односторонне отражалась жизнь нашего общества».

И хотя Сурков говорил «было», но он сам же вынужден признать:

«Я не хочу ни самообольщения, ни вас обольщать тем, что у нас уже наступила тишь да божья благодать. Еще не все товарищи поняли и глубоко себе уяснили содержание партийных документов. На этом пленуме могли бы выступить некоторые товарищи и сказать, как они сегодня думают о процессах, идущих в литературе. На этом пленуме могли бы прозвучать некоторые признания очевидных и ясных ошибок».

Из «ревизионистов» на Пленуме выступил один С. Кирсанов, заявивший: «Беспартийные писатели, к которым принадлежу и я — это люди одних убеждений с писателями-коммунистами. И хочется сказать, что нам, советским писателям, и мне в их числе, ни с каким ревизионизмом не по дороге».

Предавая анафеме «ревизионизм» и «ревизионистов», выступавшие на писательском Пленуме ораторы явно избегали говорить о конкретных примерах «ревизионизма».

«Было бы наивным политическим сюсюканьем утверждать, что борьба с ревизионизмом закончена, — говорил на Пленуме главный редактор журнала «Иностранная Литература» А. Чаковский. — Факты свидетельствуют также о том, что ревизионисты не сдают

своих позиций... Более того, в ряде вопросов они пытаются перейти в наступление».

Что это за «факты», что за «ряд вопросов» — ни Чаковский, ни другие ораторы не уточнили. Видимо, партийное руководство боится обнародовать и эти «факты» и эти «вопросы». Последнее заметно и по печати — в многочисленных статьях, в журналах и газетах, против ревизионизма и ревизионистов о фактах пишется туманно, а если/и приводятся некоторые, то чаще незначительные.

Н. Грибачев, например, на том же Пленуме говорил о ревизионизме так:

«На многих нынешних эстетических программах, завуалированно излагаемых в некоторых статьях и более открыто — в разговорах, наглядно проступают почерки почивших в бозе пророков и апостолов декаданса». Кого имеет в виду Грибачев? Может быть «веховцев» — Бердяева, П. Струве, С. Франка, о которых в прошлом году заговорил журнал Академии Наук «История СССР» и на которых в этом году ополчился главный теоретический журнал ЦК КПСС «Вопросы философии»?

Грибачев требует сорвать «маскировку с ревизионистов», требует показать советской молодежи, что «у их так называемого новаторства и критицизма позеленевшая от времени, полуистлевшая борода».

Но, видимо, чем-то привлекает советскую молодежь «позеленевшая от времени, полуистлевшая борода» «почивших в бозе пророков»! Видимо, советская молодежь по-своему осваивает наследие прошлого и, отменяя многое из опыта последних четырех десятилетий, ищет выхода, возвращаясь «прямо к началу». «Ревизионизм» молодежи особенно пугает партруководство.

В другом месте своего выступления на писательском Пленуме, Н. Грибачев говорил о «ревизионистах», как о тех, «кто пытается подменить изучение жизни поспешательскими домыслами и ковырянием старо-интеллигентских наростов», но, опять же, ни словом не обмолвился, что это за «поспешательские домыслы», что это за «старо-интеллигентские наросты». Грибачев боится их назвать, ибо знает, что идеалы старой русской интеллигенции — ее народность, свободолюбие, осуждение всякого насилия над человеком, требование свободы совести, слова, печати, творчества, требование правды, справедливости, наконец, революционность ее — все это сегодня растет в недрах советского народа, после сорока лет партийной диктатуры, особенно среди многомиллионной советской интеллигенции и среди молодежи. Недаром Н. Грибачев требует «активизации критики», которая, мол, «крайне важна сейчас для решения другой задачи — воспитания молодежи».

Как относится советская молодежь к происходящему сейчас в литературе, видно из того же выступления Грибачева:

«Есть еще одно непохвальное явление в нашей жизни, которое сбивает с толку молодежь и обидно для нашей литературы. Если мы сами совершаем обряды подобострастия по отношению к любому, даже посредственному зарубежному писателю, то как нам требовать от молодежи уважения... Ведь, они глядят и думают: если уж, мол, наши старички поскрипывают суставами в поклоне, значит приехала настоящая литература».

Выступивший на Пленуме С. Михалков говорил:

«Дети стали писать меньше писем о прочитанном. Нам нужно над этим задуматься». Очень нужно, ибо это прямой результат хрущевской политики в литературе, политики, создавшей положение, о котором говорят школьники в повести «В трудном походе» Л. Кабо:

«— Я читать не мог, тошнило. В самом деле, почему так получается: в книжке — одно, а в жизни — другое? Я у дяди в колхозе был этим летом: там колхозники три года ничего по трудовым дням не получают. Представляете? Вот о чем надо писать! Там в половине деревни в избах пусто. Надо писать, почему так получается, или не надо? Надо! А писатели, вместо этого слюни распускают. Разнюнются, наболтают сиропа, читать противно. Нет, вы скажите мне, я серьезно спрашиваю: почему они правды не пишут?»

— Пишут. Иногда...

— Спасибо — иногда! Я всегда хочу читать правду. Нам в жизнь идти, должны мы знать жизнь или не должны?»

О том, что борьба на литературном фронте продолжается, говорил, кроме Грибачева, и С. Смирнов:

«Есть хорошая поговорка: кто старое вспомнит, тому глаз вон! Но как быть... если это «старое» некоторые из наших литераторов хранят, как некую святыню и отделяются гробовым молчанием в ответ на требование дать оценку своим недавним произведениям... Если на 3-м Пленуме в речи Л. Соболева звучала тревога за отмалчивающихся товарищей, то сейчас это отмалчивание уже вызывает не тревогу, а возмущение, ибо это поза не р а з о р у ж и в ш и х с я.»

Новый редактор журнала «Москва» Е. Поповкин говорил на Пленуме:

«Битвы за чистоту нашей литературы, за ее высокую принципиальность, подлинную ленинскую партийность, еще предстоят... Не все еще спокойно на нашей литературной Шипке... нет-нет да и сказываются рецидивы нигилистических настроений... Мы вправе услышать голоса тех товарищей, которые и сейчас остаются в позе молчания.»

Поповкин назвал несколько имен отсутствовавших на Пленуме писателей: М. Алигер, Э. Казакевича, В. Овечкина. Из выступления Поповкина не трудно понять, что «неразоружившимся», сопротивляющимся писателям оказывают поддержку другие, старшие по положению писатели:

«Совсем недавно, мало времени спустя после 3-го Пленума и выступлений Н. С. Хрущева, один из писателей выступил с весьма сощительной речью на большом собрании творческих работников», — рассказал Поповкин. — Партруководство заставило писателя «покаяться», но до своего «покаяния» писатель искал защиты, искал помощи у «старших писателей», писал им, что его «травят». Поповкин негодует: «Один ответил: Вместе с тобой возмущаюсь и удивляюсь, за что же можно тебя ругать! Другой писатель заявил, что считает неправильным руководство литературной организацией со стороны крайкома КПСС.»

Подобную самоподдержку между писателями Поповкин назвал «либерализмом» и беспринципной поддержкой.

«Многие наши критики, — возмущался он, — даже не пытаются в своих работах воздействовать на литературный процесс в духе социалистического реализма, не ведут борьбы за дальнейшее развитие принципов соцреализма, уклоняются от острых тем борьбы с ревизионизмом.»

И окончательно проговорился Поповкин об отношении писателей к партийному руководству:

«Жалко, что много усилий и энергии затрачивается не на обсуждение творческих вопросов, поставленных перед нами партией, а на выяснение того, как к ним относятся известная часть товарищей.»

Если Хрущев старается загнать советского Пегаса в старое сталинское стойло, то и советские писатели пользуются своим прежним опытом самозащиты. О некоторых формах борьбы говорилось и на 4-ом Пленуме.

«Последнее время мало пишут непосредственно о современности», — признал редактор «Нового Мира» К. Симонов.

Редактор «Москвы» Поповкин говорил об «отсутствии романов, хороших повестей о современности. Многие писатели, причём на и б о л е е о п ы т н ы е (именно потому, что они опытные! — В. Ж.) обращаются больше к исторической теме, к делам давно минувших дней... В литературных журналах каждая рукопись, повествующая о наших днях, берется чуть ли не с бою».

Л. Бровка жаловался:

«Интересных проблемных статей попрежнему появляется мало, недостаточно высок уровень работы наших рецензентов.»

С. Смирнов говорил:

«Удивительно малое число наших критиков интересуется сегодняшней поэзией и прозой. Критики предпочитают оглядываться в прошлое, отдают предпочтение поэтам и писателям, чьи облики уже начинают бронзоветь или совсем забронзовели.» Но тут-же Смирнов нападает на В. Огнева за то, что тот в своей книге о советской поэзии последних лет похвалил стихи Б. Слуцкого, Л. Мартынова, Е. Евтушенко, о стихах которых Грибачев говорил, как об «эзоповских иносказаниях», «пробующих прочность идеологических и историчес-

ких позиций», и не похвалил стихов поэтов партийной «школы равнодушных» (давние слова Н. Тихонова, сказанные им, когда он еще был поэтом) — Е. Долматовского, Н. Грибачева, А. Софронова и других поэтов — «при».

В сегодняшней советской литературе мы наблюдаем массовое бегство к темам прошлого, как это было со старыми писателями при Сталине. Раз не дают писать о настоящем так, как видит его писательская совесть, писатель предпочитает писать о прошлом.

Обо всем, что говорилось на 4-ом Пленуме правления Союза писателей в феврале по поводу «ревизионистов», «неразоружившихся», «отмалчивающихся», обо всем, что пишут о них сегодня в советской печати, можно сказать словами азербайджанской поговорки, которую привел на Пленуме писатель-азербайджанец М. Гусейн: «Собака лает лишь на тех, от кого ей грозит опасность».

7.

Что говорят, что пишут сами писатели о себе, о сегодняшнем положении в советской литературе? Вот стихотворение С. Васильева, в котором чувствуется скрытый ответ на этот вопрос:

Зябко. Не греет ватник.
Солнышко все скупей.
Ястреб-тетеревятник
Бьет моих голубей.
В чем они виноваты?
В том, что добры, нежны,
Верой в любовь богаты
И не защищены?
Верой в любовь? На это
Ястребу наплевать.
Ястреб привык с рассвета
Грابتить и убивать.

Старый поэт Н. Асеев об этом стихотворении пишет в «Литературной Газете»: «Не надо разъяснять образ: за ним стоит многое, что приходит на ум».

Чтого хотяя «неразоружившиеся» писатели? Вот что пишет тот же С. Васильев:

Вьется у изголовья замыслов вереница.
Тянет куда-то в непогодь, и по ночам не спится.
Хочется и не терпится твердым владеть огнивом.
Жизни не жаль, но только бы быть до конца правдивым.

За писательскую молодежь сказал мужественный Е. Евтушенко, автор «ревизионистской» поэмы «Станция Зима»:

Мне нравится в лицо врагам смеяться...

или:

Меня не любят многие,
За многое вина,
И мечут громы-молнии
По поводу меня.
Угрюмо и надорвано
Смеются надо мной
И взгляды их недобрые
Я чувствую спиной.
А мне все это нравится,
Мне гордо оттого,
Что им со мной не справиться,
Не сделать ничего.

Подводя итоги периоду советской литературы после кратковременной «оттепели», периоду 1957—58 года, можно сказать: писателям запретили писать так, как требует того их творческая совесть, но писать так, как им приказывает или подсказывает партийное начальство, они не хотят. Во времена Сталина «отмалчивание» окрещивалось «аполитичностью» и обычно кончалось гибелью писателя в лагере. Сегодня это, видимо, уже невозможно. Но очень может быть, что писатели чего-то ждут, что-то знают, выжидают, «отмалчиваются».

ВЛАДИМИР МАРКОВ

О БОЛЬШОЙ ФОРМЕ

*Зане созрел во мне поэт
С большой эпической силой.
Есенин*

Одно время в печати довольно часто появлялись нападки на эмигрантскую поэзию вообще и на парижан в частности. Упрекали в недостатке бодрости и корили за уход от действительности. (Так в свое время рецензенты пеняли Пушкину, что опубликовал стихотворения, не относившиеся ко взятию Арзрума). Нападки эти были (кажется, без исключения) на невысоком (а иногда и на недалеком) уровне и дела поэтому не меняли. Противоположная сторона редко снисходила до ответа, а если и возражали, то делалось это между прочим, с усталой иронией умного человека, отмахивающегося от слишком надоедливой ерунды.

Как это часто бывает на русской почве (вспомним политическую борьбу «правых» и «левых» в дореволюционной России), оба лагеря были по-своему правы и неправы. Нападающие, несмотря на дурные манеры, очень уж явную «окололитературность» и отсутствие чувства как традиции, так и новизны в поэзии, все-таки исходили из правильного ощущения. Они, возможно, просто чувствовали, что писать так больше нельзя. Именно в силу своей «окололитературности», как людям со стороны, им это и было заметно. Но, как часто бывает с людьми неискушенными, они говорили не о том, не могли найти подходящих слов. Потому что дело не в «пессимизме» и не в оторванности от эпохи.

Противная сторона свою поэзию (повторим Розанова) «носит как штаны», и абсурдность слов в нападках противников была им видна с первого взгляда. Но в просветительство они не верят, а для ответной инвективы слишком воспитаны. Про себя они, видимо, никакой серьезности не придавали этим требованиям и тут-то и была их неправота, ибо они реагировали на буквальный смысл, тогда как

под словами (скучными и глупыми, согласимся) была правда, достойная внимания.

Часть этой правды (вряд ли сознаваемой нападавшими) состоит, пожалуй, в следующем. Из трех традиций новой русской поэзии, трансцендентальная (символизм) давно прекратилась, экзотико-реалистическая (акмеизм) никуда не ведет, а словесная (футуризм в широком смысле) была давно отвергнута ведущим слоем литературной эмиграции, хотя именно в ней и был залог развития. Все это не значит, что «четвертому не бывать», но, ведь, четвертого и нет. Ведь, так называемая парижская нота, отталкивавшаяся про-разному от всех трех традиций, по существу, возражала лишь против эксцессов символизма и недостаточной с их точки зрения одухотворенности акмеизма (на возражения против «измов», спешу добавить, что лучше назвать «измом», чем вертеть вокруг да около). Но, в основном, «нота» оставалась акмеистской по плоти и символистской по духу. «Парижане» продолжали писать символистские стихи по акмеистскому рецепту. Таким образом, «нота» не есть что-то новое, ее «брали» и раньше. В футуризме же серьезно разобраться не захотели. Всю эту некоторую архаичность эстетических установок газетные критики, видимо, и ощутили как отдаление от событий.

Но ограничим тему и отвлечемся в сторону. Величина не есть внешний признак, а решающий эстетический фактор. Одна и та же скульптура будет нести разное «содержание» в зависимости от того, памятник это или статуэтка. Картину идут смотреть в музей не только потому, что репродукция искажает краски, но и для того, чтобы видеть ее в натуральную величину. Роман и повесть часто отличаются только числом страниц, однако, ощущаются нами как различные жанры. Лирика и эпос не только качественно различны, но и связаны обычно с разной длиной.

Зарубежные поэты редко писали большие поэмы. В этом они — подлинные наследники Серебряного Века, который оборвал традицию большой формы, перестал создавать «памятники». А в восемнадцатом веке русские поэты чуть ли не только «памятники» и создавали, имея прямое и здоровое представление о величии Бога, мира, государства. Даже ода, жанр лирический, была такого размера, который Гумилеву и для поэмы оказался бы великоват. После восемнадцатого века «памятники» стали даваться все с большим и большим трудом. Пушкин начал с длинноватого «Руслана», кончил сравнительно небольшим «Медным всадником», — однако, от поэмы, жанра большого размера, не отставал, сознавая его особую важность. Показателен и путь Лермонтова от длинного «Демона» к короткому «Беглецу», причем поэмы толпятся именно в начале его творческого пути. Некрасову, несмотря на его склонность к повествовательному, было совсем трудно: приближалась эпическая ночь. Он так и не привел к единству свой самый большой «памятник» — «Кому на Руси жить хорошо». Но все большие поэты не переставали

пробовать. Даже Блок, живший уже в «непоэмное время», пробовал писать поэмы, и хотя и потерпел фиаско с традиционным «Возмездием», но в «Двенадцати», поэме нового типа, вышел победителем. Впрочем, как мы увидим дальше, это время было свидетелем сперва смерти, а потом возрождения поэмы.

Наш пробег по верхушкам классической русской поэзии показывает две вещи. Во-первых, большая поэтическая форма в течение девятнадцатого века становилась все более невыполнимым заданием, удавалась немногим мастерам, в конце их творческого пути, да и то, как правило, если они сокращали поэму-роман до размеров поэмы-повести или же лиризовали эпический жанр. Во-вторых, несмотря на эту растущую трудность, поэты не переставали прибегать к поэме, как только у них появлялась потребность создания значительного.

Время не благоприятствовало большой форме. Серебряный Век был свидетелем ее полнейшего упадка. Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Анненский, Гиппиус, Блок, Белый, Кузмин, Гумилев, Ахматова, Мандельштам — поэты стихотворений или преимущественно стихотворений. Если мы находим редкие удачи, это дела не меняет. Так, например, «Первое свидание» вещь не символистская, написанная в то время, когда поэма повсюду по-настоящему возрождалась, короче, поэма поздняя и словесная. Но интересно, что чуть ли не все перечисленные поэты пытались писать поэмы — в большинстве случаев заслуженно забытые — как бы чувствуя неправоту одной короткой лиричности. (Вспомним, кстати, что и предтечами символистов были «непоэмный» Тютчев и почти «непоэмный» Фет). В начале двадцатого века связи с обществом у поэтов почти потерялись, поэзия тянулась к асоциальности, к индивидуализму.

Следующее поколение поэтов, развернувшееся уже после революции, показывает совершенно иную картину. Почти все влекутся к большой форме и почти все успешно ее пробуют. Пожалуй, только у Пастернака поэмы не выходили (зато он, наконец, недавно осуществил свой эпос в романе), зато даже песенный Есенин пытается писать крупное и далеко не всегда неудачно, вопреки установившемуся мнению, а более поздний Багрицкий, несомненный лирик, обеспечил себе место в поэзии как раз самой длинной своей поэмой. У Клюева лучшее — его поздние поэмы («Погорельщина»). В поэме интересно пробовал себя Тихонов. У поэтов футуристической выучки поэма играет еще большую роль, даже у наиболее лирического из них, Асеева. Маяковский, лирик по натуре, бесспорно создал лучшее в большой форме. Последний русский футурист, Заболоцкий, успел опубликовать оригинальнейшую поэму «Торжество земледелия». Неплохо вспомнить и «Улялаевщину» Сельвинского. На Хлебникове стоило бы остановиться подробнее. Это чистейший поэт большой формы. Его пропагандисты редко замечали его поэмы, прославляя главным образом языковые эксперименты и фрагменты из записных книжек,

чем совершенно испортили поэту репутацию у читателя. Однако, Хлебниковым написано более трех десятков разнообразнейших поэм, которые когда-нибудь и составят основу его поэтической репутации. Это настоящие «памятники», но уже из нового материала. Интересно, что он начал их писать еще в 1909 г., т. е. в разгар эпической ночи и писал до самой смерти. В конце пробега по новой поэзии, где мы отмечаем только значительное, нужно заметить, что тяга к большой форме намечалась и в эмиграции. Это сразу заметно у Цветаевой, сего альбиноса зарубежной поэзии. Гораздо интереснее, что какие-то сдвиги в эту сторону были под конец жизни и у Ходасевича. Что именно эта часть его творчества не получила признания, не так важно. Важно, что и в эмиграции, где царил и продолжает царить культ малой формы, как раз лучшие поэты стремились вырваться в «запретное».

Напрашивается несколько выводов: 1) чуть ли не все крупные поэты наших дней стремились вернуть поэзии большую форму, утраченную Серебряным Веком, и поэтический ренессанс конца века, начавшийся лирически, кончился в двадцатых годах эпически, 2) эта тенденция заметнее всего у футуристов, и результаты у них убедительнее; возможно, что как раз на этом пути и надо было искать большую форму, 3) поэзия в эмиграции в основном пошла по старому пути и оказалась в тупике. Завершив круг, начатый символистами, Георгий Иванов довел малую форму до логического предела. Сомнительно, что бы кто-либо иной после него мог сделать хоть шаг в этом направлении. Уже уперлись лбом в стену, и мелкие поэты всех мастей наводняют страницы бесчисленными статуэтками. Редакторы не возражают, ибо короткие стихотворения им нужны для заполнения места на странице. Пресловутый «пессимизм», на который жалуется газетный критик (обычно ново-эмигрантской разновидности) и есть результат тупика на пути литературной эволюции. Мелкие поэты ноют в стихах, потому что в малой форме и нельзя не ныть. В свое оправдание они часто приводят довод, что краткость есть качество положительное, но этот взгляд-шаблон не так бесспорен. Поэты прошлого писали, как правило, длинно (исключение разве только Китай да Япония). Скупость, краткость, «экономия художественных средств» — не достоинства. Это нейтральные свойства, которые могут быть положительными или отрицательными, смотря по ситуации.

Мы уже говорили о связи малой формы с индивидуализмом. Индивидуализм, казавшийся столь привлекательным в продолжение более сотни лет, на наших глазах ветшает и выходит из моды. Характерно, что именно в это слово Бердяев вложил отрицательный оттенок, противопоставляя его персонализму. Теперь идет процесс осознания необходимости выхода в мир, хотя в поэзии он проходит медленно: слишком удобной оказалась индивидуальная свобода, добытая нашими предками. Но в сфере религиозного действия этот

выход успешно осуществляется, о чем можно узнать даже из газет. Примеры Альберта Швейцера или аббата Пьера доказывают, что духовное богатство не теряется, если человек религиозного опыта идет жить в мире и делать мир лучше. Возможно, что люди духовной деятельности в конце концов и вытеснят политиков из области улучшения мира, от чего будет только лучше.

Если такой смысл подставить под неуклюжие и подчас малограмотные требования к поэзии — восстановить связь с современностью, то с этими требованиями нельзя не согласиться. Подлинный идеал нашей христианской культуры социален, что доказывают вершины этой культуры. Музыка Моцарта и Баха, поэзия Пушкина и Шекспира именно социальные, индивидуализма в них нет. Бояться же потерять свое лицо не нужно, творческой неповторимости не потеряешь, если она есть, а если ее нет, если она ложна и специально создана, ничто не спасает ее от забвения. Дивертисменты Моцарта, писанные по принятым рецептам, на заказ, для слушания одним ухом во время обеда, «почерка» Моцарта не потеряли, а все старания некоторых поэтов Серебряного Века культивировать свою индивидуальность ни к чему не привели.

Но перейдем от рискованно широких обобщений к практическим и скромным выводам.

Не лучше ли временно бросить стихотворения и заняться поэмами? В поэме легче дать отзыв на современность (а проблемы нашей современности, что о них ни говорить, велики своим размером, — не глубиной, не потенциальной красотой в них заложенной, а именно размером, — то ли в силу «глобальности» некоторых из них, то ли вследствие «конечности» нашего времени). Другое дело, **надо** ли на эту современность непременно отзываться. Хотя следует вспомнить, что лучшее из сохранившегося в искусстве в свое время было именно «современным» — в том или другом смысле. Конечно, дело тут не в том, чтобы откликаться на последнее заявление Хрущева или события в Индонезии.

В поэме больше воздуха, в ней сразу повеет тем «оптимизмом», которого так упорно требуют от стихов теперь. Ведь, в большом размере, в величине, растворится и посветлеет собственное, индивидуальное. Таким образом, поэма положительна и жизнеутверждающа по самой своей природе. Поэма и технически больше обязывает, чем стихотворение. Кто теперь не может написать «совершенное» стихотворение по всем правилам? А принципы построения поэмы забыты. Да и не в одной технике дело. Для поэмы нужно большое дыхание, и многим астматикам она покажет, что поэзия не их стезя.

Короче говоря, не пора ли начинать писать длинно?

Н. БЕРБЕРОВА

По поводу статьи Владимира Маркова „О большой форме“

(В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ)

Статья В. Ф. Маркова, напечатанная выше, старается найти средство освежить, омолодить и сделать более оптимистической нашу современную поэзию. Цель — достойная всяческого сочувствия. Но по поводу этой статьи хочется высказать несколько соображений и задать В. Ф. Маркову несколько вопросов. Прежде всего — вопросы: —

«Большая поэтическая форма в течение XIX века, — пишет В. Ф. Марков, — ... удавалась немногим мастерам, в конце их творческого пути». Если В. Ф. Марков считает, что «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский Фонтан», «Цыганы» и «Полтава», написанные в 1817—1828 г.г. — Пушкинские неудачи, то эту мысль хотелось бы видеть более обоснованной. Так, как она изложена, она выглядит парадоксом.

«У Пастернака, — пишет далее В. Ф. Марков, — поэмы не выходили». Может быть, лучше было бы сказать, что Маркову не нравятся поэмы Пастернака, тогда бы мы сразу перешли на уровень импрессионистических высказываний «нравится—не нравится», на котором споры невозможны. Если же остаться на уровне обоснованных рассуждений и оценок, то и этот парадокс следовало бы разъяснить: поэма «Высокая Болезнь» есть одна из самых больших удач Пастернака — достаточно один раз ее прочесть, как она всю жизнь будет звучать в памяти.

Марков пишет, что у Ходасевича под конец жизни были «сдвиги», но что эта часть его творчества «не получила признания». Видимо, (как можно догадаться) разговор идет здесь о «Соррентинских Фотографиях», которые в свое время получили единогласную высокую оценку.

Какие редакторы любят печатать стихи потому, что они могут ими заполнить пустое место? Пустое место в журнале вообще не страшно — кто знает, что такое верстка, тот понимает, что пустое место в толстом журнале выкраивается нарочно. В газете же пустых мест вообще не бывает при наличии мелких заметок.

«Поэты ноют в стихах потому, что в малой форме и нельзя не нуть», — пишет далее В. Ф. Марков. От стихотворения Пушкина «Где наша роза?» и кончая «Левым маршем» Маяковского в русской поэзии были стихи «малой формы», где не было никакого «нутья».

Последний вопрос относится уже не к поэзии, а к «устройству мира»: Марков пишет, что «люди духовной деятельности в конце концов вытеснят политиков из области улучшения мира». Хочет ли он вернуться к временам пап-

ства, или ему нравится режим сегодняшней Испании? Или вчерашнего Тибета?

Теперь перейду к некоторым соображениям, которые явились при чтении статьи Маркова: откуда такое раздражение на «Серебряный Век»? «Символизм, — пишет Марков, — давно прекратился, . . . акмеизм — нигде не ведет». Можно подумать, что речь идет о каком-то картонном веке, или, в лучшем случае — толоконном. Действительно, о прекрасных дамах, с одной стороны, и изысканных жирафах — с другой, сейчас никто не пишет, но и символизм, и акмеизм БЫЛИ и научили поэтов кое-чему, (не говоря уже о том, что от обоих направлений осталось громадное наследство). А вот там, где оба эти направления похоронены, пишут либо под Маяковского, либо под Никитина и Сурикова, а что есть действительно талантливого — не обходит ни символизма, ни акмеизма.

Когда В. Ф. Марков призывает писать поэмы, вернее — «писать длинно»(?), он забывает, что этот жанр существовал параллельно всему остальному и постепенно изжил себя, или справедливее будет сказать — изживает. Пора русской поэзии скинуть с себя те узы, которые постепенно наложены были на нее (как на всю мировую поэзию) средними веками, провансальскими трубадурами, барокко, — всему этому была отдана дань. Беда не в том, что пишут коротко и грустно, а — по Маркову — надо писать длинно и весело. Беда в том, что надо что-то в корне изменить, изменить в самом существе поэзии, форме-содержании ее (символисты и акмеисты научили нас, что это — нераздельно). Для этого придет гений, сейчас же возможны только эпигоны — Блока и Маяковского, Гумилева и Сурикова. Напомню, что в слове «эпигоны» нет и никогда не было ничего обидного.

Последнее соображение касается «парижской ноты». Вот уже много лет я слышу и читаю о «парижской ноте», и не понимаю, что это значит, между тем, я прожила в Париже с 1924 по 1950 год и должна была бы понять, что это такое. Чувствую смутно, что в этом выражении есть даже какой-то комплимент: все таки нота **парижская**, не какая-нибудь «тарасконская» или «калущкая», и все-таки не могу догадаться, кто из поэтов ей принадлежит? Были в Париже поэты: Н. Оцуп, Д. Кнут, А. Ладинский, А. Гингер, В. Смоленский, А. Присманова, В. Злобин, И. Одоевцева, Г. Кузнецова, Г. Раевский, Б. Поплавский, А. Штейгер и многие другие (называю только тех, кто не печатался до 1914 года). Из всех них в Б. Поплавском была какая-то «нота» Парижа 1925 года, которую он, благодаря своему таланту, сумел протянуть на десять лет и которая сейчас носит приятный отпечаток старомодности. По некоторым намекам в статьях о Штейгере, я понимаю, что в нем, больше чем в ком-либо, имеется эта «нота», но тогда следовало бы называть эту ноту — «нотой Штейгера». В остальных же, названных выше, я не вижу решительно ничего общего, кроме, может быть, благородного, бескорыстного и несомненно талантливого ЭПИГОНСТВА (как было эпигонство в поэтах Пушкинской поры, живших одновременно с Пушкиным и частично переживших его). И пусть они останутся в русской литературе не как представители «ноты», или даже нескольких «нот», а как поколение, пришедшее на смену — не толоконному и не картонному веку.

В. АЛЕКСАНДРОВА

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

Четкость и мягкость — две столь несхожие черты — характерны для литературного таланта Паустовского. В канун судьбоносного 1939 года, на анкету «Литературной газеты» о писательских планах на будущее, Паустовский написал что-то вроде своего литературного кредо. Ему вспомнился зимний вечер в приморском городе, «сумрак, похожий по цвету на старое серебро, стоял над морем». Было это много лет назад. Паустовский был тогда еще очень молод. Он любил заходить к знакомому букинисту: в лавке стоял особый запах старых книг и гравюр — «они пахли гвоздикой». Букинист попросил Паустовского дать ему гравюру Моцарта и объяснил, что она сделана «бриллиантовой иглой». Это замечание вызвало в Паустовском воспоминание о забытом рассказе: где-то в Канаде, в маленьком городе жил человек, изучавший форму снежных кристаллов, он сфотографировал тысячи снежинок — среди них и такие, что, слетая, тают «на теплом личике ребенка», а другие оседают в каменных складках памятника на площади. И все это — старые гравюры, исполненные бриллиантовой иглой, и снежинки — художник слова переносит в свой труд, который должен сочетать в себе точность гравера и любовное внимание к тающим на теплом личике ребенка снежинкам . . .

Творческому облику писателя соответствует и его внешность: с фотоснимка смотрят на вас зоркие глаза, черты лица поражают сочетанием энергичной четкости с едва уловимой мечтательностью. Чем-то эта мечтательность напоминает Жуковского. Кто знает — может быть, в этом сказалась общность одной биографической детали: мать Жуковского была турчанка, а бабушка Паустовского по отцу тоже была турчанка. Род Паустовских происходит из запорожских казаков, немало в писателе и польской крови. А это живо напоминает биографию Короленко.

Отец Паустовского был железнодорожным статистиком, он умер от рака гортани, когда Паустовский был в седьмом классе гимназии. Только много позже Паустовский понял, что по натуре отец его больше всего был поэтом. Немного поэтом и мечтателем был и дед писа-

теля, Максим Григорьевич. Не случайно в первой части «Повести о жизни» обмолвился Паустовский замечанием, что деду он «отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, — как говаривал дед, — другая препорция».

Из рассказов деда особенно ярко запомнилась будущему писателю история лирника Остапа. Это был деревенский коваль (кузнец). Однажды к его кузнице подъехали двое всадников: молодая женщина и офицер. Женщина обратилась к Остапу с просьбой подковать ее коня. Взглянув на нее, Остап был потрясен ее красотой. Она слезла с коня и Остап сказал ей, что для нее он все готов сделать, например, выковать розу с тончайшими листьями и шипами. Женщина обещала за этой розой приехать через неделю. Когда Остап помог ей сесть на коня, он не удержался и горячо прильнул к ее руке. Она не успела отдернуть руку, как сопровождавший ее офицер наотмашь ударил Остапа по лицу плетью так, что брызнула кровь из глаза. Несмотря на рану в глазу, Остап успел выковать обещанную розу. Красавица заехала за ней в обещанный срок. Из ее слов выяснилось, что она прогнала от себя офицера (он был ее женихом). Хотя молодая женщина и полюбила Остапа, она не решилась соединить свою жизнь с его и уехала в Петербург. Вскоре Остап ослеп на один глаз; надумал он дойти до далекого Петербурга, чтобы еще раз в жизни увидеть свою любовь. Но когда Остап добрал до столицы, он узнал, что царица его души умерла. Он разыскал ее могилу и был потрясен, найдя на ней выкованную им розу. . . . Тема этой коротенькой новеллы перекликается с рассказом из «Золотой розы» о мусорщике Жане Шамете, который Паустовский написал полвека спустя: мусорщик Шамет был привязан к красивой Сузи и решил поднести ей золотую розу; золото для этого подношения он накопил, просеивая в течение двух лет пыль в ювелирной мастерской. Из золотых песчинок был отлит слиток. Но когда роза была готова и Шамет отправился с ней к Сузи, оказалось, что она уехала в Америку и никому не оставила своего адреса; с горя Шамет вскоре после этого умер. Паустовскому кажется, что «золотая роза» — прообраз писательской работы: исподволь художник слова накапливает в памяти множество мельчайших впечатлений, которые позже превращаются в сплав, из которого и создается «золотая роза» — повесть, роман или поэма. . . .

Одной особенностью своего творчества Паустовский перекликается с Александром Грином, писателем-романтиком, умершим в начале тридцатых годов. При жизни Грин упорно замалчивался литературной критикой, как несозвучный эпохе. Широкой известности среди советских читателей достиг Грин через головы критиков; он был писателем-мечтателем и всю свою жизнь прожил в несуществующей

стране «Гринландии», с постоянством и преданностью бедного рыцаря защищая право на мечту, борясь за чудо человеческой доброты. Официальное признание — и то только частичное — пришло к нему во время советско-германской войны, когда повесть Грина «Алые паруса» была использована для постановки одноименного балета.

Сюжет «Алых парусов» как будто соткан из тончайшей паутины, расцвеченной солнечным лучом: маленькой девочке Ассоль, дочери матроса Лонгрена, как-то встретился в лесу волшебник и рассказал ей сказку о принце, который придет за ней. Ассоль поверила в сказку и стала ждать. В Ассоли жили как бы два существа: одна — дочь матроса, мастеровившего игрушки, другая — «живое стихотворение со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое». И Ассоль дождалась приезда своего принца. . .

Близка по сюжету и сказка Паустовского «Стальное колечко» о девочке Варюше из деревушки Моховое. К ней попадает стальное волшебное колечко — подарок старого солдата-сапера. От этого волшебного колечка должна прийти Варюше большая радость. Еще с вечера, надев колечко, стала Варюша ждать. Встала рано и пошла на опушку леса. Кругом такая тишина, что слышно как позванивают какие-то колокольчики. Наклонилась девочка к подснежникам, звон шел из них, будто забрался в глубь их чашечек «жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине». В это время на верхушке сосны дятел ударил пять раз: Варюша поняла — значит, всего пять утра. А в это время кто-то, тихо раздвигая ветки, прошел мимо нее и сразу стало Варюше радостно. Не знала она, что это мимо нее прошла весна. . .

Паустовскому принадлежит самый лучший очерк об Александре Грине, появившийся в свое время в альманахе «Год XXII», книга 15-ая, в 1939 году. Грину же посвятил Паустовский и небольшую главу «Сказочник» в повести «Черное море». Здесь на нескольких страницах Паустовский нарисовал литературный портрет этого «сурового сказочника», отвергавшего какой-либо компромисс с советской современностью, обманувшей его ожидания. Грин прожил жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в недоедании и порой в нищете. Чем только не был Грин при жизни! — матросом, грузчиком, банщиком, нищим, золотоискателем. «Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах. . . Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам». . . Попав в Старый Крым, Паустовский вместе с героем повести писателем Гартон посетили дом, где жил Грин. Простая и суровая обстановка его комнаты скрашивалась только одной гравюрой, висевшей на стене — портретом Эдгара По. Только в последние годы его жизни судь-

ба несколько смилостивилась над Грином, послав ему двух женщин, двух людей «пленительной простоты» — это были его жена и ее мать. Перед уходом из Старого Крыма Паустовский побывал на могиле Грина. Паустовский подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди захотят увидеть и его могилу, но нелегко будет им разыскать ее: им придется раздвигать множество густых веток и мять множество высоких цветов, чтобы среди них найти «ее серый, спокойный камень». Уходя с кладбища, писатель заметил, что на небе как раз зажглась первая звезда, она блистала прямо над камнем, под которым лежал Грин. . .

Несмотря на все старания официальной критики отвадить от Грина читателей, советская молодежь двадцатых годов зачитывалась им, он был ее любимцем. След этого увлечения донес за границу поэт Иван Елагин, во время войны очутившийся в лагере «Ди-Пи». В книжке его стихов «По дороге оттуда» (Издательство имени Чехова, Нью Йорк, 1953 г.) Грину посвящены два стихотворения. В одном «Отталкивался дым от папирос» автор вспоминает повесть Грина «Гнор» и «Корабли в Лиссе»:

Редели стены, ширился провал,
И море выросло посередине.
И голос женщины повествовал
О нелюдимом Александре Грине.

.....

Туда, к архипелагу непосед!
В страну задумчивых и безрассудных!
Привет переплывающим Кассет
На перегруженных по горло суднах!

Хороши у Елагина и посвященные Грину «Терцины-акrostих»:

Аборигены моря и таверны!
Ликующие гавани, огни!

Романтизму природы обязан своей популярностью среди молодежи тридцатых годов и Паустовский. Любопытное свидетельство этой популярности запечатлено в небольшой книжке Сергея Львова (1956 г.) «Константин Паустовский»: «Для поколения моих сверстников, — пишет Львов, — которому сейчас тридцать-тридцать пять лет, книги Паустовского — одно из сильных воспоминаний детства и юности. Наши учителя географии подтвердят, каким желанным был на их уроках вопрос о восточном побережье Каспия или о Рионской низменности. Мы могли рассказывать об этих местах так, будто сами там побывали. Мы не были там. Просто мы почти наизусть знали „Кара-Бугаз” и „Колхиду”...»

Тут хочется вспомнить главу из автобиографии Паустовского «Вода из Лимпопо» («Далекие годы», 1945 г.), в которой рассказано о замечательном старике-учителе географии Черлунове. На его уроках

на кафедре всегда появлялись бутылки с водой с волнующими надписями: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря». Бутылок было много — тут была вода из Мертвого моря и Амазонки, из Темзы и озера Мичиган. С виду вода в бутылках мало чем отличалась одна от другой, но ребяческое воображение было возбуждено и школьники просили Черпунова разрешения попробовать воду из Мертвого моря, чтобы убедиться в том, действительно ли оно такое соленое. Но Черпунов не разрешал раскупоривать бутылки. Позже уверяли, что вода в бутылках всюду была из-под крана, но благодаря выдумке Черпунова уроки географии стали любимыми у детей и они с легкостью и на всю жизнь запомнили мудреные названия.

Вспоминает Сергей Львов и об экспедиции, которую снарядила детская литературная студия при Московском доме пионеров в 1937 году; предстояло проплыть несколько сот километров на гребных лодках по Десне. Но каков был восторг ребят, когда они узнали, что возглавлять экспедицию будет Паустовский: «Младшим из нас казалось это столь же фантастическим, как если бы им сказали, что они смогут провести три недели в обществе Жюль Верна».

Непосредственное свидетельство популярности Паустовского довелось услышать мне из уст молодого наборщика, бывшего «Ди-Пи», здесь в Нью Йорке. Речь зашла как-то о советских писателях и он признался, что в дни юности (а сейчас ему лет тридцать пять) его любимым писателем был Паустовский; привязанность к нему вспыхнула после прочтения первой же его повести, попавшейся ему в руки; это была повесть «Черное море».

В отличие от Александра Грина, со страстью одержимого, поглощенного только миром своих образов и игнорировавшего как свое окружение, так и собственную судьбу («Алые паруса» Грин писал в 1919 году в Петрограде, еще не оправившись после сыпняка и ночью в обледенелых брошенных особняках!), Паустовский умеет держать связь со своими читателями, особенно с молодежью. Редко кто среди советских писателей так живо чувствует ребячью душу, как Паустовский и так умеет передать ее. Здесь ограничусь только одним примером из рассказа «Во глубине России». Зашла здесь речь о деревенских мальчиках и автор заметил: «Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно, действительно, необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти «всепроницаемы», вернее, «всепроницающие», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесущи». Автору кажется, что попади он на Северный полюс, то и там «обязательно сидел бы и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску». Больше всего мальчишки из деревни около Бобровой протоки любили двух людей: аптекаря, которому они собирали целебные

травы и старика-ветошника по прозвищу «Утиль». «Утиль» появлялся в деревне раз в месяц. Лениво ковыляя за своей конягой, он заунывно вопил: «Тряпье, старые калоши, рога, копыта принимаем!» На этот призыв бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестреночек и прижимая к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь. «Утиль» обменивал принесенное добро на новенькие игрушки. При всей своей «страховитости» он был добрым человеком. Он все брал у детей в обмен на игрушки. Только один раз он отказался принять у одной девочки «истлевшие голенища от отцовских сапог». Девочка «как-то сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги «Утиля» к своей избе». Дети, окружавшие «Утиля», вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто засопел носом. «Утиль» стал свергивать «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плакавшей девочки, ни молчавших ребят. Наконец он не выдержал и сердито спросил: «Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?» Но аргумент от интересов государства не произвел на ребят ни малейшего впечатления и они продолжали «молчать». В конце концов не выдержал «Утиль» и велел сбежать за девочкой, сердито ворча в сторону притихшей детворы: «Сбычились на меня, будто я душегуб». «Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки. . .» Ее приволокли румяную и смущенную. «Утиль» принял ее голенища и взамен протянул ей с телеги самую пеструю куклу. Глядя на «Утиля», Паустовский подумал, что нет занятия менее приятного на свете, чем быть ветошником, а вот «Утиль» сумел и из него сделать радость для колхозной детворы. И все это только потому, что под своей грубой внешностью скрывал доброе сердце и обладал воображением, которое и сумел применить к своему «мизерному делу».

Популярность Паустовского тесно связана с одной чертой его творчества — умением писателя строить увлекательный сюжет. В начале революции многие молодые писатели, особенно из содружества «Серрапионовы братья», думали над тем, как преодолеть кризис, который переживала тогда литература. С особой настойчивостью искал выхода покойный Лев Лунц: русская литература «перестала двигаться, она лежит, в ней ничего не случается, не происходит, в ней либо рассуждают, либо переживают, но не действуют, не поступают, она должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежней, от водянки». Спасение Лунц видел только в сюжете, а так как традиция сюжета находилась на Западе, он и звал молодежь привести эту традицию отсюда, учиться у Стерна, Стивенсона, Дюма, Конан-Дойля. . . Паустовский, как и Пришвин, нашел сюжет, никуда не уезжая.

Сюжеты Паустовского не отличаются оригинальностью, больше того, они напоминают немножко те полусмытые сыростью и водой записки, которые в произведениях авторов приключенческой лите-

ратуры действующие лица их романов находили в засмоленных бутылках, выброшенных морем на берег. В повести «Черное море» Паустовский сам упоминает об этих бутылках, оговаривая, что в реальность их сегодня не верят даже городские мальчишки. И тем не менее писатель тут же прибавляет: «Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки с солнечным блеском, красными водорослями и медузами».

На целый ряд лет эти сюжеты, душой которых является тема преемственности культуры, завладевают писателем. Первой повестью, обеспечившей Паустовскому наибольший успех, была повесть «Кара-Бугаз» (1932 г.). Она начинается письмом лейтенанта Жеребцова Гидрографическому управлению о загадочных явлениях, сопровождавших плавание корвета «Волга». Жеребцов был послан Управлением для описания и промера берегов Каспийского моря в 1847 году. Во время плавания он столкнулся с рядом явлений и обстоятельств, которые он и счел нужным сообщить Управлению. Гипотеза, высказанная Жеребцовым, оказалась ошибочной; в действительности странная тяжесть воды и воздуха в заливе объяснялась присутствием глауберовой соли и ее паров. Но открытие на дне залива богатейших в мире запасов этой соли произошло незадолго до революции; тогда же началась и эксплуатация соли. В предисловии к книге Паустовский рассказал, что написать повесть о Кара-Бугазе вдохновила его встреча в Ливнах (Орловской области) с геологом Нацким, одним из исследователей Кара-Бугазского залива. Сам Нацкий ко времени знакомства с Паустовским был тяжело болен и жил на покое у своей сестры, железнодорожного врача. Раз в месяц, в день получения пенсии, Нацкий водил за свой счет городских мальчишек в кино; они знали эту дату и уже с утра собирались толпой у дома старого геолога. До того, как начать повесть, Паустовский сам съездил в Кара-Бугаз и познакомился со всем, что нашел в литературе об этом заливе.

С первых же страниц повесть заинтересовывает читателей (особенно молодых) своей мрачной таинственностью. Спит каким-то тяжелым, свинцовым сном залив и окружающая его пустыня. Свинцовая тяжесть воздуха и непонятная плотность воды, сопровождающиеся странными болезненными явлениями у людей, посетивших этот край, угнетают посланных исследователей. Тайну глауберовой соли на дне залива почти разгадал путешественник Карелин. Но во времена Жеребцова и Карелина у их современников не хватило интереса настолько, чтобы вложить средства в дальнейшие изыскания. Это было сделано позже. . . Затем Паустовский делает скачек в своем повествовании и переносит действие к началу революции, когда у берегов Кара-Бугаза разыгралась тяжелая драма. На страшный «Черный остров» в заливе были высажены захваченные красные во время гражданской войны. Немногих, оставшихся в живых пленных, спас крестник Жеребцова, метеоролог Ремизов; он же до конца разгадал

загадку Кара-Бугаза. Вторая часть повести посвящена проблеме завоевания пустыни. . .

По тому же методу написаны Паустовским и две другие повести первой половины 30-х годов — «Колхида» (1934 г.) и уже упомянутая повесть «Черное море» (1935 г.).

Но по той же сюжетной схеме были созданы Паустовским и другие его произведения, как «Судьба Шарля Лонсевилья» (1933 г.), «Северная повесть» (1939 г.), «Повесть о лесах» (1948 г.). Тем же приемом писатель часто пользуется и в маленьких рассказах, как, например, «Кордон 273». Само собой разумеется, что, поскольку в этих произведениях речь идет не о научных исследованиях и преобразованиях природы, первое место в них занимает «эстафета поколений». Ограничусь двумя примерами. Инженер артиллерии Шарль Лонсевилья незадолго до похода Наполеона на Россию женится на поэтессе Марии Трините. Через две недели начинается война и он уходит с армией Наполеона. Лонсевилья был захвачен в плен русскими и отправлен в Петрозаводск, на Александровский завод. Условия жизни и работы были очень тяжелы и часто оскорбляли Лонсевилья, сына революционной Франции, своей бессмысленной и бесчеловечной жестокостью. Незадолго до смерти Лонсевилью удалось выбраться из Петрозаводска и приехать в Петербург, где знакомство со знаменитым русским архитектором Ворониным облегчает ему хлопоты о разрешении вернуться во Францию. Разрешение ему обещано. Лонсевилья должен вернуться в Петрозаводск для ликвидации личных дел. По дороге он простужается и умирает. Смерть избавила его от последнего и горчайшего разочарования: власти обманули его, разрешения он не получил бы, а должен был быть пожизненно заключен в крепость. Через 10 лет после его смерти в Петрозаводск приехала Мария Трините и поставила на его могиле памятник, выгравировав на нем свои стихи. Могилу Лонсевилья по указанию местных жителей города и нашел Паустовский, когда по предложению Горького приехал в Петрозаводск для собирания материалов по истории Александровского завода. Подробности о том, как Паустовский напал на след могилы Лонсевилья рассказаны им в «Золотой розе».

Та же «эстафета поколений» лежит в основе «Повести о лесах» о Чайковском, задумавшем в лесном краю написать новую симфонию и посвятить ее тогда еще мало известному писателю — Антону Чехову — рассказами которого он зачитывался. Продажа леса и рубка его перебила настроение и Чайковский вернулся в Москву. Еще живя в лесной усадьбе, Чайковский заметил маленькую девочку Феню, слушающую его музыку с затаенным восторгом в глазах. Однажды Чайковский увидел на ушах Фени две родинки; так чудесна была их игра, что в память о них он подарил Фене серьги. Дочь Фени, Мария, уехавшая в столицу и ставшая певицей, приехала навестить мать и дала концерт в родном городке. По случаю концерта ее мать надела сережки и завещала после своей смерти эти сережки Марии. . .

Наиболее естественно тема об «эстафете поколений» воплощена Паустовским в его автобиографической трилогии «Повесть о жизни». Первая ее часть — «Далекие годы» появилась в октябрьской книжке журнала «Новый мир» за 1945 год, «Беспокойная юность» — повесть о первой мировой войне — в 1955 году, а третья часть об октябрьской революции и гражданской войне — в 1956 году. В первоначальном тексте повести «Далекие годы» имелся один эпизод, не включенный в ее позднейшие издания. Рассказывая в первой главе о смерти отца, Паустовский вспоминает, что в телеграмме его просили привезти с собой священника или ксендза. Но юноша помнил, что отец его был атеистом, «поклонником Эрнеста Ренана» и поэтому догадывался, что это просьба кого-то из близких, находившихся при умирающем. Дальше, в первоначальной редакции, имелся следующий эпизод:

«Отец никогда не ходил в церковь. Один только раз он повел меня в Софиевский собор в Киеве на пышную службу, полную отблесков золота и торжественных песнопений. Это было вечером 31 декабря 1899 года. Служили молебен по случаю нового, двадцатого века.

В тот вечер на город падал отвесный снег, тускло горели фонари и отец говорил мне, что новый век принесет свободу и счастье, что я должен верить в это и быть очень передовым и честным и, если судьба наградила меня способностями, то непременно сделаться писателем»...

Намек на этот отрывок живет только в заглавии последней части трилогии «Начало неведомого века», бросая загадочную тень именно на эту заключительную часть трилогии. Почему автор вычеркнул из последующих изданий своей автобиографии этот фрагмент? Не хочется заниматься чтением в сердцах. Пусть каждый читатель объясняет это по-своему. Ясно только одно, что «новый век» революции не принес людям свободы и счастья и затруднил им быть «очень передовыми и честными»...

Нечего и мечтать о том, чтобы в рамках одной небольшой статьи дать представление об этой в своем роде замечательной эпопее или о художественных ее достоинствах. Но никак нельзя обойти молчанием отношения к ней официальной критики. В печати пока были отзывы только на первые две книги этой трилогии. Не только «Далекие годы», но и «Беспокойная юность» были встречены сдержанно. Отмечая достоинства литературного языка Паустовского, критики были недовольны «камерностью» этой автобиографии. Так, например, А. Берзер в отзыве о «Беспокойной юности» в «Литературной газете» (3-го сентября 1955 года) писал:

«Различны люди, их судьбы, события, проходящие перед нами в повести «Беспокойная юность». Но почему же чем шире и дальше идет повествование, чем больше городов проносится мимо нас, чем больше человеческих лиц видим мы перед собой, тем сильнее начинает казаться, будто сдвигаются горизонты в этом произведении, более замкнутыми делаются его границы?»

Берзер склонен объяснить это чрезмерной «скромностью» писателя, не желающего занять центральное место в повествовании и сосредоточить на себе внимание читателя. Но эта скромность писателя приходит, по мнению критика, в противоречие с избранным им жанром автобиографии. В этой эпопее изображено великое множество людей и встреч, но в большинстве своем это только самостоятельные «портреты», которые не складываются «в единую, целостную картину жизни». И Берзер вспоминает автобиографии других писателей — «Былое и думы» Герцена, автобиографические повести Горького и больше всего останавливается на «Истории моего современника» Короленко. В отличие от этой последней, «Повесть о жизни» Паустовского не стала «Историей моего современника»: «это только частные встречи частной жизни». Произошло это, по мнению критика, потому, что Паустовский, в отличие от Короленко, не захотел во имя «полной исторической правды» пожертвовать «красивыми и яркими чертами правды художественной». Кое-что в этом замечании верно. Думается, однако, что, не пожелав пожертвовать художественной правдой во имя «правды исторической», Паустовский вдохнул в свою «Повесть» более длительную жизнь, чем это стало уделом автобиографии Короленко.

Но есть и еще одна сторона в этом вопросе, требующая быть разобранной: в течение вот уже сорока лет официальная критика вынуждает писателей во имя эфемерной «исторической правды» жертвовать «правдой художественной». Больше того: во имя этой «исторической правды» разрешается идти на компромисс с действительностью и даже не останавливаться перед ложью. Послевоенное и, особенно, послесталинское общество негромко, но очень настойчиво требует от писателей именно «художественной правды». Оно так устало от «исторической правды», которая во имя истории не останавливается и перед ее фальсификацией, что больше всего тоскует сейчас о «художественной правде», которая дает писателям возможность рассказать о жизни рядовых людей, об их думах и мечтах, об их частной, но всамделишной, а не «исторической» жизни. Вот отчего советские читатели воспринимают «Повесть о жизни» как новую «Историю моего современника», начатую с началом «неведомого века»...

В богатом вкладе Паустовского в литературу стоит несколько особняком «Золотая роза», упомянутая в начале этой статьи. В подзаголовке к ней значится: «Книга о писательском труде». В кратком предисловии к ней автор пишет, что, начав ее, он вскоре понял — она «неисчерпаема»; но если ему удастся хоть в малой доле дать читателю представление о сущности писательского труда, он будет считать, что выполнил свой долг перед литературой. Внешне отрывисто, но внутренне со страстной сосредоточенностью Паустовский успешно справился с поставленной самому себе задачей. Об одной новелле «Золотой розы» — мусорщике Жане Шамете — я уже упоминал.

нала в начале статьи. Среди мыслей и записей Паустовского особенную ценность представляет очерк «Молния», о том, как рождается в душе художника творческий замысел, как собирается, вернее, отбирается материал для произведения, накапливаются словесные жемчужины для него. Замечательны по своей нежной зоркости записи писателя о родном, «алмазном» языке и о русской природе. Иногда под рукой Паустовского оживают для вечной жизни самые, казалось бы, скучные технические термины и превращаются в сверкающие теплые россыпи драгоценных камней. На что уж, кажется, сух термин «лесной межевой столб»! Стоят такие столбы на пересечении узких лесных просек. А вот как запечатлел их Паустовский: «Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей травой и земляникой. Этот бугор образуется из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На отесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала». Почти всегда на столбах греются бабочки, сложив крылья, и озабоченно бегают муравьи. Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. . . В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, что и в склонившейся к подзолистой земле сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце». . .

Книги Паустовского населены огромным количеством людей. Даже приблизительно нельзя перечислить действующих лиц его произведений, начиная с Пушкина, Лермонтова, Кипренского, Чайковского, Левитана, Моцарта, Андерсена и т. д. Еще больше в них мастерски зарисованных портретов писателей-современников, начиная с покойного Аркадия Гайдара, с которым писатель когда-то вместе исходил глухой Мещорский край, и кончая литературной молодежью (так называемой южнорусской литературной школы) — Э. Багрицким, С. Гехтом, В. Катаевым, Ю. Олешей и другими, с которыми довелось Паустовскому встретиться в Одессе на фоне гражданской войны и величайшего хаоса. Здесь же познакомился Паустовский и с покойным Буниным, незадолго до того как тот покинул Россию.

Но больше всего в книгах Паустовского рядовых людей — болельщики родного края, как смолокур Василий и его внук Тиша, позже ставший председателем местного исполкома, собиратели целебных трав, безмянные люди доброго сердца. Хотя Паустовский и старается быть справедливым к изображаемым им людям, легко почувствовать, что приют в своем сердце он предпочитает давать «авантюристам», каким был его родной дядя Юзя и покойный отец, всю жизнь исповедовавший заповедь о том, что «не хлебом единым» сыт бывает человек.

Это неутомимое внимание к деталям жизни родной природы и рядовых людей роднит Паустовского с его старшим современником, по-

койным Пришвиным. Оба пришли в литературу, когда созданы были ее величайшие шедевры, оба долго мучились, ища сюжет. Им обоим как-то помог народный апокриф о двух Адамах. Второй Адам пришел в мир, когда первый, согрешивший Адам, расплодился и его дети заняли всю землю. Этот второй Адам был **Адамом Безземельным** и он стал трудиться на узенькой полоске земли. Но с этой узенькой полоски земли оба писателя, как колхозники со своих скупо нарезанных приусадебных участков, сняли и снимают добрый урожай. . .

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВ

КАНДИДАТ БЫЛЫХ СТОЛЕТИЙ

ПОЛКОВОДЕЦ НОВЫХ ЛЕТ

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

I

Помните, Федор Павлович Карамазов дал своему сыну — лакею Смердякову «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмеялся, напротив, кончил нахмурившись».

— Что ж? Не смешно? — спросил Федор Павлович. . .

— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков».

Мы постоянно забываем, что не только эстетических реальностей, но и реальностей эмпирических чуть ли не столько же, сколько отдельных людей, что восприятие нами мира окрашивается всегда нашим настроением, что мир внешний и внутренний для влюбленного и ревнующего, молящегося и кающегося, больного и здорового — это совсем разные миры. И часто мы научаемся видеть мир, его постигать именно после того, как нам его открывает художник слова или звука, краски или линии.

«Французский художник Монэ приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Монэ в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Монэ готические очертания аббатства выступают из тумана. . . Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Монэ был окрашен в багровый цвет, тогда как даже из хрестоматий было известно, что цвет тумана серый. Дерзость Монэ вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, взгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багро-

вый. . . После. . . картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник».¹⁾

Мир отнюдь не раскрывается нам во всем его богатстве, сложности и глубине. Природа отвечает нам только на задаваемые нами ей вопросы — не больше и не меньше. А вопросы мы ставим разные и на мир глядим по-разному — даже каждый из нас по-разному глядит в разное время. Да и кроме опыта э м п и р и ч е с к о г о, научного, есть не менее важный в нашей жизненной борьбе опыт ж и т е й с к и й, практический, с опытом научной эмпирии отнюдь не совпадающий. Совершенно отличающимся от научного восприятия мира является и опыт э с т е т и ч е с к и й, и, тем более, опыт м и с т и ч е с к и й, религиозное откровение. О какой же реальности говорим мы, когда требуем ее от художника? Если мы требуем фотографического отображения действительности, то она не реальность, а ложь, ибо не отражает жизни в ее непрерывном движении и изменении, а закрепляет какой-то один м и г, притом снятый с о д н о й только точки, произвольно избранной фотографом. Такое изображение жизни не реализм, а г р и м а с а жизни. Над подобным реализмом издевался умно и едко покойный Илья Ильф: «Лису он нарисовал так, что ясно было видно — моделью ему служила горжетка жены».²⁾

Эстетически равноправно — если это качественно равноценно — и застывшее движение Медного Всадника Фальконета — и демонически изменчивый и непрерывно-текущий его образ в «Медном Всаднике» Пушкина: «тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой». И столь же р е а л ь н ы м — в смысле подлинного реализма — является повторяющий живопись доисторического человека образ движения в «Столбцах» Заболоцкого:

Сидит извозчик как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкают
в его блестящем животе. (1927)³⁾

Тут ничто не случайно в этом «Движении» Заболоцкого: и статуарность извозчика, и бедные машущие р у к и занузданного животного, и в о с е м ь его ног — удвоение в движении. . . Но молодой Заболоцкий не научился еще магически улавливать и закреплять

¹⁾ Константин Паустовский. Золотая роза. Собр. сочинений в 6 т.т. ГИХЛ, Москва, т. 2, 1957, стр. 685–686.

²⁾ Илья Ильф. Записная книжка. «Красная Новь», 1939, кн. 5—6, стр. 51.

³⁾ Н. Заболоцкий. Столбцы. Изд. Писателей в Ленинграде, 1929, стр. 32.

словом идею — в платоновском смысле этого слова. Он хорошо видит здесь лошадь, но еще не дошел до видения лошадиности. Он великолепно фиксирует движение и образ движения, но еще не воплощает их в идею-образ единой сплошной и слиянно-раздельной реальности. Уже в тех же «Столбцах» большинство стихотворений создают свой собственный мир идей-образов. В них есть то подлинное внутреннее равновесие фиксации мгновенного образа, раскрытия через этот образ бесконечной идеи, и чувства целого, присущего только данному художнику — и только ему — эстетического воззрения на мир.

«Художник вкладывает в свое произведение помимо того, что явно входило в его замысел, словно повинувшись инстинкту, некую бесконечность, в полноте своего раскрытия недоступную ни для какого конечного рассудка».⁴⁾

И в этом, только в этом, подлинный высокий смысл искусства. Научный, эмпирический опыт дает нам возможность только ощупать элементы мира, да и то, скорее, не ощупать, а только как-то представить их себе. Никакой слитной картины мира наука не дает. Притязания так называемого «научного мировоззрения» на построение картины мира явно несостоятельны: создается только очерченная мифология, такая же бездоказательная, как и легендарная, но отличающаяся от последней еще и бескрылостью: «не поцеловала ее муза». Опыт практический, житейский — самый ограниченный и субъективный, интересен, если он не эстетизирован, только самому переживающему его человеку. Что может быть непереносимее демонстрации вам альбомов чужих фотографий и подробных рассказов о посторонних для вас людях! Конечно, если эти рассказы не превращены в некую эстетическую реальность. Наконец, опыт мистический, являясь наиболее в целом, является в то же время наиболее надмирным, да и доступным далеко не всем. Остается опыт эстетический, эстетическая реальность, наиболее общо и наиболее конкретно рисующая нам картину мира и нашего в нем положения, в значительной мере помогающая нам осознать и самих себя. «...Искусство указывает человеку путь к самому себе. В нем, в этом искусстве, которое может быть праздной забавой и для многих бывает только ею, заложена и другая возможность: стать для человека самооткровением абсолютного».⁵⁾

Какова же эстетическая реальность Николая Заболоцкого — и в чем ее неповторимое своеобразие и непререкаемая ценность?

⁴⁾ Ф. В. И. Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. Соцэкгиз, Ленинград, 1936, стр. 383.

⁵⁾ Б. Христиансен. Философия искусства. Изд. «Шиповник», Петербург, 1911, стр. 157.

II

Бывают эпохи, когда читать стихи становится трудно, а писать стихи решаются или графоманы, — они всегда пишут, — или «птички Божии», не утруждающие себя раздумьем: а надо ли писать? — или подвижники нового слова. В эти эпохи нажиток предыдущих культур давит до нестерпимости, и каждая строка, каждая рифма, каждый поэтический образ кажутся банальными, уже не задевающими нашего сознания. Слишком много — и зачастую слишком хорошо — уже написано раньше — в девятнадцатом столетии, до двадцатых годов нашего века, — и, кажется, уже все испытано, все перепето, все пересказано — не осталось неисхоженных стезек-дорожек для спотыкающегося от поэтического груза прошлого Пегаски. Некоторые идут по пути выискивания во что бы то ни стало таких образов, ритмов и рифм, которые еще ни у кого не употреблялись — и превращают поэзию в некое подобие игры «Барыня прислала сто рублей»: «Да» и «нет» — не говорите, красного и белого не называйте . . .

Конечно, при этом всегда бывают недоразумения: где уж тут все знать, да и «многознание уму не научает», как говорили древние мудрецы. Мудрует-мудрует такой новатор, изыскивает неупотреблявшиеся никем изыски, — ан, глядь, не только у какого-нибудь неведомого Востокова или Кюхельбекера, а даже у плохо читавшегося Державина обнаружишь образы, скажем, Пастернака или миродержца Хлебникова. Много всякого было в нашей поэзии, и, покопавшись, найдешь параллели некоторым приемам того же Заболоцкого в ирои-комических поэмах забытого XVIII века, в творчестве раннего Константина Случевского, а в позднем Заболоцком найдем и высокий штиль од Державина и медитаций Боратынского и Тютчева. Не в словах, образах и приемах дело. Это — только необходимое условие творчества, но не его суть.

Но если сердце пополам
Разрежет острый Божий меч,
Вдруг оживает этот хлам,
Слагаясь в творческую речь . . .
. . . Душа поет и говорит,
И жить, и умереть готов,
И сказка вешняя горит
Над вечной мукой старых слов.

(Федор Сологуб. 1923).

Но как редко, как бесконечно редко рассекает сердце поэта этот всеоживляющий Божий меч! Вот и отвращается не только рядовой, но зачастую и незаурядный читатель от стихов: кому охота читать

какого-нибудь Симонова или Всеволода Рождественского — перепевы перепетого или бесконечные вариации на уди-ви-тельно новую тему: любовь и могила, могила и любовь. Штампы, банальные перепевы, декламационные, эстрадные приемы, годные, впрочем, для оболванивания иной любимой женщины или секретаря редакции из сугубо-политических деятелей. А есть, ведь, люди способные. Но неспособны они к Геркулесову подвигу: поднять на свои плечи всю тяжесть прошлой культуры — и не расплющиться под нею, а сделать хотя бы шаг вперед.

В тридцатых годах, даже точнее: в конце двадцатых годов этот шаг сделал дотоле неведомый поэт Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ.

Биографические данные о Заболоцком скудны. Родился он в 1903 году в Казани. Отец поэта был агрономом. Заболоцкий вырос в среде, хозяйственно относящейся к природе, любовно природу преобразующей. Это, несомненно, сказалось на будущем творце «Торжества Земледелия», «Лодейникова», «Венчания плодами», «Отдыха», «Засухи», «Прогулки». В 1920 году Заболоцкий окончил среднюю школу в Урджуме, в 1925 году — отделение языка и литературы Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде. Служил долго в Детгизе, перевел и переделал для детей немало классических книг: «Гаргантюа и Пантагрюэля» Раблэ, «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и много других. Начал печататься в 1926 году в ленинградских газетах и журналах. Первое стихотворение, опубликованное в «толстом» журнале и обратившее на себя внимание, было «Футбол» («Звезда», 1927, кн. 12, стр. 103—104). В 1929 году вышла первая книга стихов «Столбцы».⁶⁾ Затем в ленинградских журналах были опубликованы в 1929—1937 г. г. его стихи и поэма «Торжество Земледелия»,⁷⁾ не вошедшая ни в одну из книг поэта (как и часть стихов). В 1937 году вышла «Вторая Книга» стихов.⁸⁾ Но стихи поэта, и ранее-то встреченные в штыки, а особенно «Торжество Земледелия», привели к катастрофе: после того, как поэма была опубли-

⁶⁾ Н. Заболоцкий. Столбцы. Изд. Писателей в Ленинграде. 1929, 72 стр. В дальнейшем — при цитировании — будем обозначать эту книгу просто «Столбцы».

⁷⁾ Журнал «Звезда», 1929: кн. 2 — «Цирк»; кн. 8 — «Рыбная лавка» и «Начало осени»; кн. 10 — «Торжество Земледелия» — Пролог и закл. глава — «Торжество Земледелия» — в первой редакции. 1933: кн. 2—3 — «Меркнут знаки Зодиака»; «Лодейников» («Как бомба в небе разрывается» и гл. 2); «Торжество Земледелия» — полностью — во второй редакции (в незначит. части тиража) и в третьей редакции (в остальн. тираже). Журнал «Радиолобитель», ном. 23-24, 21 авг. 1930 — «Береги здоровье». Журнал «Литературный Современник», 1937, кн. 3 — «Прогулка», «Утренняя песня», «Лодейников в саду», «Начало зимы», «Север», «Вчера о смерти размышляя», «Засуха», «Ночной сад», «Все, что было в душе», «Горийская симфония».

⁸⁾ Н. Заболоцкий. Вторая Книга. Стихи. Гослитиздат. Ленинград, 1937, 45 стр. В дальнейшем будем обозначать ее «Вторая Книга».

кована полностью в книге 2—3 «Звезды» за 1933 год, большая часть тиража журнала была переверстана — поэма была помещена в измененном в угоду цензуре виде. Но и этого мало: поэт объявили злостным противником коллективизации, написавшим пасквиль на колхозы, объявили его врагом социализма. С. Малахов в статье «Поэзия социалистического реализма» пишет, что взгляд поэта на советскую действительность в этой поэме «становится реакционным, обертывается реакционным протестом бунтующего мелкого буржуа против побеждающего социализма» . . . «Что же можно сказать о карикатуре на социализм, созданной руками советского писателя? Карикатура, где уравниловка вырастает в кошмарный образ полуживого существования «социалистического человечества!»⁹⁾

Перепечатывая свою погромную статью «Система кошек», посвященную «Столбцам», А. Селивановский снабжает ее постскриптумом: «После длительного перерыва в 1933 году Н. Заболоцкий опубликовал поэму «Торжество Земледелия» и ряд стихов. За четыре года Заболоцкий не остался на прежних позициях, — он от них далеко ушел (и как далеко!) по пути злобного гаерства и издевательства над социализмом».¹⁰⁾

Эти высказывания — только выхваченные на выбор образцы писаний многоголовой своры, спущенной на поэта. Е. Усиевич, Лелевич и многие другие кричали «Ату его!». Наконец, сама московская «Правда» поставила идеологически-выверенный диагноз: В. Ермилов заговорил о нарочитом юродстве Заболоцкого, как маске врага колхозов и социализма, как маскировке кулака-единоличника.¹¹⁾ Крепко досталось и Николаю Тихонову, по «протекции» которого была опубликована эта поэма. Стихи, опубликованные в 1937 году, и «Вторая Книга» поэта, в которой эти стихи были частично собраны, подлили масла в огонь: поэта называли воинствующим идеалистом, усмотрели в его творчестве элементы пантеизма, — и поэт исчез. Судя по всему, ему пришлось просидеть в лагерях НКВД-МВД около семи лет. Хорошо осведомленный Р. В. Иванов-Разумник сообщает в статье «Фантастическая история», что «к концу 1939 года ила началу 1940 года стало ходить по рукам в писательских кругах Петербурга и Москвы письмо поэта Заболоцкого, пребывающего в концлагере или в изоляторе, к поэту Николаю Тихонову, пребывающему в орденоносцах. Каким-то путем удалось Заболоцкому . . . переслать письмо Николаю Тихонову: письмо это в копии было и в моих руках. Содержание его было приблизительно следующее:

⁹⁾ Борьба за стиль. Сборник статей. Гос. Академия Искусствознания. Институт Литературоведения. ГИХЛ, Ленинград, 1934, стр. 119—133.

¹⁰⁾ А. Селивановский. Поэты и поэзия. Критические статьи. Советская литература. Москва, 1933, стр. 215 (статья — стр. 206—215).

¹¹⁾ В. Ермилов. Юродствующая поэзия и поэзия миллионов. О «Торжестве Земледелия» Н. Заболоцкого. «Правда», ном. 199, от 21 июля 1933, стр. 4.

В наше место заключения, — писал поэт из тюрьмы поэту на свободе, — не доходят сведения из внешнего мира в виде писем или газет; но, благодаря неожиданной случайности, попал к нам обрывок того номера «Известий», в котором дан перечень писателей, удостоенных высоких государственных наград. Среди ряда знакомых имен я с несказанным удивлением встретил ваше имя, товарищ Тихонов, а также имя товарища Федина. Искренне рад за вас обоих, что вы живы, здоровы и не только находитесь на свободе, но даже удостоены награждения высокими орденами; несказанное же удивление мое связано именно с этим обстоятельством, с одной стороны, и с моей личной судьбой — с другой. Полтора года тому назад я и ряд писателей (перечислен ряд имен) были арестованы по обвинению в принадлежности к террористическому кружку; на допросах под давлением убедительнейших «аргументов», мы вынуждены были признать, что действительно состояли членами такого кружка, и были завербованы в него возглавляющими кружок писателями — Николаем Тихоновым в Ленинграде и Константином Фединым в Москве. Теперь вам понятна и моя радость за вас — вы живы и на свободе, и мое глубочайшее изумление: каким образом вы, главы террористической организации, завербовавшие в число ее членов и меня, получили высокую государственную награду, в то время как я, рядовой член этой организации, получил за это же не орден, а десять лет строгой изоляции? Очевидно, что тут что-то не ладно, концы не сходятся с концами, и вам, находящемуся на свободе и награжденному государственным отличием, надлежит постараться распутать этот фантастический клубок, и либо самому признать свою вину и проситься в изолятор, либо сделать все возможное, чтобы вызволить из него нас, совершенно невинно в нем сидящих . . .»¹²⁾

По некоторым данным, о которых рассказывает и Иванов-Разумник в той же статье, перепуганные насмерть Тихонов и Федин написали об этом письме Лаврентию Берия и просили о пересмотре дела Заболоцкого и других писателей, обвиненных в участии в террористических организациях, «ибо из выяснившихся обстоятельств видно, что следователь вел это дело приемами, заслуживающими некоторого сомнения» . . .

Судя по поэмам Заболоцкого «Творцы дорог», 1947, и «Город в степи», 1947, поэт отбывал свой срок заключения на Колыме, на дорожном строительстве, и в Карагандинском лагере. К 1947 году Заболоцкий был на свободе и проживал в Москве. Первая известная нам публикация после заключения — «Творцы дорог» — опубликована в первой книге «Нового Мира» за 1947 год. В том же году в том же журнале опубликованы: в книге 5 — «Город в степи», в книге 10 — «Воздушное путешествие» и «Храмгэс». В 1948 году в изда-

¹²⁾ Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Изд. «Литературный Фонд», Нью-Йорк, 1951, стр. 45.

тельстве «Советский Писатель» в Москве вышла третья книга стихов поэта — «Стихотворения».¹³⁾ После этого пять лет мы не видим оригинальных стихотворений поэта ни в одном из известных нам журналов и альманахов. Зато много появляется переводов, в том числе и отдельными книгами.¹⁴⁾ Как видно, переводы становятся основным заработком Заболоцкого.¹⁵⁾ Наконец, в 1953, 1955, 1956 и 1957 годах появляются в журналах и альманахах стихи поэта,¹⁶⁾ а в 1957 году выходит и четвертая его книга оригинальных стихов и избранных переводов — «Стихотворения».¹⁷⁾ Наконец, в конце 1957 года, поэта выпускают даже за границу, в Италию, в качестве члена делегации советских поэтов, возглавлявшейся А. Сурковым...¹⁸⁾

Но поэт попрежнему не в чести. Вот маленькая справка о том, с каким трудом попадают в печать стихи одного из самых замеча-

¹³⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения. Изд. «Советский Писатель», Москва, 1948, 92 стр. (Часть I — «Родина» — стихи; ч. II — «Слово о полку Игореве» — стих. перевод).

¹⁴⁾ Н. Заболоцкий. Грузинская поэзия. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1948, 125 стр.

Г. Орбелиани. Стихотворения. Пер. Р. Ивнева и Н. Заболоцкого. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1939, 141 стр.

Г. Орбелиани. Стихотворения. Пер. Н. Заболоцкого. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1947.

Ш. Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Пер. и обраб. Н. Заболоцкого — с предисловием переводчика. Детгиздат, Москва-Ленинград, 1947, 214 стр.

Большое количество переводов с белорусского, грузинского, немецкого (в частности, Шиллера) и др. языков — в собраниях сочинений, альманахах, антологиях, журналах.

¹⁵⁾ См. в биограф. справке в книге «Антология русской советской поэзии в двух томах», 1917—1957, том 2, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 756.

¹⁶⁾ «Новый Мир»: 1953, кн. 10 — «Оттепель» и «Откинув со лба шевелюру»; 1956: кн. 6 — «Утро», «Лесное озеро», «Портрет», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц»; кн. 10 — «Противостояние Марса»; 1957, кн. 12 — «Вечер на Оке», «Над морем», «Казбек», «Гомборский лес». «Октябрь»: 1955, кн. 6 — «Дождь»; 1956, кн. 7 — «В кино», «Неудачник». Альманах «Литературная Москва», 1956, ГИХЛ, Москва: кн. 1 — «Ходоки», «Уступи мне, скворец, уголок», «Некрасивая девочка», «Осенние пейзажи», «Журавли», «Лебедь в зоопарке»; кн. 2 — «Когда вдали угаснет свет дневной», «Чертополох», «Старая актриса», «При первом наступлении зимы». Альманах «День Поэзии», 1956, изд. «Московский Рабочий» — «Прощание с друзьями». Альманах «День Поэзии», 1957, в том же изд. — «Врач» и «Детство». Журнал «Москва», 1957, кн. 5 — «Голубое платье», «Лесная сторожка», «Ненастье» и «Болеро»; 1958, кн. 2 — «Последняя любовь», «Кто мне откликнется в чаще лесной» и «Сентябрь». «Литературная газета», № 8/3819, от 18 января 1958 — «Венеция» и «Случай на Большом Канале» (Стихи об Италии).

¹⁷⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения. ГИХЛ, Москва, 1957, 199 стр. с портретом автора.

¹⁸⁾ См., например, статью Веры Инбер: «Если поэты всего мира...», «Литературная газета», № 153/3809 от 24 декабря 1957. В состав делегации входили: А. Сурков (глава делегации), А. Твардовский, Важан, А. Прокофьев, В. Инбер, Н. Заболоцкий, В. Слуцкий, Л. Мартынов, М. Исаковский, С. Смирнов. Судя по всем статьям и заметкам, Заболоцкий на собраниях во время этой поездки не выступал.

тельных из ныне живущих русских поэтов. Так, некоторые стихи Заболоцкого опубликованы через 18 лет после их написания: «Лесное озеро» (написано в 1938, опубликовано в 1956), «Соловей» (написано в 1939, опубликовано в 1957); некоторые через 11 лет: «Слепой», «Бетховен» (оба написаны в 1946, опубл. в 1957); через 10 лет: «Утро», «Уступи мне, скворец, уголок» (оба написаны в 1946, опубл. в 1956), «Ночь в Пасанаури» (написана в 1947, опубликована в 1957); через 9 лет (нап. в 1947, опубл. в «Стихотворениях» 1957) — 5 стихотворений; опубликованы через 8 лет после их написания: «Читая стихи», «Журавли», «Лебедь в зоопарке», «Когда вдали угаснет свет земной» (напис. в 1948, опубл. в 1956), «На рейде», «Гурзуф», «Светляки» (напис. в 1949, опубл. в 1957); через семь лет: «Башня Грэмси» (напис. в 1950, опубл. в 1957), и т. д. Ряд стихотворений опубликован через пять лет после их написания, и даже стихотворение «Ходоки», посвященное Ленину, два года не удавалось опубликовать... И хотя один из авторов критических статей осмелился назвать года два тому назад Заболоцкого «взыскательным художником», общее отношение к поэту осталось в лучшем случае настороженным: лучше не хвалить — «как бы чего не вышло»...¹⁹⁾

III

Так какова же та «эстетическая реальность», тот мир, в котором живет поэт Заболоцкий?

Это и страшный, и пленительный мир «Столбцов» — овеществленных душ, и не только одушевленных, но даже персонифицированных вещей. Как будто поэт записывает в родословные столбцы мироздания новых вершителей судьбы человеческой и вселенской — отнюдь не высокопитетических унди и дриад, аполлонов и муз, не рыцарей и не страстотерпцев горюшка народного, наконец; и уж отнюдь не Прекрасных Дам символизма и неоклассических конквистадоров и александрийских любовников. Все обмирщено и сведено с Олимпа и Парнаса. И не «блистательный Санктпетербург», а замызганные уголки Ленинграда НЭПовского ущерба и первых всплесков первой пятилетки. Пейзаж гоголевского «Носа» и «Невского Проспекта» и сенновских трущоб Достоевского, только творчески слиян-

¹⁹⁾ Из немногочисленных статей о Заболоцком, заслуживающих внимания, назовем статьи Н. Степанова: «Столбцы» — «Звезда», 1929, кн. 3, стр. 190—191; его же «В защиту изобретательства» — «Звезда», 1929, кн. 6; его же «Новые стихи Н. Заболоцкого» — «Литературный Современник», 1937, кн. 3. Чрезвычайно озлобленная и «доносительная» статья Осипа Бескина «О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворечниках», опубл. в «Литературной газете», 1933, № 32/260, также представляет некоторый интерес, но отнюдь не литературный. Сейчас поэта тщательнее «замалчивают», не отрицая его «беспримерного мастерства». В эмигрантской прессе о Заболоцком писали Ю. Терапиано, А. Неймирок, А. Котлин и автор настоящей статьи.

ный с нашими днями мирового трагического фарса. Гротеск и система образов, да отчасти и лексика Заболоцкого эпохи «Столбцов» — это, прежде всего, Гоголь петербургских повестей и Достоевский «Двойника», разложенные в творческой лаборатории поэта и — с добавками Константина Случевского и Велемира Хлебникова — восстановленные в жизнь в обличьи, странно напоминающем Раблэ и Державина, Василия Майкова и Иеронима Босха. Жизнь призрачная, невсамделишная — и невероятная, почти плотоядная вещность слова, образа, мелоса стиха. Не станковая живопись, а фреска, не мелодическая попевка песни-романса, а полифония, сложнейшее контрапунктическое строение мыслеформы и идеи-образа. А поэт стоит с усмешкой хозяина-агронома, хозяина-инженера — мастера и устроителя вещей и слов, явлений и образов. Он чувствует свою силу — и знает свою слабость: сила его — сила не тех, кто «писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем». Из образов Заболоцкого брызжет кровь, от его героев несет потом труда и любви, почти звериной силой жизни:

... полужвери, полубоги,
засыпаем на пороге
новой жизни трудовой...

Но Заболоцкий — не радостный вещелюб и жизнелюб Рубенс. Он — Иероним Босх с его видениями бесовщины, вершащей судьбы людей, с его чудиками и чудаками, искушениями и пытками жизни. Мир «Двойника» и «Носа», «Портрета» и хлебниковских «Досок Судьбы», так благоговейно упомянутых позже, в «Торжестве Земледелия»: само существо распадается на заряды-электроны, личность больше не существует почти — она распадается почти что физически. Человек больше не властен не только в поступках своих, но и над телом своим. Уже нос майора Ковалева не только отошел от него, но и отпочковался-отвоплотился в самость, независимую от майора, даже служит по другому ведомству. А через столетие в «самом умышленном городе мира» — Петербурге-Ленинграде — поет бродячий музыкант во дворе-колодце и старательно «поправляет части» своего собственного, неважно подчиняющегося ему тела. А в него обрушивается такой же дробно-рассыпающийся мир, мир рассеяния электронов, мир энтропии, чуть связанный в непрочные системы мироздания и густо-заселенного двора-колодца, двора-бездны:

Певец был строен и суров,
он пел, трудясь, среди домов,
среди выгребных высоких ям
трудился он, могуч и прям.
Вокруг него — система кошек,
система ведер, окон, дров
висела, темный мир размножив
на царства узкие дворов.

Но что был двор? Он был трубой,
он был туннелем в те края,
где спит Тамара боевая,
где сохнет молодость моя,
где пятаки, жужжа и млея
в неверном свете огонька,
летят к ногам золотого змея
и пляшут, падая в века! (1928)²⁰⁾

Нет даже различия между живым и мертвым: мертвое властно вторгается в жизнь — и так же, увы, банально, как живое . . . Об этом писал много Достоевский, особенно в примечательном рассказе «Бобок». И Заболоцкий не одиноко следует за ним: «На кладбище» и «После казни в Женеве», «Камаринская» Случевского и роман «Жизнь и приключения Никодима младшего» Скалдина, отчасти — Федор Сологуб идут по тому же пути:

И грянул на весь оглушительный зал:
— Покойник из царского дома бежал!
Покойник по улицам гордо идет. . . (1927)²¹⁾

И жизнь, во всей ее фламандской вечности, все-таки — что-то не до конца отвоплотившееся, меон, небытие, в особенности в ленинградскую белую ночь, когда, «гляди: не бал, не маскарад, здесь ночи ходят невпопад», и влюбленные продолжают ту же извечную тягучую песню — к соединению и размножению таких же обреченных небытию:

А на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным как медали.
Но это был один обман. . .
. . . И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса. (1926)²²⁾

²⁰⁾ «Бродячие музыканты» — «Столбцы», стр. 57—58.

²¹⁾ «Офорт» — «Столбцы», стр. 21.

²²⁾ «Белая ночь» — «Столбцы», стр. 10—12.

Любопытно и это снижение образа сирен — не то сирен, не то девок. То же в «Красной Баварии», ленинградской липкой, окраинной пивнухе, где «в глуши бутылочного рая, где пальмы высохли давно», тоже оседлывают коледи полупьяных и пьяных сирены-девки, другие сирены намалеваны на краю кривой эстрады, а за стойкой тоже стоит сирена —

а за окном — в глуши времен
блистал на мачте лампирон.
Там Невский в блеске и тоске,
в ночи переменивший кожу,
гудками сонными воспет,
над баром вывеску тревожил . . . (1926)²³⁾

Ну, не все ли равно — окраина или Невский, узкая щель полупровальной — в подвал, в небытие! — пивнухи — или широкий мир, также подвластный смерти, небытию, миру радости в той же глуши времен? Густое, непролазное, мещанское, неизбывное, без веры и просвета, радостное звериной тягой к теплу, уюту, еде, подруге, существованию, но трагически обреченное и отрешенное, греховно-бессмысленное и овеществленное «пекло бытия» — весь мир, необъятный и необозримый, умещается во мне, — не больше, по сути своей, грязной пивной или ленинградского затолканного толпами вспотевших несчастливцев Народного Дома:

Народный Дом — курятник радости,
амбар волшебного житья,
корыто праздничное страсти,
густое пекло бытия! . . .
. . . Тут радость пальчиком водила,
она к народу шла потехою . . . (1927—1928)²⁴⁾

Но мир, возможно, еще уже, еще ограниченнее: «Весь мир обоями оклеен — пещерка малая любви», и в нем, в этом закутке-запратке «как мыльные клубы, несутся впечатления». Таким же миром, «миром в себе», является и толкучий рынок бедняков-отрепшей и мелких владък-перекупщиков на Обводном канале в Ленинграде: грозные и грязные нищие-полубандиты, продавцы и перекупщики, от которых зависит существование или несуществование новых Акакиев Акакиевичей советского всклоченного быта. Штаны или кастрюля, кусок сала или старый пиджак — это кусок тепла и уюта, жизни и радости — целый мир — и не только материальный:

Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет как кречет:

²³⁾ «Красная Бавария» — «Столбцы», стр. 7—9.

²⁴⁾ «Народный Дом» — «Столбцы», стр. 65—70.

маклак — владыка всех штанов,
ему подвластен ход миров,
ему подвластно толп движенье,
толпу томит штанов круженье,
и вот — она, забывши честь,
стоит, не в силах глаз отвести,
вся — прелесть и изнеможенье! (1928)²⁵⁾

Вот картина свадебного пира, когда не только молодые, но весь конклав гостей и сватов смакует предстоящее:

Они едят густые сласти,
хрипят в неутоленной страсти,
и, распуская животы,
в тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
сидят как выстрел из ружья . . .
. . . И по засадам,
ополоумев от вытья,
огромный дом, виляя задом,
летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над становьями народов —
труда и творчества закон. (1928)²⁶⁾

Люди превращаются в обездуховленных, стандартных, совершенно однотипных — вышли будто с одного станка! — Ивановых, живущих в одинаковых домах, с одинаковыми деревьями под окнами. Но деревья не вольные: «они в решетках, под замком». И Ивановы не свободны: они враз отправляются на службу «в своих штанах и башмаках». «А мир, зажатый плоскими домами» и «бульваров теснота» такие же, как и всегда и повсюду, и те же «сирены мечутся простые», «иные — дуньками одеты, сидеть не могут взаперти», и куда-то устремляются, идут. На блуд? На заработок? «Неужто некуда идти?!» —

О, мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.
Ужели там найти мне место,

²⁵⁾ «Обводный канал» — «Столбцы», стр. 53.

²⁶⁾ «Свадьба» — «Столбцы», стр. 44—45.

где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?
О, мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной мышшиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку Иванов! (1928)²⁷⁾

И — опять образы рынка, пекарни, фокстротирующего мира-мелона, цирка-мира, где «кромешным духом все полны, но музыка опять гремит, и все опять удивлены»:

Над ними небо было рyto
веселой руганью двойной,
и жизнь трещала, как корыто,
летая книзу головой!²⁸⁾

Очевидно, вся вселенная — это только мое сознание, дана только во мне самом, и притом ущербном, чувствующем свою ущербность:

... и выстрелом ума
казалась нам вселенная сама!²⁹⁾

Мир познается, скорее и вернее, во сне, в сновидениях, когда слабый и запаутиненный дневным дрязгом вещественности и борьбы за жизнь ум человеческий, его разум, сознание — остается наедине с самим собой («Фигуры сна» в «Столбцах»):

Меркнут знаки Зодиака
над просторами полей.
Спит животное Собака,
дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
учетают прямо в небо, —
руки крепкие, как палки,
груды круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
превращается в дымок.

²⁷⁾ «Ивановы» — «Столбцы», стр. 39—41.

²⁸⁾ «Цирк» — «Звезда», 1929, кн. 2.

²⁹⁾ «Начало осени» — «Звезда», 1929, кн. 8.

С лешачихами покойник
стройно пляшет кекуок.
А за ними бледным хором
ловят Муху колдуны,
и стоит над косогором
неподвижный лик луны.
Меркнут знаки Зодиака
над постройками села,
спит животное Собака,
дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
спит животное Паук,
спит Корова, Муха спит,
над землей луна висит.
Над землей большая плоска
опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
из косматой бороды,
из-за облака сирена
ножку выставила вниз,
людоед у джентльмена
неприличное отгрыз.
Все смешалось в общем танце
и летят во все концы
гамадриллы и британцы,
ведьми, блохи, мертвецы.
Кандидат былых столетий,
полководец новых лет —
разум мой! Уродцы эти —
только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
сонной мысли колыханье,
безутешное страданье —
то, чего на свете нет . . .
Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора.
Разум, бедный мой воитель,
ты заснул бы до утра.
Что волненья, что тревоги?
День прошел и мы с тобой —
полузвери, полубоги —
засыпаем на пороге
новой жизни трудовой.
Колотушка тук-тук-тук.
Спит животное Паук,
спит Корова, Муха спит.

Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды . . .
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!⁸⁰⁾

Поэзия напряженного и многосложного содержания. Поэзия человека, утратившего веру. Обезбоженный — и тем самым — обездуховленный мир. Но мир сильной поэтической индивидуальности, острою и сатирического ума, отнюдь не расположенно к самопоглощению себя в пресловутом м ы коллективизма, к растворению себя в толще стереотипных Ивановых. Но может ли не поэт — поэт может! — а сама поэзия быть, по сути своей, атеистической? Нет, конечно. Ибо поэт, какими бы аналитическими способностями не обладал его ум, прежде всего — любовный созерцатель мира, как целого. И не только созерцатель, но, в какой-то степени, и творец. Мы все, конечно, творим свои миры, но у художника слова этот процесс проходит наиболее ярко, непосредственно и убежденно — а, тем самым, и убедительно. И творит поэт и прозаик свой мир не из общей картины сущего, спускаясь к подробности, детали, а бесконечно возвышая, очищая, перерабатывая и отвоплощая эту отдельную подробность, как образ и де и ц е л о г о :

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене . . .
И стих уже звучит задорен, нежен,
На радость вам и мне.

(Анна Ахматова. 1940).

Одухотворение мельчайшей детали сущего, персонификация ее и рождение поэтической реальности — образа идеи сущего во всей его божественной полноте, — это, в сущности, и есть обожение подлинным поэтом — часто совершенно бессознательно — своей эстетической реальности — отвоплощение ее, как Божественной Полноты. Часто слова и сознание при этом даже вредны:

⁸⁰⁾ «Меркнут знаки Зодиака» — «Звезда», 1933, кн. 2-3, стр. 78-79. Пусть читатели не сетуют на меня за большое количество и объем цитат. Но большинство цитируемых мною произведений мало известно широкому кругу читателей и практически недоступно им: «Столбцы» и «Вторая Книга» — давно уже библиографическая редкость, а стихи, разбросанные по старым поврежденным изданиям, еще более трудно находимы. Говорить же о поэте и не демонстрировать его, как поэта, бесполезно.

не всякий, глаголай «Господи, Господи», внидет в Царствие Небесное; а уж в Царствие поэтическое духовные стихи почти никогда не входят. «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говаривал: «Чем ближе к небу, тем холоднее».³¹⁾ Самому Пушкину не давалась религиозная поэзия: сравните, напр., высокую подлинную богооткровенную поэзию молитвы «Господи и Владыка живота моего» с недостойным Пушкина ее переложением «Отцы пустынники и жены непорочны». Внедрение эстетической стихии в область религиозного откровения ни к чему достойному не приводит ни для искусства, ни для религии. Вопрос о религиозном искусстве — большой и совершенно особый вопрос. Но вопрос о религиозной природе подлинного искусства — этот вопрос крайне существенен для нас. И, помимо приведенных в начале этой статьи слов Б. Христиансена, вспоминается Платон и Плотин, вспоминается и Дионисий Ареопагит («Псевдо-Дионисий»): «В Прекрасном все объединяется, Прекрасное, как творческая причина, является началом всего, приводит все в движение и связывает все во едино через влечение (эрос) к своей красоте. Будучи целесообразной всего сущего, Прекрасное является Возлюбленным и Пределом всего (ибо все рождается для красоты), и образцом — поскольку все определяется в зависимости от него».³²⁾ Как перекликается это высказывание Отца Церкви-платоника с глубочайшей убежденностью Достоевского, что красота спасет мир, и с эстетическим историософским мировоззрением Константина Леонтьева. И как психологически понятно тяготение поэзии к мифотворческому процессу³³⁾ и к осознанному или бессознательному анимизму и пантеизму. На этот путь стал и Николай Заболоцкий, перейдя от отчаяния богооставленности «Столбцов» к анимизму «Торжества Земледелия» и просветленному пантеизму «Второй Книги» и последующих стихов — в лучшей их части.

Но еще несколько истин, ставших уже банальными, но которые необходимо время от времени освежать в памяти. Что же такое красота, о которой так много говорят? И не является ли творчество раннего Заболоцкого скорее безобразием, каким-то хаосом диссонансов и прямых несообразностей?

Издавна принято говорить о красоте прямой, открытой, ну, скажем, красоте картин Рафаэля, античных статуй и музыки Россини и Верди. И о красоте не-прямой, поэтической, намекающей на что-то значительно большее, чем оно видится сразу — о вырази-

³¹⁾ А. Пушкин. Исторические анекдоты. Полн. собр. соч., изд. Ак. Наук СССР, М.-Л., 1949, т. 8, стр. 108.

³²⁾ Псевдо-Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах. Буэнос-Айрес, 1957, стр. 51-52.

³³⁾ Превосходный материал содержит интереснейшая книга проф. А. Ф. Лосева — «Античная мифология в ее историческом развитии». Учпедгиз, Москва, 1957.

тельности. Эта выразительность часто идет на заведомый разрыв с красотой для всех явной, с гармонией, которую вы улавливаете без малейшей к ней подготовки, даже без усилия с вашей стороны. Иногда эта красота ищет гармонию в дисгармонии, ищет предельную красоту выразительности в подчеркивании уродств или несовершенств внешнего облика. Такова красота картин Рембрандта, драматических прозапоэм Гоголя и Достоевского, музыки Мусоргского. И, наконец, слияние открытой красоты и красоты-выразительности в величайшем внутреннем синтезе Баха, Моцарта, Сервантеса, «Братьев Карамазовых». «Скрытая гармония лучше явной» говорил в седой древности Гераклит.³⁴⁾ А умный и пронзительно-даровитый Заболоцкий в позднем стихотворении «Некрасивая девочка» (1955) писал:

А если так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?³⁵⁾ —

и, несомненно, видел эту красоту именно в этом «огне, мерцающем в сосуде». Так современный советский русский поэт невольно переключается и с платоническими мудрецами и с религиозной концепцией красоты-добра.

IV

Это тоже, конечно, никак не соответствовало господствующей идеологии: искать исцеления ущербной души, искать ее восполнения, искать освобождения в природе. В 1929—1930 годах, в годы сплошной коллективизации, т. е., по существу, превращения и деревни в государственную фабрику хлеба, поэта отнюдь не прельщает индустриальный пейзаж, он не пленяется модной попевкой «гудок, гудка, гудку, гудком, железный визг зубил», а вызывает к природе в иронической ли, в пародийно-трагической ли форме:

О, полезная природа,
исцели страданья наши!³⁶⁾

Поэма «Торжество Земледелия» — это сложное, многоголосое произведение, в котором элементы трагического гротеска, иронии, лироэпического анимизма и карикатурного снижения господствующей

³⁴⁾ Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. Акад. Наук СССР и Госполитиздат, Москва, 1955, стр. 45.

³⁵⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 111.

³⁶⁾ «Береги здоровье!» — «Радиолюбитель», Ленинград, ном. 23-24, от 21 августа 1930.

щей идеологии причудливо переплетаются с огромной темой трудового и любовного переустройства мироздания. Время действия: синхронные поэме годы сплошной коллективизации. Место действия: село, мироздание, мировые просторы над селом, село-колхоз. Действующие лица: солдат-красноармеец, носитель официальной идеологии и зачинатель колхозного преобразования мира; старый мужик, старовер и скептик; мужик, обуянный сомнениями и поисками путей; пастух; верующий мужик; кулак, сперва владыка, затем изгнанник; бык, конь, медведь, волк, вепрь, муха; ночь; предки; коровы; тракторист; соха. Сама природа, как оно и есть, отнюдь не едина: для каждого из воспринимающих ее действующих лиц она оборачивается разными сторонами своей души, своего существования. Для одного — природа неодолимый противник, но и основной предмет труда:

Природа меня мучит,
превращая в старика.³⁷⁾

Для старика-крестьянина душа природы, «дух животный»

живет меж нами как бесплотный
жилец развалин дорогих.
Ныне, братцы, вся природа
как развалина какая!

Для пастуха — «вся природа есть обитель»; и пастух, не без остроумия, поясняет, как связано его воззрение на мир с его пастушески-беспредельной деятельностью, тогда как у мужиков — с их избяным и мирским бытом:

Вы, мужики, живя в миру,
любите свою избу,
я ж природы конуру
вместо дома избираю.

Наиболее яркое воплощение избяного эгоцентризма в жизни и мировоззрении — у кулака, у которого

Изба стояла, словно крепость,
внутри разрушенной природы,
открыв хозяину нелепость
труда, колхоза и свободы.

³⁷⁾ Все цитаты из «Торжества Земледелия» — кроме особо оговоренных — из тех экземпляров книги 2-3-й «Звезды» за 1933 г. (стр. 81—99), которые как-то успели проскочить — до окончательного цензурного искажения поэмы в той же книге журнала.

Кулак не понимал, что при коммунизме он — враг и изгнанник,³⁸⁾ что при коммунизме — сон, мираж и его собственность, и его эгоцентризм:

Кулак был слеп, как феодал,
избу владеньем называл,
говорил: «Это моя изба» . . .
. . . он был изгнанник среди людей,
и рядом с ним гнезвился страх . . .

Но, не взирая на страх,

. . . мир его, эгоцентричен,
был много выше облаков.

Ну, а носитель официальной, плакатной идеологии, солдат, не смотря на весь свой материализм, а, вернее, благодаря ему, ничего в природе не понимает, сваливая вину непонимания на саму природу:

природа ничего не понимает
и ей довериться нельзя.

Для него душа — фосфор (вспомните нигилистическое „Ohne Phosphor kein Gedanke“), духи предков —

частицы фосфора маячат
из могилы испаряясь . . .

И когда солдат бьется с духами прошлого, с предками, когда он все объясняет естественно-научно, духи предков резонно отвечают ему:

Это вовсе неизвестно,
хотя мысль твоя понятна,
посмотри: под нами бездна,
облаков несутся пятна.
Только ты — дитя рассудка —
от рожденья нездоров,
полагаешь — это шутка,
столкновения ветров.

Рассудок — это еще не разум. Он стремится плоско и просто объяснить то, что отнюдь не просто и очень глубоко. Но для большинства — и людей, и животных — жизнь, природа — это прежде всего — страдание, близкое к небытию:

Как дети хмурые страданья,
толпой теснились воспоминанья . . .
. . . Фонарь, наполнен керосином,
качал страдальческим огнем,

таким дрожащим и старинным,
что все сливал с небытием . . .

Вся жизнь, вся природа — борьба на смерть, взаимопожирание, хотя на поверхности — тишь да гладь да Божья благодать. Много картин борьбы, подвластности смерти, страданию в «Торжестве Земледелия». Много — в стихах и поэмах тех же лет:

У животных нет названья —
кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
их невидимый удел. ³⁸⁾

Даже нет освобождения от страдания в его обозначении, очищении, наименовании и освобождении словом («кто им зваться повелел?»). Слово, ведь — неподвластно смерти, закрепляет мгновенье летучее для времени, для вечности. Слово — начало свободы. А природа —

Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
как высокая тюрьма . . .
. . . И смеется вся природа,
умирая каждый миг. (1929)⁴⁰⁾

Вот Лодейников, ученый и мыслитель, герой одноименной поэмы, публиковавшейся частями и ни разу еще, даже в последней книге 1957 г., не собранной воедино. Он, Лодейников, сам

. . . говорит: «в душе моей сражение
природы, зренья и науки.
Вокруг меня кричат собаки,
растет в саду огромный мак, —
я различаю только знаки
домов, растений и собак.
Я тщетно вспоминаю детство,
которое сулило мне в наследство
не мир живой, на тысячу ладов
поющий, прыгающий, думающий, ясный,
но мир, испорченный сознанием отцов,

³⁸⁾ Глава «Изгнанник», посвященная кулаку, подверглась самому зверскому сокращению и искажению почти во всем тираже 2-3 книги «Звезды» за 1933 г. Даже название ее было изменено на «Враг». Очень немногие экземпляры «Звезды» уцелели с первоначальной редакцией поэмы.

³⁹⁾ «Прогулка» — «Вторая Книга», 1937.

⁴⁰⁾ Там же.

искусственный, немой и безобразный,
и продолжающий день ото дня стареть. . .»⁴¹⁾

Но когда Лодейников хотел взором непосредственного видения посмотреть на «природы совершенное творенье», растворить в ней свою горечь и печаль, то не только не уловил гармонии природы и гармонии в природе, но:

Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшись адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давилъня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.⁴²⁾

И это сразу увидел он, романтик Лодейников, который

Степей очарованье,
глубокий шум лесов, мерцание светил —
все принял он в себя, и каждое создание
в своей душе, любя, отобразил.
Лишь одного ему не доставало —
спокойствия. О, как бы он хотел
быть этой яблоней, которая стояла
одна вся белая среди туманных тел.⁴³⁾

Но —

На безднах мук сияют наши воды,
на безднах горя высятся леса!⁴⁴⁾

И значительно позже, уже в 1947 году, поэт писал:

Я не ищу гармонии в природе . . .
Разумной соразмерности начал

⁴¹⁾ «Лодейников» — «Звезда», кн. 2-3 за 1933, стр. 79 и «Вторая Книга».

⁴²⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 15.

⁴³⁾ «Лодейников в саду» — «Литературный Современник», кн. 3 за 1937, стр. 116-117.

⁴⁴⁾ Там же. В «Стихотворениях» 1957 эти строки читаются иначе:
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса! (!!!)

Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.⁴⁵⁾

Тем менее оснований ожидать такой гармонии в отношениях людей. Вернемся к «Торжеству Земледелия», к битвам с предками, к противоречивым высказываниям мужиков, к зверской расправе над тем началом сельской жизни, которое олицетворял собой кряжевой, крепкий самостоятельный крестьянин, обозванный кулаком. Вот он молится и ждет неизбежного — высылки, разорения, ссылки, смерти:

Кулак ревет, на лавке сидя,
скребет ногтями толстый бок,
и лает пес, беду предвидя,
перед толпою многих ног.
И слышен голос был солдата,
и скрип дверей, и через час
одна фигура, виновата,
уже отъехала от нас.
Изгнанник мира и скупец
сидел и слушал бубенец,
с избою мысленно прощался,
как пьяный, на возу качался,
и ночь — строительница дня —
уже решительно и смело,
как ведьма, с крыши полетела,
телегу в пропасть наклона.

В какой же природе искать восполнения себя, искать освобождения, если и в природе, самой по себе, нет ни гармонии, ни свободы, ни бессмертия, ни избавления от смерти и мук? В творчески преображенной, освобожденной от мук, от непосильного труда, от смерти природе. В этом — пафос «Торжества Земледелия», в этом — те токи, которые как-то крепко соединяют замечательный эпос Заболоцкого с религиозным материализмом Н. Ф. Федорова — с его идеей преображения мира самим человечеством путем победы над смертью, над подвластностью всего сущего закону уничтожения. Люди должны понять, должны осознать, что если они направят все силы своего ума, все свои творческие силы не на выдумывание новых способов порабощения, истребления себе подобных, а на борьбу с болезнями, нищетой, смертью, то ничего парадоксального в идее победы над смертью и болью нет. И в этом — пафос поэмы, фанфарные звуки ее финала, валторны и флейты ее надмирных научных институтов не только для людей, но и животных и растений. Животные Заболоцкого даже

⁴⁵⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения. Изд. «Советский Писатель», Москва, 1948, стр. 50.

не очеловечены: одухотворение всего сущего идет, конечно, через слово — иначе идти оно и не может, но это скорее — анимизм, а не антропоморфизм: бык говорит, насколько это возможно, по-бычьему, а конь по-лошадиному. Это — не персонажи басни, не аллегории и не символы.

V

От творчески преображенного словом мироздания — к идее бессмертия: таков творческий путь «третьего» Заболоцкого — Заболоцкого лучших стихов «Второй Книги», «Стихотворений» 1948 года, «Стихотворений» 1957 года. Сам язык автора меняется: он становится классически чистым и вовсе не поражающим своей своеобразностью. Во многом это — уступка обстоятельствам (значительная часть написанного после «Второй Книги» — недостойно высокого дарования поэта), но во многом — естественный рост души и таланта к простоте и проясненности. Поэтому-то, что не связано с обстоятельствами, так сильно и хорошо, глубоко и подлинно-нужно.

Вот, в горах Кавказа, в Грузии, понимает поэт подлинную слышимость сущего и слова:

Взойди на холм, прислушайся к дыханью
камней и трав, и, сдерживая дрожь,
из сердца вырвавшийся гимн существованью,
счастливый, ты невольно запоешь.
Как широка, как сладостна долина,
теченье рек как чисто и легко,
как цепи гор, слагаясь воедино,
преображенные, сияют далеко!
Здесь центр земли. Живой язык природы
здесь учит нас основам языка,
и своды слов стоят, как башен своды,
и мысль течет, как горная река. (1936)⁴⁶⁾

Вот таинство рождения, таинство материнства и всему радующегося младенчества открывают в одно радостное золотое утро поэту — мужу и отцу:

И все кругом запело, так что козлик —
и тот пошел скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
что смерти нет, и наша жизнь бессмертна. (1932)⁴⁷⁾

⁴⁶⁾ «Горийская симфония» — «Вторая Книга», 1937; «Стихотворения», 1948, стр. 5-6.

⁴⁷⁾ «Утренняя песня» — «Вторая Книга». В «Стихотворениях» 1957 эти строки изменены: И понял я в то золотое утро,

Что счастье человечества — бессмертно. (!!!)

Проблема бессмертия настойчиво преследует поэта. В стихотворении «Бессмертие», в той же «Второй Книге», бессмертие дано, как слияние раскрытия индивидуальной личности в процессе развития мира — и раскрытия личности целого мироздания (чуть ли не какой-то симбиоз идеи перевоплощения с идеей Софии-Великого Существа-Бытия!) Стихотворение в художественном отношении неудачное, холодное, риторическое, но, как звено в раскрытии «эстетической реальности» Заболоцкого, чрезвычайно важное:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
на самом деле то, что именуют мной, —
не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
я отделил от собственного тела!

Заболоцкий рисует затем ряд стадий на пути к духовному возрастанию и высшей биологической организации и заключает:

А я все жив! Все чище и полней
объемлет дух мир, полный чудных тварей. . .

Это пока что отнюдь не личное бессмертие. Это — пантеизм, иной раз и весьма иронически-безнадежный: в «Прощании с друзьями» Заболоцкий обращается к тем, кто уже «приложился земле»:

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
. . .Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.⁴⁸⁾

Но иногда иронически-трагический тон сменяется тоном оды, поэт видит залог бессмертия в человеческом подвиге («Седов», 1937, «Север», 1936, во «Второй Книге»: «Но люди мужества, друзья, не умирают»), в культурном преображении творческим трудом земли («Венчание плодами», 1932, в той же «Второй Книге»; «Творцы до-рог», 1947, «Урал», 1947, в «Стихотворениях», 1948), в великом творческом слове — идее, наконец:

Вчера, о смерти размышляя,
ожесточилась вдруг душа моя.

⁴⁸⁾ «День Поэзии», изд. «Московский Рабочий», Москва, 1956, стр. 13.

Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
все, все услышал я — и трав вечерних пенье
и речь воды, и камня мертвый крик.
И я — живой — скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен.
И проступал в нем лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытие,
и сам я был не детище природы,
но мысль ее! Но зыбкий ум ее! (1936)⁴⁹⁾

И вот в такой именно, преображенной человеческим творчеством и творчески преображенной словом природе и ищет успокоения Николай Заболоцкий. Как хороши и подлинны его звери, его бык среди позднеосеннего пейзажа:

Осенних листьев сохлось вещество
и землю всю устало. В отдалении
на четырех ногах большое существо
идет, мьгча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь? (1932)⁵⁰⁾

А его звери и птицы по весне, когда в «вешних днях лаборатории» — в каждом маленьком растеньице «влага солнечная пенится» —

Эти колбочки исследовав,
словно химик или врач,
в длинных перьях фиолетовых
по дороге ходит грач.
Он штудирует внимательно
по тетрадке свой урок
и больших червей питательных
собирает детям впрок. . .
. . .А на кочках под осинами,
солнца праздную восход,

⁴⁹⁾ «Вчера, о смерти размышляя» — «Вторая Книга», 1937.

⁵⁰⁾ «Осенние приметы» — «Вторая Книга»; в «Стихотворениях», 1957, под назв. «Осень», стр. 7.

с причитаньями старинными
водят зайцы хоровод.
Лапки к лапкам прижимаючи,
вроде маленьких ребят,
про свои обиды заячьи
монотонно говорят. (1935)⁵¹⁾

Весна у Заболоцкого такая неизбежно весенняя, такая влекущая, такая воскрешающая! Кажется, мало поэтов, у кого бы весна так стихийно врывается в самую душу, так будоражила и оживляла, обновляла все существо человеческое.

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.
И свистит и бормочет весна.
По колена затоплены тополи.
Пробуждаются клены от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.
И такой на полях кавардак,
И такая ручьевъ окоlesiца,
Что попробуй, покинув чердак,
Слома голову в рощу не броситься!
Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории,
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории. . .
. . .Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними. . .
. . .Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознание скворцом
По весенним полям путешествуя. (1946)⁵²⁾

Поэт сам сознает, что не только создает СВОЙ мир, но и растворяется в этом своем мире:

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал,
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал.⁵³⁾

⁵¹⁾ «Весна в лесу» — «Вторая Книга»; в «Стихотворениях», 1957, стр. 22-23.

⁵²⁾ Н. Заболоцкий. Стихотворения, 1957, стр. 44-45.

⁵³⁾ Н. Заболоцкий. «Гомборский лес». «Новый Мир», 1957, книга 12, стр. 139. Это стихотворение вызвало бурю возмущения. Даже «Крокодил» откликнулся на эти строки: в «Записках Ляпсуса», помещенных в № 1, от 10 января 1958, автор издевается над попыткой Заболоцкого «перевоплотиться в злак какой-нибудь, а не то в минерал» (стр. 7).

А для мира других людей, для близких своих, у поэта появляются какие-то щемящие некрасовские ноты. Таковы его стихи, посвященные отнюдь не героям, как раньше, а рядовым людям улицы. Но это теперь не гротескные Ивановы «Столбцов», не маски смерти на живой жизни, а те люди, красота которых незаметная, внутренняя, «огонь, мерцающий в сосуде» («Некрасивая девочка», 1955)⁵⁴), к этой идее красоты-любви, как залого бессмертия, поэт обращается теперь неоднократно («Неудачник», 1953, «Жена», 1948)⁵⁵). В превосходном, смелом стихотворении «В кино» (1954 г.) женщина, истомленная непосильной работой и одиночеством, безнадежностью и неприютностью, смотрит на экран, «где напрасно пыталось искусство к правде жизни припутать обман». И поэт задает себе вопрос — где друг, где муж этой женщины?

Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою,
Иль оторван от дома судьбою,
Погибает в далеком краю?
Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь. (1954)⁵⁶

Красота-любовь, красота-добро, а не побрякушки эстетского любования или театральная мишура искусства - за ба вы. Вот «Старая актриса», давно орденоносная, давно «домик ее превратился в музей», а сама она, крайняя эгоистка и удивляющая «друзей своевольем капризного нрава», стала брюзжащей скрягой, навеки в себя саму влюбившейся. А в грязном, сыром закутке того же домика-музея ютятся племянница-девочка, живущая из милости, из куска —

И когда ее старая тетка бранит,
И считает и прячет монеты, —
О, с каким удивленьем ребенок глядит
На прекрасные эти портреты!
Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства! (1956)⁵⁷

Вопрос не поставлен плоско-утилитарно или моралистически: поэт знает, что вопрос о происхождении и вопрос о ценности — разные вопросы. Он сам восклицает о ней, о старой актрисе: «какими

⁵⁴) Н. Заболоцкий. Стихотворения. 1957, стр. 110-111.

⁵⁵) Там же, стр. 99-100 и 70-71.

⁵⁶) Н. Заболоцкий. Стихотворения. 1957, стр. 107.

⁵⁷) Там же, стр. 113-114.

умами владела!» Он хорошо знает, что «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Но он хорошо знает, как часто злоупотребляют этим речением, — и не снимает в угоду эстетам вопроса о моральной оценке искусства.

Поэт зряч. Он благославляет теперь мир сущего, видя, что нет в нем тиши и глади и Божьей благодати. «Он знал, что покой — только призрак покоя»⁵⁸⁾, но это не помешало ему хвалить мир и чудо жизни.

Но поэт хорошо знает, что не все сущее благословенно, что не все красивое ко благу, что не все чарующее — к жизни. Часто за прекрасным и влекущим таится смерть. Часто прекрасное — мираж, обман. Пусть это не истинно-прекрасное, но оно тоже прекрасное. Но оно закрывает от нас подлинное.

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод. . .
. . . Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башни ярости и славы,
Где к копыю приставлено копые,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны мое.
Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.⁵⁹⁾

Поэт на распутьи, хотя и совершенно совершен и зрел, хотя и умен и весьма даровит. Но легче сатирически, гротескно о с у д и т ь мир, чем его воспеть и благословить. Легче найти гармонию в несовершенном, своеобразную красоту-выразительность бы в а н и я, чем прикоснуться, а тем более воплотить красоту живой жизни и подлинного бытия. Потому больше срывов и несовершенств в Забо-

⁵⁸⁾ Эта строчка в стихотворении Заболоцкого, опубликованном в журнале «Москва», в 1957 г., вызвала грозную отповедь «Литературной газеты» — см. статью Григория Соловьева «Современность — душа поэзии» в ном. 9(3820), от 21 января 1958.

⁵⁹⁾ «Чертополох» Н. Заболоцкого. «Литературная Москва», сборник 2-й, ГИХЛ, Москва, 1956, стр. 415-416.

лоцком восхождения, чем в Заболоцком начала — «Столбцов». Но не страшна ему ни стена чертополоха поэтической красоты, ни серые будни писания на заказ (таковы, напр., его первые нам известные «венецианские стихи» в январской «Литературной газете» 1958 г., в ном. 8).

Поэт с честью несет на себе непосильное бремя культуры. И в какой обстановке, в каких условиях! Поэт притом не только «кандидат былых столетий», но и носитель большой поэтической идеи — он «полководец новых лет». И мало кто подходил к эстетической реальности, как х о з я и н - п р е о б р а з о в а т е л ь, как подошел к ней Заболоцкий. Сквозь кровавую сумятицу сегодняшней неразберихи, сквозь муки и науки, сквозь банальность достижений и банальность поисков новизны ради новизны — идет он к миру переустроенного творчеством добра-красоты, к цветущей земле одухотворенного и обоженного завтра: он взывает к ней, к матери сырой земле, к Матери всего сущего:

.. Земля моя, мать моя, знаю
твой непреложный закон. Не насильник, но умный хозяин
жизнь он устроит свою. Знаю это. С какою любовью
травы к травам прильнут! С каким щебетаньем и свистом
птицы птиц окружают! Какой неистленно-прекрасной
станет природа! И мысль, возвращенная сердцу,
мысль человека каким торжеством загорится!⁶⁰⁾

1958

⁶⁰⁾ Отрывок неразысканной нами, а, вернее, неопубликованной поэмы «Птицы».

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

Помещенные ниже четыре стихотворения Н. Заболоцкого позаимствованы из журнала «Новый Мир» (№ 12 за 1957 г.) и служат дополнительной иллюстрацией к статье Г. Петрова.

ВЕЧЕР НА ОКЕ

В очарованьи русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого, и даже
Не каждому художнику видна.
С утра обремененная работой,
Трудом лесов, заботами полей,
Природа смотрит как бы с неохотой
На нас, неочарованных людей.
И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.
Вздыхнут леса, опущенные в воду,
И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.
Из белых башен облачного мира
Сойдет огонь, и в нежном том огне,
Как будто под руками ювелира,
Сквозные тени лягут в глубине.
И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.
Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

НАД МОРЕМ

Лишь запах чебреца, сухой и горьковатый,
Повеял на меня — и этот сонный Крым,
И этот кипарис, и этот дом, прижатый
К поверхности горы, слились навеки с ним.

Здесь море — дирижер, а резонатор — дали.
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали
И эхо средь камней танцует и поет.

Акустика вверху настроила ловушек,
Приблизила к ушам далекий ропот струй,
И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек,
И, как цветок, расцвел девичий поцелуй.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
Здесь время не спешит. Здесь собирают дети
Чебрец, траву степей, у неподвижных скал.

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

КАЗБЕК

С хевсурами после работы
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала
Заря, и, закованный в снег,
Двуглавым обломком кристалла
В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный,
Вдали, у подножья высот,
Курились туманные бездны
Провалами каменных сот.

И, с горных курильниц взлетая
И тая над миром камней,
Летела по воздуху стая
Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебен
Тому, что блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,
Скопление домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

А он в отдалении от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,
Внизу, из села своего,
Лишь мельком смотрели хевсуры
На мертвые грани его.

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

ГОМБОРСКИЙ ЛЕС

В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки по лете
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озареньи и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланьи огня,
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал,
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал.

С тех пор мне собратьями сделались горы,
И нет мне покоя, когда на трубе
Поют в сентябре золотые Гомборы,
И гонят в просторы, и манят к себе.

ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН

Фантаст не покидавший Родины

(АЛЕКСАНДР ГРИН)*)

1.

Еще весной 1930 года, за два года до смерти, его видели в Феодосии и в Старом Крыму. Белая, похожая на флотскую, фуражка и костюм сидели на нем так, что его принимали за капитана дальнего плавания. Когда осматриваешь его кабинет в Старом Крыму, кажется, что действительно находишься в каюте капитана парусного судна минувших времен. Здесь только самое необходимое: два стула, полка с книгами, модель порусника на столе и портрет Эдгара По на белой стене.

Видимо, и сам Грин смотрел на свой рабочий кабинет, как на капитанскую каюту. Об этом говорят такие его строки:

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни. А высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, — и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидаемой родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами.»

«Физическая» биография Грина сложилась так, что капитаном он не стал, хотя и пробыл некоторое время матросом.

«Я родился в городе Вятке в 1880 году 11-го августа, — писал Грин в «Автобиографической справке». — Образование получил домашнее. Мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку попал из Сибири, куда был в 1863 году сослан за восстание в Польше. Моя мать — русская, уроженка Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне было 11 лет.

16-ти лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил в торговом и Добровольном флоте. Я проплавал так три года, затем вернулся

*) Глава из книги «Ранние советские писатели».

домой и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений, я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в «Биржевых Ведомостях».

Раскройте написанные им книги, и вы увидите, что он был литературным Колумбом, Колумбом дерзновенного воображения и романтической мечты. Представьте, что кроме Европы, Африки, Америки, Австралии, есть еще одна часть света, — ее открыл Александр Грин, эту неизвестную до него землю с реками и озерами, с горами, долинами и холмами, с большими шумными городами, с кораблями и пароходами в оживленных портах.

Трудно поверить, что эта, еще одна часть света, создана Грином исключительно из воображения, из мечты. Грин достиг в этом такой естественности, что романтические координаты открытых им земель нельзя отличить от географических координат.

2.

В оценке творчества Грина критики, литературоведы и писатели не раз расходились во взглядах и мнениях.

«Талантливый эпигон Гофмана с одной стороны, Эдгара По и английских авантюрно-фантастических беллетристов — с другой», — писал о нем Георгий Лелевич в «Литературной Энциклопедии». Отзывы подобного рода — не исключение. «Местечковый Джек Лондон», «Доморощенный Киплинг с походкой прирученного медведя», «Райдер Хаггард в вятских лаптях», — вот выдержки из появившихся в разное время рецензий на Грина. Подробный обзор таких пренебрежительных отзывов был дан в 1935 году Борисом Соловьевым в статье «Иллюзии и действительность». В число тех, кому Грин якобы безропотно подчинился, по Соловьеву, угодили: По, Брет-Гарт, Уэллс, Конан-Дойль и многие другие. В 1948 году, в период травли так называемых «безродных космополитов», обзор Соловьева был подхвачен Тарасенковым в журнале «Знамя» и Виктором Важаевым в «Новом Мире», в статье «Нечистый смысл чистого искусства Александра Грина». Важаев и Тарасенков доказывали, что Грин русский писатель только по недоразумению, что ничего русского в его творчестве нет, и что даже русский язык у него напоминает язык переводов.

К сожалению, эмигрантская критика приняла пренебрежительные отзывы о Грине на веру, без переоценки. Юрий Иваск, например, писал: «Разве это писатель? Разве Грин чувствовал слово? Разве где-нибудь котировали его, так называемый, «символизм»?

Совсем по-иному оценивали творчество Грина М. Горький, М. Шагинян, Всеволод Рождественский, Юрий Олеша, Леонид Борисов, Цезарь Вольпе, К. Паустовский.

«Его рассказы созданы из такого вещества, из которого состоят сны, — писал о Грине Паустовский в альманахе «Год XXII». — Если бы Грин вложил свое неистовое воображение и талант в книги о подлинной жизни, такой, какова она есть, тогда, быть может, он стал бы в первые ряды писателей, чьи имена с любовью произносятся человечеством».

Исключительно высокого мнения о Грине Юрий Олеша. Вот что он пишет в отрывках из «Литературных Дневников», опубликованных во второй книжке «Литературной Москвы»:

«Его недооценили. Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь, надо же выдумывать. Он не подражает им, он им равен. Он так же уникален, как они. Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку.»

Когда подводишь итог отзывам о Грине, нетрудно заметить, что Грин был отвергнут критикой, но признан писателями и, притом, едва ли не лучшими из современных стилистов. То, что Паустовский и Олеша взяли за критические статьи о нем, в немалой мере объясняется их стремлением осадить и поставить на место критиков-профессионалов, которые не могли оценить и понять необычайного, крайне своеобразного Грина.

При этом выяснилось, что писатели знают Грина гораздо лучше критиков. Вольпе и еще один-два критика составляют счастливое исключение. Грином, по приблизительному подсчету Вольпе и его сотрудников, которые ознакомились с архивами писателя после его смерти, написано больше пятисот рассказов, романов, повестей, очерков (около 350 до 1925 года).

В СССР Грин необыкновенно популярен. Книги его продолжают переиздаваться. Были две попытки — одна дореволюционная, другая — предпринятая в период НЭПа издательством «Мысль», выпустить собрание его сочинений. Однако, ни полного, ни хотя бы частичного, какое охватывало бы и самый поздний период его творчества, собрания сочинений все еще нет.

Но если мы мысленно представим себе полное собрание его сочинений, куда входит все, им написанное, то произведения писателя можно разделить на две части: эпигонскую и вполне самостоятельную. Примерно одна треть написанного Грином показывает, что он — в самом деле набивший руку копировщик чужого, подражатель. Владимир Бонди, многолетний редактор «Мира Приключений», где Грин чуть ли не из номера в номер печатался в 1920—21 г. г., объясняет это тем, что вечно нуждавшийся писатель был вынужден время от времени работать наспех, считаясь, к тому же, со вкусами и привычками читателей. М. Шагинян же говорит, что Грин, подражая тому или иному из полюбившихся ему авторов, как бы изучал его манеру с тем, чтобы, отталкиваясь от заимствованного, пойти совсем иным, самостоятельным путем. Многие из критиков Грина

почему-то исходили исключительно из эпитонских его произведений, полностью игнорируя самостоятельные. Приведем примеры: в конце 20-ых г. г. Александр Грин выпускает два откровенно подражательных романа: «Сокровище африканских гор» и «Джесси и Моргиана». В первом случае это — компилятивная мозаика из Райдера Хаггарда, во втором — вариация на тему «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона. Но в тот же приблизительно период появляются и вполне самостоятельные произведения Грина, такие, где он ни на кого не похож. Это — роман «Бегущая по волнам» и «Фанданго», — книги, которые, после «Блистающего мира», составляют лучшее из того, что вообще было им создано. Паустовский и Олеша исправили несправедливость критики в отношении Александра Грина. Они указали на то, что в большей и, в то же время, лучшей части своих книг Грин — писатель самостоятельный и оригинальный.

3.

И Паустовский и, особенно, Олеша, говоря о Грине, в то же время защищают право писателя на воображение, на мечту. Но, открыв неизвестную часть света, Грин не забыл и не покинул свет старый — и, прежде всего, русскую землю, на которой жил. Вот лучшие рассказы и повести писателя из тех, где действие происходит в России и где герои — русские люди с русскими именами:

«Черный алмаз», «Таинственный лес», «Приключения Гинча», «Телеграфист из Медянского бора», «Крысолов», «Автобиографическая повесть».

При этом надо подчеркнуть, что русская тема никогда не была в творчестве Грина чем-то второстепенным. Деятельность писателя можно разделить на три периода: 1) дореволюционный, 2) военного коммунизма и начала НЭПа, 3) с начала НЭПа до тридцатых годов.

К числу лучших произведений первого периода относятся повести «Таинственный лес» и «Зурбаганский стрелок». К наиболее глубоким произведениям второго периода, который был в то же время вершиной творчества Грина, принадлежат рассказ «Крысолов» и роман «Блистающий мир» (впервые напечатан в 1923 г. в «Красной Ниве», а не в 1925-ом, как указывает альманах «Литературная Москва»). Наконец, переходя к последнему периоду творчества Грина, надо особо выделить «Автобиографическую повесть» и роман «Бегущая по волнам». Таким образом, Россия и «Гринландия» (созданная воображением автора часть света) как бы сосуществуют в творчестве этого автора на равных эстетических правах.

Какова же взаимосвязь между «Гринландией» и остальными частями света? Она достигается морским путем и, преимущественно, парусным флотом. Недаром быстролетный парусный корабль, «Бегущая по волнам» — главный герой одноименного романа Грина.

Капитаны, лоцманы, шкипера и юнги, бороздящие под парусами моря и океаны, стали героями таких романтических произведений писателя, как «Алые паруса», «Капитан Дюк», «Корабли в Лиссе», «Пролив Бурь».

4.

О том, какая существует взаимосвязь между Россией и воображаемой частью света, лучше всего судить по повести «Приключения Гинча». Лебедев, герой этой повести, после многих невероятных событий, становится Александром Гинчем.

«Лебедев, — пишет в этой повести Грин, — рассказывал мне о том, что произошло с ним. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы горевать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его.»

Стремясь преодолеть серость и скуку провинциальной жизни, Лебедев присматривается к революционерам. . . Не входит в их среду, а именно присматривается к ним. И он видит, что революционеры с ненавистью относятся к тому, что возбуждает в нем лишь неприязнь. Но и среди революционеров Лебедев чувствует себя одиноким и, пожалуй, лишним: «Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции».

Лебедев начинает с болезненной остротой ощущать различие между ненавистью и неприязнью. Из ненависти вырастает страсть к разрушению, из неприязни — желание изменить душу человека, освежить его чувства, помыслы, образ жизни. Так Лебедев начинает испытывать двойную неприязнь: и к старому, и к новому, и к чиновничьему провинциальному быту, и к революционному подполью. Но неумолимая судьба все крепче связывает Лебедева с подпольем. В газетах появляется сообщение:

«В комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Он скрылся бесследно.»

После этого дворянин Александр Лебедев получает фальшивый паспорт на имя Александра Гинча. С переменой паспорта Лебедев превращается в путешественника по воображаемым мирам. Александр Гинч все реже и реже вспоминает о сомневающемся и колеблющемся подпольщике Лебедеве.

И человек, превратившийся в Александра Гинча, уходит из революционного подполья в мир, созданный воображением и мечтой.

Сам Александр Степанович Гриневский, ставший Александром Грином, протестовал против полного отождествления своей индивидуальности с индивидуальностью дворянина Лебедева, превратившегося в «загадочного иностранца» Гинча, но находил, что в миро-

созерцании Лебедева-Гинча есть черты, близкие и понятные ему, Грину-Гриневскому.

И Лебедеву, и Гриневскому, был нужен «пожар воображений» Гинча и Грина для того, чтобы «победить тягостную бодрость сознания», когда «в фантастическом отсвете красных и золотых углей сходим мы к внутреннему теплу и свету души». Однако, сойти к такому свету не всегда удавалось обоим. Мешали «чувства в их неестественной обостренности», когда тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало «нервную силу в гулкую, при малейшем впечатлении тугую струну. И я как бы просыпался от дня к ночи с ее долгим путем внутри беспокойного сердца».

5.

О том, почему именно революционная тематика для Грина не случайность, а закономерность, мы можем судить хотя бы по биографии писателя.

Когда Грин отбывал воинскую повинность в Пензе, в пехотном полку, он сблизился с эсэрами и ушел в революционное подполье. Исполняя поручение партии, Грин дезертирует из полка и ведет нелегальную работу в Киеве и Севастополе. Осенью 1903 года его схватили и посадили в тюрьму. Вскоре его выпустили, но он попался вторично и был приговорен к ссылке в Тобольск, но в пути бежал. Грину посчастливилось добраться до Вятки, где отец достает ему фальшивый паспорт на имя Мальгинова. Под этой фамилией Грин и печатает в «Биржевых Ведомостях» свой первый рассказ. Его опять ловят и высылают в Архангельскую губернию: сначала в Пинегу, затем в Кег-остров.

Из ссылки Грин выходит не революционером, а писателем. Но после февральской революции Грин напоминает о себе, как о подпольщике. В 1920 г. он — командир Красной Армии в Острове, Псковской губернии. Этот период жизни Грина мало известен. Но, судя по материалам Псковского истпарта, он принимает участие в сражении с отрядами Булак-Булаховича.

С большевиками эсэр Грин, как и следовало ожидать, был не в ладах. М. Горькому пришлось воевать за Грина. Эсэровское прошлое тяготело над Грином до самых последних дней. Так, в конце 20-ых годов Феодосийский городской отдел наробраза не разрешил Грину, как бывшему эсэру, стать учителем географии в местной школе. Грин тогда сильно бедствовал. Отношение к нему писательских организаций К. Паустовский сравнивал с «отказом бросить утопающему спасательный круг».

Отразилось ли революционное прошлое на творчестве Грина? До революции Грин написал много рассказов из жизни подпольщиков: эсэров, меньшевиков, анархистов. Анархисты и социалисты встре-

чаются в его фантастических произведениях. До октября 1917 года Грин изображал революционеров в привлекательном свете. После революции его отношение становится двойственным.

«Я посмотрел множество интересных вещей во славу жизни, стойко бьющейся за тепло близких и пищу», — пишет Грин в «Крысолове», самом лучшем своем рассказе. «Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле, и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий.» В эти годы Грина мучительно волнует мысль: могут ли возникнуть новые миры из обугленных развалин? В нем ожила та неприязнь к разрушению, которая наметилась уже в «Приключениях Гинча».

Революция и гражданская война — это прежде всего разрушение, осуществляемое в стране с неистовой страстью «воистину — стихийным размахом».

«Вейния неслыханной дерзости, стихийного неодолимого сокрушения, — читаем мы в «Крысолове», — приподнятое чувство зрителя большого пожара, стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями: передо мной разворачивался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть».

И вот на пепелище прибывает «освободитель». Он уверяет толпу, народ, мир, что неслыханное разрушение — только начало небывалого созидания.

Но можно ли верить «освободителю», что счастье начинается с горя, а свобода — с насилия?

И кто он такой, этот «освободитель»? Во всяком случае, цель его — не свобода, а власть; обладание полнотой власти, которая ничем не ограничена, ничем не стеснена.

Тут галлюцинации, бредовое видение претворяется в символ: большевизм — это зверь, который выдает зло за добро и насилие за свободу. Это зверю удастся потому, что он имеет облик человека, и притом не просто человека, а народолюбца. В «освободителе» не трудно угадать Ленина.

В наши дни эти мысли не новы, но в те годы, когда Грин работал над своим «Крысоловом», обманчивые иллюзии еще не были развеяны, и многие и на Западе и в Советском Союзе тогда отождествляли коммунизм со светлым будущим, с весной человечества. Вот почему Грину нельзя отказать ни в мужестве ни в прозрении.

Кто же идет за «освободителем»? Те, кто хотят разделить с ним власть. Те, кому «благоприятствуют голод, мор, война», те, которые «убивают и жгут, обманывая блеском своих одежд и мягкостью речи». Герой «Крысолова», который ведет повествование от собственного имени, болен тифом и в тифозной горячке, в бредовом видении,

представляет себе «освободителя» чудовищной крысой, абсолютным властелином несметного скопища крыс:

«В его власти изменить свой вид, являясь как человек с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, движения, подобные человеческим и даже не уступающие человеку — как его полный, хотя и не настоящий образ. . . Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя, как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это.»

Напрасно было бы также думать, что, открыв новую часть света, Грин отгородил воображаемую землю от веяний времени, от событий, которые происходят в хорошо нам известном, в исследованном и изученном нами мире. Нет, «Гринландия» с ее шумными портами ощущает себя не оторванной от остальных стран мира, а, напротив, тесно связанной с ними, с их жизнью. Анализ романа «Блистающий мир» убеждает нас в этом.

Юрий Олеша в своих отрывках из «Литературных Дневников», когда говорит о Грине, особенно выделяет этот роман:

«Роман о человеке, который мог летать (сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат: обыкновенный человек). Роман вызвал общий интерес, как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг после нескольких описанных бегом по арене кругов, начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетает. . . Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка. Или, например, такая сцена: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище — окно маяка.

Вот когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа ему пришла в голову (летающий человек), он почти оскорбился:

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический».

Из этих слов видно, как относился сам Грин к лучшему своему роману. Он возмущился тем, что идея «Блистающего мира» может быть не понята. А идею поймешь, если припомнишь, что герой романа Друд, который может летать, как птица, обретает смертельного врага в лице «руководителя». Как и «освободитель» в «Крысолове», «руководитель» в «Блистающем мире» — абсолютный диктатор, пока еще не наяву, а в мечтах.

«Руководитель» жаждет власти над страной, над народом, над миром. Для «руководителя» власть — это все. Для Друда же власть — ничто. Смысл жизни для него в том, что он свободен, как птица. Из ощущения безграничной свободы вырастают сострадание и неодолимая потребность делать добро. Друд — поборник свободы. «Руководитель» — поборник власти. Борьба «руководителя» с Друдом —

символическое изображение борьбы диктатуры и свободы, которую Грин не мыслит без свободы личности, без свободы творческой индивидуальности.

Роман «Блистающий мир» не стоит особняком в творчестве Грина. Во многих своих произведениях; где действие происходит как в России, так и в вымышленном мире, писатель ставит целью утверждение человеческой личности. Революция и притягивала и отталкивала Грина. Притягивала романтикой, героизмом. Отталкивала болезненно мучительным восприятием противоречия между средствами и целью. Об этом противоречии Розанов в «Легенде о Великом Инквизиторе» писал: «Коренное зло истории заключается в неправильном соотношении в ней между целью и средствами: человеческая личность признается только средством, бросается к подножью возводимого здания цивилизации. . . Что-то чудовищное совершается в истории: человеческое существование, до сих пор вечное средство, бросается уже не единицами, но массами, целыми народами, во имя какой-то общей далекой цели. . . о которой мы можем только гадать. Когда же появится человек, как цель, которому принесено столько жертв, это останеся никому неизвестным.»

Александр Грин — один из немногих послеоктябрьских писателей, задумавшийся над тем, а стоит ли бросать массы и целые народы на невероятные лишения и страдания, во имя какой-то далекой, туманной цели, которая, к тому же, может оказаться мнимой, обманчивой, призрачной. И Грин выступает в защиту человеческой личности, за ее крайнюю независимость и свободу. Эта независимость и эта свобода для писателя — главная цель.

6.

Как определить место Грина в литературе, не преувеличивая и в то же время не принижая значения творчества писателя? Октябрь 1917 г. так повлиял на русскую литературу, что, в ряде случаев, ветром эпохи были повалены заборы, отделявшие друг от друга различные направления и группировки.

Грин, в наиболее зрелом периоде творчества, писатель как бы стоящий посреди — между поздним символизмом и поздним акмеизмом. Это подтверждают его методы работы над образом и над словом. Ранний Грин — в пейзаже, в обрисовке характеров — учился у Куприна. Позднее его стиль развивается в направлении от Куприна к прозе Валерия Брюсова и к прозе Н. Гумилева. Тому, кто хорошо знаком с Грином, эти наблюдения не могут показаться неожиданными. Особенно если вспомнить, что Куприн — автор романтического «Гранатового браслета». Черты сходства с прозой Гумилева заметны в относительно более поздних произведениях Грина.

То, что Эдгар По, портрет которого висел в рабочем кабинете Грина, и целый ряд западных писателей, от Меримэ до Амброза Бирса, повлияли на творчество русского фантаста — бесспорно. Все творчество Грина пронизано тем, чего кровно недостает русской послеоктябрьской литературе: неистощимым богатством фабулы. А о том, что значит фабула, можно судить по такому отрывку из статьи Льва Лунца «На Запад» (1923):

«Бульварной чепухой и детской забавой называем мы то, что на Западе называется классическим: фабулу. Умение обращаться со сложной интригой, завязывать, развязывать узлы, сплестать и расплестать — это добыто многолетней кропотливой работой и прекрасной культурой. А мы, русские, с фабулой обращаться не умеем, фабулу мы не знаем и поэтому фабулу презираем».

Александр Грин обращался не только к западным писателям, мастерски владевшим фабулой, но и к русским — забытым или полузабытым авторам. Приведу один пример: когда Грин работал над рассказом «Приказ по армии» и «Повестью, оконченной благодаря пуле», он заинтересовался творчеством Николая Каразина. Если вчитаться в эти вещи, следы влияния Каразина можно обнаружить и в пейзаже, и в эпизодах боя. Заинтересовал Грина и роман Каразина «Наль» образом главного героя Руман-Опального. Но Грин оказался неизмеримо большим романтиком и большим психологом, чем Каразин. Образ Руман-Опального — проясненный и выпрямленный, очищенный от наивного мистицизма и банальной мелодраматичности, фантастически перевоплощается в образ Довенанта, героя гриновского романа «Дорога никуда».

Тут сказались две особенности творчества Грина. Во-первых, воображение его оказалось настолько самостоятельным, что он, обращаясь порой к творчеству забытых и полузабытых авторов, как русских, так и западных, оказывался выше их. Тут заимствование — только шест, с помощью которого совершается прыжок в новое. Во-вторых, реальное и знакомое, попадая в поле зрения Грина, приобретает фантастические формы, образы и краски. Грин чувствовал слово и образ по-своему, необычно, не так как все.

«Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, — писал о нем Паустовский, — но был еще и очень тонким психологом. Он писал о самопожертвовании, мужестве — героических чертах, заложенных в самых обыкновенных людях. Он писал о любви к труду, своей профессии, о неизученности и могуществе природы. Наконец, очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин.»

7.

В Советском Союзе Грин необыкновенно популярен и в широких читательских кругах, и среди писателей, причем, повторяю, у са-

мых лучших современных стилистов. В чем «секрет» этой популярности?

Жизнь в Советском Союзе лишена романтической атмосферы, и читатель, вдыхая воздух «Гринландии», как бы надевает «кислородную маску». В романтике Грина читатель ищет забвения от серости и скуки, от постылой обыденности.

Современная советская проза часто натуралистична. В ряде случаев этот «плоскодонный натурализм» (термин Грина) опошляется примитивным иллюзионизмом пропаганды. В выдумке и фантазмах Александра Грина писатель видит как бы «противоядие» и от натурализма и от примитивного иллюзионизма. Кроме того, отмечается, что с 30-х годов в СССР сильно сократилось количество переводных фантастических и авантюрных романов. К тому же были закрыты такие журналы, как «Мир Приключений» и «Всемирный Следопыт», так что не бывать бы счастью, да несчастье помогло: оставшийся без конкурентов Грин стал «невольным монополистом».

Но роман «Блистающий мир», если прочесть его, как хотел Грин, то-есть как символический роман, не только разрушает новое идолопоклонство, то-есть культ вождей, преклонение перед ними, подчинение им, но и защищает веру в чудо, как основу христианского учения. Весь этот роман воспринимается как утверждение свободы личности, индивидуальности человека, вопреки силам, стремящимся поработить и растоптать личность. И читатель и писатель в Советском Союзе так и прочел «Блистающий мир» — как символический, а не как фантастический.

Как психолог, Грин многим обязан Лермонтову. Если Эдгар По был самой большой его западной любовью, то Лермонтов — русской. Грину удалось проникнуть в лермонтовскую манеру изображения человеческих характеров. Но ему не удалось приобщиться к удивительной прозрачности и тонкости лермонтовского стиля. Быть может, в этом сказывается некоторая ущербность Грина: большой и смелый писатель, он все же не вышел на столбовую дорогу русской литературы.

Д. ШУБ

Максим Горький и коммунистическая диктатура

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)

Советская печать недавно отметила 90-летие со дня рождения Максима Горького. Горький был большим писателем и замечательным человеком. Он до сих пор является одним из самых популярных писателей в Советском Союзе. Тираж книг Горького, выпущенных за годы советской власти, составляет почти 90 миллионов экземпляров. Они издавались 2377 раз на семидесяти шести языках, согласно отчету «Литературной газеты» от 20 марта 1958 г. Его пьесы до сих пор ставят во всех советских театрах. Его произведения продолжают переиздавать также и за границей.

Незадолго до юбилея «Литературная газета» писала:

«Горький неумоимо отстаивал принципы боевой, высоко-идейной партийной литературы со всей страстью и убежденностью художника, связавшего свою судьбу с коммунистической партией, поставившего свой огромный талант на службу советскому народу, советскому государству».

Что Горький неумоимо отстаивал принципы высоко-идейной литературы — несомненный факт. Но также несомненно, что Горький был ярким противником всякой партийности в художественной литературе и диктатуры партийных чиновников над литературой. Еще в своем раннем творчестве Горький выразил в художественной форме ту мечту о раскрепощении человека, ту волю к борьбе за права свободной личности, которая вдохновляла все русское освободительное движение. 30-го марта 1901 года в газете «Нижегородский Листок» Горький писал:

«Много ли среди вас настоящих людей? Может быть, человек 5 на 1000 найдется таких, которые страстно верят, что человек есть творец и владыка жизни, а право его свободно думать, говорить — святое право. Может быть, 5 из 1000 способны бороться за это право

и без страха погибнуть в борьбе за него. Большинство же из вас рабы жизни или наглые хозяева ее — и вы, и вы, — кроткие мечтатели, временно заменяющие настоящих людей».

Статья эта перепечатана в книге «Горький. Материалы и исследования», том III, изд. Академии Наук СССР (стр. 250).

Так писал Горький в 1901 г., так он думал и на склоне дней, как мы увидим.

Горький всю свою сознательную жизнь был революционером. Еще до первой революции он помогал значительными суммами подпольным изданиям Р.С.-Д.Р.П., в частности газетам Ленина «Вперед» и «Пролетарий». В революцию 1905—07 г.г. Горький идейно примыкал к большевикам и сблизился с Лениным. Потом порвал с ним и был членом большевистской антиленинской группы «Вперед», во главе которой стояли Г. Алексинский, А. А. Богданов, А. Луначарский и другие.

В 1912 году Горький сотрудничал в либеральном журнале «Вестник Европы», и в письме к его литературному редактору Н. Д. Овсяннико-Куликовскому характеризовал журнал, как «старейший, наиболее глубоко понимающий значение культуры, наименее партийный».¹⁾ В другом письме об известной книге Овсяннико-Куликовского «История русской интеллигенции», он писал: «С большим волнением прочитал вашу «Историю интеллигенции» и теперь рекомендую эту книгу разным начинающим писателям». В письмах к начинающим писателям 1912-13 г.г. Горький неоднократно отмечал в числе лучших книг — книгу Овсяннико-Куликовского.²⁾

Когда вспыхнула Февральская революция, Горькому было 49 лет. Теоретически он оставался революционным социал-демократом до самого октябрьского переворота, его газета «Новая Жизнь» часто брала под свою защиту Ленина. Но Горький до последней минуты не верил, что большевики готовят вооруженное восстание против Временного Правительства с тем, чтобы самим захватить власть и учредить диктатуру своей партии. И после октябрьского переворота никто так не бичевал большевиков, в частности — Ленина, как Горький. 7 ноября (20-го) 1917 г. он писал в своей газете «Новая Жизнь»:

«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и

¹⁾ М. Горький «Материалы и исследования», том III, Москва. 1941, стр. 143.

²⁾ Там же. Стр. 145.

посмотреть, что из этого выйдет? Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат».

10-го (23-го) декабря того же года Горький писал:

«Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой ученые бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадь может издохнуть. Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции».

В той же статье («Новая Жизнь») Горький писал о Ленине:

«Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной соц.-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин «вождь» и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его».

Далее Горький писал:

«В современных условиях русской жизни нет места для социальной революции, ибо нельзя же, по щучьему веленью, сделать социалистами 85 процентов крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов — инородцев-кочевников. От этого безумнейшего опыта прежде всего пострадает рабочий класс. . . Мне безразлично, как меня назовут за это мнение о «правительстве» экспериментаторов и фантазеров, но судьбы рабочего класса и России — не безразличны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому пролетарию: Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!»

9-го (22-го) января 1918 года в день похорон в Петрограде погибших от расстрела большевиками участников демонстрации в защиту Учредительного Собрания, Горький писал в «Новой Жизни»:

«Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания, — политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах

и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови — и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демонстрацию, которая манифестировала в честь этой идеи. Напомню, что многие из «народных комиссаров» сами же, на протяжении всей политической деятельности своей, внушали рабочим массам необходимость борьбы за созыв Учредительного Собрания. «Правда» лжет, когда пишет, что манифестация 5-го января была сорганизована буржуями, банкирами и т. д. и что к Таврическому дворцу шли именно «буржуи», «калединцы». «Правда» лжет, — она прекрасно знает, что «буржуям» нечему радоваться по поводу открытия Учредительного Собрания, им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии и 140 — большевиков. «Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской С.-Д. Рабочей партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет этого позорного факта».

Пока выходила его газета «Новая Жизнь», Горький не переставал бичевать коммунистическую власть. Потом большевики закрыли газету. Горький помирился лично с Лениным, но пессимизм его рос: «Пролетариат не готов к роли, которую навязала ему история», — говорил он в 1919 г. Е. Д. Кусковой, а писателю Б. К. Зайцеву он однажды сказал: «Дело, знаете ли, простое. Коммунистов горсточка. А крестьян миллионы. . . миллионы! . . Все предрешено. Это непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Предрешено. Коммунистов вырежут».

Позже, под влиянием, главным образом, вестей о белом движении, Горький решил сотрудничать с советской властью и воздействовать на нее.

«Довольно отсиживаться, — говорил он тогда своим друзьям. — Социалистическая демократия должна войти в ряды большевиков и незаметно их окружить. Надо постараться на них влиять, иначе они непоправимых глупостей наделают. Они уже сейчас черт знает, что творят».

Так, по словам Т. И. Манухиной, жены доктора И. И. Манухина, которые тогда были в большой дружбе с Горьким, у Горького возник план «окружения большевиков».

«В реальности, — пишет Т. И. Манухина, — это означало посадить на плечи советской власти социалистическую интеллигенцию всех толков и этим спасти страну от гибели, а революцию от контрреволюции». ³⁾

³⁾ См. статью Г. Таманина (Т. И. Манухиной) о Горьком в парижских «Русских записках», ноябрь 1938 г.

Свою деятельность Горький начал ролью заступника за гонимую «буржуазию», ходатая в стане большевиков. Он поднимает на ноги Смольный, настаивает, стыдит кого нужно. Если что не помогало, он ездил в Москву к Ленину. Не щадя слабого здоровья, ездил зимой в неотапленных вагонах, простуживался и болел. Когда начался массовый террор, — рассказывает Манухина, — Горький был возмущен до глубины души. Он мужественно заступался не только за либералов и демократов, но и за великих князей и кое-кого из них он спас от расстрела.⁴⁾ Великие князья Павел Александрович, Георгий Михайлович и Николай Михайлович были спешно расстреляны петроградской ЧеКа, осведомленной из Москвы, что Горький уговорил Ленина их освободить.

«Я примчался на вокзал с бумагой, подписанной Лениным, — рассказывал Горький тогда Манухиным. — Очень торопился, чтобы попасть на петербургский вечерний поезд. Случайно на платформе мне попала в руки вечерняя газета. Я развернул ее. . . Расстрел Романовых! . . Я обомлел. Вскочил в вагон. Дальше ничего не помню. Очнулся глубокой ночью в Клину, один в пустом вагоне на запасном пути».

По приезде домой Горький слег и не скоро оправился от нервного потрясения.

«Поначалу, — пишет Манухина, — Горький большевикам безусловно предан не был. Он спорил, многими декретами возмущался, террор ненавидел, за потерпевших заступался. Но потом начал путаться в противоречиях. В 1920–1921 годах его уже окружают писатели, художники, командиры, советские сановники. Он появляется в театрах, окруженный новыми людьми». Он создает в Петрограде «Дом ученых». Он задает тон петроградской общественности. Ему отпущены советским правительством большие суммы на его культурно-просветительные планы. Он принялся издавать в образцовых переводах произведения больших иностранных писателей.

«Новая жизнь, кипучая, полная преобразований, грандиозных целей, фактических возможностей была именно той жизнью, о которой он грезил и которую своей магически-революционной поэзией заклинал, — пишет Манухина. — Стоило Горькому «присягнуть» Кремлю, и перед ним открывалась беспредельность. Самые заветные желания его могли осуществляться, как в волшебном сновидении. . . Облагодетельствовать миллионы темного русского народа! Приобщить их к просвещению, к материальной культуре. Воспитать новое гражданское социалистическое сознание! Понять своих младших братьев! Этот просветительный педагогический пафос был ему свойствен и всегда одушевлял его общественную деятельность. Соблазн — пренебречь нравственной оценкой власти и воспользоваться ее

⁴⁾ См. об этом воспоминания вел. кн. Гавриила Константиновича «В мраморном дворце», изд. имени Чехова, Нью-Йорк.

силой был для Горького велик. . . К чему привело намерение Горького окружить большевиков? Ни к чему: окруженным оказался он сам».

Но до роли восторженного поклонника советской власти он дошел не сразу, а гораздо позже.

В 1921 году Горький выехал за границу. В это время Горький не только не был слугой коммунистического режима, но был, по его словам, «настроен мизантропически».

В эмиграции Горький, совместно с писателем-эмигрантом В. Ф. Ходасевичем, издавал журнал «Беседа». 8-го ноября 1923 г. Горький писал из Сорренто В. Ходасевичу по поводу циркуляра Крупской об изъятии из советских библиотек, обслуживающих массового читателя, религиозно-философских произведений Платона, Канта, Шопенгауэра, Владимира Соловьева, Л. Толстого и других: «Первое впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой? Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело».⁵⁾

В 1925 г. Горький писал о Короленко: «Он, ведь, для меня был и остается самым законченным человеком из сотен мною встреченных, и он для меня идеальный образ русского писателя». А, ведь, известно, как резко-отрицательно В. Г. Короленко относился к советской власти.

В 1927 г. Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому: «Жалуетесь, что проповедники хватают за горло художников? Дорогой Сергей Николаевич, это ведь всегда было. Мир этот — не для художников, им всегда было тесно и неловко в нем — тем почтеннее и героичней их роль. . . Мечтателей, чудаков, беспризорных одиночек особенно люблю». — Человек, настроенный коммунистически — так писать не мог.

В 1929 году Горький, после двухлетней переписки и настоятельных приглашений со стороны Сталина, вернулся в Россию.

Привез его в Россию П. Крючков, агент ГПУ, расстрелянный потом. Приезд Горького был событием.

Вот что в 1954 году рассказал на страницах «Социалистического вестника» о встрече Горького в Москве и об отношении его к кремлевской власти П. Мороз, бывший начальник и военный комиссар броневых сил на Юго-западном фронте в 1920 году, и в 1930 году руководитель «Севгресстроя» под Севастополем (в 1929 году Мороз сопровождал Горького при его объезде строителей, производившихся на Северном Кавказе, и совхозов, а потом встречался с Горьким в Крыму и много с ним беседовал):

«Когда вечернее радио Москвы сообщило о предстоящем приезде Горького, призывая население столицы к достойной встрече ве-

⁵⁾ В. Ходасевич «Горький», «Современные записки» (Париж), кн. 63, 1937.

ликого писателя, призыв был поддержан населением с таким энтузиазмом, с каким оно не поддерживало ни одного мероприятия «партии и правительства». «У очень многих граждан страны, — пишет Мороз, — помимо сердечного, любовного отношения к Горькому, теплилась надежда найти в нем, наконец, спасителя. Каждый думал: Горький — буревестник свободы, боровшийся столько лет с такой силой, с такой страстью против насилия и несправедливости — молчать не будет. Многие хотели даже думать, что приезд Горького — не просто визит туриста, а связан с какой-то политической миссией».

В июле 1929-го года, во время посещения Горьким Северного Кавказа, он высказал сопровождавшему его Морозу свое мнение об этой московской встрече в следующих словах: «Такие грандиозные встречи могут быть только при двух положениях: либо, когда народ живет в материальном, политическом и духовном довольстве, либо когда народ находится в абсолютной материальной, политической и духовной нищете и рабстве».

О какой именно жизни в Советском Союзе шла речь, Горькому стало ясно из первой же сотни писем, доставленных ему почтой в течение первого дня его пребывания в Москве.

Писали ему все. Писали и люди с именами, и начинающие писатели, обыватели, коммунисты и комсомольцы, директора московских заводов, инженеры и рабочие. Писали служащие всех рангов, от народных комиссаров до машинисток, артисты и артистки, отцы и матери, жены и дети, — умоляя в своих письмах о спасении арестованных детей, мужей, отцов и матерей. И на Северный Кавказ и в Ростов на Дону Горький приехал с полным пониманием «счастливой и веселой жизни» советских людей.

«В середине июля на устроенном в честь писателя ужине, — пишет Мороз, — на котором присутствовал и «хозяин» края — секретарь краевого комитета коммунистической партии — А. А. Андреев (позже член Политбюро), произошло мое первое знакомство с Горьким. После ужина, закончившегося довольно рано, Горький спросил меня, есть ли у меня свободное время, и пригласил поехать к нему, как он сказал: «для уточнения программы и плана экскурсии». Начали говорить о плане нашей поездки, как вдруг Горький меня спросил: «Вы бывший анархист?» — «Нет, — отвечал я, — откуда вы это берете?» — «Мне почему-то так показалось, — сказал Горький, — исходя из ваших дружеских отношений с Евдокимовым». В процессе нашей дальнейшей беседы Горький опять совершенно неожиданно задал мне второй вопрос: «А молчать вы умеете, когда надо?» Улыбаясь, я ответил: «Научили... молчу вот уже седьмой год». Горький заметил: «Это замечательно. Если не секрет, где вас научили молчать?» — «Пожалуйста, никакого секрета в этом нет. Первые уроки преподали на Лубянке, но они не дали желаемых результатов. Тогда был дан более длительный курс наук, — в читинской каторжной под начальством Губельмана, брата Ярославского».

— «И что же?», — спросил Горький.

— «Как видите, — ответил я, — слава Богу, молчу... молчу даже тогда, когда не надо молчать».

— «Мне хотелось бы задать вам еще один вопрос», — сказал Горький. «Скажите, пожалуйста, — только, если можете, откровенно, — как вы думаете, много в Союзе молчаливых?»

Прежде, чем ответить на этот вопрос, я спросил Горького: «А вы соблюдаете неписанное правило этики, по которому откровенность одной стороны налагает определенные обязательства на другую сторону?»

Горький посмотрел на меня и спросил: «Обязательство хранить тайну откровенности?» — «Да».

— «Ну, конечно, — сказал Горький, — я иначе и не мыслю нашей беседы».

— «В таком случае, пожалуйста. Я думаю, и почти уверен, что с 1927 г. число молчаливых в Советском Союзе на сегодня доходит до 80 процентов населения. Но завтра... безмолствовать будут все, кроме пропагандистов — алилуйщиков».

Горький с грустью посмотрел мне в глаза, помолчал, как бы раздумывая, и сказал: «Да, пожалуй, вы правы. Но почему же это так?»

На следующий день утром они отправились в совхоз «Гигант», на строительство Сальского элеватора и электрической станции. Горький во время посещения этих предприятий был сдержан, не вступал в беседы ни с администрацией, ни со служащими, ни с рабочими. Но при посещении колхозов Горький был весьма любознателен и внимателен. Знакомясь с колхозами, расположенными по направлению Ростов на Дону — станица Старо-Щербинская, Горький осматривал, вернее, знакомился с колхозами во всех деталях. При этом он особенно интересовался единоличными хозяйствами, не вошедшими в колхоз. Он знакомился с каждым двором и его хозяином. Вел длительные беседы, но о чем он говорил, никто не мог ничего сказать. Такие же методы применил Горький и при осмотре колхозов в районе станицы Екатерининская — Ростов на Дону.

Последним объектом посещения был «Россельмаш», к которому, несмотря на его грандиозность, Горький проявил полное равнодушие.

В гостинице Горький начал беседу следующими словами: «Если вы думаете, что я что-нибудь понял из того, что делается в станицах, то вы глубоко ошибаетесь. И как я ни стараюсь, как ни напрягаю свой мозг, чтобы понять все эти дела, творящиеся и с крестьянами, и с рабочими, и с городским людом, я ничего понять не могу. Я прежде всего не вижу целостности. Повидимому, стар я стал. Но людей, сопротивляющихся этому, я понимаю. Единственный, что мне представляется отчетливо, это то, что все это, вместе взятое, возвращает нас к пятидесятым годам прошлого столетия, но в более свирепой форме. Да, формы проведения в жизнь мероприятий такого социализма будут безусловно очень свирепыми».

«В свое время, — продолжал Горький, — главная задача передовой литературы прошлого заключалась в том, чтобы показать подневольный характер труда и раскрыть противоречия между огромной созидательной силой труда и угнетенным положением трудящегося человека.

Тогда были люди, которые, несмотря на ограниченные возможности, создали прочную традицию уважения к труду и свободе трудящегося человека, посвятив немало красивых страниц воспеванию труда. Конечно, такие люди есть и будут, но будут ли у них в будущем хотя бы те ограниченные возможности прошлого, я очень и очень сомневаюсь. Будут ли у литератора будущего хотя бы ограниченные возможности, изображая труд в нашем «социализме», поставить в центр своего внимания человека — радующегося труженника? Думаю — нет. В тумане всех событий представляются только или почти только страдания».

На следующий день Горький должен был уехать из Ростова. Вечером был устроен, по распоряжению А. А. Андреева, прощальный ужин, на котором Горький вел оживленную беседу, но, главным образом, он делился своими воспоминаниями о прошлом, не сказав ни слова о своих впечатлениях от виденного на Северном Кавказе.

Андреев, повидимому, недовольный этим направлением беседы, задал Горькому прямой вопрос о его впечатлениях от посещения организованных коллективных хозяйств.

Горький, отвечая, сказал: «Все дело коллективизации, по моему глубокому убеждению, должно быть построено исключительно на добровольных началах, никакого принуждения не должно быть. При соблюдении этого условия, коллективизация может дать весьма положительные результаты».

Прощаясь, Горький с грустью сказал: «Не унывайте, проживем — увидим. Я думаю, все образуется. При случае не забывайте меня. Я всегда буду рад потолковать с вами о нашей так не удавшейся жизни».

«Последующие мои встречи с Горьким, — писал Мороз, — относятся к 1934 и 1935 годам, когда Горький большую часть времени проводил в Крыму на даче ЦИК-а СССР, в двадцати километрах от Севастополя. Первая встреча с Горьким после пятилетнего перерыва произвела на меня гнетущее впечатление. Поразил меня внешний вид Горького. Когда-то высокий и худой, он превратился в совершенно сгорбленного, усталого человека, как ни старался он держать себя бодро. Горький внимательно слушал меня и, видя мое волнение и слезы, проступившие на моих глазах, успокаивающе сказал: «Вы очень болезненно и близко все принимаете к сердцу. Относитесь ко всему с некоторым холодком и поберегите ваши нервы и здоровье. Они вам еще пригодятся в жизни. Я вас, да и не только вас, а всех, тяжело переживающих события, понимаю. Трудно и очень даже бывает тяжело на душе, но вы в таких случаях должны прежде всего

помнить, что остановить колесо, делающее историю России, внутренними силами невозможно. Слишком уж далеко зашли. Слишком велики силы, подпирающие и охраняющие реакцию штыком. В этом я уже убедился и особенно после посещения Соловецких островов».

Это упоминание Горьким о его посещении концлагеря на Соловецких островах и высказанное им ясное понимание действительного положения в стране, дало Морозу решимость задать ему два вопроса: «Я, Алексей Максимович, — сказал Мороз, — часто задавал себе вопрос и сейчас задаю его вам, зачем вы приехали в Союз, после посещения 29-го года?» И второй вопрос: «Как вы могли допустить появление в таком виде в печати вашей статьи о Соловецких островах?»

«Видите ли, — начал Горький, — вы не первый задаете мне эти вопросы. Но я был поставлен в такие условия, при которых я не мог не приехать. К этому необходимо добавить, что статьи Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам», опубликованные в печати, явились результатом моих настояний о добровольности коллективизации. Это мне дало повод более оптимистически рассматривать значение моего приезда в Союз, хотя, повторяю, что не приехать я все равно не мог. Что же касается статьи с моими впечатлениями о Соловецких островах, опубликованной в печати, то там карандаш редактора не коснулся только моей подписи — все остальное совершенно противоположно тому, что я написал, и неузнаваемо».

Все последующие беседы с Горьким носили тот же характер огорчений. И ни разу Горький, кроме как по вопросу о народном просвещении, не сказал ни одного слова, одобряющего внутреннюю или внешнюю политку советской власти.

Даже в вопросах индустриализации, отзываясь с восхищением о растущих гигантах индустрии, Горький говорил: «Но сделать все это можно было бы со значительно меньшим напряжением сил».

Летом 1935 года Горький, ссылаясь на состояние своего здоровья, просил отпустить его в Италию. Сталин ответил отказом, но утешал его тем, что климат в Крыму не хуже, чем в Италии.

Известный французский литератор, русский по происхождению, Виктор Сэрж, который пробыл в России до 1936 года, в своем дневнике, напечатанном в 1949 году в парижском журнале «Ле Тан Модерн», рассказывал о своих последних встречах с Горьким:

«Я однажды встретил его на улице, — пишет Сэрж, — и был потрясен его видом. Он был неузнаваем — это был скелет. Он писал официальные статьи, в самом деле отвратительные, оправдывая процессы большевиков. Но в интимной обстановке ворчал. С горечью и презрением говорил о настоящем, вступал или почти вступал в конфликты со Сталиным». Сэрж также рассказывал, что по ночам Горький плакал.

В юбилейной заметке «Литературная газета» от 29-го марта 1958 года назвала Горького «основоположником советской литературы». А еще гораздо раньше — Горький был объявлен «основоположником пролетарской литературы и отцом социалистического реализма». И то и другое неверно. За все свое пребывание в Советском Союзе Горький не написал ни одной повести, даже ни одного рассказа, в котором он описывал бы окружающую его советскую действительность. В 1930 году он писал В. Вересаеву:

«Романа из современной жизни я не пишу, а затеял роман от 80-х годов до 1918 г. Кажется, это будет нечто подобное хронике, а не роман. Очень хочется мне научиться писать хорошо. Огорчаюсь. Написал большую повесть, взяв три поколения семьи фабриканта. Не знаю, что вышло. Вообще я не в себе как-то. Горький мне надоел, требования мои к нему растут, а он, видимо, бессилён удовлетворить их. Должно быть, уже поздно. Пятьдесят шесть лет.»

Описывал он в своих повестях только жизнь в дореволюционной России и в последующие годы.

Горький, хотя и говорил и писал о социалистическом реализме, но придавал ему совершенно не тот смысл, который ему придали потом казенные критики. Известно, например, что Горькому не нравились произведения Фадеева, Gladкова, Панферова и других признанных столпов «социалистического реализма». Хвалил он, наоборот, произведения таких писателей, как Тьнянов, «Серапионовы братья», Олеша, Федин и другие, которые никоим образом нельзя назвать образцами «социалистического реализма». А о советских поэтах он в 1934 году писал Ольге Бергольц:

«Современных поэтов я плохо понимаю, мне кажется, что стихи у них холодно шумят и вызывает этот шумок — как будто — чужой поэтам ветер. Читаешь и думается: через силу написано, от ума».

Как на образец «социалистического реализма», казенные критики обыкновенно указывают на повесть Горького «Мать», написанную им в 1906 году. Но сам Горький в 1933 году заявил своему старому другу и биографу В. А. Десницкому, что «Мать» — «длинно, скучно и небрежно написана». А в письме к Федору Gladкову он писал: «Мать» — книга, действительно только плохая, написана в состоянии запальчивости и раздражения».

В 1936 году Горький умер. В предисловии к третьему тому книги «Горький. Материалы и исследования», вышедшей в Москве в 1941 году под редакцией В. А. Десницкого, говорится, что «Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов». На процессе Бухарина, Рыкова, Ягоды и др. в 1938 г. в Москве, кремлевские врачи Левин и Плетнев показали, что они умертвили Горького по приказу Ягоды. Но, как известно, Ягода был только исполнителем воли Сталина. Горького убил Сталин, потому что

знал, что Горький внутренне не примирился с его диктатурой и рвется за границу.

В своей вышедшей по-английски книге «Тайная история сталинских преступлений», Александр Орлов, бывший помощник верховного прокурора Советского Союза, заместитель начальника Экономического Управления ГПУ, начальник экономического сектора Иностранного Отдела НКВД, а во время гражданской войны в Испании — особоуполномоченный Политбюро по организации контрразведки при республиканском правительстве, рассказывает о том, что Сталин до последних дней жизни Горького надеялся, что Горький напишет о нем книгу, как в свое время написал о Ленине. Когда надежд на это оставалось все меньше, он стал надеяться хотя бы на статью Горького о нем. Горький, если и обещал это сделать, то все оттягивал. Ягода, сообщает Орлов, прямо требовал у Горького написания книги, очерка или статьи о Сталине, но ничего не добился. Когда Сталин и Ягода увидели, что надежд на это нет, то круто переменили свое отношение к писателю. В своей книге Орлов пишет:

«После смерти Горького, служащие НКВД нашли в его бумагах тщательно спрятанные заметки. Когда Ягода кончил чтение этих заметок, он выругался и сказал: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит».

О нахождении этих, тщательно спрятанных дневников Горького, рассказал также на страницах «Соц. вестника» писатель Глеб Глинка. Глинка был тогда одним из ближайших сотрудников московского журнала «Наши Достижения», основанного Горьким. Немедленно после получения известия о смерти Горького, рассказывает Глинка, по распоряжению ЦК печати были созданы специальные комиссии для разбора и приведения в порядок архива Горького.

«В особняк на Поварской улице в Москве назначили группу из нескольких литераторов, под председательством редактора журнала «Наши Достижения» — Василия Тихоновича Бобрышева. Здесь рукописей оказалось много. Работали всю ночь. И уже под утро, когда все сотрудники едва держались на ногах, с нижней полки завалянной книгами и старыми газетами этажерки была извлечена еще одна объемистая папка, с какими-то старыми черновиками, и среди них оказалась толстая тетрадь в клеенчатой обертке.

К тетради сразу потянулось несколько рук. Кто-то раскрыл ее, в начале, в середине, еще раз в середине и в конце. Через его плечи смотрели остальные. Все молчали, но чувствовалось, как комната заливается туманом страха.

— Без паники! Ни один из сотрудников не сойдет с места! — И, тяжело опустив ладонь на закрытую тетрадь, Бобрышев прибавил: — Немедленно вызываю уполномоченного НКВД! Понятно, товарищи?

На Лубянке в кабинет следователя вызывали по одному. Каждый дал подписку о неразглашении. Каждого предупредили, что если, хоть одним словом проговорится, хотя бы собственной жене, — будет немедленно ликвидирован вместе со всем своим семейством.

Тетрадь, обнаруженная в особняке на Поварской улице, была дневником М. Горького. Полный текст этого дневника был прочитан разве только самым ответственным работником НКВД, кое-кем из Политбюро и уж, конечно, Сталиным.»

Не прошло и двух недель после разбора архива Горького, как журнал «Наши Достижения» и другие журналы были закрыты, и обслуживающие их редакционные работники, включая машинисток, арестованы. «Затем, пишет Глинка, начались повальные аресты всего горьковского окружения. Даже писателя Зазубрина, который, по стариковской дружбе, приходил вечерком к Горькому чайку попить, отправили в концлагерь. Письма Горького, находившиеся в руках у сов. граждан, предложено было сдать в государственный архив. Тех, кто не торопился с этим делом, вызвали на Лубянку. Тогда же были арестованы врачи, которые лечили Алексея Максимовича в последние годы его жизни.»

Если при жизни писателя партийные редакторы не особенно церемонились с его статьями, то теперь, когда Горького больше нет в живых, они самым бесцеремонным образом фальсифицируют его писания, вычеркивая из его статей все, что они находят нужным, приписывая к ним целые фразы, совершенно извращая смысл его высказываний по тому или другому вопросу. Вот один из примеров.

В своей книжке «Владимир Ленин», вышедшей в Ленинграде в 1924 году, на стр. 23, Горький писал о Ленине:

«Я часто слышал его похвалы товарищам. И даже о тех, кто, по слухам, будто бы не пользовался его личными симпатиями. Удивленный его оценкой одного из таких товарищей, я заметил, что для многих эта оценка показалась бы неожиданной. «Да, да, я знаю, — сказал Ленин. — Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много и даже особенно много обо мне и Троцком.» Ударив рукой по столу, Ленин сказал: «А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть!»

Все это редакторы посмертного издания собрания сочинений Горького выбросили, и взамен этого вставили следующую отсебятину: «А все-таки не наш! С нами, а не наш! Честолюбив. И есть в нем что-то нехорошее, от Лассалья.» Этого не было в книжке, написанной Горьким в 1924 году, вскоре после смерти Ленина, и изданной в том же году в Ленинграде.

Книга Горького о Ленине заканчивалась (в 1924 г.) такими словами:

«В конце концов побеждает все-таки честное и правдивое, созданное человеком, побеждает то, без чего нет человека.»

В собрании сочинений Горького эти его слова выброшены, а вместо них партийные редакторы вписали такую отсебятину: «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто никогда нигде в мире не работал.»

Это только один из примеров, как казенные редакторы в угоду власти фальсифицируют произведения М. Горького.

АЛЕКСАНДР ШИК

ЮНОСТЬ НИКОШИ

ИЗ КНИГИ «БЕЗРАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ ГОГОЛЯ»

Нередко было встретить в начале 19-го века во многих глухих углах Малороссии старые помещичьи дома, не слишком большие, но все же поместительные, закинутые как куца в сень густых столетних тенистых деревьев. Родственники их владельцев, а не то просто как к «своим» заезжавшие гости размещались в незатейливых комнатах, проводя дни, а подчас и недели у радушных хозяев, радостно встречавших всякого, кто прибывал и тем вносил хоть какое-нибудь оживление в слишком однообразно тянувшееся деревенское бытие.

Сытный стол, хлебосольство и кропотливое хозяйствование таких «старосветских помещиков», заботы о «варенье, соленье и сушенье», словом «низменная, но бесхитростная жизнь», таила, однако, в себе «неизъяснимую прелесть» и чаровала своим буколическим уютом. Немудрено, что, случалось, заехавший как бы проездом путник загащивался и, как рассказывали, иногда оставался затем жить годами.

Таким уцелевшим осколком дедовской старины было и имение родителей Гоголя — Яновское-Васильевка. Старый сад «во вкусе всех украинских садов» давал в летнюю страду живительную прохладу богатой сенью своих густых деревьев. За садом была поляна, а еще дальше — живописный пруд с беседками и гротами по берегам, откуда можно было, любясь открывавшимися видами, наслаждаться ароматом душистых лип и богато покрытых цветами акаций.

Не раз позднее Гоголь, когда ему не под силу становилось пребывание в городе «с его сутолокой и беготней», уносился мыслями и воспоминаниями в размеренный быт старых украинских семей, в поисках отдохновения мечтая «сойти на минуту», как он писал, в сферу «этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, напоенного яблонями и сливами, за деревянные избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиной и грушами. Жизнь их скромных обитателей так тиха, так

тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют».

Родился Гоголь в такой счастливой и спокойной обстановке 19-го марта 1809 г. худым и болезненным ребенком у 18-летней хрупкой и красивой Марии Ивановны — один из товарищей Гоголя по школе называл ее в своих воспоминаниях «дивной красавицей» — жены Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, «состоявшего при мало-российском почтамте по делам сверх комплекта».

Отец Гоголя, поэтическая натура и мечтатель, плохо справлялся с практическими вопросами жизни. Главной страстью его было разведение голубей. Впрочем, писал он и стихи, и пьесы для театра — их известно три, из которых Гоголь, между прочим, взял эпиграфы для своих «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи». Ставились они в домашнем театре соседа его, бывшего сенатора и министра юстиции Екатерининской поры Трощинского, приходившегося родней Марии Ивановне и проживавшего в отставке «царьком» — в своем богатейшем имении «Кибинцах». Гоголь-отец и прошения, которые ему приходилось подавать в присутственные места, писал в стихотворной форме, отчего они, однако, не становились убедительнее. В имени своем он для сентиментальных мечтаний строил гроты и разбивал «долины спокойствия». Любил он читать чувствительные романы. Жену свою, которая за особую белизну своего красивого лица была прозвана «белянкой», он любил «неописанной любовью». Счастье супругов было «непрерывным, невозмущаемым», оправдывая полностью избранный себе отцом Гоголя девиз: «Доволен я своей судьбой».

Семья была очень набожная, к тому же и крайне суеверная, особенно мать. Вера в предчувствия и сны царил в доме, сказавшись позднее в полной мере и на Гоголе. «Никоша», как его любовно прозвали обрадованные его появлением родители — двое родившихся до него детей умерли вскоре после рождения, — рос хилым, золотушливым ребенком. В доме все его безмерно баловали и обожали, а не чаявшая в нем души мать с ранних его лет ожидала от него невероятных успехов в жизни.

Мальчик был болезненный, странный. Иногда его охватывал какой-то непонятный и беспричинный страх, порой чудились ему какие-то неземные голоса. Первое воспитание дали ему родители сами, а затем «Никошу», как это тогда водилось, сдали на руки какому-то забредшему в имение семинаристу, который и подготовил ребенка к поступлению в полтавскую гимназию.

Гоголь пробыл в ней три года с 1818 г., а затем, чтобы отвлечь его от свежей могилки умершего к тому времени младшего брата, его перевели в только что открывшуюся «Гимназию Высших Наук имени Безбородко», в Нежин, куда его в 1821 г. сдали под присмотр преподавателя немецкого языка Зельднера, чванливого и ограничен-

ного педагога, объявившего как-то отцу Гоголя: «без маленьких благородных наказаний не воспитывается ни один молодой человек».

Привез его в школу в бричке отец закутанным в одеяла, шубы и свитки, так что с трудом можно было добраться, наконец, до щедрого, некрасивого мальчугана, каковым он представился своим новым товарищам. Излишняя, проявленная родителями заботливость породила у сверстников в школе мысль, будто мальчик был болен какой-то неизлечимой болезнью, а внешний, далеко не опрятный вид его вызывал невольно какое-то брезгливое к нему чувство.

Он был худ, лицо его покрыто прыщами. Пестрый цветной платок был повязан вокруг ушей, из которых постоянно капали выделения. Глаза также были обрамлены красным золотушным ободком. В носу, который он к тому же часто ковырял, повидимому, был у него полип, мешавший ему свободно дышать. Носовых платков он не имел, рук не мыл, платья не чистил. При нем состоял особый дядька, дикий и грубоватый усач с чубом на макушке, оставлявший после себя более чем ощутимый запах, не выветривавшийся неделями. О нем, очевидно, вспоминал позднее Гоголь, когда писал в «Мертвых душах» о лакее Петрушке.

Карманы Гоголя были всегда набиты медовыми пряниками, дешевыми конфетами и даже мочеными грушами. Все это он постоянно перебирал и вынимал из карманов, вечно что-либо жевал в классе и глотал быстро и жадно. Один из «однокорытников» Гоголя по гимназии вспоминал: «Тошно было смотреть на него в это время, особенно, когда он забывался и чавкал, а потом сопел».

Школьники первое время избегали своего нового товарища, а он, сознавая вызываемое им невольное отвращение, еще более дичился, застенчивый и без того, и делался вовсе нелюдимым, замыкаясь в себе и питая тайную злобу к своим сотоварищам. Однако, здоровье его в школе стало быстро поправляться, и он вскоре мог сообщить матери: «Благодаря Бога, я здоров».

Сохраняя свою неряшливость и отличаясь еще упрямством и своеобразной ленью, он, однако, постепенно стал привыкать к новой для него школьной обстановке и, дав понемногу волю своим природным, заглушенным до того качествам, сделался веселым и большим охотником до всяких проказ и шалостей. Он даже начал поражать всех своими выдумками. Так, раз он стал убеждать одного из своих сошкольников, Риттера, парня мнительного и, видимо, не слишком умного, что у того не человечьи, а бычьи глаза. Делал это Гоголь с такой настойчивостью и убедительностью, что несчастный товарищ его — на радость всем остальным — поверил выдумке, потерял сон и должен был быть отправлен на поправку в лазарет. В другой раз Гоголь прикинулся сумасшедшим, да так правдоподобно, — у него даже на губах появилась пена, — что в гимназии поднялась целая кутерьма, и Гоголя поместили на испытание на несколько недель в гимназическую больницу. Впрочем, это, вероятно,

и было главной целью баловника, так как пребывание в лазарете с его сравнительной свободой от постоянного и неусыпного наблюдения надзирателей было настолько приятнее сидения в классах, что проказник мог лишь мечтать об этом.

Особенно обнаружился комический дар Гоголя на спектаклях, которые ставились в школе и в которых он принимал деятельное участие. Играли русские комедии: «Недоросль» Фонвизина, «Неудачный примиритель» Княжнина и другие, а также пьесы Мольера: «Скупой» и «Врач поневоле». Готовясь к роли «Скупого», Гоголь месяц упражнялся, чтобы нос его сходился с подбородком, а исполняя в пьесе, написанной им с одноклассником своим Прокоповичем, ставшим потом его лучшим другом на всю жизнь, роль дряхлого старика, Гоголь кряхтел, кашлял и хихикал, да так, что публика не переставала смеяться, пока он находился на сцене. Венцом его сценических успехов было исполнение им роли Простаковой в «Недоросле». Пащенко, один из восторженных его зрителей — товарищ по гимназии — прямо утверждал позднее, что «ни одной актрисе не удавалась эта роль так хорошо, как 16-летнему Гоголю».

Об этом поразившем его таланте юного комика говорил много позднее и украинский писатель А. П. Стороженко, повстречавший 18-летнего «скубента» Гоголя в доме одного помещика, где нежинский лицеист находился в числе гостей. Гоголь сразу пришелся по сердцу своему однолетку Стороженко, отметившему «его неправильное, но довольно красивое лицо, которое имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, озаренный лучем гения». «Улыбка его, — вспоминал Стороженко, — была приветливая, но вместе выражала иронию и насмешку». Гоголь смешил присутствующих, у которых от смеха «животы надрывались», — повествует Стороженко, — ловким передразниванием общих знакомых, слава о котором уже предшествовала его появлению в доме хозяина. Но, конечно, ни он, ни гости, как и товарищи по школе не могли и думать, что этот «белокурый» юноша «с длинными нерасчесанными волосами, с ленивым взглядом и неуклюжей в общем походкой» станет одним из великих русских писателей.

А писать он начал еще в гимназии, где редактировал издававшийся там журнал. В 1825 г. он в гимназическом литературном кружке читал одно из своих произведений «Братья Твердославиичи, — Славянская повесть», которую разорвал тут же на мелкие кусочки и сжег в топившейся печи — жест, как бы предвещавший предсмертный жест, когда он сжег вторую часть своих «Мертвых душ», — как только кружок разнес беспощадно это юношеское произведение начинавшего писателя.

Нежинская гимназия была рассчитана на девятилетний курс учения в трех отделениях, по три класса в каждом. Ученики интерната размещались в особых дортуарах, которые носили название «музеумов». Преподавание велось плохо, учиться было не у кого,

да и нечему, хотя в старших классах читали и историю римского права, и словесность русскую, французскую и немецкую, и теорию естественного права. Последний предмет вызвал даже недовольство высшего начальства, обвинявшего профессоров в вольнодумстве и неблагонадежности. Завязалось целое «дело о вольнодумстве», к которому некоторое касательство имел и Гоголь: сделанный им конспект лекций по естественному праву, содержавший якобы «зловредные» идеи, ходил по рукам учеников. Гоголя вызывали на допрос и имя его упоминалось в материалах следствия, тем более, что он открыто стал на сторону той части профессуры, которую преследовали по обвинению в какой-то связи с одним из декабристов.

Шли школьные годы. Гоголь о них как-то сказал позднее: «Я получил в школе воспитание довольно плохое», тогда как один из его бывших воспитателей утверждал: «Гоголь в гимназии ничему не научился, даже русскому правописанию». Действительно, преподавание, за исключением уроков одного-двух учителей, велось бестолковым, неискусно, по устарелым методам. Правда, в аттестате, выданном Гоголю при выпуске, были отмечены его «очень хорошие успехи по нравственной философии, логике, гражданскому и римскому праву, государственному хозяйству и другим предметам». Это была обычная, чисто формальная оценка пройденного им курса, тогда как сам Гоголь о своем пребывании в Нежине категорически заявлял: «Я потерял целые шесть лет даром; нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще...»

Еще в школе Гоголь увлекался рисованием — делал он это даже украдкой в классе, прикрываясь обязательной для учеников грифельной доской, — а также работой масляными красками. По отзывам выдавших в свое время эти его работы, он будто бы на одном из своих полотен очень недурно изобразил беседку над прудом в Васильевке, окруженную высокими тенистыми деревьями, с характерными для нее, как и для барского дома, остроконечными окнами. Гоголь, между прочим, очень любил, когда бывал в деревне, сживать в этой беседке.

К концу своего пребывания в гимназии Гоголь отрастил уже маленькую острую бородку и стал больше обращать внимания на свой внешний вид. С некоторых пор он не раз обращался к матери с просьбой то «прислать два жилета», то «голубой материи для жилета», то «деньги портному, который каждый день надоедает напоминанием о долге в 10 рублей за шитье сюртука». Любопытно тут привести рассказ вышеупомянутого Стороженко о фраке, в котором был Гоголь, когда они повстречались. «Был он, — рассказывает Стороженко, — оливкового цвета, с синим бархатным воротником, длинным-предлинным; талия начиналась от лопаток, а узенькие фалды достигали до икор». Гоголь, как оказывается, не удержался от того, чтобы по своему обыкновению не пошутить зло над рассказчиком, на котором в свою очередь были «шалоновые панталон-

ны, имевшие в своей молодости самый нежный розовый цвет». Гоголь немало смутил Стороженко, заявив ему, что «плюндеры» эти, к тому же в обтяжку, своим телесным цветом производят на него впечатление, будто Стороженко и вовсе без них, так что тот до самого отъезда не мог придти в себя.

Несмотря на все старания свои, Гоголь, однако, все-таки оставался невзрачным и производил впечатление неряшливое. Природная робость и застенчивость, которые ему не удавалось преодолеть, заставляли его и дальше как бы отгораживаться внешне от приятелей, замыкаться в себе, тогда как повышенное самолюбие вызывало в его болезненном воображении призраки каких-то им самим выдуманных несправедливых нападков и укоров. За все это товарищи прозвали его «таинственный карла». О своих бессознательных мучительных юношеских переживаниях, залегших где-то глубоко и на всю жизнь в тайниках души, Гоголь с горечью писал в одном из своих писем 1828 года к матери. «Вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливых, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и пр. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб».

В то же время в нем «пламенела неугасимая ревность сделать жизнь свою нужной для блага государства». В письме к одному из своих приятелей он как-то утверждал: «Я кипел принести хоть малейшую пользу... Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага...» Эти с детства лелеянные им мечты прозвучали много позднее в строках его «Авторской исповеди», когда он писал: «мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего блага.» Мечты о сужденной ему роли наставника и учителя человечества, в зарождении которых не малую роль сыграли и исконные чаяния матери, ожидавшей от своего «Никоши» чуть ли не с пеленок чего-то особенного, руководили всю жизнь Гоголем, доведя его после безрадостной жизни до роковой ее развязки.

Подраставший Гоголь, размышляя на досуге о предстоявшем ему воздействии на судьбы мира, пока что все больше времени посвящал заботам о внешнем облике будущего преобразователя рода человеческого. К концу пребывания его в лицее в нем окончательно укоренилась заботливая мысль, не покидавшая его и впоследствии, о необходимости быть всегда элегантно одетым. С течением времени она преобразилась в определенное и иногда смешное щегольство. Провозгласив как-то и вполне правильно: «одевается дурно не тот, кто беден, а тот, кто не имеет вкуса или кто слишком хлопочет об этом», Гоголь и в этом вопросе, как, впрочем, и во многих других, почти всегда впадал в явное с самим собою противоречие.

В полону у этой, так мало вязавшейся с его мечтами о роли его в судьбах родины, заботы и несмотря на скудость находившихся

в его распоряжении средств, Гоголь перед окончанием гимназии писал уехавшему до него в Санкт-Петербург приятелю: «Нельзя ли заказать портному самому лучшему фрак для меня? Напиши также, какие материи у вас на жилеты, на панталоны? Какой у вас модный цвет на фраки? Мне очень хотелось бы сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется...»

Кончив курс в гимназии в 1828 г., Гоголь обрядился в светлокоричневый сюртук, полы которого были подбиты красной материей в клетку. Наряд этот он носил очень гордо и как бы случайно все раскидывал при движениях полы сюртука, чтобы хорошо видна становилась подкладка, в Нежине тогда считавшаяся верхом изящества. Он и матери своей, чтобы держать ее в курсе того, что носили, исправно посылал «Картинки здешних мод».

Отца он потерял еще во время пребывания в гимназии, перенеся эту потерю «с твердостью истинного христианина». Зная, что на руках овдовевшей матери оставались подраставшие сестры его, Гоголь заботливо следил за доходностью имения. Он то советовал завести завод для выделки черепиц, то указывал, что знает «для стен и штукатурки один дешевый способ», то запрашивал, «успешно-ли у вас винокурение и приносит ли доход?» Делал он эти указания совершенно не заинтересованный лично, так как, побывав в родном гнезде, окончательно отказался от своей части наследства, чтобы облегчить матери ее тяжелую задачу вырастить и обеспечить дочерей.

Его влекло на широко открытую тогда для каждого дворянина и заманчивую стезю государственной службы. Одна мысль напрягла все его способности и владела его душой: открыть себе дорогу в «большом» свете. Запасясь неиспользованным им, однако, в дальнейшем рекомендательным письмом сановного родственника и благодетеля Троицкого, обширной библиотекой которого в «Кибинцах» он часто пользовался, Гоголь покатил в поместительном экипаже в манивший его и суливший всякие жизненные успехи Санкт-Петербург в глубокой и, казалось, необманной надежде на свои «настойчивость и терпение».

Усталые, замороженные и простуженные приехали Гоголь с приятелем Александром Данилевским и крепостным слугою Якимом Нимченко в Петербург. На первых порах остановились они в гостинице у Кокушкина моста, а затем сняли небольшую квартирку поблизости. Надежда как-нибудь устроиться и сносно жить на скромных началах до приискания службы сразу же не оправдалась. На первых же порах Гоголю пришлось столкнуться с непривычной ему столичной дороговизной. «На меня напала хандра, я уже около недели сижу поджавши руки и ничего не делаю», — жаловался он матери тотчас по приезде в Санкт-Петербург, — «жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру платим восемьдесят рублей

в месяц за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат. Съестные припасы также не дешевы. Это все заставляет меня жить как в пустыне, я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия — видеть театр!»

Сетования Гоголя были не совсем основательны, так как, по словам слуги его Нимченко, записанным В. Горленко, у него и тут, и позднее на углу Гороховой и Малой Морской, куда Гоголь затем переехал и где у него было уже пять комнат, раза два в неделю собирались по вечерам гости: «бывали часто земляки, из прочих — Пушкин бывал, генерал Жуковский, полковник Плетнев, еще много, позабывал всех», — рассказывал словоохотливый Яким, которого впоследствии Гоголь перед смертью успел «отпустить на волю». Правда, Гоголю пришлось сразу истратить немало денег на экипировку на столичный манер. От дорогого голубого фрака, о котором он так мечтательно писал другу еще из Нежина, ему пока что пришлось отказаться и появился он в его гардеробе только много позднее, но зато, правда, с золотыми пуговицами. «Но все же, — отчитывался он теперь перед матерью, — покупка фрака и панталон стоила мне двухсот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, на перчатки.»

Едва осмотревшись в столице, Гоголь понял, что имевшихся в его распоряжении средств ему никак не могло хватить даже на самую неприятную жизнь, а за удовлетворением необходимых на первое обзаведение сравнительно крупных расходов, он стал далее буквально нуждаться. В отчаянии он тогда написал матери: «Как добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в жизни.»

Кутузов, благодетель, к которому у Гоголя было письмо Троцинского и который должен был порадеть о нем, лежал опасно больной; все же, едва оправившись, он радушно принял его, но этим и ограничился, ничего не сделав для подыскания подходящей Гоголю должности. Деньги его все уходили и неизбежные расходы все накладнее становились для его «неплотного кармана». Матери он снова писал: «Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег.» Поясняя ей далее, что закабалить себя за 1000 рублей в год на службу, которую ему будто бы предлагали, «за цену едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола», нет смысла, он был вынужден все снова просить ее о присылке еще нескольких добавочных сотен рублей.

«Я отказываюсь от всех удовольствий, — писал он ей снова в апреле 1829 г., — уже не франчу платьем, как было дома, и имею только пару чистого белья для праздника или для выхода, и халат для будня. . . Дом, в котором я обретаюсь, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, молочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. На-

турально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. . . Я живу на четвертом этаже».

Неудивительно, что мать Гоголя, души не чаявшая в своем «Никоше», получая от него постоянно такие жалобные письма, из сил билась, чтобы урвать из хозяйственных денег потребные ему на жизнь в Санкт-Петербурге средства. Высылала она, сколько могла, как только приходили от него заполненные сетованиями вести, а таковыми, собственно говоря, были все письма Гоголя за первые годы его жизни в столице.

Между тем «гордые помыслы юности, не будучи умеряемы благородием», попрежнему обуревали Гоголя. Он метался, не зная, как устроить свою будущность и не видя осуществления надежд своих на служебную карьеру. И вдруг, когда им уже овладевало отчаяние, от матери неожиданно поступили крупные по тому времени деньги. Она выслала сыну 1.450 рублей для взноса в Опекунский Совет за находившееся в залоге имение. Гоголь совершенно потерял голову. Без всякого разумного основания и под выдуманым им вздорным предлогом необходимости бегства из города, как единственно оставшегося ему спасения от якобы охватившей его страсти к какой-то никому неизвестной и, конечно, только в его воображении существовавшей прелестнице, Гоголь вдруг решил ехать за границу.

Покидая город в день отплытия судна — Гоголь решил ехать морем — он отправил матери письмо, в котором, между прочим, писал: «Нет, не назову ее. . . она слишком высока для всякого, не только для меня. . . Нет, это не любовь была. . . я жаждал, кипел упиться одним только взглядом. Это существо, которое Он послал лишить меня покоя, не было женщина. . . но, ради Бога, не спрашивайте ее имени, она слишком высока, высока. . .» И далее: «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя. Все деньги, следуемые в Опекунский Совет, оставил я себе. . . Поступок решительный, безрассудный. . .», — добавлял он, пробуя хоть как-нибудь оправдаться перед матерью.

Боготворившая его мать, получившая этот как бы предвосхищавший речи будущих героев Достоевского бессвязный и нелепый покаянный крик Гоголя, восприняла его со всей любовью, на которую одна была способна, и, заранее простив сына, с трепетом стала ждать дальнейших вестей от беглеца.

Гоголь, взяв билет на шедший в Любек пароход, выехал из Петербурга 24-го июля и, через Борнгольм и Данию, прибыл в Травемюнде, выдержав в дороге два дня сильной бури. Еще с дороги он отправил матери, как всегда, нежное письмо и, забыв, что только что еще объяснял свой неожиданный поступок желанием вырваться из-под власти очаровавшей его красавицы, — «кто бы мог ожидать от меня подобной слабости», — писал он в предыдущем письме, — теперь объяснял свою поездку потребностью лечиться от золотухи.

«У меня, — писал он, — высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь», ввергая этим сообщением мать в новые тяжелые заботы о больном сыне. Впрочем, в Травемюнде он, действительно, в течение двух недель пользовался местными соответственными целебными водами.

В последнем письме отсюда он сообщал матери: «Климат здешний ощутительно исправил меня, тело мое совершенно здорово, одна только бедная душа моя страдает.» Накупив множество красивых безделушек и побывав проездом в Любеке, Гоголь положил конец своему таинственному выезду за пределы родины и 22 сентября 1829 г. водворился снова на своей петербургской квартире. Матери он в ответ на разные ее напрашивавшиеся догадки о роде недуга, вызвавшего лечение водами в Травемюнде, успокоительно и вместе возмущенно писал теперь: «Как вы могли подумать, что я — добыча разврата. . . решились приписать мне болезнь, при мысли о которой всегда трепетали от ужаса самые мысли мои.»

К счастью для Гоголя, Троцкий, которому, как постоянному радетелю семьи, Мария Ивановна не преминула сообщить обо всем происшедшем, за время безрассудного отсутствия Гоголя уплатил с легкостью долг в Опекунский Совет, не постеснявшись, правда, высказать свое суждение о виновнике: «Мерзавец, — заявил он, — не будет от него добра.» Гоголю таким образом оставалось лишь каяться в своем легкомыслии и продолжать поиски доходной должностишки. . . «Ради Бога, — писал он матери, не перестававшей болеть за своего «Никошу», — не беспокойтесь о моей участи. В скором времени я надеюсь определиться на службу». Правда, одновременно он продолжал свои постоянные жалобы. . . «Не могу издерживать менее ста рублей в месяц, никого у себя не принимая, не выходя никогда почти ни на какие увеселения и спектакли, отказавшись от самого любимого моего развлечения — театра.»

Не умея определиться на службу в министерства, Гоголь попытался найти себе применение на сцене. Секретарь кн. Гагарина Мундт рассказывал, как в его канцелярии появился как-то «молодой человек весьма непривлекательной наружности с подвязанной черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном». Проситель — это был Гоголь — желал быть представленным директору Императорских театров кн. Гагарину, которому и пояснил затем, что, чувствуя призвание свое к сцене, хотел бы «поступить на театр». Его направили к инспектору русской труппы Храповицкому на испытание. Здесь Гоголь прочел монологи из «Дмитрия Донского» Озерова и «Гофолии и Андромахи» Расина в переводе графа Хвостова, так как претендовал он на роли драматические. Читал Гоголь просто, без декламации, но не зная текста, по тетрадке, робко и вяло. Храповицкому, считавшему необходимым для драматического амплуа дикие завывания и те всхлипывания, которые тогда назывались «драматической икотой», чтение Гоголя

понравиться не могло, как не удовлетворила его и показанная затем Гоголем комическая роль из «Школы стариков». Он поэтому дал отрицательный отзыв об испытании, чем дело и закончилось.

Неожиданно судьба, однако, как будто улыбнулась Гоголю: 15-го ноября он был зачислен на вакансию в Департамент Государственного Хозяйства Министерства Внутренних Дел. Службой этой он тяготился и, часто пропуская служебные дни, был затем по прошению уволен 25-го февраля следующего года. Вновь зачисленный на другую должность 10 апреля 1830 г. в Департаменте Уделов Министерства Двора, он удержался здесь до 9-го марта следующего, 1831 г. Платили ему сперва 50 рублей в месяц. Конечно, такой ничтожный оклад не разрешал вопроса о безбедном и независимом существовании Гоголя. «Жалованья получаю такую безделицу», писал он поэтому матери. Но все же за место теперь держался, как утопающий за соломинку.

Гоголь на самом себе испытал все невзгоды тяжелой жизни необеспеченных маленьких людей, ставших позднее героями его так называемых «петербургских» повестей. Протянув лямку несколько месяцев, Гоголь, живший незавидной жизнью незаметных, забытых, мелких чиновников, узнал о предстоящем вскоре утверждении своем в штатной должности помощника столоначальника и, значит, ожидавшем его повышении оклада. Обрадованный, он тотчас же написал матери: «С Нового года надеюсь получить 1.000 рублей, а до того времени должен буду еще беспокоить вас, великодушная маменька.»

Чтобы сводить как-нибудь концы с концами он, действительно, вынужден был отказывать себе в большинстве утех, которые ему мог давать столичный город, но все же у него часто собирались друзья и приятели, а знаменитый актер, украинец по происхождению, М. С. Щепкин, с которым Гоголь сошелся очень близко и на всю жизнь, приезжая из Москвы, где проживал, всегда останавливался у Гоголя, утверждая, по свидетельству слуги Гоголя Якима, что «нема лучше як у вас».

Был у Гоголя в Петербурге недруг неумолимый и неотвратимый — петербургская зимняя стужа. В «Шинели» Гоголь о ней говорил: «Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалованья или около того. Враг этот никто другой, как наш северный мороз . . . В девятом часу утра, когда улицы покрываются идущими в Департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их».

Подходил Новый Год, время, о котором так любил говорить в своих письмах к матери Гоголь: «Ни один день так не шумен в Петербурге, как первый Нового Года: все утро экипажи, лошади то и дело что разъезжают вдоль и поперек по всем улицам; все спешат, как бы не опоздать поздравить, или хотя завести карточку, и только в четыре часа пополудни переводят немного дух». Спешил по ви-

зита́м в своей плохо его гревшей шинелишке и новоиспеченный помощник столоначальника Гоголь. Мать он утешал, как мог: «Хорошо, что я немного привык к морозу и отхватил всю зиму в летней шинели».

Нелегко ему было «отхватывать зиму», так как он был очень зябок, постоянно кутался, как только мог, укрывшись с ушами в высоко поднятый воротник. Как и у Акакия Акакиевича, героя его, не было у Гоголя никакой возможности сшить себе зимний плащ на свое более чем скудное жалованье. Добавочные крохи, которые по непрерывным просьбам высылала ему мать, экономя всячески на неизбежных хозяйственных расходах, еле хватали, чтобы покрыть постоянные прорехи в едва ли не нищенском бюджете Гоголя.

Все служебные неудачи и тяготившие его денежные заботы все же не могли заглушить в Гоголе его потребности в литературной деятельности. Утро у него было занято службой, куда он направлялся в девять часов, оставаясь до трех в должности. Затем он шел обедать, пообедав, отправлялся в Академию Художеств, где до вечера занимался живописью. Сочинял он больше ночью, при свечах, и никого не пуская к себе. Написанное — он больше все писал тогда стихи — ему приходилось давать переписывать, так как в типографии, куда его рукопись относил слуга, почерка его не могли разобрать. В «Сыне Отечества» ему удалось поместить, правда, без подписи, восторженное стихотворение свое об Италии. Предвосхищая свое дальнейшее увлечение страной, ставшей для него в будущем как бы второй родиной, он упоение свое изливал в восторженных строках, где, восклицая: «Италия, роскошная страна», признавался, обращаясь к ней: «Меня влечет и жжет твое дыханье».

Еще с 1827 года он работал над поэмой в стихах: «Ганц Кюхельгартен» в духе славившейся тогда Фоссовой «Луизы». Действие поэмы сосредоточено было на борьбе между любовью Ганца к простой деревенской девушке и владевшей им жаждой славы, не обретая которой, юный герой находил утешение подле своей возлюбленной. В поэме этой, составленной из мало связанных друг с другом отрывков, Гоголь отдал сильную дань байронизму и увлечению античным классическим миром. В поэме есть немало прекрасных идиллических описаний природы, но в общем, лишена она силы, стройности, цельности. Гоголь все же в 1829 г. решил ее опубликовать, издав за свой счет под псевдонимом «В. Алов».

В журналах «Северная Пчела» и «Московский Телеграф» появились за подписью видных критиков той поры неблагоприятные отзывы об этом, действительно, слабом произведении никому неизвестного, конечно, автора.

Гоголь, ознакомившись с этими журнальными статьями, немедленно бросился со своим слугой по книжным лавкам, которым только что роздал для продажи свежееотпечатанные томики. Собрав их, он снял номер в гостинице, где и сжег все оставшиеся экземпляры

своего перворожденного поэтического детища. Так повторился сделанный еще в гимназии жест, который много позднее, к несчастью русской словесности, должен был иметь место в качестве последнего земного жеста Гоголя в отношении другой его поэмы — второй части «Мертвых душ».

Неудачей закончилась и первая ранняя попытка Гоголя завязать знакомство с находившимся тогда в апогее своей славы Пушкиным, которого он заочно уже обожал. Позднее знакомство это, перешедшее затем в искреннюю любовь и глубокое почитание, состоялось все же 20 мая 1831 года на вечере у Плетнева, писателя и ректора Петербургского университета, принявшего горячее участие в судьбе прибывшего в столицу Гоголя. Пока же Гоголь как-то утром набрался смелости и отправился на квартиру к высокочтимому им поэту. Он робко позвонил у крыльца и вышедшему на звонок слуге Пушкина задал робкий вопрос: «Дома ли хозяин?» В ответ Гоголь услышал: «Почивают». Убеденный, что ночи Пушкина, как и его собственные, заняты литературным трудом, он участливо спросил: «Верно всю ночь работал?» Велико было его смущение от малопочтительного ответа слуги: «Как же, в картишки играл».

В. ЖАБИНСКИЙ

Фальсификация или фольклор?

В журнале «Знамя» № 2 за 1958-й год напечатана статья А. Коваленкова «Солнце продолжает светить...», посвященная оборонной литературе военных лет. В этой статье А. Коваленков приводит стихотворение, найденное «в дневнике одного погибшего немецкого солдата из так называемого «Норд-дивизиона СС», разгромленного нашими войсками на Карельском фронте»:

В диком лагере мы прозябаем,
Жрем и пьянствуем, сходим с ума;
Нашим сделалась адом и раем
Кокосальмы полярная тьма.
Мы убийцы, кровавое стадо;
Лес и тундра нам стали тюрьмой,
Нам уже не вернуться из ада,
Никогда не вернуться домой.
Как вонючая, тухлая тина,
Что на скалах залива гниет,
На щеках у нас грязь и щетина;
Мы не люди, а сволочь болот.
Безволосые, с черными ртами,
Горько пьянствуем с ведьмой-цынгой,
Вши нас гложут и шепчут ночами:
«Никогда не вернетесь домой!»
Мы сраженья свои проиграли,
На позициях наших лежат
Горы трупов. И вспомнят едва ли
Имена этих мертвых солдат.
Те, что живы остались, свихнутся,
Окривеют навеки душой,
Нам отсюда назад не вернуться,
Никогда не вернуться домой.

Те из советских людей, кто прошел лагерь Беломорканала, кто побывал в Туломлаге, на лагпунктах и «командировках» Карелии, в том числе разбросан-

ных вокруг Кокосальмы, те при чтении этого стихотворения не могут не вспомнить песню заключенных, рожденную еще во время строительства Беломорканала. Я эту песню слышал от лагерников-старожилов в Сегежлаг (2-е отделение ББК):

В диком лагере мы прозябаем,
Пухнем с голоду, сходим с ума;
Нашим сделалась адом и раем
Кокосальмы полярная тьма.
Мы не люди — рабочее стадо,
Лес и тундра нам стали тюрьмой,
Нам уже не вернуться из ада,
Никогда не вернуться домой.
Как воючая, тухлая тина,
Что на скалах залива гниет,
На щеках у нас грязь и щетина,
Мы забытые люди болот.
Безволосые, с черными ртами,
Горько боремся с ведьмой-цынгой,
Вши нас гложут и шепчут ночами:
«Никогда не вернетесь домой!»
От семьи нас давно оторвали,
На путях наших в тундре лежат
Горы трупов, и вспомнят едва ли
Имена этих мертвых ребят.
Те, кто живы остались, свихнутся,
Окривеют навеки душой,
Нам отсюда назад не вернуться,
Никогда не вернуться домой!

Пели заключенные эту песню на мотив «Далеко из Колымского края».

Теперь эта песня попала на страницы журнала «Знамя», как стихотворение убитого в Карелии немецкого солдата, с соответствующими изменениями. Изменения эти шиты белыми нитками: немецкие солдаты были на Карельском фронте, а не в «диком лагере»; были они не «безволосые, с черными ртами» — немецкие солдаты до такой степени не болели цынгой, — это у заключенных вылезали волосы и выпадали зубы от недостаточного питания, от отсутствия витаминов, это их косила в приполярье и заполярье страшная цынга.

Одно из трех: или немецкий солдат переделал песню заключенных на свой лад, (что мало вероятно, так как стихотворение выдержано в том ладе, который так характерен для песен заключенных и который немцу невозможно воспроизвести), или кто-то выдал лагерную песню критику А. Коваленкову за «немецкий фольклор», или сам А. Коваленков переделал песню для своей статьи.

Как бы там ни было, но хорошо то, что песня из фольклора советских заключенных, хотя и в искаженном виде, попала на страницы советского

журнала, — бывшие заключенные ее сразу узнают! В связи с этим встает одна из насущных задач литературоведов и фольклористов в Советском Союзе — сбор и систематизация огромного фольклора, который создали миллионы жителей лагерного мира.

Критик А. Коваленков в своей статье пишет о художественном творчестве военных лет:

«Эпохальный размах событий, неисчислимые бедствия и неохватные особенности миллионов отдельных человеческих судеб должны получить свое отображение в эпическом многогранном искусстве».

Размах неисчислимых бедствий, охвативших миллионы человеческих судеб в годы партийной власти у нас в стране, не меньше, а во много раз трагичнее, чем бедствия военных лет.

А. Коваленков пишет о защите «попранного человеческого достоинства», о предотвращении «возможных посягательств на труд, свободу и счастье всех», которые должны лечь в основу оборонной литературы. То же самое должно лечь в основу литературы о советском заключенном. Но именно эту тему — тему миллионов загубленных человеческих судеб, разрушенных семей, исковерканных душ во имя партийной диктатуры, сейчас изгоняют из советской литературы после недолгого периода 1956—57 года, когда такие писатели, как А. Твардовский, О. Бергольц, М. Алигер, С. Антонов, В. Каверин, А. Югов, Б. Пастернак, Г. Нилин, Г. Николаева и другие слегка затронули ее в своих произведениях.

Этой темы народ ждет от советских писателей так, как ждет в романе Н. Каверина «Поиски и надежды» жена арестованного мужа:

«Не ради себя, нет... я вдруг потребовала — сама не знаю у кого, у судьбы, у доли, у счастья: — чтобы дверь распахнулась и вошел Андрей... Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь, которой верят и без которой не могут жить наши дети. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь».

Сейчас в советской литературе опять побеждает ложь, та, которую называют «тесной связью литературы и искусства с жизнью народа», но рано или поздно в советскую литературу «житель страны з/к» вернется, и не таким нелегальным способом, как в статье А. Коваленкова или в стихотворении Евг. Винокурова «Нары» («Октябрь», № 10, 1957 г.), а на правах одного из главных героев поэм, романов, пьес.

Тогда мы узнаем, что человек даже в лагерной неволе творил и созидал — не только заводы, каналы и машины, но и песни, стихи, поэмы: «кто научился думать — того полностью лишиться свободы нельзя» («Не хлебом единым» В. Дудинцева). Тогда станет известным и нехитрый фольклор солдат-фронтовиков, арестованных после Победы, использовавших народный фольклор прежних лет, как использовал неизвестный немецкий солдат (или А. Коваленков) песню лагерей Карелии:

По диким степям Забайкалья,
Где уголь копают в горах,
Зека там, судьбу проклиная,
Тащился с мешком на плечах.

Отбыл он свой срок приговора
В холодном Колымском краю,
Страдал он за правду народа,
И ищет старушку свою.

Зека наш к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
И грустную песню заводит —
Про родину горько поет.

Зека наш Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец, жив ли брат?»

«Отец твой давно уж в Сибири
На кладбище лагерном спит,
А брат твой — он в братской могиле,
На фронте сыночек убит».

Станут известны и другие песни, которые навсегда останутся в фольклоре народа:

Буран и стужа смертная,
И всюду — всюду мы:
От Шилки и до Нерчинска,
До самой Колымы.
Буран и плач метелицы,
И белой вьюги плач,
За нами след лишь стелется
И сторожит палач.
Вьюга, вьюга и каторга,
Товарищ пал на снег:
Кто вспомнит, кто подумает —
Снег замечает след.

То, как критик А. Коваленков напечатал лагерную песню в журнале «Знамя», напоминает переделки лагерных песен самими заключенными, когда они боялись, что их может услышать уполномоченный 3-й части или какой-нибудь «стукач»—доносчик. Так, песню «Далеко из Колымского края», где есть такая строфа —

«Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу среди нужды и среди горя —
Строю новый стране городок»

— в присутствии «ушей» 3-й части заключенные пели, внося поправку в третью строку:

Я живу без нужды и без горя. . .

Именно так выглядит «стихотворение погибшего немецкого солдата» в статье А. Коваленкова в «Знамени».

***ПОЛИТИКА
КУЛЬТУРА***

Проф. ЮРИЙ КЛАЙН

Материалистическая философия и современная наука

1. Ленинский «реализм» и ленинский «материализм»

Чтобы уточнить понятие материалистической философии или философского материализма, необходимо прежде всего определить понятие материи. Известное определение Ленина единодушно повторяется всеми советскими философами:

«Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них.»¹⁾

По словам Ленина, материя — это «объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им.»²⁾

Ленин, кроме того, писал:

«Единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания.»³⁾

Надо признать, что в этих определениях «материя» обозначает не больше и не меньше, чем «реальность» или «объективность». Такую философскую позицию принято называть (онтологический или философский) реализм. Реалист утверждает, что объекты и процессы существуют реально, объективно, независимо от человеческого восприятия или познания их. Так называемый «гносеологический» реализм (реализм в теории познания) утверждает, что вос-

¹⁾ В. И. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», 1909, «Сочинения», издание 4-ое, том 14, стр. 117.

²⁾ Там же, стр. 248.

³⁾ Там же, стр. 247.

принятый или познанный объект тот же, что и объект в своей невоспринятой и непознанной «невинности». Иными словами, «объективная реальность» мира адекватно воспроизводится в познавательном процессе.

Реализм, в этом смысле, хотя отнюдь не материализм, был бы вполне достаточен Ленину в его полемике с русскими позитивистами — «махистами» — Богдановым, Базаровым, Юшкевичем, Луначарским. Реализм совершенно исключает как субъективный идеализм Беркли, так и «эмпириокритицизм» Авенариуса и Маха. Правда, ленинская разновидность реализма в теории познания («теория отражения») упрощена и весьма примитивна, но не это интересует нас теперь.

Нас интересует другое, а именно: если Ленин имеет в виду только «свойство (материи) быть объективной реальностью», то почему он так упорно настаивает на термине (и понятии) «материи»? Какое содержание, какой смысл вкладывает он в этот термин?

Известно, что у Ленина имеются два различных понятия материи: физическое (узкое) и философское (более широкое).

«Философское» понятие материи было развито уже Бакуниным в 1871 году. «Материя», по Бакунину, это не только «электричество, свет, теплота... , тяготение», но также «самые возвышенные чувства, величайшие мысли, подвиги, самоотверженные поступки».⁴⁾ Само собой разумеется, что при таком расширенном толковании термина, только «несуществующее» или «нереальное» может считаться не-материальным. Как писал Ленин: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи».⁵⁾

Но если материя не противопоставляется ничему другому, ни форме, ни структуре, ни душе, ни духу — тогда понятие «материя», имеющее в себе общее значение, не обозначает ничего определенного. Неудовлетворительность такой позиции признается даже советскими философами:

«Диалектика понимания категории «материя», — пишет И. В. Николаев, — состоит не в том, чтобы абсолютно все существующее называть материей».⁶⁾

А как обстоит дело со вторым, «физическим» понятием материи? Ясно, что провозглашение «материи» в узком смысле (то, что изучают физики и химики) как «все, что существует», равносильно признанию «вульгарного» или редуктивного материализма. И на самом деле Ленин, а за ним и все советские философы, колеблются между редуктивным материализмом и не-редуктивным реализмом. («Не-редуктивный материализм» — есть противоречивое понятие). Мы уже знакомы с реализмом Ленина. Но часто, совсем в духе редук-

⁴⁾ М. А. Bakounine, *Oeuvres*, VI, 118.

⁵⁾ «Сочинения», т. 14, стр. 162.

⁶⁾ «Основные этапы развития категории «материя», «Вопросы философии», № 2, 1958, стр. 74.

тивного материализма, он провозглашает «сознание» (т. е. мысли, чувства, ощущения и т. д.) «внутренним состоянием материи», т. е. тела. И Ленин одобряет высказывания Иосифа Дицгена о том, что «человеческий орган познания... есть кусок природы, отражающий другие куски природы».⁷⁾

С сочувствием приводит Ленин изречение Дицгена о том, что «мозговая функция (т. е. мышление, восприятие и т. д.) так же материальна, как и сердечная функция».⁸⁾

А почему принимал Ленин такое убогое, философски необоснованное учение? Мотив его, мне думается, совершенно ясен: ему нужен был редуктивный материализм для «опровержения» и уничтожения религии. Связь атеизма с материализмом у Ленина сознается даже советскими комментаторами. Так, например, в Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) мы читаем:

«Признание материи... неразрывно связано с атеизмом, тогда как отрицание материализма ведет в болото поповщины».⁹⁾ И еще: «Одна из величайших исторических заслуг материализма состоит в теоретическом обосновании атеизма».¹⁰⁾

Другой автор пишет: «...Физические представления о строении и свойствах материи подрывают идеалистическое и религиозное мировоззрение».¹¹⁾

В «Кратком философском словаре» мы читаем:

«Маркс и Энгельс, а после них Ленин и Сталин, сумели создать и развить единственно научную форму материализма, не мирящегося ни с какими уступками фидеизму и поповщине».¹²⁾

2. Материализм и религия

Ленинскую позицию можно сформулировать следующим образом: почему надо быть материалистом? — Потому, что единственная альтернатива — идеализм (т. е. не-материализм), а идеализм ведет к религии. — Но почему надо отрицать религию? — А потому, что религия — это ложь, так как она признает реальность не-материального (души, Бога). — А почему надо отрицать реальность не-материального? — Потому, что мы — материалисты!.. Очевидно, что это порочный круг: атеизм Ленина вытекает из его материализма,

⁷⁾ В. И. Ленин, «Сочинения», т. 19, стр. 61.

⁸⁾ И. Дицген, «Избранные философские сочинения», Москва, 1941, стр. 186.

⁹⁾ «Материя», «Б. С. Энциклопедия», изд. 2-ое, т. 26, стр. 522.

¹⁰⁾ Там же, стр. 500.

¹¹⁾ Ф. Т. Архипцев, «Ленинское учение о материи — образ творческого марксизма», «Вопросы философии», № 6, 1951, стр. 48. (Разрядка моя, — Ю. К.).

¹²⁾ «Краткий философский словарь», изд. 3-е, 1951, стр. 272.

а материализм его, в свою очередь, вытекает из его атеизма. Но этот факт не беспокоит Ленина (как не беспокоил и Бакунина), так как причины его атеизма (а, следовательно, и материализма) совсем другие. Причины эти коренились в его социально-этических и политических убеждениях. Религия для Ленина — это орудие эксплуатации, «опиум» для эксплуатируемых масс. Антирелигиозная позиция его не есть результат или итог процесса теоретических сомнений или философских исканий, наоборот, она вытекает из определенных, априорно взятых им политических позиций, и прежде всего — из его преданности революции и классовой борьбе.

В этом, конечно, Ленин не один. Он наследник старой традиции. Все крупные материалисты, начиная с Эпикура и Лукреция Кара, и включая Гоббса, Гольбаха, Ламетри, Гельвеция, Дидро, Бакунина, Чернышевского и Маркса — употребляли свой философский материализм в качестве поддержки атеизма, и свой атеизм как оружие в борьбе за свои социальные и политические цели.

Атомистический материализм Лукреция Кара, его учение о смертности человеческой души, имеют целью избавить людей от страха смерти, боязни мучительного загробного существования. Философски говоря, материализм Лукреция очень слаб и был таковым даже в его время. Его «объяснения» и «истолкования» таких психических процессов и способностей, как ощущение, восприятие и память, убоги, надуманны и часто противоречат самим себе и друг другу. Лукреций, однако, повидимому, остался верным своему материализму до конца, вопреки всем недостаткам и слабостям его, потому, что это учение поддерживало его собственные этические и социально-политические взгляды.

Подобным же образом французские материалисты XVIII века — Гельвеций, Гольбах и др. — пользовались своим материализмом и атеизмом как оружием против церкви и духовенства.

— Принимайте материализм, — восклицали они, обращаясь к массам. — Отвергайте веру в Бога и бессмертие души, и вы будете свободны для революционного действия в этом мире!

Философское убожество французского материализма XVIII века очевидно. И нам труднее простить его слабости, чем слабости материализма древности, потому, что со времен Лукреция такие крупнейшие мыслители, как Декарт, Лейбниц, Беркли и Кант дали penetrating и окончательную критику философского материализма. Но ни французские материалисты, ни Бакунин, ни Энгельс, ни Ленин не сделали серьезных попыток ответить на эту критику или дать теоретическое оправдание собственных позиций.

Еще один вопрос: верно ли ленинское утверждение (например, в вышеупомянутой статье БСЭ), что материализм ведет к атеизму, тогда как отрицание материализма ведет к религии? Конечно, — и верно, и неверно. Последовательный философский материалист не может не быть атеистом, но не-материалист — реалист, позитивист или

идеалист — может быть и религиозным человеком, и атеистом, и, конечно, агностиком.

Интересно в этом отношении, что два светила советской «материалистической» науки — И. Павлов и К. Циолковский, — были и остались до конца дней глубоко верующими. Советские комментаторы твердят о «непримиримой борьбе» академика Павлова «против идеализма и метафизики». ¹³⁾ Но ни слова не говорят о глубокой христианской вере Павлова. ¹⁴⁾ Павлов реалист, даже в некотором смысле — позитивист, но это никогда не противоречило его религиозному чувству. Материалистом он не был.

По Ленину, религия — это продукт невежества и рабства. Но вот Павлов и Циолковский — выдающиеся ученые и, конечно, в ученом мире они не были одиноки.

Поучительна история о полуграмотном матросе, видевшем Павлова в момент выхода его после церковного богослужения. Матрос, с позиций своего самоуверенного материализма и атеизма, с презрением крикнул: «И не стыдно тебе, темному старику!»

3. Философы и физики

Мы можем отчасти согласиться с автором статьи «материя» в БСЭ, когда тот утверждает: «...Изменение наших представлений о строении и свойствах материи не может опровергнуть факта объективной реальности материи». ¹⁵⁾ Говорю «отчасти», потому что утверждение о том, что «объективная реальность» мира не зависит от изменяющихся научных теорий о строении физических тел и процессов — совершенно верно. Но развитие новой физики, в особенности — теории относительности и квантовой механики, уже нанесло смертельный удар старому материализму.

Возникает любопытнейшая картина научной жизни в Советском Союзе: с одной стороны, советские философы твердят, что «советская наука, все ее отрасли, развиваются на гранитном фундаменте марксизма-ленинизма» ¹⁶⁾, т. е. на философском материализме. Выходит однако на деле, что в СССР философы-материалисты ставят определенные требования, которые физики СССР должны удовлетво-

¹³⁾ «Б. С. Энциклопедия», изд. 2-ое, т. 31, стр. 519.

¹⁴⁾ В антирелигиозном музее, в бывшем Казанском соборе, находится плакат с цитатой, якобы, из сочинений Павлова: «В силу некоторых особых условий, я стал неверующим». Но не указывается, что павловское неверие было временным отклонением подростка от религиозной основы всей долгой жизни. Равным образом, в «Б. С. Энциклопедии» напечатан снимок могилы Павлова на Волковом кладбище, — но на снимке не видно большого креста, хорошо знакомого каждому посетителю могилы великого ученого!

¹⁵⁾ «Б. С. Энциклопедия», изд. 2-ое, т. 26, стр. 522.

¹⁶⁾ «Насущные вопросы философской науки», «Коммунист», № 5, 1955, стр. 22.

рять! Так, философ И. Кузнецов говорит: «Теоретические обобщения отстают от данных экспериментов. В этих условиях особенно повышается роль единственно правильного диалектико-материалистического мировоззрения. Задача ученых состоит в том, чтобы полностью использовать творческую силу марксистско-ленинской философии для решения актуальных задач физической науки».¹⁷⁾

В частности, по Кузнецову, «перед физиками стоит задача выработать единое и последовательное материалистическое понимание законов движений, протекающих с большими скоростями».¹⁸⁾

Даже такие выдающиеся советские физики, как академик Френкель и проф. Марков, обвинены в «преклонении перед буржуазной наукой».¹⁹⁾ В итоге совещания, состоявшегося в Киеве в 1954 г., по «философским вопросам современной физики», Кузнецов в резкой полемике с физиком К. Б. Толпыго признает, что: «Пока... приходится констатировать наличие существенных разногласий (между философами и физиками)».²⁰⁾

А Ф. Т. Архипцев «констатирует» опасность известного «философского индифферентизма» среди советских физиков.²¹⁾ Надо полагать, что в самом деле громадное большинство советских физиков равнодушно относится к философии диалектического материализма, имея в то же время настоящие философские интересы.

Вполне понятно, что они находят «помощь» и «советы» товарищей-философов — мягко выражаясь — несвоевременными и неэффективными. В самом деле, физики не раз выступали с резкой критикой «диаматчиков», особенно в трехлетний период относительной культурной «оттепели» — начиная со времени, наступившего вскоре после смерти Сталина и до венгерских событий.

«До сего времени, — жалуется физик Толпыго, — философы требуют, чтобы физики изменили законы квантовой механики... Но это невозможно».²²⁾ И обращаясь прямо к советским философам, он восклицает: «Вас призывают, товарищи-философы, обращаться к фактам и уважать твердо установленные экспериментальные факты, а вы часто делаете утверждения, идущие вразрез фактам».²³⁾ И Толпыго дает ряд примеров такого научного невежества среди советских философов: одним из таких невежд, но не самым худшим, является проф. А. А. Максимов, который, по словам акад. Фока, «несмотря на свою многолетнюю практику в критике физических теорий, не удосужился изучить теорию относительности и опыты,

¹⁷⁾ «Философские вопросы современной физики», Киев, 1956, стр. 244.

¹⁸⁾ Там же, стр. 240.

¹⁹⁾ Архипцев, «Вопросы философии», 1951, стр. 58.

²⁰⁾ «Философские вопросы современной физики», Киев, 1956, стр. 243. См. также стр. 246.

²¹⁾ Архипцев, стр. 51.

²²⁾ «Философские вопросы...», стр. 120.

²³⁾ Там же, стр. 237.

на которых она базируется».²⁴⁾ Еще резче звучит обвинение физика М. Ф. Дейгена: «Во многих советских работах по философии физики, — говорит он, — можно найти лишь жонглирование несколькими наспех вырванными цитатами, без какой бы то ни было попытки проникнуть в сущность физической теории. . . Авторы подобных «работ» обрушиваются на квантовую механику и теорию относительности, как на науки, якобы, противоречащие диалектическому материализму». «Такая критика, — добавляет Дейген, — отдает всю современную физику, как якобы философски неправильную, на откуп философам-идеалистам».²⁵⁾

Другой советский физик, И. М. Дейкман, не без едкости говорит о «многэтажном здании» советской науки, в котором «на нижнем этаже находятся физики-экспериментаторы, на следующем — физики-теоретики и на самом верхнем, если угодно — на крыше, находятся философы. Мне кажется, что было бы крайне желательно, чтобы философы спустились с этой крыши вниз и вникали бы в эксперимент и выводы, непосредственно вытекающие из эксперимента».²⁶⁾

В таких выступлениях плохо скрыто презрение серьезных ученых к официальным «диаматчикам». Ни для кого не тайна, что многие советские «философы» мало способны к философии и еще меньше осведомлены в точных науках. Факт этот признается от времени до времени даже «партией и правительством». Редакция «Коммуниста», например, возмущенно ставит вопрос: почему философия в Советском Союзе так отстает? И сама отвечает на него: многие философы предпочитают «спокойную жизнь», без умственных усилий. «Их философские шпаги покрываются ржавчиной, . . . их уделом стало унылое цитатничество. . . Они способны вступить в сделку со своей совестью, сегодня «вознести» книгу, а завтра с такой же легкостью ее «разнести». . .»²⁷⁾ Невольно вспоминается выражение Ленина, в свое время (1909 г.) направленное против «буржуазной философии» того времени: «пошлая, казенная философия».²⁸⁾

Но это, пожалуй, слишком резко в применении к современным советским философам и, конечно, решения «вознести» или «разнести» ту или иную книгу — не личное дело философов в СССР, а направление, указанное им свыше. Однако, внимательное чтение книг и статей в интересующей нас области (философия физики), показывает явное качественное различие между работами философов и физиков. До сих пор не появилось в советской научной печати иссле-

²⁴⁾ В. А. Фок, «Против невежественной критики современной физической теории», «Вопросы философии», № 1, 1953, стр. 173.

²⁵⁾ «Философские вопросы...», стр. 134.

²⁶⁾ Там же, стр. 139.

²⁷⁾ «Коммунист», № 5, 1955, стр. 22.

²⁸⁾ В. И. Ленин, «Сочинения», том 14, стр. 250.

дований или работ в этой области, могущих вынести сравнение с трудами таких философов физики, как А. Н. Уайтхэд, Э. Кассирер, Г. Рейхенбах, Р. Карнап, Г. Бергманн, Г. Маргенау, Р. Брэйсуайт, Э. Нэгель, а среди молодых — А. Грюнбаум, М. Скривен и Н. Р. Гансон.

4. Философский материализм в свете современной физики

Прав, конечно, советский физик М. А. Ельяшевич, когда он говорит: «Уже прошло время говорить о подтверждении диалектического материализма современной физикой».²⁹⁾ Дело сейчас скорее в том, в каком смысле и до какой степени современная физика противоречит диалектическому материализму.

В самом деле, всем физикам и почти всем философам науки (кроме «диаматчиков») давно стало ясно, что квантовая механика и теория относительности подрывают материалистическую философию и даже немного осложняют положение философского реализма. Не только все крупные физики западного мира, но и многие советские физики откровенно признают, что «материя» растворяется в энергию, в заряд электромагнитических полей. Так пишет, например, советский физик-экспериментатор, акад. К. Д. Синельников: «Те микробъекты, которые мы называем фотонами, электронами и т. п., являются возбужденными состояниями полей».³⁰⁾

Микробъекты или элементарные частицы одновременно обладают свойствами и частиц, и волн. Как сострил английский астрофизик Эддингтон, микробъект — это „wavicle“ (от „wave“ и „particle“), что по-русски могло бы быть названо «волницей» (соединение «волны» и «частицы»). Сейчас даже советские ученые говорят об «эквивалентности материи и лучистой энергии».³¹⁾ Эквивалентность эта, как известно, выражается в знаменитом уравнении Эйнштейна:

$$E = mc^2,$$

где E — энергия, m — масса, c — скорость света в вакууме (300.000 км/сек.).

Открытое признание советскими физиками и астрофизиками этой эквивалентности, как и признание ими механизма «взаимодействия материи и радиации» в звездной атмосфере,³²⁾ подвергаются жесточайшей критике со стороны советских философов вроде Архипцева.

²⁹⁾ «Философские вопросы...», стр. 224. (Разрядка моя, — Ю. К.).

³⁰⁾ Там же, стр. 13.

³¹⁾ Акад. В. Г. Фесенков, «Современные представления о вселенной», Москва, 1949, стр. 186.

³²⁾ «Успехи физических наук», 42, вып. 4, 1950, стр. 586. Критика Архипцева находится в вышеупомянутой статье в «Вопросах философии», 1951, стр. 58.

Так философ А. В. Шугайлин пишет, что отрицание абсолютной одновременности событий (теорией относительности Эйнштейна, защищаемой акад. Фоком) противоречит «теории познания не только диалектического материализма, но и вообще всякого материализма, который требует рассмотрения происходящих в природе процессов независимо от наблюдателей и их измерительных приборов».³³⁾

В этом же духе писал выдающийся английский физик, математик и философ А. Н. Уайтхэд уже в 1927 г. в своей книге «Наука и современность»: релятивизация одновременности «является крупным ударом по классическому научному материализму, который предполагает определенный момент во времени, в котором вся материя одновременно реальна. В новейшей теории нет такого уникального момента».³⁴⁾

Подобные трудности признаются теперь акад. Синельниковым:

«Свойства объектов микромира проявляются во взаимодействии с окружающим их миром». Нельзя «говорить о свойствах электрона без учета его взаимодействия с другими объектами».³⁵⁾

А вот когда советский физик, проф. М. А. Марков, выразил подобную мысль в 1947 г.,³⁶⁾ все советские философы немедленно обвинили его в махизме, кантианстве и плехановщине, — т. е. в еретическом «ревизионизме» ленинского материализма.

Синельников сам признает, что «колоссальные успехи физики сопровождаются все большей математизацией и появлением все большего количества абстракций».³⁷⁾ В особеннности «современная теория квантовых полей полна величин, которые непосредственно и не наблюдаются, и неизмеримы»...³⁸⁾

Так называемые «виртуальные» процессы испускания и поглощения фотонов, пишет Синельников, «протекают за столь малые промежутки времени, что нет никаких экспериментальных возможностей их непосредственно наблюдать».³⁹⁾

Советские философы признают, что все выдающиеся западные физики — включая и основателей квантовой механики В. Гейзенберга, Э. Шредингера и Н. Бора — отвергают философский материализм. Остановимся немного на позиции Шредингера. Лауреат Нобелевской премии в 1933 г., он с 1934 г. — почетный член Академии Наук СССР, о котором БСЭ пишет:

«Уравнение Шредингера (сформулированное в 1925 г. и включающее знаменитую ψ -функцию — Ю. К.) играет в современной

³³⁾ «Философские вопросы...», стр. 223.

³⁴⁾ A. N. Whitehead, *Science and the Modern World*. New York, 1927, p. 172.

³⁵⁾ «Философские вопросы...», стр. 19—20.

³⁶⁾ М. А. Марков, «О природе физического знания», «Вопросы философии», № 2, 1947, стр. 140—176.

³⁷⁾ «Философские вопросы...», стр. 7.

³⁸⁾ Там же, стр. 26.

³⁹⁾ Там же, стр. 22.

атомной физике такую же фундаментальную роль, как законы движения Ньютона в классической физике». ⁴⁰⁾

Но вот что писал Шредингер в статье о «современном понятии материи» в 1952 г.:

«Эйнштейн показал (в 1905 г.), что энергия обладает массой, а масса является энергией; другими словами, что они тождественны. Эта истина остается в силе и сегодня.» ⁴¹⁾

«Мы больше не противопоставляем материю и силы или поля сил, — пишет Шредингер, — как различные сущности; мы знаем теперь, что эти понятия надо слить в одно.» ⁴²⁾

«Твердо установленный взгляд сегодня, — продолжает он, — это, что все, что есть, есть в одно и то же время и частица, и поле.» ⁴³⁾

Можно мыслить микроректы лишь как «более или менее проходящие сущности внутри волнового поля». . . Волны обладают постоянной структурой или формой. «Массу и заряд частиц. . . надо учитывать среди структурных элементов, обусловленных законами волн». ⁴⁴⁾

Трудность соединить свойства отдельных частиц с непрерывностью волновой структуры, по словам Шредингера, «остается главным камнем преткновения, делающим наше понятие о материи неопределенным и колеблющимся». ⁴⁵⁾

То, что длительно и (относительно) неизменно — это структура, форма, по-немецки — Gestalt, а не материя. Этот вывод особенно подчеркивает австрийский физик А. Марх, указывая, что развитие новой физики — в особенности, квантовой механики — является процессом «десубстанциализации» элементарных частиц. Последние — суть «чистые формы», «бессубстанциональные структуры» — «исчерпывающе описываемые посредством математических понятий». ⁴⁶⁾ И он делает общий вывод, что «материалистический образ мышления» в современной физике «терпит крушение». ⁴⁷⁾

Эйнштейн и Инфельд в их, уже ставшей классической, книге «Эволюция физики» выражают приблизительно ту же точку зрения: «Материя представляет собой громадные запасы энергии, а энергия представляет собой материю. Нельзя качественно различать материю от поля, так как разница между массой и энергией — не качественна. Громадная часть энергии сосредоточена в материи, но поле, окружающее каждую частицу, также представляет собой энергию, хотя в несравненно меньшем количестве. Итак, можно ска-

⁴⁰⁾ «В. С. Энциклопедия», издание 2-ое, том 48, стр. 178.

⁴¹⁾ Erwin Schrödinger, What is Life, and Other Scientific Essays, New York, 1956, pp. 168—9.

⁴²⁾ Там же, стр. 161.

⁴³⁾ Там же, стр. 165.

⁴⁴⁾ Там же, стр. 175.

⁴⁵⁾ Там же, стр. 166.

⁴⁶⁾ A. March, Das Neue Denken der Modernen Physik, Hamburg, 1957, S. 120.

⁴⁷⁾ Там же, стр. 122.

зять: материя — это место, где сосредоточенность энергии велика, а поле — это место, где сосредоточенность ее мала». ⁴⁸⁾

И еще: «Два закона сохранения массы и сохранения энергии со-единены теорией относительности в один закон сохранения массы-энергии». ⁴⁹⁾

Английский математик и философ Бертран Рассел уже в 1927 году писал: «Вся концепция материи менее важна в физике, чем была когда-то, так как энергия все больше и больше занимает ее место». ⁵⁰⁾

«Понятие одной единицы материи, — пишет Рассел дальше, — скажем, одного электрона, как «субстанции», т. е. простой единой сущности, продолжающей существовать во времени, не оправдано. . . Мы определяем материальную единицу, как «причинную линию», т. е. как ряд событий, связанных между собой внутренним дифференциальным каузальным законом.» ⁵¹⁾

На широком философском фоне, пишет Уайтхэд (в книге «Наука и современность»):

«Масса становится теперь обозначением количества энергии, рассматриваемого в связи с некоторыми его динамическими действиями. Такой ход мышления приводит к понятию энергии, как основному, вытесняя материю с прежнего места. Но энергия — это только обозначение для количественной стороны с т р у к т у р ы с о б ы т и й.» ⁵²⁾

Внутри элементарных частиц, по словам Уайтхэда, находятся «вibratorные распределения электрической плотности. По материалистической теории, такая плотность означает существование материи; по органической же теории вибрации, она означает vibratorное создание энергии.» ⁵³⁾

От непрерывно существующей «субстанциальной материи» классической физики не осталось и следа. В квантовой механике существование элементарных частиц вполне п р е р ы в н о. . . «Нельзя наблюдать два раза одну и ту же частицу», как пишет Шредингер. ⁵⁴⁾

По словам Уайтхэда, «орбиту электрона надо рассматривать, как ряд отдельных позиций, а не как непрерывную линию. . .» Элементарные частицы суть «последовательные состояния vibratorных электромагнитных полей». ⁵⁵⁾

Из всего сказанного очевидно, что основное понятие современной физики есть поле, то-есть «волновое поле», или «структурная связь взаимодействий», а отнюдь не материя.

⁴⁸⁾ A. Einstein and L. Infeld, *The Evolution of Physics*, New York, 1938, pp. 256-7.

⁴⁹⁾ Там же, стр. 260.

⁵⁰⁾ Bertrand Russell, *The Analysis of Matter*, New York, 1927, pp. 401—2.

⁵¹⁾ Там же, стр. 401.

⁵²⁾ A. N. Whitehead, *Science and the Modern World*, p. 149. (Разр. моя — Ю. К.).

⁵³⁾ Там же, стр. 195.

⁵⁴⁾ E. Schrödinger, *What is Life, and Other Scientific Essays*, p. 173.

⁵⁵⁾ A. N. Whitehead, *Science and the Modern World*, pp. 196—7.

Еще в двух пунктах квантовая механика подрывает философский материализм; здесь мы можем их отметить только вкратце:

1. Квантовая механика анти-детерминистична, то-есть все ее законы только статистические; весь «детерминизм» ее только статистический или «пробабилистический». Принципиально исключается возможность предвидеть «поведение» индивидуальных частиц, можно предвидеть только массовое «поведение» громадных «населений» их и это лишь по исчислению вероятностей. Все ведущие физики и философы Запада согласны в том, что современная квантовая механика, а, следовательно, и современная физика в целом, непреодолимо анти-детерминистичны. Покойный И. фон Нейманн даже дал математическое доказательство принципиальной невозможности детерминистического истолкования законов квантовой механики.

Правда, некоторые ученые, например Л. де Брольи, предполагают, что не исключается возможность дальнейшего развития квантовой механики в направлении детерминизма. Но даже сторонники этого взгляда признают, что это пока только дело будущего.

В недавней работе физик Д. Бом ссылается на так называемые «скрытые параметры» в попытке восстановить фундамент для детерминизма. Но это пока остается спекулятивной гипотезой без всякого экспериментального подтверждения.

2. На основе блестящего предвидения английского физика П. Дирака (1928 г.) в последние годы в США открыта так называемая «антиматерия» — «антипротон» (т. е. «протон», но с негативным зарядом), «анти-нейтрон» (вращается обратно нормальному) и др.

«Антиматерия» имеет страшную способность уничтожения всей нормальной материи при малейшей встрече. Это в полном смысле загадочная форма существования объектов и процессов микромира. Но одно можно твердо сказать: «антиматерия» совершенно несовместима с системой идей традиционного философского материализма.

Надо сказать, что вне Советского Союза и «народных демократий» количество физиков - материалистов ничтожно. Этот факт признан даже советскими философами. Например, в статье Архипцева мы читаем:

«Большинство ведущих буржуазных физиков проповедует идеализм, ведет ожесточенную борьбу с материализмом.»⁵⁶⁾ В советской философской терминологии «идеализм» означает не-материализм. И в самом деле, почти все физики в не-советском мире «не-материалисты». Но многие из них «реалисты», а другие «позитивисты» или «конструктивисты» в философии физики. Ожесточенную же борьбу по вопросам философии физики можно найти только в странах, где обязателен марксизм-ленинизм.

⁵⁶⁾ Архипцев, «Вопросы философии», стр. 55.

Одна из наиболее влиятельных школ в философии физики — это так называемая «копенгагенская школа» Бора, Гейзенберга и Шредингера. В «копенгагенской интерпретации», надо признать, есть значительная доза «субъективизма», «позитивизма» и «конструктивизма». Эта группа во многом разделяет позицию Э. Маха, но эту позицию нельзя характеризовать, как «субъективный идеализм» в том смысле, в каком этот термин применяется к философии Беркли.

К «копенгагенской школе» примыкали сам Эйнштейн, а также Д. Джинс, А. Эддингтон, М. Борн, Г. Дингл, П. Иордан и Г. Вейл. Суть этой позиции в утверждении, что микроробъекты и процессы «растворяются в математических соотношениях». Борн хочет заменить понятие «объективной реальности» понятием «математической инвариантности». В этой интерпретации квантовой механики особый интерес обращен на «соотношение неопределенностей» Гейзенберга и на «принцип дополнительности» Бора. Нет возможности входить сейчас в технические подробности этих понятий.

У Гейзенберга есть интересный вариант платонизма. В речи на праздновании столетия со дня рождения Макса Планка, в Берлине, в 1958 году, Гейзенберг поставил вопрос: верно ли, что минимальные компоненты физической реальности — неделимые и неизменные материальные сущности, как полагал Демокрит? Или же «они результат математических структур, выражение математических симметрий. . . , как полагал Платон?»⁵⁷⁾ Сам Гейзенберг склонен думать, что вторая возможность больше приближается к истине.⁵⁸⁾

С другой стороны, влиятельное меньшинство физиков, включая де Бройли и Боба, и философов физики, включая Мельберга и Уайтхэда, защищают тот или иной вид реализма, но отнюдь не материализма. Они утверждают «объективную реальность» физических единиц, процессов и состояний и принципиальную возможность адекватно познавать их.

Уайтхэд, например, пишет: «Я полагаю органическую теорию природы. . . как основу бескомпромиссного объективизма».⁵⁹⁾

В философии физики имеются, конечно, трудности для реализма, связанные, например, с интерпретацией «соотношения неопределенностей» Гейзенберга и «релятивизации одновременности» Эйнштейна. Но пишущий эти строки, вслед за Уайтхэдом, полагает, что философский реализм — может быть, смягченный и «математизированный» — более удовлетворителен и компетентен в философском смысле, чем позитивизм, «конструктивизм» и уж, конечно, — материализм.

⁵⁷⁾ New York Times, 26.4.58, p. 2.

⁵⁸⁾ См. его „Platon und die moderne Physik“, in Festschrift für Emil Prätorius, 1954.

⁵⁹⁾ A. N. Whitehead, Science and the Modern World, pp. 173—4.

5. Общие выводы

Подведем итоги.

1. Из всего сказанного явствует, что развитие современной физики опровергает философский материализм и детерминизм — т. е. основные положения ленинского диалектического материализма.

2. Подавляющее большинство не-советских (и много советских) физиков отрицает материалистическую философию физики. Громадное большинство не-советских философов (но, конечно, ни один из советских «диаматчиков») разделяет эту отрицательную оценку философского материализма.

3. Не-советские философы и физики являются или «позитивистами», или «конструктивистами», или «реалистами». Все эти позиции гораздо последовательнее и богаче философского материализма. Автор сам склонен к реализму типа Уайтхеда.

4. Только философский материализм — не реализм, не конструктивизм или позитивизм — влечет за собой признание атеизма и отрицание религии. Таким образом, современная наука о природе подрывает два главных положения ленинской философии: материализм и атеизм. Это не значит, что квантовая механика или теория относительности ведут к религии, но только, что они уничтожают искусственные «научные» препятствия на пути к религии, создаваемые давно устаревшим философским материализмом.

СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ

Н. А. Бердяев —

философ трагической свободы

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Наиболее известный из современных русских философов, Н. А. Бердяев, родился в 1874 году, в Киевской губернии. Он происходил из военной семьи. Но, еще будучи мальчиком, Бердяев не пожелал продолжать традиционную в семье военную карьеру и, окончив гимназию, поступил на юридический факультет Киевского университета. В юности он увлекся марксизмом и в 1898 году, за участие в подпольном кружке, был сослан в Вологду. Впрочем, он увлекался также чистой философией и принимал даже тогда марксизм лишь в области социально-политической, в сфере же чистой философии он следовал за Кантом. В 1901 году, еще во время пребывания Бердяева в ссылке, появляется его первая крупная работа: «**Субъективизм и индивидуализм в общественной философии Михайловского**». Книга эта была направлена против народников и нанесла народничеству большой удар. Бердяев принял, таким образом, участие в знаменитом споре народников с марксистами.

Во время ссылки в Бердяеве, под влиянием углубленного чтения Достоевского и Соловьева, происходит религиозный перелом, и он возвращается к христианству, отталкиваясь в то же время от официальной церковности — характерная для него черта. Как и его друг Булгаков, Бердяев проходит типичную для эпохи Ренессанса эволюцию «от марксизма к идеализму» и далее — к православию. В 1903 году, возвратившись из ссылки в Петербург, он основывает журнал «Вопросы жизни». В течение последующих лет Бердяев принимает деятельное участие в знаменитых религиозно-философских собраниях, пишет ряд полемических статей и выдвигается в первые ряды деятелей Ренессанса. Философская публицистика настолько захватила его, что он так и не успел закончить университета, что не мешало ему однако быть одним из самых высокообразованных людей своего времени.

В 1907 году выходят в свет два его сборника: «Суб спещие этернитатис» и «Новое религиозное сознание и общественность». Книги эти, в которых Бердяев стремился объединить относительную правду социализма с абсолютной истиной христианства, имели большой успех. Теперь больше не Мережковский, а Бердяев становится самой репрезентативной фигурой философского Ренессанса. В 1909 г. Бердяев принимает участие в знаменитом сборнике «Вехи», где были поставлены точки над переоценками традиционных ценностей русской интеллигенции. Бердяев написал для этого сборника статью «Интеллигентская правда и философская истина». С 1908 г. он издает журнал «Путь». Но сколь успешной ни была философско-публицистическая деятельность Бердяева, он в ней слишком тратил себя по мелочам. В нем просыпается жажда подлинно философского творчества. В 1911 году он пишет «Философию свободы». Но книга эта его не удовлетворяет, и в 1916 году он создает свой первый шедевр: «Смысл творчества». В этой вдохновенной книге Бердяеву удается высказать с полной силой свое религиозно-философское «кредо». В ней впервые появилась новая для философа струя — влияние немецких средневековых мистиков, Якова Беме и Мейстера Экхарта, которые останутся вечными спутниками его книг до самой смерти.

Во время революции Бердяев занял резко-антибольшевистскую линию, его несколько раз арестовывали, но его выручала юношеская дружба с Луначарским, ставшим тогда министром просвещения. В 1918 году Бердяев основал Вольную Философскую Академию — «Вольфила», где читал лекции, несмотря на голод и лишения, до 1922 года, когда советское правительство выслало его, вместе с рядом выдающихся ученых и философов, за границу. Бердяев поселился сперва в Берлине, где, при поддержке ИМКИ, создал религиозно-философскую Академию. С 1925 года он переселяется в Париж, где Академия расцвела и где ему удалось продолжить издание журнала «Путь». Журнал этот просуществовал до начала второй мировой войны и представляет собой одно из лучших культурных достижений эмиграции.

Творческая деятельность Бердяева за границей была необычайно плодотворной. Его книги выходили одна за другой и пользовались огромным успехом. В 1923 году выходят в свет четыре его книги — написанная во время революции «Философия неравенства», затем «Смысл истории», замечательное «Мирозерцание Достоевского» и «Новое Средневековье». Эта последняя книга, посвященная острой теме мирового кризиса, написана чрезвычайно доступно. Будучи переведена на иностранные языки, она произвела сенсацию, ее читали наряду с «Законом Европы» Шпенглера. С этих пор Бердяев начал пользоваться в западном мире огромной популярностью.

Вообще, он принимал деятельное участие в духовной жизни Запада. Он читал лекции, выступал на дискуссионных собраниях, сблизился с рядом выдающихся западных философов и богословов. Осо-

бенно сильно было его влияние во Франции, где он, вместе с Мунье, основал журнал «Эспри» («Esprit») и стал чем-то вроде патриарха школы французских персоналистов.

В 1929 году появляется новая его книга «Философия свободного духа» (2 тома), а в 1931 году «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики». Эта возвышающаяся до гениальности книга является лучшей из всех, написанных Бердяевым, хотя почти все его книги написаны блестяще. За ней следуют: «Я и мир объектов» (1934), «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности» (1937), «О рабстве и свободе человека» (1939), «Русская идея» (1946) и «Опыт эсхатологической метафизики» (1947). Автобиографическое «Самопознание» вышло уже после смерти, последовавшей в марте 1948 года. Нужно отметить, что Бердяев умер за писанием очередной книги — „Mortuus est scribens“.

Помимо вышеупомянутых книг, Бердяев написал много статей и брошюр, из которых особо упомянем: «Русская религиозная психология и коммунистический атеизм», «Христианство и классовая борьба», «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан», и, особенно, «Судьба человека в современном мире».

В тридцатые годы Бердяев занимает ярко антифашистскую позицию. Гнев против фашизма начинает даже затемнять его прежнее антикоммунистическое умонастроение, хотя он продолжает осуждать коммунизм. Следует, однако, отметить, что во время немецкой оккупации Парижа немцы не нанесли ему никакого вреда, и квартира его даже стала местом паломничества офицерской интеллигенции, жаждающей посмотреть на «ден гениален Бердиаефф».

После войны Бердяев занял уже явно просоветскую линию, хотя продолжал осуждать коммунизм. Эта странная эволюция мыслителя, умевшего в свое время как никто разоблачать всю ложь и бесчеловечность советской диктатуры, может быть лишь отчасти объяснена патриотизмом. По существу, здесь были более глубокие причины. Впрочем, в самые последние годы жизни, под впечатлением ждановской чистки, Бердяев разочаровывается в своих надеждах на эволюцию власти. В предисловии к «Самопознанию» он ярко выразил это разочарование. Говоря об ином философе, я не стал бы касаться его политических взглядов, но у Бердяева философия настолько связана с жизнью, что не упомянуть об этом — значило бы затушевывать его целостный облик.

НАЧАЛО ВЕКА — РЕНЕССАНС

Приступим теперь к поневоле краткой характеристике его философского творчества. Мы упоминали уже об его эволюции «от марксизма к идеализму», и далее — к православию. Следует, однако, отметить, что Бердяев, хотя и пришел к православию, но смотрел на

него отчасти через романтические очки. Начало XX века вообще ознаменовалось возвратом к религиозности, но при весьма вольном отношении к историческому христианству, к исторической церкви. Это была эпоха возрождения мистики, но — при отрыве ее от морали и от твердой почвы исторического опыта. Это была эпоха так называемого «нового религиозного сознания», главным представителем которого был у нас Мережковский, мистицизм которого носил слишком вольный и слишком эстетствующий характер. Сам Бердяев вышел из другой среды — он был одним из «кающихся марксистов», наряду со Струве, с Булгаковым. Мережковские пытались завербовать себе Бердяева, и на время в этом преуспели, но сближение это оказалось кратковременным. Бердяев вскоре почувствовал «ядовитые испарения, отсутствие волевого выбора, двоящиеся между Христом и Антихристом мысли» у Мережковского. Их «новое религиозное сознание» он находил слишком эстетствующим, без принятия на себя серьезной моральной ответственности. Моралист был всегда силен в Бердяеве. Мироззрение Мережковского сам Бердяев называл «нищенанизированным христианством», но справедливость требует отметить, что и сам философ не был свободен от этого упрека. Он сам признается, что «в те годы в меня проникали не только влияния Духа, но и влияния Дьявола».

Так или иначе, между Мережковским и Бердяевым скоро происходит разрыв, и философ даже признается, что, по мотиву отталкивания от эстетствующей религиозности Мережковских, он временно сблизился с консервативными кругами духовенства, с тем, чтобы вскоре резко разойтись с ними.

«СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА»

В эпоху Ренессанса Бердяев — одна из самых репрезентативных фигур его. Но позднейшее творчество Бердяева выходит уже за пределы Ренессанса и представляет собой самодовлеющую ценность. Переходной ступенью от Ренессанса к выходу Бердяева на мировую арену служит книга «Смысл творчества». Вся книга проникнута апофеозом человеческой свободы и стремлением к божественному освящению человеческого творчества, — тема, которая стала с тех пор для Бердяева основоположной. Здесь можно видеть несомненное влияние соловьевских «Чтений о богочеловечестве», — да и вообще все творчество Бердяева стоит под знаком Достоевского и Соловьева. Но Бердяев подхватывает соловьевскую проблематику в высшей степени оригинально. В предисловии он говорит: «В основу этой книги положено царственное чувство Человека как Вечного Антропоса». Это звучит почти по-нищенски. Но, в то же время, Бердяев убежден, что «мир во зле лежит», что «из мира нужно уйти», и что религиозная мистика — единственный путь преодоления трагизма жизни. Выход из

этой антиномии величия и ничтожества человека — в обожении человека и очеловечении Бога — в Богочеловечестве. Человеческое творчество должно стать как бы продолжением миротворения, ибо, творя, человек уподобляется Богу-Творцу. Традиционное богословие, думает Бердяев, чересчур унижало человека, и тем самым не восприняло до конца тайны вочеловечения Бога. Оно чересчур сосредотачивалось на учении о человеке, как рабе Божиим, и мало заметило другую сторону христианского учения: раскрытия богоподобия человека. «Спасение человека от греха есть только предварительная цель», — пишет он. — «Конечная цель заключается не в спасении, а в творчестве. Не творчество должны мы оправдывать, а, наоборот, творчеством должны мы оправдывать жизнь». И далее: «Мы вступаем в эпоху нового, небывалого религиозного сознания. Творческий акт не есть самоценность, не знающая над собой внешнего суда. Культ святости должен быть дополнен культом гениальности». Он признает, что «для творческого восхождения нужно спасение от зла и греха», но все его внимание устремлено на апологию творчества, как «активного проявления человеческой свободы».

Если для человека, воспитанного в духе позитивизма, все это звучит слишком религиозно, то, с точки зрения церкви, в этих идеях Бердяева немало ереси. Поэтому неудивительно, что против него было настроено духовенство, и что за резкую критику действий Синода (в отношении к староверам и иноверным) Бердяев был в 1915 году отдан под суд юрисдикции Синода, который приговорил его к вечной ссылке в Сибирь. Конечный приговор откладывался по техническим причинам, и только революция избавила философа от ссылки.

Возвращаясь к «Смыслу творчества», нужно сказать, что в нем — многое от веяний Ренессанса. Здесь мы в более совершенной форме узнаем идеи Мережковского о «Третьем Завете», о «религии духа», долженствующей сменить «устаревшую» религию Бога-Отца. Недаром его друг Булгаков почуял в этой книге «демонический, человекобожеский дух».

В книге Бердяева, несмотря на одушевлявший ее вдохновенный порыв, было много недоговоренностей, и общая метафизическая позиция его оставалась не вполне ясной.

ОСНОВЫ МЕТАФИЗИКИ

В «Философии свободного духа» Бердяев дает более ясную формулировку своей исходной позиции. Склонность к антиномиям, вообще характерная для Бердяева, получает форму прямого дуализма. Дух и природа являются теперь для него двумя принципами, причем дух характеризуется как активность, творчество, а «природа» — как пассивность, предметность, материальность. Природное бытие —

только материал, символ воплощения духа. В «О назначении человека» Бердяев идет еще дальше и развивает центральное для него учение об «объективации». Дух — необъективируем, он — субъект. Объективация духа превращает его в объект, в «природу». Царство духа может познаваться лишь интуитивно, мистическим опытом. Познание же мира природы, мира «объектов», всегда носит внешний характер. Ибо мир объектов лишен глубины, присущей лишь Духу. Дух есть «ноумен», «вещь в себе», природа же есть феномен, явление. Но, в отличие от Канта, он считает, что дело тут не в способах познания, а в бытии. В самом бытии, которое первично «было» духовной реальностью, произошла «порча», падение. Дух отчуждился от самого себя. Объективация — это лишь гносеологическая категория для обозначения этой падшей бытия. «Дух, личность — экзистенциальный субъект. Природа есть следствие объективации. . . Зло производит мир, связанный необходимостью. . . Если мир находится в падшем состоянии, то это — вина не способов познания, вина лежит в глубинах мирового бытия. Это лучше всего уподобить процессу разложения, отчуждения, которое претерпевает ноуменальный мир. Было бы ошибкой думать, что объективация происходит только в познавательной сфере. Она происходит прежде всего в бытии самом. Она порождается субъектом, не только, как познающим, но как бытийствующим. . . В результате нам кажется реальным только то, что на самом деле вторично, объективировано, и мы сомневаемся в реальности первичного, необъективированного и нерационализированного».

Как видно отсюда, Бердяева нельзя упрекать в полном отсутствии гносеологической базы, как это делают многие критики. Правда, он сам говорит, что философию нужно начинать не с гносеологического оправдания, а с гносеологического обвинения, но и это «обвинение» есть род гносеологии.

Бердяев наметил, хотя и не развил свою в высшей степени оригинальную гносеологию объективации. Но, правда, не в этом — центр тяжести его учения.

МЕТАФИЗИКА СВОБОДЫ

У всякого большого философа есть своя главная философская интуиция, в свете которой он развивает свое учение. Такой главной идеей, одушевлявшей все творчество Бердяева, была идея свободы. Главный пафос Бердяева — в метафизике и этике свободы, и самое оригинальное в нем — что он построил своеобразную «этику и метафизику свободы». Самую тему свободы он понимает «экзистенциально» и трагично. Бердяев — философ трагической свободы.

Он верит, что человек сотворен для свободы. Но эта его изначальная свобода вступает в трагическое противоречие, во-первых, с фактом природной детерминации, во-вторых — с обществом, с коллекти-

вом, имеющим тенденцию подчинить личное, неповторимое — общему стандарту. И, наконец, свобода вступает в противоречие с Богом.

Бердяев различает три свободы: 1) иррациональную свободу произвола, 2) рациональную свободу и 3) сверхрациональную, «сублимированную свободу», где свобода свободно воссоединяется с Богом и становится свободой «в Боге». Но главной проблемой Бердяева является изначальная, иррациональная свобода (либертас майор), которая, по его учению, «коренится в Ничто, в мэоне». «Свобода не сотворена Богом — говорит он, — она предвечно укоренена в Ничто». Это учение о несотворенной свободе — самое оригинальное у Бердяева. Даже Яков Беме, у которого можно найти похожие мысли, не заходил так далеко. За дуализмом экзистенциального субъекта и мира объективации Бердяев усматривает более глубокий дуализм Бога-Творца и несотворенной свободы. Он сам признается, что пришел к этой идее под влиянием этических соображений: если принять традиционное учение о сотворенности свободы, как и всего, Богом, то придется сделать Бога ответственным за зло, а это противоречит идее всеблагости Божией, которая для всякого верующего является «этической аксиомой». Подобно Джону Стюарту Миллю, но с гораздо большей глубиной, Бердяев находит противоречие между идеями всемогущества Божия и всеблагости Божией, — и решает эту антиномию в пользу всеблагости, отрицая всемогущество Божие. «Бог-Творец всемогущ над бытием, но не всемогущ над небытием, над несотворенной свободой», — утверждает он. Бог может просветить темную бездну свободы только при условии свободного согласия свободы на вхождение ее в Царство Божие. Само творение мира он рассматривает как акт свободы: «Мэоническая свобода согласилась на акт творения, небытие свободно согласилось на бытие». Сам человек, по его учению, «есть дитя Божие и дитя свободы — небытия, мэона». Этим он объясняет, следуя за Августином, рационально непреодолимое влечение человека ко злу — эти порывы разрушения идут от бездной иррациональной свободы, составляющей, наряду с образом Божиим в нас, подоплеку всего нашего существа.

Однако, свобода в акте метафизического безумия «выпала» из Бога и стала утверждать себя вне и против Бога. А поэтому в сотворенном мире, и, особенно, в душе человека происходит борьба между Богом и свободой. Миф о грехопадении свидетельствует, по Бердяеву, о бессилии Творца предотвратить зло, исходящее из свободы, которой Он не сотворил. Тогда Бог вторично действует в отношении мира и человека. Но Бог нисходит в мир и появляется в мире уже не в аспекте Творца, а в аспекте Искушителя и Спасителя, в виде Христа, который принимает на Себя грехи мира. Бог-Сын нисходит в бездну, в Унгрунд, чтобы изнутри просветить эту бездну божественным светом. «Бог-Сын являет Себя не во власти, а в жертве». И тогда «божественное самораспятие должно победить мэоническую свободу просветлением ее изнутри, без насилия над ней, без лишения сотворенного ми-

ра присущей ему свободы». — Такова трагическая теодицея Бердяева, не обещающая никаких гарантий победы Бога над иррациональной свободой, но одушевленная верой в конечную победу света божественной любви и жертвы над безумием несотворенной свободы. Это не столько «теодицея», сколько «христиодицея». Образ Христа как бы заслоняет у Бердяева образ Бога-Творца, хотя он принимает догму об единосущии Пресвятой Троицы. Теодицея эта обязывает к отрицанию всемогущества Божия и к перенесению трагедии в недра самого Божества. Бердяев видит это, но утверждает, что «трагизм внутри-божественной жизни есть показатель не ее несовершенства, а ее совершенства», — что всемогущий самодостаточный Бог этически ниже страдающего Бога. Он признает также, что «в последней инстанции происхождение зла навсегда останется неизъяснимой трагедией», но не видит иного этически приемлемого вывода, кроме его трагической теодицеи.

В основах религиозной метафизики свободы у Бердяева, конечно, заключено трагическое противоречие, и само отрицание всемогущества Божия не только анти-православное, но и анти-христианское — это учение было свойственно некоторым направлениям гностицизма.

Бердяев то и дело смешивает «несотворенную мэоническую свободу» с Божественным Ничто, о котором учит отрицательное, апофатическое богословие. Неизбежным результатом получается демонизация Божества, в недра которого вносится тогда темное начало непросветленной свободы.

Если же «Бог всемогущ над бытием, но бессилен над небытием» и, с другой стороны, по Бердяеву, небытие пронизывает собой бытие, то это означает мэонизацию — обессиливание Божества. Это, по существу, возврат к гностической ереси, да и вообще в философии Бердяева многое от гностицизма.

Некоторые богословы обвиняют Бердяева в пантеизме, ибо Бог у него чересчур сближен с миром и с человеком. Вряд ли это верно. Ведь, Бердяев всегда настаивал на том, что бытие этого мира — не подлинное, а «объективированное», — выброшенное из глубин духа, — падшее бытие. Вернее было бы охарактеризовать его философию как «пан-мэонизм», как учение о всеприсутствии несотворенной свободы, всеприсутствии небытия в бытии. Подобное учение, само по себе содержащее в себе зерно истины, истолковано у Бердяева так, что он гипостазировывает небытие — философское заблуждение, против которого предостерегал еще Платон в своем «Георгии».

Помимо того, развивая учение об объективации и о падшей вселенной бытия в мире, Бердяев этим самым обессмысливает свое собственное учение о творчестве, как привнесении божественной энергии в мир. Ибо, если продукты творчества неизбежно «объективированы», и иными они быть не могут, а объективация есть умаление бытия, — то зачем тогда Творцу приумножать падшее в мире? Тогда и творческое горение лишается своего смысла — оно должно тог-

да пребывать лишь в субъекте. Но это ведет к соллипсизму, принять который Бердяев, опять-таки, не может в силу своей религиозной установки.

Но невозможно отрицать высоких этических мотивов, лежащих в основе его соображений, равно как невозможно отрицать метафизического славословия Христу в его попытках снять с Бога ответственность за зло. Поэтому огульное заклеивание учения Бердяева как «ереси» было бы слепотой к тем высоким проблемам, которыми мучился философ. Бердяев нарушал букву христианских догматов, но он оставался всегда верен духу христианства. В его учении есть дерзновение и ересь, но нет кощунства.

В свете своей религиозной метафизики свободы Бердяев подходит к проблемам этики, и нужно сказать, что именно в области этики заключен главный пафос его учения.

ЭТИКА

В «О назначении человека» Бердяев различает три формы этики: этику закона, этику искупления и этику творчества.

Этика закона есть низшая, хотя и необходимая, ступень морального сознания. Она обращена не столько к личности, сколько к человеческому роду, к страстной природе Ветхого Адама. Этика закона, по преимуществу, «отрицательная этика». Она состоит из кодекса запретов, «табу», «вето». Эти запреты, порожденные религиозным страхом, необходимы, без них человеку грозила бы опасность вернуться в животное состояние. (Кантовская этика долга есть высшая ступень этики закона). Но в «отрицательном» безличном характере этики закона — ее ограничение. Это есть этика «социальной обиденности», она проходит мимо личности и создает фарисейскую психологию христианского «законничества». Она приводит или к лицемерию и ханжеству, или создает «фанатизм добра», слепой к живой личности. Так возникает «кошмар злого добра» (название одной из статей Бердяева). Особенно обращает внимание Бердяев на «садистический характер» психологии законничества и использует, в связи с этим, открытия психоанализа Фрейда, его указания на «садистическую» основу морального закона.

Высшая ступень этики — этика искупления, свободна от этого садизма и от законничества. Она есть благодатная этика всепрощения, любви и сострадания. Она есть этика «благодатной божественной энергии», этика Бога-Сына. Здесь переставляются все моральные критерии этики закона: первые в законничестве благочестия будут последними перед судом Божиим, и последние (смирненные духом) станут первыми. Этика искупления обращена не к законникам, а к грешникам. Здесь не отвлеченный закон, а лик Христов является пу-

теводителем совести. «Нисхождение Христа и искупление есть продолжение творения мира, есть восьмой день творения.»

«Евангельская мораль — мораль благодатной силы, неподвластной закону, уже не есть мораль, ибо христианство поставило человека выше идеи добра.» Но этика искупления имеет и свои опасности: она легко вырождается в «трансцендентный эгоизм», в исключительную заботу о спасении собственной души, которая легко может создать религиозную манию преследования и религиозный мазохизм. Эта исключительная забота о спасении может засушить корень любви к ближнему — и в этом Бердяев признает частичную правду Фейербаха.

Поэтому этика искупления нуждается в восполнении ее «этикой творчества». Творец забывает о себе и заинтересован в самом акте, в самих предметах своего творчества. Поэтому творящий всегда бескорыстен, — он любит свое творение, как Бог любит мир. Творящий больше не скован религиозным страхом; творя, он раскрывает в себе божественную энергию, человеческая творческая сила освящается в нем божественным вдохновением. Вот как характеризует сам Бердяев свою «этику творчества»: «Творчество стоит как бы вне этики закона и искупления, и предполагает иную этику. Творец оправдывается своим творчеством. Творец и творчество не заинтересованы в спасении и гибели. Творчество означает переход души в иной план бытия. Страх наказания и страх вечных мук не может играть никакой роли в этике творчества. Творческое горение, Эрос божественного побеждает похоть и злые страсти. Сублимация и преобразование страстей означает освобождение страсти от похоти и утверждение в ней свободной творческой стихии. Творчество есть благодатная энергия, творчество есть первожизнь, оно обращено не к старому и не к новому, а к вечному.»

Иными словами, в творчестве человек становится свободным участником миротворения. Во время творческого акта с человека снимается печать первородного греха, он становится «меньшим братом Божиим».

Таким образом, этика творчества стоит уже «по ту сторону добра и зла». Впрочем, и этика искупления также возвышается над этой противоположностью, ибо, «христианство поставило человека выше идеи добра».

Вообще, главный пафос бердяевской этики — в преодолении морализма. В этом, конечно, парадокс, но Бердяев сам называет свою этику «парадоксальной». Разумеется, это отнюдь не означает имморализма, ибо Бердяев сам ясно говорит: «Плохо, что возникло различие между добром и злом, но хорошо проводить это различие, раз оно возникло. Плохо проходить через опыт зла, но хорошо познавать добро и зло, как результат этого опыта». И далее он так формулирует свое «преодоление морализма в этике»: «Мир идет от первоначально-го отсутствия различия между добром и злом через резкое различие».

ние добра и зла с тем, чтобы, будучи обогащенным этим опытом, снова не различать между добром и злом, но уже на высшей ступени». В этих формулах Бердяев преодолевает свои первоначальные чересчур смелые утверждения о том, что иногда хорошо идти по пути зла, так как это приведет к высшему добру.

Высшие мотивы этого преодоления морализма в этике — отнюдь не ницшеанский культ сверхчеловечества, а жажда обожения мира и человека. Бердяев здесь обновляет идею о «всеобщем спасении», «апокатастис пантон» Оригена. Он протестует против морального фанатизма во имя высшей морали. Вот его слова: «Мораль высшего добра вовсе не означает безразличия к добру и злу, не означает терпимости ко злу. Она требует большего, а не меньшего, она стремится к просветлению и освобождению злых». И далее он кристаллизует свою мысль в замечательном афоризме: «Моральное сознание началось с вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Оно кончится вопросом: «Авель, где брат твой Каин?». «Спасение невозможно, — поясняет Бердяев, — если хоть одна душа мучается в аду. Никто не может быть спасен в изолированности от других. Спасение может быть только всеобщим.» Эта мысль, столь близкая Оригену и русскому религиозно-нравственному сознанию (вспомним апокриф о Богородице, сошедший в ад), снова оживает в этике Бердяева. Но, если рай возможен только в братстве и общении с другими, то ад есть изоляция от других. В главе об аде, самой блестящей в его книге, Бердяев настаивает на мысли, что трагедия ада заключается не в том, что Бог не может простить грешнику его грехов, но что сам грешник не может простить их себе, что ад есть не внешняя сфера, где мучаются грешники, а есть именно абсолютное одиночество, где голос совести, заглушенный при жизни, жжет грешника страшным неугасимым огнем самоосуждения. Эти страницы об аде и о рае («Эсхатологическая этика») принадлежат к лучшему, что написано в мировой философской литературе не эту тему.

Бердяев сам называет свою этику «персоналистической» в том смысле, что человеческая личность есть основная ценность, и что даже критерии добра и зла — не абсолютны, а символизируют состояние личности, — в ее отрыве от Бога (зло) и в ее единстве с Богом (добро). В статье «Личность и сверхличностные ценности», он доказывает, что личность утверждает себя не в самоутверждении, а в служении сверхличным ценностям, настаивая в то же время, что это служение должно быть свободным.

Личность, по Бердяеву, имеет безусловный приоритет перед обществом, но трагедия личности — в том, что общество тиранит личность. По его учению, не личность есть часть общества, а, наоборот, скорее общество есть часть личности. Однако, в нашем падшем мире эта первичная иерархия ценностей нарушена, и личность становится игрой безличных сил, приносится в жертву общему.

Казалось бы, такой персонализм враждебен социализму. Но Бердяев думал иначе. Отождествив социализм со стремлением к социальной справедливости, он заявил себя социалистом, хотя и не Марксова, а особого типа. Он называл свой социализм «персоналистическим», где социальная справедливость поставлена на службу идее достоинства личности, и где сама личность исполняет долг творческой свободы. Но недостаток места не позволяет мне изложить эту сторону учения Бердяева подробнее.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

В свете своей этики свободы и своих персоналистических идеалов, Бердяев подходит и к философии истории, в частности, к философии современного кризиса. Историчесофские идеи Бердяева были высказаны им, главным образом, в «Смысле истории», в «Новом Средневековье», но рассыпаны во всех его книгах и брошюрах, особенно же — в «Судьбе человека в современном мире».

По учению Бердяева, первоисточки современного кризиса — в отпадении человечества от христианства и от гуманизма. Но под христианством он имеет в виду сам дух христианства, а не официальную церковь, которая, по его убеждению, вступила в компромисс с «миром», внутренне обуржуазилась и потеряла дух вселенскости. Христианство дало человечеству благую весть о Царстве Божием, гуманизм впервые осознал свободу человека и ценность свободы. Но современное человечество отвернулось и от Царствия Божьего, ради мечты о царстве человеческом, и от свободы, предпочтя ей мечту о сытом довольстве. Вместо органической культуры, человечество стало создавать механическую цивилизацию, самая устремленность которой — антирелигиозна и антиперсоналистична. Вместо образа и подобию Божия, человек становится образом и подобием бездушной машины. «Торжество буржуазного духа, — пишет он, — привело к ложной и механической цивилизации, глубоко противоположной всякой истинной культуре» (написано до Шпенглера). И далее: «Цивилизация развила огромные технические силы, которые по замыслу должны были уготовить царство человека над природой, — но эти технические силы властвуют над самим человеком, делают его рабом, убивают его душу . . . в колоссальной технической цивилизации, точно выпущены все демоны, мстящие человеку». Интересно, что еще в 20-х годах Бердяев как бы предсказывал появление чего-то подобного атомной бомбе.

Коммунизм родился, по его убеждению, одновременно как протест против буржуазной культуры, в то же время зараженный материалистическим и безбожным духом этой ложной культуры.

Вот его слова, клеймящие буржуазную культуру: «Дух цивилизации — мещанский дух. Цивилизация Европы и Америки создала

индустриальную капиталистическую систему, которая является истребителем духа вечности, духа святых, капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией: в недрах цивилизации начали обнаруживаться процессы варваризации, огрубения». «Не церковь, а биржа стала господствующей и регулирующей силой жизни», — замечает он в «Новом Средневековье», а в «Смысле истории» он говорит: «Исключительное погружение Европы в социальные вопросы есть падение человечества. Экономизм цивилизации 19 и 20 веков, извративший иерархический строй общества, породил экономический материализм, верно отразивший действительность 18 века... Поклонение Маммоне вместо Бога одинаково свойственно и капитализму и коммунизму». «Не свободен духом человек нашего времени... он находится во власти неведомого ему господина, сверхчеловеческой и нечеловеческой силы, которая овладевает обществом, не желающим знать Истины».

Таким образом, по Бердяеву, коммунизм есть Немезида капитализма и порожден материалистическим духом капитализма.

Заметим от себя, что эти критические замечания Бердяева по адресу капитализма относятся по существу более к капитализму времени до первой мировой войны, и что в наше время, когда капитализм «врос» в социализм, когда мы имеем в передовых странах не чистый капитализм, а «социал-капитализм» — эти замечания теряют во многом свою остроту.

Особенно интересны замечания Бердяева о революции и о России. «Революции современного, тоталитарного типа, — говорит он, — предшествуют процесс разложения, упадок веры, утеря объединяющего центра жизни. В результате, люди теряют свободу и становятся одержимы дьяволом».

Во всех своих позднейших книгах Бердяев проводит, по-разному варьируя, ту мысль, что мания свободы, в ее отрыве от Бога, диалектически приводит к худшим формам рабства, и что сам гуманизм, будучи оторван от своего религиозного первоисточника, приводит к своей противоположности — к антигуманизму. «Безрелигиозный гуманизм приводит к дегуманизации и бестиализации человека», — утверждает он. В условиях относительного благоденствия, человеческий дух засыпает, самодовольная личность деперсонализуется, теряет волю к свободе, и в результате эта буржуазная культура оказывается не в состоянии выдержать натиска организованных сил зла, прикрывающегося маской идеи равенства и социальной справедливости. Буржуазная культура оказывается всего лишь переходной формой от чистого гуманизма к новому варварству и к «новому Средневековью», гораздо худшему, чем прежде Средневековье, ибо тогда христианская идея, несмотря на все злоупотребления религиозным фанатизмом, предохраняла личность от разложения. Тип монаха и рыцаря, сильного своей духовной собранностью и дисциплиной, уступает место типу торгаша и шофера — этого «технизиро-

ванного дикаря», с тем, чтобы уступить место типу комиссара, чекиста, во имя народной воли тиранящего народ.

В революции выходят на авансцену истории иррациональные, демонические силы, пребывавшие в условиях буржуазной культуры в «подпольи». Так, буржуазная культура сама подготавливает почву для своего падения.

ЗАПАД И РОССИЯ. СМЫСЛ БОЛЬШЕВИЗМА.

На Западе буржуазный дух гораздо сильнее, чем в России, — продолжает Бердяев, — так как на Западе традиции гуманизма прочнее. Но сам гуманизм есть миф, не выдерживающий критики, ибо человек есть изначально существо религиозное, и, в конце концов, он устремляется или вверх — к царству Божьему, или вниз — к царству Антихриста. Большевизм силен своей критикой лжи буржуазной культуры, но он не в силах создать своей положительной культуры, ибо он сам заражен материализмом, порожденным буржуазией. Поэтому большевизм силен своим разрушением, а не творчеством. «Большевики воображают, — писал он, — что они — творцы нового будущего. В действительности они — орудие безличных стихий. На самом деле они обращены к прошлому, а не к будущему, ибо они — рабы прошлого и прикованы к нему злобой, ненавистью и мстью».

Развивая в новом направлении мысли славянофилов о России, Бердяев говорит, что она «никогда не могла принять гуманистической культуры нового времени, его рационалистического сознания, его формальной логики и формального права, его секулярной серединности. Россия никогда окончательно не выходила из Средневековья, из сакральной патриархальной эпохи». В этих словах — много правды, но не меньше и преувеличений: в них как бы игнорируется петербургский период нашей истории, когда на основе своеобразного синтеза русскости и европейскости, Русский дух принес лучшие свои плоды во всех областях культурного творчества.

Но мы сейчас заняты мыслями Бердяева о России и высказываем собственные замечания лишь в форме кратких примечаний.

«Русский народ, — продолжает Бердяев, — не может создать срединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейском смысле слова. Он хочет или царства Божьего, братства во Христе, или товарищества в Антихристе, царства князя мира сего». «В России всегда была исключительная, неведомая народам Запада, отрешенность. . . Народы Запада своими добродетелями прикованы к земной жизни и земным благам, русский же народ своими добродетелями отрешен от земли и обращен к небу». (Эта мысль звучит совсем по-чаадаевски.)

Опять-таки, и в этих словах много правды — русский дух более радикален и более последователен, чем дух западный, и какая-то вина за большевизм падает на эти черты русского характера. Но Бердяев странным образом упускает из вида, что, если в 1917 году часть народа шла за большевиками, то теперь, после сорокалетнего опыта, народ на собственном кровавом опыте узнал, что такое большевизм, и в наше время даже энкаведисты и шпионы начинают каяться. Поэтому диагнозы Бердяева, актуальные еще лет тридцать назад, теперь явно устарели. Большевики перестали быть «идеалистами зла», они теперь — деловики и аппаратчики — «реалисты зла».

В последние годы Бердяев, ослепленный ненавистью к фашизму, стал вообще слишком многое прощать большевикам. Мыслитель, сказавший в свое время самые разоблачающие слова о большевизме, заклеивший советскую власть как «сатанократию», стал видеть в последние годы своей жизни в них предшественников новой, высшей эпохи. Своими последними, просоветскими писаниями Бердяев принес много вреда антибольшевистскому делу. Поэтому политическая «бердяевщина» должна быть безусловно отвергнута. В этом политическом плане в защиту Бердяева можно сказать лишь то, что под самый конец жизни он изжил эту странную аберрацию своего сознания. Но эти печальные заблуждения Бердяева ничуть не умаляют огромной ценности его философии и, в частности, его огненных мыслей о религиозном смысле современного кризиса. Ибо в главном Бердяев прав: выход из современного кризиса может быть только один — в возвращении на новом, высшем уровне к вечной правде христианства. Если демократия не христианизуется, она может погибнуть под ударами нового варварства. Мобилизации сил зла должна быть противопоставлена мобилизация сил добра.

На этом я заканчиваю изложение идей Бердяева и перехожу к общим оценкам его творчества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно прежде всего отметить, что Бердяев до сих пор является очень спорной фигурой. У него больше поклонников на Западе, чем в русской среде, где, за немногими исключениями, к нему относятся сдержанно, а подчас враждебно. В частности, в церковных кругах самое имя Бердяева нередко вызывает негодование, к которому, нужно сказать, Бердяев давал поводы своими резкими нападками на клерикализм.

На Западе Бердяева считают ярким представителем русского и православного духа. Такая оценка, по меньшей мере, односторонняя, — это все равно, что судить о русской душе только по Достоевскому, игнорируя Толстого, Пушкина и Чехова. Бердяев — слишком неортодоксален и, по его собственным словам, «был всю жизнь бунтарем

и верующим вольнодумцем». Но если чистота его православия сомнительна, то несомненно, что в эмоциональном, интуитивном характере его философствования — много русского. . . Он сам говорил: «Мое мышление интуитивно и афористично. В нем нет дискурсивного развития мысли. Я ничего не могу толком развить и доказать». Но, в то же время, все его писания озарены светом целостной интуиции. Мироззрение Бердяева — парадоксально, его стиль — отрывочен, но эту парадоксальность и отрывочность он умел выражать в высшей степени целостно.

Во всяком случае, нельзя отрицать яркой оригинальности Бердяева, пророческого характера его философии и его блестящего литературного дарования. В лучших своих вещах он возвышается до гениальности, и его огненный пафос заражает сколько-нибудь чуткого к мысли читателя. Он был в высшей степени плодовит, — количество его книг исчисляется десятками, а статей — чуть ли не сотнями. Недаром он говорил: «Писать для меня — физиологическая потребность». В частности, он является автором едва ли не лучшей книги о Достоевском — «Мирозерцание Достоевского». Спрос на его сочинения достаточно велик для философа.

Говоря объективно, на чисто философских весах некоторые современные русские философы весят больше Бердяева: так, Лосский и Франк имеют больше чисто философских заслуг, чем Бердяев, о. Павел Флоренский превосходит его высотой религиозно-философских прозрений, а о. Сергей Булгаков выше его в богословском отношении.

Но в Бердяеве есть, по крайней мере, одна черта, которая выделяет его из других: он был философом пророческого, пророческого духа, он был в высшей степени чуток к болезням века сего и, по своему темпераменту, он был философом-бойцом. В его облике было нечто рыцарское, он был «рыцарем свободного духа». Его благородная защита свободы духа в наше время, когда ее отрицают или понимают чисто формально, не может не волновать и не вдохновлять читателя.

Бердяев был самой яркой личностью в русской философии 20-го века, — в этом он схож с Вл. Соловьевым, который также, как личность, выше своих творений.

Даже принимая чужие идеи, Бердяев развивал и выражал их настолько глубоко по-своему, что они сразу принимали особый, «бердяевский» оттенок. В его творчестве скрещиваются самые разнообразные и разнокачественные влияния: Достоевского, Леонтьева, Вл. Соловьева, Канта, Маркса, Ницше, средневековых мистиков и пр. Но все эти влияния настолько переварены в собственном котле, настолько органически сочетаются, что говорить о каком-либо эклектизме было бы глубокой несправедливостью. Заметим также, что Бердяев был очень чуток к веяниям искусства, и его суждения о нем всегда отличались тонким проникновением.

Некоторые критики характеризуют творчество Бердяева, как «философскую публицистику». Против этой характеристики нельзя ничего возразить, если понимать ее буквально: как философию, выраженную в публицистической форме. Но, если в эти слова вложить тот смысл, что сама философия Бердяева по своему содержанию публицистична, т. е. что это есть не настоящая, а «публицистическая» философия, то такая характеристика будет явно несправедливой. Бердяев не виноват в том, что у него был блестящий литературно-публицистический дар, и что он умел делать труднейшие философские проблемы интересными.

Темперамент бойца часто заслонял у него чистоту философских созерцаний, но полемика его была всегда принципиальной и «диалектической», в лучшем платоно-гегелевском смысле этого слова.

В Бердяеве был силен моральный пафос, — и это несмотря на то, что всякий узкий морализм вызывал в нем негодование. У него была потребность всегда кого-то обличать, а для этого в наше время находилось всегда достаточно поводов.

Но он умел не только обличать, но и призывать к высшей духовности, его морализм умерялся широтой кругозора и возводился в высшую ступень пророческим горением.

В личной жизни он бывал нетерпим, но зато готов был и заступаться за обиженных и гонимых. В общении он умел быть обаятельным, его духовное благородство было подлинным, несмотря на нередкие вспышки гнева и на несомненную духовную гордыню.

Его одушевляла одна идея — свободы. Среди философов свободы Бердяев занимает одно из первых мест — наряду с Шеллингом и Баадером. В своем пафосе свободы он заходил нередко слишком далеко, скажем прямо, нередко впадал в ересь. Его метко называли «фанатиком свободы», а проф. Спинка, автор ценной книги о Бердяеве, характеризовал его как «пленника свободы» — «A captive of freedom».

В нашем кратком очерке мы не можем позволить себе сколько-нибудь детальный критический анализ идей Бердяева. Поэтому в ответ на огульные обвинения в «ереси» со стороны многочисленных противников Бердяева, мы позволим себе высказать соображение, приводимое проф. Лосским в его книге о русской философии:

«В наше время, когда большинство интеллигенции столь далеко от жизни церкви и от духа христианства, Бердяев имеет огромную заслугу уже тем, что в своих писаниях, проникнутых религиозно-философским пафосом, он пробуждает интерес к религии и к высшим философским проблемам, и заражает читателя своей духовной взволнованностью. Немало читателей, прежде равнодушных или враждебных религии, под влиянием Бердяева переживали внутренний кризис и возвращались к церкви. Правда, за порогом религии, прибавим от себя, Бердяев перестает быть надежным руководителем. В богословских вопросах он — плохой учитель, да он и сам называет себя

свободным религиозным философом. Но, во всяком случае, от вопросов, ставимых Бердяевым, нельзя просто отмахнуться — их необходимо пережить и преодолеть. Здание учения, построенное Бердяевым — непрочное, но в нем есть золотые кирпичи. По всем этим соображениям можно сказать, что в целом творчество Бердяева оправдано.

На темном же небосклоне современной культуры звезда Бердяева, этого рыцаря свободного духа, долго будет сиять манящим, хотя и не всегда чистым блеском».

Е. ЮРЬЕВСКИЙ

75-летие со дня смерти К. Маркса

Установить значение Маркса можно лишь беря в совокупности всю его деятельность — как политика и руководителя рабочим движением, социолога, философа, экономиста. Однако, как бы ни было интересно напомнить его высказывания по различным вопросам, все это отступает перед центральной задачей, поставленной им в «Капитале» — его главнейшем произведении.

Чему учил и что предсказывал Маркс? Развитие капиталистического производства, — а им, по его убеждению, управляют законы, будто бы «не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения людей», — ведет к тому, что на сцене общественной жизни останутся только два класса: капиталисты и рабочие. Все средние классы и группы между ними — крестьянство, мелкие промышленники, торговцы, ремесленники — должны, как таковые, исчезнуть, «низвергаясь в ряды пролетариата». Среди капиталистов наиболее крупные предприниматели вытеснят, уничтожат более слабых, и владение всем хозяйством и выгоды от него, в конце концов, сосредотчатся в руках лишь очень небольшого числа «магнатов капитала». В этой перспективе каково будет положение остального населения, целиком, без остатка, превращенного в пролетариев? В среде пролетариата, пророчествовал Маркс, будет возрастать «масса нищеты», «угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации» («Капитал», т. I., изд. 1949 г., стр. 766). По мере развития капитализма, «положение рабочего должно ухудшаться, какова бы ни была — высока или низка — его оплата» (там же, стр. 651). Класс рабочих, «даже вне непосредственного процесса труда, является такой же принадлежностью капитала, как и мертвый рабочий инструмент» (там же, стр. 578). Такова схема Маркса, и он стремится ее тщательно обосновать на протяжении всех 2200 страниц трех томов «Капитала». Из этой схемы он делает конечный вывод: наступит день, когда угнетенная масса пролетариев свергнет власть магнатов капитала, экспроприрует экспроприаторов, превращая частную капиталистиче-

скую собственность в собственность общественную. Тогда исчезнет деление общества на классы, прекратится классовая борьба, начнется новая жизнь, «основным принципом которой является полное и свободное развитие каждого индивидуума». Произойдет, писал Энгельс, «скачок из царства необходимости в царство свободы».

Обратим внимание на следующее крайне важное обстоятельство. Первый том «Капитала» появился в 1867 году, второй том, уже после смерти Маркса, в восемьдесят пятом, третий том — в девяносто четвертом году. Два последних тома собраны Энгельсом из рукописей Маркса, написанных, главным образом, между шестьдесят третьим и шестьдесят седьмым годами, на основании данных и наблюдений, в своем подавляющем большинстве относящихся, как и цифры первого тома, к эпохе до шестидесятого года. И вполне естественно, что, несмотря на исследовательский талант Маркса и его ученость, труд его имеет сейчас крайне устарелый, архаический характер. Ведь, нельзя же допустить, — все факты тому противоречат, — что за истекшие 80 лет ничто не изменилось! Бьющим в глаза признаком архаичности схемы Маркса служит хотя бы его суждение о Соединенных Штатах Америки. Эту величайшую в мире могущественную индустриальную страну, от которой зависит и безопасность, и положение всей западной Европы, Маркс еще рассматривал как «колонию Европы». («Капитал», т. I, стр. 457). Архаичны и другие его суждения, притом основные.

Например, правда ли, что развитие производительных сил на базе капитализма принесло рабочему классу только «нищету, угнетение, рабство, вырождение»? В настоящее время подобные вещи выкрикивают только коммунистические пропагандисты в СССР. Внушая советскому населению мысль, что оно благоденствует, они уверяют, будто в капиталистических странах происходит «обнищание» рабочего класса. Подобную ложь нетрудно опровергнуть. Вдумаемся хотя бы в следующие несколько цифр: в 1835 году (Марксу тогда было 17 лет) средняя продолжительность жизни — надежда прожить — измерялась во Франции только 35 годами. Так было по всей Европе. Жизнь была тяжкая, дети массою умирали вскоре после рождения, люди не жили долго. Что же случилось за период после смерти Маркса? Наше время полно чудес, и среди них — большое, замечательное, радостное чудо, потихоньку вошедшее в жизнь и многими незамечаемое. Об этом чуде говорят последние статистические данные. В так называемых капиталистических странах, где трудящееся население, по убеждению Маркса, обречено на нищету и вырождение, средняя продолжительность жизни поднялась до 65—70 лет и даже свыше 73 лет (Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды). Значит, за 120 лет она удвоилась. Жизнь отодвинула смерть. Одержала над нею победу. Можно ли себе представить больший подарок человечеству? Было ли бы это чудо, если бы население пребывало в состоянии нищеты, рабства и вырождения?

Чудесному удлинению жизни, помимо общих условий, крайне способствует социальное законодательство, проникающее и в очень отсталые страны. Возьмите «Ежегодник международного бюро труда». Социальное страхование, как видно из ежегодника, усиленно развивается в 45 странах и, охватив уже сотни миллионов людей, страхует население на время болезни, материнства, несчастных случаев, безработицы, инвалидности, старости, оказывает помощь семьям для поддержки и учения детей. Ни одного вида этого социального законодательства Маркс не знал. В год его смерти, в 1883 году, в Германии введено страхование на время болезни, в 1889 году страхование несчастных случаев, в 1899 — инвалидности и старости. У Маркса нет даже намека на то, что такие, а тем более ныне существующие, формы социальной помощи могут иметь место. В его время социальное законодательство было в зародыше, сводясь к запрещению работы детей до 12 лет и сокращению рабочего дня подростков и женщин. Измеряя, сколь далеко ушло человечество от того времени, стоит напомнить, что только после революции 1848 года во Франции установлен 12-тичасовый рабочий день, то-есть 84-часовая рабочая неделя, которая ныне превратилась в легальную сорокачасовую.

Концепция Маркса крайне устарела и далека от действительности. Он ошибался, когда предрекал исчезновение крестьянства и поглощение его капиталистическими фермами. Свой прогноз он делал, опираясь на «классический опыт Англии», предназначенной, по его словам, «показать всем странам картину их будущего». Во времена Маркса английское крестьянство действительно исчезало. Встав первой на путь капиталистического развития, Англия смотрела на себя как на монопольную мировую фабрику, у которой нет и не может быть соперников. Она вела свою политику, рассчитывая, что на веки вечные будет поставлять всему миру промышленную продукцию, а взамен на выгодных условиях получать сырье и продукты питания. В согласии с этим взглядом, собственное сельское хозяйство ей казалось невыгодным, ненужным, и она допустила его полное падение. Но эта близорукая политика, в возможность которой самым не критическим образом уверовал Маркс, была историей бита. Индустриализация, захватывая одну страну за другой, подсекла монополию Англии на мировом рынке. Сбывать товары, получая вместо них продукты питания, ей стало много труднее. Во время первой мировой войны отсутствие своего сельского хозяйства, зависимость от пищи, находящейся далеко в чужих руках, ощущалась Англией как нож, приближающийся к горлу. Вторая мировая война и все последующие за ней события еще более обострили положение. Получение продуктов питания на национальной территории стало для Англии вопросом жизни и смерти. Сознав это, английское правительство (и консерваторов, и рабочей партии) бросилось восстанавливать свое сельское хозяйство. До войны Англия производила 30 процентов потребляемых ею пищевых калорий, к 1950 г. ей удалось эту долю поднять до

40 процентов. Желая удержаться на этом уровне, а, по возможности, и перешагнуть через него, Англия ухаживает за своими крестьянами, сельскими хозяевами, поддерживает их субсидиями, назначает выгодные для них цены на их продукцию. Таковую же политику по этим и другим мотивам (сохранение крестьянства, как фактора социального равновесия) ведут все индустриальные страны и, в том числе, Соединенные Штаты. Конечно, всюду в городах сосредоточивается все бóльшая часть населения и сельское население сокращается. Но сельскохозяйственная продукция от этого не падает. И ни в одной индустриальной стране крестьянин, самостоятельный земледелец, не исчезает. Абсолютно ложно заявление Маркса, что «в сфере земледелия крупная промышленность, действуя с величайшей революционностью, уничтожает оплот старого общества — крестьянина — и выдвигает на его место наемного рабочего». («Капитал», т. I, стр. 508). Если кто, и уже давно, исчезает из сельского хозяйства, так это именно наемные рабочие. В Германии в 1907 г. их было 3.380.000, а в 1950 в обеих ее частях (западной и восточной) — 1.749.000 (вычислено по данным „Statistical Abstract“ за 1957 г.). Во Франции в 1896 г. в сельском хозяйстве находилось 3.250.000 рабочих, в 1931 г. — 2.140.000, а в 1954 г. только 1.196.000. В Соединенных Штатах в 1910 году было 6.400.000 с. х. рабочих, в 1950 г. — около 2 миллионов. А крепкий крестьянин-земледелец (по-советски — «середняк» и «кулак»), заменяет рабочего моторами, всякими усовершенствованными машинами, и не исчезает. Он необходимый, полезный спутник в процессе эволюционирующего общества. Жизнь явно не идет «по Марксу».

Предсказания Маркса об исчезновении мелкого торговца — такая же ошибка, как и его прогноз об исчезновении крестьянина. Постоянно говоря об «обмене товаров», «товарном обращении», продаже товаров — Маркс, однако, никогда не изучал конкретные формы торговли. Несколько строчек о торговле во втором томе «Капитала» поражают своей пустотой, странным непониманием значения торговли. Торговую активность он самым простейшим образом относит к «непроизводительным издержкам производства». У него нет мысли, что законы обращения товаров отличны от их производства. Расширенное индустриальное производство при современной технике имеет явно выраженную тенденцию к сокращению числа рабочих, то-есть непосредственных производителей. Производство для своего максимального эффекта требует концентрации труда и технических ресурсов, хотя и тут есть пределы, оставляющие место для ряда особого рода маленьких предприятий. Торговля, наоборот, не может замкнуться в концентрации в немногих магазинах, центрах торговой массы. У нее обратная задача — максимальное рассеивание товарной массы по множеству товаропроводящих каналов. Оно ведет от опта к рознице, к разветвлению последней; только таким образом торговля может осуществить свое общественное назначение — повсеместное подведение товара к непосредственному потребителю и всестороннее

удовлетворение потребностей и запросов населения. Поэтому распространение умножающейся и ставшей более ранообразной товарной массы происходит при увеличивающемся персонале в торговле. В такой переполненной всякими товарами стране, как Соединенные Штаты, это явление ведет к тому, что работающие в оптовой и розничной сети кадры начинают составлять гигантскую часть активного населения. Занятые в торговле в 1955 г. исчислялись в 10.728.000 человек — 22 процента всего персонала, работающего в отраслях вне земледелия. Без этой массы людей нельзя с максимальной полнотой, скоростью и тщательностью обслужить потребности населения. Но, следуя за Марксом, утверждавшим, что население в торговле никакой новой ценности не создает, «умный» советский академик Варга относит торговлю к «паразитическим» занятиям. Прибавим к этому, что в торговле увеличивается не число рабочих, а служащих, что совсем не одно и то же. В разветвленной розничной торговле всегда есть, вопреки заявлению Маркса, место для маленького торговца. В США необычайно сильны крупные торговые предприятия с их отделениями по всей стране, однако, они не вытеснили маленьких магазинов. Из 1.500.000 магазинов, существовавших в США до войны, почти миллион нужно отнести, принимая во внимание американские масштабы, к небольшим и маленьким предприятиям. В Англии в годы до войны число частных торговцев увеличилось на 19 процентов, и это произошло, главным образом, от увеличения числа мелких коммерсантов. Во Франции в течение 1906-1931 г.г. из растущей и концентрирующейся индустрии исчезло много ремесленных и маленьких предприятий, но в торговой сети произошло обратное явление: например, число маленьких предприятий без всякого наемного труда увеличилось на 34 проц. В 1906 г. вся торговая сеть Франции состояла из 800.000 торговых «точек» — мест продажи. Расширение производства и его разнообразие вызвало увеличение к 1931 г. числа торговых точек до 923.000. Из этого числа 800.000 мест продажи представлены торговцами-одиночками, маленькими магазинами с одним служащим или без всякого наемного труда. Уничтожьте эти 800.000 точек и вы получите торговую пустыню, вроде той, что существует в СССР. Там нет заботы о лучшем, скором, удобном обслуживании потребностей населения. Сельское население должно иной раз ехать десятки километров, чтобы из какого-нибудь «универмага», став в очередь, попробовать получить нужные ему товары.

Нельзя не заметить, что на представлении Маркса о товарной массе лежит печать крайней отсталости. Товарную массу он представляет себе только в виде таких предметов — уголь, железо, хлеб, сапоги, одежда, тогда как сейчас, не говоря уже об умопомрачающем числе всяких вещей, громадная часть расходов населения направляется на покупку особого рода товаров — у с л у г, в виде электричества, газа, канализации, способов передвижения — метро, автобуса, трамвая, такси, самолета, почты, телеграфа, зрелищ, кино, телевидения, вра-

чебной помощи, обучения и всяких личных услуг. Пользование этим комплексом услуг стало неразрывной, обычной частью современного быта. Но автору «Капитала» подавляющая часть всего этого просто не знакома.

Творец концепции, отводящей первенствующее значение экономическим отношениям и технике, Маркс много говорит об «орудиях производства», о «машинах», но конкретное представление о них у него недалеко отходит от изобретенной в 18-ом веке паровой машины Уатта и прядильной машины Аркрайта. Нельзя не улыбнуться, когда, рассказывая, как голландцы в 1836—37 г.г. осушили Герменское озеро с помощью паровых машин, Маркс называет их «циклопическими». Какими жалкими и слабенькими карликами кажутся эти «циклопы» в настоящее время! Производство электроэнергии Марксу незнакомо, у него нет и тени предвидения грандиозной роли электричества в современной жизни. И откуда ему это было знать, когда только в год его смерти Депрецу удалось перенести электроэнергию на расстояние 15-ти километров. Это казалось тогда величайшим достижением. О нефти в «Капитале» не упоминается ни разу, а на базе ее выросла вся нынешняя могущественная «моторная цивилизация». Можно ли себе представить современную жизнь без автомобиля и авиации! Предчувствия действительно чудесного развития техники, сказавшегося, например, у романиста Жюль Верна, Маркс — его современник — совсем не обнаружил. За это упрекать его неразумно, но было бы еще более неразумным не видеть, что отсутствие этого предвидения отняло крылья у пророчества Маркса. Из первой половины 19-го века он никуда не вылетел. Посмотрим, к чему это привело.

Современная индустрия, особенно в ее машиностроении, точной механике, электротехнике, радиотехнике, химии, утилизации атомной и термоядерной энергии, являет картину исключительной сложности. Тут мало общего с хлопчатобумажным производством, которое в сущности было единственной индустрией, хорошо известной Марксу. Современная индустрия ведется при широчайшем и активном участии людей науки, инженеров, техников, всяких специалистов, персонала общих и заводских лабораторий. Это мозг индустрии, толкающий ее вперед, открывающий для нее новые перспективы. Не исключено, что тот или иной рабочий способен сделать большое изобретение, внести свой вклад в индустриальный прогресс, и все-таки не рабочие у станка создают этот прогресс, а обученные профессионалы умственного труда, прошедшие академии, университеты, всяческие технические исследовательские институты и школы. У Маркса об этом ни слова. На протяжении двух тысяч двухсот страниц трех томов «Капитала» ни разу не упоминается инженер.

В индустрии, описываемой Марксом, этот агент производства отсутствует. Нет у него и другого фактора. Индустрия, побуждаемая коммерческими мотивами и требованиями государства, ведет сложную отчетность, планирует свое производство, тщательно калькулирует

себестоимость, изучает и исследует емкость и требования рынка. Для выполнения подобной работы требуется специальной административный, бухгалтерский, контрольный, статистически-учетный, исследовательский персонал. Этот персонал, вместе с инженерно-техническим и персоналом подсобным обычно заносимый статистикой в одну рубрику под названием «служащие», увеличивается в пропорции значительно превышающей рост численности рабочих. Маркс этого явления совсем не знал, а оно сейчас бьет в глаза в передовых индустриальных странах. В Англии в обрабатывающей промышленности за 1935—1948 г.г. число рабочих увеличилось на 23 процента, число же служащих возросло на 62 процента. В Швеции указанный процесс представится еще выпуклее, если взять больший промежуток времени, например 1913—1949 г.г. В ней за эти годы число рабочих индустрии возросло на 78 процентов, а число служащих на 356 процентов. В Соединенных Штатах за 1939—1952 г.г. рост рабочих в индустрии — 61 процент, служащих — 174 процента. В 1904 году в Америке на десять рабочих приходился один служащий, а в 1952 г. один служащий меньше чем на четырех рабочих (3,8 рабоч.). Современная индустрия, оснащаемая множеством машин, заменяя физическую силу человека утилизацией разных энергоресурсов, умножает свою продукцию не столько при увеличении, как во времена Маркса, число рабочих — профессий физического труда, сколько при все растущем участии, влиянии веса, значения профессий, умственного труда. Не мускул рабочего, а мозг ученых и инженеров производит происходящую гигантскую техническую революцию, несущую глубочайшие преобразования всей социальной жизни.

В развитии американской промышленности лучше, чем в какой-либо иной, можно усмотреть смысл и значение грядущих преобразований. При неостанавливаемом росте техники, автоматике, электроники, кибернетики, применения роботов — физический труд промышленности все более сводится к минимуму. Чернорабочий будет заменяться рабочим-техником, инженером. Преобладающим фактором будет становиться труд умственный. При высочайшей технике и соответствующей ей организации хозяйства, гораздо больший, чем прежде, национальный доход может быть получен при очень значительном сокращении численности работающего персонала. Это позволит освободить от работы кадры старых, юных и молодых людей. Все старые (возможно даже в 45 лет) перейдут на пенсию, а миллионы молодых, получая стипендию—будут учиться, беспредельно расширяя знания, духовную культуру общества. Это не «сказки», не фантазия. Признаки грядущего уже налицо. Но последнее слово этого процесса — переход к новому обществу — требует политических предпосылок и, при умном, научном планировании народного хозяйства, нового распределения национального дохода. Всю только что очерченную эволюцию промышленности Маркс абсолютно не предвидел. Его пророчества бескрылы. Организацию труда внутри промышлен-

ности он изображал с грубостью, нас ныне шокирующей. Он отражал лишь то, что существовало тогда в его грубое время, не поднимаясь над ним. Он думал, что так будет продолжаться и до второго пришествия, до момента, когда «экспроприаторов экспроприруют». «Капиталистическое управление — писал он — деспотично». «Команда капитала в производстве подобна команде генерала на поле сражения». Чтобы вести постоянный надзор за рабочими, «капиталу нужны промышленные обер-офицеры (управляющие) и унтер-офицеры (мастера)». Больше ничего! Только надзор с целью выжать из рабочего больше труда. О творческой, организующей функции в производстве ученых, инженеров, техников, администраторов, лаборантов, калькуляторов, статистиков — ни единого слова, ни атома предвидения!

Это не случайность, а следствие всей марксовой концепции. Сложный квалифицированный труд Маркс рассматривал только как некую измененную пропорцию простого труда. Заявив, что «товар может быть продуктом самого сложного труда, но его ценность делает его равным продукту простого труда», — Маркс к этому вопросу уже больше не возвращался. На первое место в экономическом развитии он ставит «простого рабочего», «простую рабочую силу» и, в согласии со своей теорией трудовой ценности, видит в ней единственного творца всех хозяйственных ценностей. Это он — простой рабочий — производит прибавочный продукт, прибавочную ценность, ту, что дает возможность «расширенного воспроизводства капитала», кормит капиталистов, государство и «всяких паразитов». Мысли, что в создании хозяйственных ценностей и прибавочной ценности участвует все общество, — не только профессии физического, но и умственного труда, — у него нет. В «Капитале», разумеется, упоминается «наука», «технология», «люди науки» — как же без них! — но в его основную схему они не влезают и с ней никак не вяжутся. Он постоянно повторяет, что единственным создателем прибавочной ценности является «переменный капитал» (рабочий), и что постоянный капитал (средства и орудия производства, техника, машина) в создании прибавочной ценности совершенно не участвуют. А такой постулат несомненно сводит на-нет участие «Уатта и Аркрайта», изобретателей паровой машины и прядильного станка, революционизировавших производство. Получается оригинальная противоречивая и ложная позиция. Из жалости ли к угнетенному рабочему или из ненависти к эксплуатации вообще, но Маркс — истинный представитель высоко-квалифицированного умственного труда — повернулся спиной к профессиям умственного труда, сводя тем самым к нулю их роль в истории. Это весьма гармонирует с его взглядом на историю, как на «процесс, которым управляют законы, не находящиеся в зависимости от воли, сознания, намерений человека».

Отсутствие крыльев в пророчествах, прогнозах Маркса обнаруживается и в следующей важной области. Наша эпоха принудительно нагружает на органы государства, на муниципалитеты, департаменты,

несчетное количество новых функций и задач, остро поставленных в порядок дня громадным развитием социальных потребностей. Перед ними стоит множество проблем: контроль экономической жизни, жилищный вопрос, борьба со стихийными бедствиями, водоснабжение, электрификация, санитарное дело, умножение числа школ, подготовка научных педагогических кадров, организация научных исследований и лабораторий, увеличение числа госпиталей, санаториев, диспансеров, домов отдыха, убежищ для старых людей, развитие радио и телевидения, искусство, спорт, народные развлечения. Совершенно очевидно, что для всестороннего удовлетворения бурно заявляющих свои права социально-культурных потребностей нужны не столько рабочие, о которых только и говорил Маркс, сколько достаточные кадры всяких служащих и разнообразные профессии умственного труда. Подобные задачи были чужды прежнему государству. Они абсолютно чужды и Марксу. Государство в его глазах только жандарм, в лучшем случае — ночной сторож, а больше всего и прежде всего — машина для увеличения эксплуатации рабочего и укрепления власти капиталистов. До дня великого суда, когда пробьет грозный час для капиталистической собственности, он не видел ничего положительного, что могло бы изменить государство и «буржуазные» органы самоуправления. Возможность их демократизировать, влагая новое содержание в их деятельность — в его концепции отсутствует.

Так как в короткой статье нельзя дать полный анализ воззрений Маркса (это привело бы к критике теоретических построений всех трех томов «Капитала»), вернемся к тому, с чего мы начали, т. е. к марксовым предсказаниям. Маркс предсказывал гибель крестьянского хозяйства. Оно не гибнет. Маркс предсказывал исчезновение мелкого торговца. Он не исчезает. Ремесло и мелкая промышленность сильно сужены, но все таки не исчезли и в некоторых областях сохраняют свою жизнеспособность и нужность. Маркс предсказывал превращение всего населения в промышленный пролетариат. Наемный труд всюду численно растет, но при этом появляется не тот рабочий промышленности, о котором говорит Маркс, а профессии, о которых он ровно ничего не говорил и расцвета которых не предвидел. Это — служащие государства, штатов, департаментов, городов, сельских коммун. Это инженерно-технический, научно-педагогический, врачебный персонал. Это служащие в банках, страховых обществах, учреждениях социального страхования, синдикатах. Это служащие разнообразных видов торговой сети и транспорта. Это свободные профессии; это служащие на почте, телеграфе, телефоне. Это всякие профессии, обслуживающие зрелища, спорт, комфорт и удобства общества. Нет возможности кратко перечислить эти новые профессии: так они многочисленны. И характерная черта нашего времени именно та, что профессия служащих и профессии умственного труда — в своем росте намного обгоняют рост численности рабочего класса не только в индустрии, а во **всем** национальном хозяйстве. Например, во

Франции за 1901—1946 г.г. группа патронов, предпринимателей, самостоятельных производителей — численно осталась прежней, число рабочих всех категорий увеличилось только на полтора процента, тогда как число служащих возросло на 60 процентов. В результате доля рабочих в общем активном населении страны пала с 48,6 проц. до 46,7 проц. В Швеции, — беря и здесь все национальное хозяйство за годы 1940-1950, — группа патронов сократилась на 7 проц., число рабочих несколько сократилось, но незначительно, зато число служащих увеличилось на 40 проц. В итоге рабочие в активном населении стали представлять меньшую величину — не 58,2 проц., а 53,5 проц. (см. Statistisk Arsbok for Sverige, 1951 г., стр. 29). Понятно, что шведская социал-демократия, при всей ее мощности, опираясь, главным образом, на рабочих, больше половины избирателей в парламент увлечь за собою до сих пор не могла, тем более, что не все рабочие за нее голосуют.

В Германии указанный процесс начался уже давно. В ней с 1882 года по 1933 г. число рабочих по всему народному хозяйству увеличилось на 80 процентов, число служащих — на 400 процентов. В 1882 году на каждых 10 рабочих приходился один и четыре десятых служащего и чиновника, в 1933 г. уже почти четыре. В противоположность Франции, где группа различных патронов (фабрикантов, торговцев, крестьян, ремесленников) стабильна, в Германии эта группа с помогающими членами семьи с 1907 г. возросла на 23 процента. Вместе с чиновниками, служащими, прислугой, она занимала в 1933 году 54 проц. среди трудоспособного населения. По этой причине число рабочих с 50 проц. снизилось до 46 процентов. В Германии, как и в других странах, часть рабочих, уходя от станка, превращалась в служащих. В стране Маркса происходил процесс, глубочайшим образом отличающийся от того, что предсказывал и ожидал Маркс. Его предсказание, что в ходе капиталистического развития без остатка исчезает середина общества и все население превратится в подавляющем своем большинстве в рабочих промышленности, оказывается особенно ложным в США. Именно там, а не в Англии, как настаивал Маркс, теперь нужно изучать, выражаясь его словами, «историческую тенденцию капиталистического накопления». В Америке эта середина выросла до огромных размеров. Определить ее статистически (американская статистика далеко не всегда отделяет рабочих от служащих и не дает все нам нужное) мы можем лишь приблизительно. Взяв данные последних лет, мы найдем, что в трудоспособном населении страны земледелием занимается 13 проц. Это сектор по преимуществу физического труда. Население, занятое в добывающей, обрабатывающей, строительной индустрии составляет 34 проц., и тут, конечно, преобладает физический труд — большинство в указанных индустриях составляют рабочие. Если служащих и инженерно-технический персонал извлечь из этого сектора (эта группа должна быть отнесена к середине), а вместо них включить рабочих, стоящих вне

первого и второго сектора, — обнаружится середина общества приблизительно в 50 проц. населения. В противоположность двум первым секторам, «середина» не принимает непосредственного физического участия в материальном производстве, а если и принимает, то в небольшой доле. По данным, которые для 1955 года сообщает „The American Workers Fact Book“, Government Printing Office, в эту «середину» нужно отнести торговое население, служащих государства и штатов, пассажирский транспорт, сектор всяких услуг, банки, страховые общества, свободные профессии и т. д.

Социальная роль этой группы, конечно, очень важна. Она управляет, охраняет, планирует, изучает, несет функции связи, развлекает, обслуживает всякие культурные потребности. Эта середина могла появиться только в процессе громадного роста техники, производительности труда в земледелии и индустрии, создавших обильную продукцию. И она не только «следствие» производительности труда, изменившего социальную структуру общества, но и фактор, который способствовал и творчески способствует дальнейшему умножению техники, увеличению производительности труда и массы продукции. Пятьдесят лет назад такая группа не занимала и 25 процентов трудоспособного населения, а 70 или 80 лет назад — только начала появляться. По американскому пути идут и все индустриальные страны, изменяя свою социальную структуру и выделяя в ней середину. Но в ее образовании у них большое отставание от Америки, в тесной зависимости от их отставания в области техники, производительности труда и объема производства.

Таков «ход развития капиталистического общества», такова его «основная тенденция». Концепция Маркса этот процесс изображает в ложном освещении. Она резко противоречит фактам и потому, при всем нашем уважении к Марксу, как ученому, мы отвергаем за нею право называться «научным социализмом». Считать его теорию «научной» может лишь тот, кто до сих пор подавлен авторитетом Маркса, кто не видит ее обветшалое, архаическое, несоответствующее действительности содержание, кто не знает фактов и все еще не произвел сопоставления «марксизма» с этими фактами. Можно предвидеть возражения, что наша оценка теории Маркса основывается на критике «Капитала», тогда как у Маркса есть другие сочинения, письма, вносящие дополнения, а временами изменения в схему «Капитала». Ответим: если бы Маркс не написал трех томов «Капитала», а только то, что стоит вне этих произведений, он никогда бы не был Марксом, никогда не получил бы мировой известности, а был бы лишь одним из очень многих. Именно «Капитал» был в ряде стран и в течение многих лет «Евангелием» рабочих и некоторых слоев интеллигенции. Но уже с 90-х годов прошлого столетия, и не только одним Бернштейном, начата критика марксизма, его опустошение и всякие хирургические над ним операции и поправки.

Что после всего этого, а, тем более, после большевистской вакха-

налии с марксизмом — от него осталось? Лучше всего об этом судить по конгрессу Социалистического Интернационала во Франкфурте в июле 1951 года, представлявшему 40 миллионов избирателей и 10 миллионов членов партий. В конгрессе участвовали делегаты социалистических партий Швеции, Италии, Франции, Англии, Люксембурга, Исландии, Израиля и других стран. В опубликованном конгрессом «Манифесте демократического социализма» слышны отголоски, остатки формул старого марксизма (на внесении их настаивала германская социал-демократия). Но основные его практические предложения и, главное, общий дух его, как небо от земли отличается от мировоззрения автора «Капитала». Вне западной Европы — в России, в подвластной Москве части восточной Европы, в Китае, Монголии, Корее, и пр. — престиж Маркса, вера в его полную непогрешимость провозглашается и утверждается правительственной властью. Марксизм и ленинизм там — опора террористически установленной, обязательной для всех государственной идеологии. Это не красит, не воскрешает Маркса, и мы все-таки должны признать, что Маркс — это прошлое, далекое прошлое. Но нужно признать и другое: взамен совершенно обветшавшей доктрины Маркса, Западный Мир еще не создал, на базе современных явлений и фактов, нового, цельного, активного, творческого мировоззрения.

Н. ОСИПОВ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Свет и тени, мозаика черного и белого — в характере любого народа. Мозаика ли? А не органическая ли связь разнородных, по-видимому, элементов? Или, может быть, связь, но для нас неуловимая, так что мы невольно воспринимаем ее, как мозаику? Тогда лучше смиренно сознаться в том, что задача постижения народного характера для нас непосильна, и не поддаваться соблазну построения произвольных конструкций.

Злосчастная это тема — русский народный характер. Много мудрило над нею голов. . .

Книга Н. О. Лосского: «Характер русского народа» исполнена такой подкупающей ясности, что после ее прочтения читателю, кажется, не остается решительно ничего, кроме удовольствия во всем согласиться с автором.

Книга посвящена частному вопросу, но она органически связана с общим мировоззрением автора, что придает ей вящую убедительность. Н. О. Лосский уверенной рукой набрасывает целостный образ русского народа. Положительные черты русского характера в его мастерском изложении неразрывно связаны с отрицательными, которые суть не что иное, как оборотная сторона положительных или их искажение.

Однако, сама эта ясность и архитектурная безупречность книги мешает ее безусловному приятию. Какое-то беспокойство, какая-то неудовлетворенность овладевает читателем, когда он закрывает книгу, прочитанную с жадным интересом. Не слишком ли все закончено, закруглено, гладко? Не чересчур ли все ясно? Разве характер любого народа, даже самого прозаического, голландского и шведского, прозрачен насквозь? Нет, в нем остается всегда элемент чего-то неясного и даже загадочного. И, может быть, говоря о характере народа, лучше избегать соблазнительной ясности и не бояться фрагментарности и некоторой противоречивости изложения, не нарочитой, конечно, а определенной живым противоречием материала.

«Положительные черты русского характера», по Н. О. Лосскому — это «его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра Царствия Божия и смысла жизни, снижающееся при утрате религии на степень стремления к социальной справедливости в земной жизни» (150). Русский народ способен к высшим формам опыта, к религиозному, нравственному и эстетическому опыту и к чуткому восприятию чужой душевной жизни. Русскому человеку свойственна доброта. Русский народ чрезвычайно одарен в теоретической и практической сфере и в области искусства. Ему свойственно также, именно в связи с его добротой и волей к реализации добра в жизни, сатирическое направление ума.

«Отрицательные свойства русского народа — экстремизм, национализм, требование всего или ничего, невыработанность характера, отсутствие дисциплины, дерзкое испытание ценностей, анархизм и чрезмерность критики, могут вести к изумительным, а иногда и опасным расстройствам частной и общественной жизни, к преступлениям, бунтам, к нигилизму, терроризму».

За этим утверждением следует другое, не менее категорическое.

«Большевистская революция есть яркое подтверждение того, до каких крайностей могут пойти русские люди в своем искании новых форм жизни и безжалостном истреблении ценностей прошлого» (151).

Большевистская революция, полагает Н. О. Лосский, есть следствие особенностей русского народного духа. Русские — максималисты и экстремисты. «Сочетание этих двух свойств русского народа с псевдо-религией большевизма, с узостью и бедностью атеистического исторического материализма, служит объяснением того, почему большевистская революция приобрела характер... тоталитарного строя, подавляющего свободу во всех областях культуры. Именно характер русского человека при утрате им подлинной религии и замене ее псевдо-религией создал ужасы большевистской революции... Высокие достоинства русского народа при извращении их дают особенно возмутительное зло: порча наилучшего дает наилучшее».

Тут я должен сразу же заявить о моем коренном расхождении с Н. О. Лосским. Я решительно отрицаю какую-либо особенную склонность русского народа к экстремизму и максимализму. Думаю, что в этих грехах он повинен меньше, чем многие другие народы. Страницы книги Н. О. Лосского, посвященные максимализму и экстремизму, наименее у него убедительны. Они содержат много ходячих утверждений, ставших для нас привычными и потому особенно некритически воспринимаемыми.

Но если максимализм и экстремизм в русской жизни совсем не имеют того значения, которое им обыкновенно приписывается, то откуда же взялось большевистское наваждение?

Я на этот вопрос отвечаю так: никакого наваждения и не было. Произошло огромное недоразумение, легко, впрочем, объяснимое. Русский народ, точнее — часть его, отнюдь не большинство, пошел за большевиками, которые увлекли его лозунгами отнюдь не большевистскими. «Мир без аннексий и контрибуций», «земля — крестьянам», — как бы к этим лозунгам не относиться, они не заключают в себе ничего коммунистического. Свои действительные взгляды и намерения большевики от народа до поры до времени прятали.

У нас очень мало изучают историю крестьянских восстаний против советской власти. Они поражают разумностью и умеренностью своих требований. Никаких анабаптистов, никакого Иоанна Лейденского крестьянские массы не выдвинули. Утопический максимализм большевиков означал войну с русским народом. Во время коллективизации народ оказал отчаянное сопротивление насилию утопистов.

Невозможно понять, почему выражением максимализма и экстремизма считается стихотворение А. К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Остановимся на каждой строке:

1. Коль любить, так без рассудку.

«Без рассудку» — это вовсе не значит обязательно с эксцессами. «Без рассудку» — значит беззаветно, без видов, без расчета, со всей полной чувства, без примеси эгоизма. Такая любовь — и это в ней главное — не находится, по крайней мере, может не находиться в конфликте с остальным миром человеческой души, она может быть свободна от всякой агрессии. Вечные и «демократические» атрибуты этой любви — луна, сирень, соловей — никакой угрозы миру не несут. Можно с известным правом говорить об «эгоизме влюбленных», но любовь не только эгоистична, она приносит расширение личности, она не только счастье, но и благо. И кто дерзнет утверждать, что —

Шопот. Робкое дыханье...

— это манифест экстремизма и максимализма?

2. Коль грозить, так не на шутку...

Мудрое житейское правило, не заключающее в себе ровно ничего демонического. Оно запрещает грозить по пустякам, оно враждебно всякому забиячеству и хорохоренью. Угроза должна быть оправдана обстоятельствами и прибегать к ней допустимо только в крайности. Это — противоположность всякого максимализма и экстремизма. Собственную угрозу нужно уважать. Угроза — ультиматум, и противник должен знать, что, при неисполнении требования, она автоматически будет приведена в исполнение. И это не угроза насильника, за ней стоит нравственное чувство. Иной она не может быть у А. К. Толстого, в поэзии которого нет и следа максимализма и экстремизма. В эпоху психоза сосуществования трудно понять, что такое благородная угроза. Толстой показал единственно возможное нравственное к ней отношение. При чем здесь максимализм и экстремизм?

3. Коль ругнуть, так сгоряча.

В этих словах нет разрешения на бессмысленные и безудержные ругательства. В этих словах заключена аскетика брани. Нет позволения выбраниться только потому, что учинено безобразие и свинство, нужно еще нравственное возмущение, протестующий накал души. И вот, когда нужна душевная разрядка — тогда можно не ругаться, а **ругнуть сгоряча**. Это «сгоряча» исключает возможность облекать свое нравственное возмущение в форму бесстрастных дипломатических нот. С каких пор нравственное возмущение является проявлением экстремизма и максимализма?

4. Коль рубнуть, так уж сплеча...

Та же самая мысль. Не руби зря и без крайней необходимости. Но если такая необходимость налицо, — действуй решительно, как генерал в «Трех разговорах» против башибузуков. Насилие должно быть оправдано праведным гневом, а не холодным расчетом.

5. Коли спорить, так уж смело...

А как же иначе? Неужели трусливо, чтобы избежать упрека в экстремизме и максимализме?

6. Коль карать, так уж за дело.

Правило, исполненное здравомыслия и умеренности. Это — Екатерина II с ее: «Лучше оправдать десять виновных, нежели осудить одного невинного». Это — Александр II с его: «Правда и милость да царствуют в судах». Экстремизмом и максимализмом было бы обратное: «Карай кого попало, за дело и без дела».

7. Коль простить, так всей душой. . .

Конечно, ибо пол-прощение — не прощение. Благородное и благодарное правило. И поэт, ведь, не предписывает прощения, как обязательной нормы, а говорит в условной форме: если прощаешь, прощай по-настоящему.

8. Коли пир, так пир горой!

Что такое пир горой? Соединение радушного общения, щедрости и беззаботного веселья. Горе народу, который неспособен на пир горой! Без этой способности вянет и сохнет человеческая жизнь. И нет в ней никакого экстремизма и максимализма: просто священная радость жизни.

Если рассматривать стихотворение Толстого как аттестат, выданный русскому народу, то придется сказать: вот народ совершенно свободный от максимализма и экстремизма!

А теперь сопоставим строки Толстого с нравственной физиономией большевизма.

1. Большевизм — воплощение ненависти и радикальное отрицание любви. Их безумие — безумие ненависти, а не любви. А у Толстого не о безумии говорится: «без рассудку» не значит безумно.

2. Большевики великие охотники до пустых угроз и шантажа. Но шантаж исключает нравственное отношение к угрозе.

3. Большевизм — это поток, ураган ругательств. Без пауз. Ругаются не сгоряча, а как одержимые. Между мгновенной бранью сгоряча и большевистскими ругательствами огромная принципиальная разница.

У Толстого брань — произвольное выражение нравственного возмущения, в нем меньше всего целенаправленности. У большевиков брань — средство и система. До чего невинна по сравнению с большевиками толстовская царевна, которая «на Потока накинута гневно»:

Шаромыжник, болван, неученый холоп,
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чортов сын, неумытое рыло!
Если б только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я б тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы еще изругала!

Это, конечно, нарушение толстовского запрета. Но это не большевистская брань. Просто человек вышел из себя и отводит душу. В брани царевны, может быть, не слишком много девичьего стыда, но холода большевистских ругательств в ней нет, нет абсолютного

отрицания личности противника, зато много человеческой слабости. Большевицкая брань абсолютно бесчеловечна.

4. «Рубнуть сплеча»... Какое-то отдаленное подобие этого качества большевики проявили во время гражданской войны. Но с тех пор... Власть, которая хладнокровно выселяла незащитных калмыков и чеченцев в азиатские пустыни, — где уж ей рубнуть сплеча.

5. Вот уж чего не повелось в партии — это «спорить смело». Она даже до трусливого ревизионизма не доросла и, по всей видимости, не дорастет никогда. Спорить смело можно за убеждения, за правду, но этого товара давно-давно нет в КПСС.

6. Карают большевики не за дело, а для устрашения. Массовые расстрелы по разверстке людей заведомо невинных с точки зрения самих большевистских судей, чекистские шуточки: «Была бы статья, а виновный найдется»; «битие (т. е. битие смертным боем) определяет сознание» (т. е. сознание арестованного в несовершеннолетних преступлениях) — ничего общего не имеют с принципом кары за дело.

7. Кого, когда большевики прощали? Да еще всей душой. . .

8. Знаем мы большевистские пиры. Поглощение икры и водки в невероятных количествах. Животная сторона пира доведена до предельной грубости. На душевную прелесть пира нет и намека.

Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

И пусть не говорят, что Пушкин идеализировал образ Петра. Конечно, идеализировал, но не в этом дело. Исторический Петр с его ассамблеями и кубком большого орла был хорошо известен Пушкину и именно этого Петра он вывел в «Арапе Петра Великого». Пушкину нужно было дать идеальный образ пира, что он и сделал. Он дал идею пира, и никто из читателей Пушкина не воспринимает его картину пира, как чуждую или непонятную. В поэзии 20-х годов часто обращались к теме пира и дружеской пирушки, где —

В благовонном дыме трубок,
Как звезда носился кубок,

и где благосклонно присутствовали музы.
Это на верхах. А вот в низах:

Ворота тесовы растворились,
На конях, на санях гости въехали.

И вот они за дубовыми столами, на которых

Кур, гусей много жареных,
ведут неторопливую беседу
Про хлеба, про покос, про старинушку,
в то время, как

Хозяйская дочь чернобровая
Обносила подруг с поцелуями.

Вот она, настоящая крестьянская пирушка. А попробуйте сказать: «Пирует Сталин», и вы поперхнетесь на первом слове. Как Сталин пировал, рассказывает чекист Орлов: трудно вообразить более отвратительную картину.

Стихотворение Толстого позволяет сопоставить характер и идеалы русского человека с большевизмом. Вывод неотвратим: русский народ бесконечно чужд и враждебен большевизму.

Стихотворение Толстого, очень симпатичное, несколько дидактическое, проникнутое умеренностью, в лучшем смысле слова, по праву являлось украшением детских хрестоматий. Оно, конечно, не имеет ничего общего с законничеством, но и того менее с безудержем. Оно говорит не о личном произволе, а о нормах, — гибких, тонких, деликатных, но о нормах.

Мысль о противоположности русских идеалов и большевистской идеологии и практики выражает, и очень отчетливо, и Н. О. Лосский на стр. 112—113 своей книги. Легко заметить, что мысль эта находится в заметном противоречии с содержанием его книги.

Можно отметить любопытную особенность у людей, преувеличивающих значение максимализма и экстремизма в характере русского народа. Они часто приводят в защиту своих взглядов доводы, свидетельствующие против них. Так случилось со ссылкой Н. О. Лосского на А. К. Толстого, о котором он говорит: «Русский максимализм и экстремизм в его крайней форме выражен в стихотворении А. К. Толстого». Это не единственный пример неудачи, постигшей Н. О. Лосского. Он, например, считает экстремистом и максималистом В. В. Стасова, и вот какую ему дает характеристику.

«Работоспособность его и любовь к труду были чрезвычайны». «От орденов и званий он отказался». «Свободой он дорожил, как принципом». «Защищал поляков и евреев, цenia национальное своеобразие каждого народа». Преклонялся перед Л. Толстым. «Он любил спор яростный, но, увлекаясь всегда существом дела, он забывал личные обиды». «Прозвища, данные ему, выражают его страстный характер».

Итак, если верить Н. О. Лосскому, евреев и поляков в России защищали только максималисты и экстремисты. Но не полна ли была

такими максималистами и экстремистами вся Россия? Характеристика Стасова вообще верна. Но посмотрите с какой легкостью зачисляются русского человека в максималисты и экстремисты. Трудлюбив русский человек — значит он максималист. Ленивый — значит экстремист. Противник национального гнета — максималист. Ценит свободу — экстремист. Человек с темпераментом — максималист. Умеет забывать личные обиды — экстремист.

Бедный русский человек! Вероятно, Увар Иванович из «Дворянского гнезда» — максималист, а Соломин из «Нови» — экстремист.

Знаменитая характеристика русского народа, данная Ключевским, представляется Н. О. Лосскому совпадающей с его мыслями о стихах Толстого и личности Стасова. Но, ведь, совершенно ясно, что характеристика Ключевского свидетельствует о чем угодно, но только не об экстремизме и максимализме. Очень жаль, что Н. О. Лосский остановил свое внимание только на «великорусском авось». Об авось ниже, а вот самые существенные части характеристики Ключевского:

«Великоросс приучен зорко следить за природой, **смотреть в оба**, по его выражению, ходить, оглядываясь и ощупывая почву, не соваться в воду, не поискав броду».

«Жизнь удаленными друг от друга, уединенными деревнями, не могла приучать великоросса действовать большими союзами, дружными массами. Великоросс работал не на открытом поле, на глазах у всех, подобно обитателю южной Руси; он боролся с природой в одиночку, в глуши леса, с топором в руке. То была молчаливая черная работа над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, не над своими чувствами и отношениями к людям. Поэтому великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда он еще не уверен в себе и успехе, и хуже в конце. . . неуверенность в себе побуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех. . .»

«. . . он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги за счет искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем **задним умом**. Но задний ум не то, что **задняя мысль**. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты и неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Ведь лбом стены не прошибешь, и прямо только вороны летают, говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу только окольными путями».

Таков русский человек в изображении великого историка и великого великоросса. Вся его психология очень далека от коммунизма. Он — индивидуалист, оппортунист, не лишен многих человеческих слабостей, но совершенно свободен от демонических пороков. Он — на этот счет не может быть двух мнений — очень мало похож на максималиста и экстремиста.

Но как же знаменитый великорусский авось — это действие очертя голову, противопоставление капризу природы каприза собственной отваги, эта склонность дразнить счастье, играть в удачу?

Мне кажется, что этот авось, значение которого в жизни великоросса часто преувеличивают донельзя, освещен Ключевским далеко не полно.

Авось не есть выражение первозданных и иррациональных свойств русской души. Авось вытекает из необходимости, слишком частой для русского человека, решать неотложные задачи с помощью совершенно недостаточных средств. Это вытекает из нашей провиденциальной исторической бедности. Это вытекает не из прихоти, а из горькой необходимости. Русский человек был поставлен в такое положение, что авось слишком часто оказывался его последним ресурсом. «Авось», «небось» и «ничего» — не абстрактная «беспечность», а добродетель русской, т. е. лютой бедности. «Авось» был не помехой, а средством спасения. Старая Русь существовала не вопреки, а благодаря «авось» и «небось». Конечно, с половины XIX века Россия вступила в другую эпоху, и «авось» и «небось» обречены на исчезновение. Они и «спадают ветхой чешуей», русский народ от них удивительно легко отделяется.

Русских принято упрекать без разбору за что попало, то за Домострой, то за широту. Часто упрекают и за то и за другое, хоть, казалось бы, совершенно очевидно: либо Домострой, либо —

широка натура русская . . .

Одно исключает другое.

Еще меньше совместимы широта и экстремизм. Экстремизм — это крайняя напряженность крайне суженного сознания, агрессивность бедного, но добела раскаленного чувства. Широта враждебна и ненавистна экстремисту. Какую широту можно найти у типичных экстремистов Лойолы, пуритан, якобинцев, Нечаева, Ткачева, Ленина?

На соборе на Констанцком
Богословы заседали

— и ни малейшей широты не проявили, стараясь отправить Гусса на костер. Но культура экстремизма была у них высокой; слушатели упивались красотой обвинительной речи, построенной по всем правилам элоквенции.

Восклицали: bene, bene!
Люди опытные в споре.

Все шло к вящему торжеству экстремизма, но дела чуть было не испортил соловей.

Первые соловьиные трели, вероятно, просто не были восприняты отцами собора. Но они не умолкали, эти трели, и совершенно незаметно стали прокрадываться в экстремистские сердца, пробуждая в них давно заглушенные инстинкты широты. Экстремисты оказались в плену у соловьиных чар. Заседание собора превратилось в поединок соловья с прокурором, широты с экстремизмом. Сердца смягчились, старые образы ожили в памяти. Каждый экстремист вспомнил лучшее, что было в его юности: кто любовь в Неаполе, кто —

...трактиров швабских Гебу,
Разливательницу пива.

И на мгновение могло показаться, что экстремизм вот-вот капитулирует перед соловьем. Этого не случилось, и у Майкова великолепно показано, какой ужас обнаружили экстремисты перед своей человеческой слабостью, как остро они осознали пропасть, отделяющую экстремизм от широты и жуткую силу соблазна. Спыхватившись, они поняли, кто скрывался в соловье: дьявол, вечный враг спасения рода человеческого. Но какова же сила бесовского наваждения, какова прелесть соблазна, если избраннейшие мужи экстремизма едва нашли в себе силы, чтобы не пасть. Лучше показать несовместимость экстремизма и широты, чем это сделал Майков, невозможно.

Откуда взялась эта странная легенда об экстремизме и максимализме русского народа? Я думаю, из неправильного толкования некоторых присущих русскому народу свойств. Не подлежит сомнению, что русский народ не творит кумира ни из государства, ни из собственности, ни из права, ни даже из справедливости. Отношение к этим явлениям культуры у него более свободное и широкое, чем у народов Запада. Он хорошо сознает относительный характер этих ценностей. И эта особенность его мировоззрения — драгоценное его достояние. Она позволяет надеяться, что государство, которое он когда-нибудь, получив эту возможность, построит собственными руками, будет человеческим государством. Собственность, которую он под большевиками научился особенно ценить, потому что был ее варварски лишен, — не превратится для него в алтарь для принесения человеческих жертв. Право, к которому он вовсе не равнодушен, всегда должно будет отступать в известных пределах перед правдой и милостью. И самая справедливость должна будет умерять свои требования, прислушиваясь к голосу любви. Ибо что такое любовь? Избрание, предпочтение, т. е. явная несправедливость.

Вот этот отказ от превращения в кумиры государства, собственности, права, справедливости и приводит многих к ложному заключению, что русский человек — анархист, коммунист, лишенный правового чувства бунтарь и стремится жить по правилу: «здраву моему не препятствуй», т. е. максималист и экстремист.

Было бы очень хорошо, если бы мыслители масштаба Н. О. Лосского, не поддаваясь этому предрассудку, дали бы нам непредвзятый анализ русского отношения к государству, собственности, праву. Тогда прояснились бы черты русского характера и рассеялись бы, как дым, произвольные конструкции, от которых, правду сказать, никому житья не стало.

Конечно, не потому материальная культура находится в России на низком уровне, что русский народ ею не интересуется, а потому, что поднять ее на более высокий уровень долго оказывалось невозможным ни при каком интересе. Но времена меняются и при изменившихся обстоятельствах Россия получила, наконец, доступ к средней области культуры, и интерес к ней возрос чрезвычайно. Например, интерес к кооперации в довоенные годы XX века.

Очень неубедительной представляется мне ссылка на Глеба Успенского с его рассказом о болоте, которое необходимо было засыпать для спасения репутации русского народа, на которое, несмотря на то, так и осталось незасыпанным. Возможно, что новгородские мужики так сплеховали в случае с болотом по причине отрицательных сторон русского характера. Случай этот все же остается темным и спорным. Лучше обратиться к случаям более типичным. Взять, например, знаменитые русские мосты, через которые, как известно, не ездили: их объезжали. Совершенно ясно, почему это делалось: бедной России содержать эти мосты в исправном состоянии было просто не под силу. При изменившихся условиях строили с успехом не только мосты, но и железные дороги, например, Черноморскую на Кубани, проведенную не казной и не акционерами, а общественными организациями. А, например, станичное общество станицы Пашковской провело трамвайную линию от Екатеринодара до своей станицы и соорудило водопровод. Времена Иванов Ермаолаевичей миновали. Между 1904 и 1914 годами огромные перемены произошли в России, и ясно было, что это только начало. Какие-то скрытые до тех пор потенции народного духа вдруг стали раскрываться, грозя опрокинуть все привычные представления о характере русского народа. Всякому, желающему судить об этом характере, не следовало бы игнорировать те переломные и решающие годы.

Но и Иванов Ермаолаевичи были не вполне равнодушны к средней области культуры. Взять, например, скромный «институт» русской бани, великолепное описание которой еще летописец счел нужным вложить в уста Первозванного Апостола. Это, ведь, замечательное явление гигиены. Зима и баня поддерживают здоровье русского народа. В России существует настоящий культ бани. Истопить баньку,

то для дорогого гостя, то для «странного человека» — это у крестьянина первое дело. «Баня — вторая наша мать; разве ты не православная, что этого не знаешь?» — писал Пушкин жене и сквозь шутливость этих драгоценных строк мы ощущаем исконную психологию русского человека. Баня — это нежная любовь сорока, если не пятидесяти поколений, вне всякого сомнения, прочно занимает свое скромное место именно в «области средней культуры».

Что сказать о знаменитой русской печи?

В доме бабушки моей
Печка русская медведицей
С ярко-красною душой
Помогает людям жить:
Хлебы печь
И щи варить,
Да за печкой
И на печке
Сказки милые таить.

Русская изба, вся от коника до полатей — чудо умной, не отвлеченно-плановой, а жизненной и житейской рационализации. У С. Максимова и других наших этнографов можно много прочесть об этой срединной области русской культуры. Вовсе не следует творить кумиры из русской печки и пятистенной избы. Век их прошел, но они заслуживают, чтобы их помянули добрым словом. И нельзя забывать, что старая русская жизнь, несмотря на ее грубость и даже жестокость, несмотря на царев кабак с его «зеленым вином», была насквозь проникнута несомненным и глубинным благообразием и что благообразие это и есть средняя область культуры, которая вовсе не была у нас в окончатальном загоне.

Ссылки на скорбного Успенского и злобствующего Родионова — не убедительны. У Успенского — правда внутренняя, глубокая; у Родионова — внешняя, протокольная, случайная. Спорить против правды не приходится. Но и неподкупный свидетель Успенский и находящийся в плену у предвзятости Родионов жили в период великой российской моральной разрухи. Она была неизбежной платой за реформы Александра II, за политику Витте, за стихийное разложение общины, т. е., иначе говоря, она была явлением вполне переходящим. Судить русский народ нужно не по тому, как он, уходя от дедовского благообразия, соскальзывал на ложные пути, а по тому, как он поднимался к новому благообразию. И поднялся бы: большевики не дали. У Родионова много раздраженного пристрастия и глаз с изъяном, но Успенский, честный до самоистязания и сквозь землю на три аршина видевший, доживи он до 1914 года в непомраченном состоянии ума, вероятно, разглядел бы в России кое-что кроме четверти лошади и купона.

К области средней культуры относились: прикладное крестьянское искусство, факт и ритуал гостеприимства, несомненное нищелюбие, распорядки «мира» и многое другое. О мирских распорядках стоит почитать у Засодимского и Златовратского. Нарочно беру самых сусальных, о которых могут сказать: фальшь, идеализация. Да, была и фальшь, и идеализация. Но элементы мирской правды подмечены у этих писателей верно. Правда эта никогда, конечно, вполне не торжествовала, иначе Россия была бы подозрительно близка к осуществлению Царства Божия на земле, но, все же, как-то о себе заявляла. Несомненно, во времена Г. Успенского правда слабела с часу на час: такие были времена. Но это значит, что было чему слабеть. Слабеющая правда все же существовала, по крайней мере, в качестве идеала и требования совести. Да притом в прошлом она знала и лучшие времена. И как могло быть иначе? Ведь народ, который века прожил под «властью земли», не мог не выработать какого-то понятия о правде и не мог совсем пренебречь средней областью культуры. И она у него сложилась, достигая иногда большой сложности. Достаточно вспомнить о крестьянском очень в свое время прочном и сложном этикете.

Знаменитое купеческое самодурство свидетельствует не о низком качестве быта, а о его ненормальном состоянии, о его тяжелой болезни. Самодур — индивидуалист, животный, грубый, необузданный и ни в каком быту ему не место. Быт не терпит индивидуализма, ни тонкого, ни грубого, полагая ему жесткие нормы. Быт — это власть нормы над человеком, а самодурство — отрицание нормы: «Мое детище, хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». В каком Домострое может быть терпимо подобное заявление? Самодурство — это отрицание Домостроя. Купец Островского — это вчерашний мужик, которого вознесла судьба, который свой крестьянский быт потерял, а в новый еще не вошел, и который, к тому же, обезличен капиталом. Русское самодурство родилось в XIX веке, да в нем же и кончилось.

А русский быт все-таки существовал в весьма для него неподходящем климате XIX в. О нем засвидетельствовали не только тоскующие по быту исследователи, но и такие безбытные люди, как передвижники, несмотря на их страсть к обличительству. «Любители соловьев», «Алексеич», «В четыре руки», «Бабушкин сад» и многое другое — все это быт. Он сквозит даже сквозь сатиру, например, в «Крестном ходе в Курской губернии».

Н. О. Лосский жалуется: вот пришла революция, и народ породистый скот вырезал, фруктовые сады вырубил, дорогую мебель исковеркал.

Революция всегда такова, и русский народ не единственный в мире, который прошел через революцию. Но ведь для того, чтобы резать, рубить и коверкать, надо, чтобы перед этим кто-то породистый скот вырастил, фруктовые сады насадил, ценной мебелью

обзавелся. Все это сделали, надо полагать, русские люди, не испытывавшие никакого отвращения к средней области культуры.

Россия переживала эпоху, крайне неблагоприятную для средней области культуры. Отсюда отчасти пренебрежение к ней, а отчасти — тоска по ней. Общеизвестное «падение вкуса» в XIX в. часто бывает не чем иным, как проявлением этой тоски. Но уже подготавливалась в России сильнейшая психологическая реакция на пренебрежение средней областью культуры. Совершенно неожиданно эта реакция проявилась под большевизмом и выразилась в воле нации к комфорту и богатству. Я говорю не о партийных лозунгах и правительственных постановлениях, а о настроениях многомиллионного обывателя. Об этом подробнее см. в «Очерках большевизмоведения», стр. 265-268.

Позволю себе упомянуть об одном моем личном наблюдении, которое, как мне кажется, не лишено иллюстративного значения. В годы НЭПа, в деревне бывшей Калужской губернии, увидел я как-то на крестьянском дворе очаровательного литого амурчика, варварски выкрашенного в розовую краску и заботливо водруженного на деревянный пьедестал. Я долго не мог оторвать глаз от чудесного рококо.

Ко мне подошла хозяйка.

— Любуется? И верно, хорош ангельчик, больно хорош. Раньше у помещика стоял в саду. И, ведь, до чего жадный был помещик-то: так и стоял у него ангельчик черным-чернехонек, ровно сажа. (С гордостью): Это уж мы сами его выкрасили.

Да, революция — вещь ужасная: шевельнет пальцем — и нет русского рококо. Но судьба бедного «ангельчика» тем не менее не свидетельствует о равнодушии русского народа к средней области культуры.

Варварства в России предостаточно. Но дело не в одном только варварстве. «Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняют собирание души», — сочувственно цитирует Н. О. Лосский отца Георгия Флоровского. Но ведь если это собирание будет когда-либо осуществлено, то разве не окажется оно более ценным, чем то, которое воздвигается на фундаменте душевной узости? В конечном счете нам нужно более радоваться, чем грустить по поводу нашей «повышенной чуткости и отзывчивости».

Мимоходом. Иваны Ермолаевичи, которые, конечно, ни в какие герои не годятся, да и не суются, имеют одну, вне всякого спора, положительную черту. Формула: «Нешто наш народ присогласишь?» — свидетельствует, вопреки Бердяеву, что коммунизм никаких корней в нашем национальном духе не имеет. Иваны Ермолаевичи — индивидуалисты, довольно неприятного пошиба, и ни к какому даже подобию коммунизма их «не присогласишь».

Н. О. Лосский, ссылаясь на И. А. Ильина, говорит, что русский человек обыкновенно преодолевает затруднения не путем дальню-

видного расчета и по заранее выработанному плану, а посредством импровизации в последнюю минуту.

Этот дар импровизации не только прекрасен, но часто и спасителен. Что касается до расчета и плана, то этим коллективистическим добродетелям наша история нас действительно не научила. План и расчет хороши там, где у человека есть накопленные ресурсы. А у нас в течение столетий ничего, кроме голого места, не было, — какие там ресурсы! И так получилось совсем не по причине нашего характера, а по «совокупности обстоятельств», в число которых входит и характер наших соседей, систематически не позволявших нам накапливать никаких ресурсов. Способности к импровизации мы, вероятно, никогда не теряем, но монопольное ее положение — явление вполне преходящее, и она должна будет потесниться, чтобы дать место другим способам справляться с затруднениями. И тогда наблюдатели разведут руками: «Откуда у русского народа такие способности к расчету и плану.»

Может быть, не следовало Н. О. Лосскому с таким вниманием относиться к мелочным попрекам, которыми иностранцы любят осыпать русских, например, к обвинению, будто русские большие мастера давать обещания и не исполнять их. Упрек этот не лишен основания, но не следует слишком поспешно объяснять его ссылкой на первозданные особенности русского духа. В русской жизни исполнение обещаний часто оказывается делом трудным, и потому русское обещание часто звучит условно. «Постараюсь, мол, сделать, но ты ведь сам понимаешь...» Зато русский человек по душевному ли расположению, по жалости ли к кому, просто по влечению сердца — способен не просто выполнить обещание, а «расшибиться в лепешку», «из-под земли достать». И, кроме того, случается, что он «расшибается в лепешку» и притом с блистательным результатом, без всякого обещания, в порядке нравственного вдохновения, не дожидаясь просьбы об одолжении.

Чрезвычайно большой диапазон добра и зла в истории русского народа — это, конечно, верно. Но, ведь, он везде большой, и на Западе тоже. Расстояние от Жанны д'Арк до Робеспьера или Гитлера не меньше, чем от Тихона Задонского до Ленина. Русский народ, конечно, народ совсем особенный, но, все же, мне почему-то кажется, что особенности его ищут не там, где следовало бы.

Ценнейшей главой в книге «Характер русского народа» мне представляется восьмая: «Русский мессианизм и миссионизм». Эта глава ценна в особенности в наши дни, потому что как раз теперь обнаружилась тенденция опорочения русского народа посредством жестокой фальсификации истории русского т. н. «мессианизма». Н. О. Лосский возвращает русскому мессианизму конфискованные и неизвестно куда спрятанные его черты. Сущность первоначально русского мессианизма хорошо выражается словами Достоевского:

«Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силою братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».

Этот вид мессианизма ничего общего не имеет с тем страшилищем, которое изображает Е. Юрьевский в статье о мессианистах и Достоевском. Но даже этот мессианизм в дальнейшем претерпел существенные изменения. Владимир Соловьев — цитирует Н. О. Лосский — заявляет: «Истинное единство народов есть не однонародность, а всенародность, т. е. взаимодействие и солидарность всех их для самостоятельной и полной жизни каждого».

Кн. Е. Трубецкой говорит: «Впоследствии я убедился, что в Новом Завете **все народы**, а не какой-либо один **в отличие от других**, призваны быть богоносцами; горделивая мечта о России, как избранном народе Божиим, явно противоречащая определенным текстам послания к римлянам Апостола Павла, должна была быть оставлена, как несоответствующая духу Новозаветного Откровения».

И Соловьев, и кн. Трубецкой начали с умеренного мессианизма и кончили взглядами, которые нельзя назвать иначе, как отрицанием всякого мессианизма. Такова поучительная история русского мессианизма, такова закономерность его развития.

Н. О. Лосский дает правильное, хотя и очень далекое от полноты, представление о русском мессианстве. Но и он повторяет ошибки бердяевской схемы, когда определяет идеологию инок Филофея, как «национальное мессианство».

Несколько слов о большевиках. Было бы пустой тратой времени искать в них родства с духом русского народа. Ходячие представления о большевиках сплошь ошибочны. «Они ищут не абсолютного добра Царствия Божия, а относительного добра земного благополучия, то-есть благополучия мещанского»; «они стремятся свести всю жизнь каждого человека к задаче служения коллективу» — эти утверждения относительно большевиков так же неверны, как и убеждение, будто большевики творят свое тотальное насилие «ради счастья человечества в будущем, когда сполна осуществится коммунизм», или взгляд на коммунистов, как на людей, проникнутых пафосом всеохватывающей рационализации. Вожди партии в личном плане часто совсем непрочь от мещанства, но в плане более широком мещанство для них только средство. От народных масс они требуют величайшего самоотречения. В плане большевистских фикций оно требуется во имя строительства коммунизма, но на самом деле для того, чтобы приучать людей к безусловному повиновению власти.

Служение коллективу — фикция, так как коллектив в СССР ни своих интересов, ни своей воли не имеет, — следовательно, сам он фиктивен. Требуется служение власти под видом служения коллективу. Люди ни в какие коллективы и ни в какое служение не верят, но делают вид, что верят; именно это от них и требуется.

Все, что творится в хрущевской империи — творится вовсе не ради счастья человечества в будущем, которое коммунистам ни на что не нужно, а потому, что это требуется власти. При этом народ вынужден имитировать веру в коммунизм, в счастье, в оправданность жертв ради счастья, и требуется от народа **именно** имитация веры, а не вера. Коммунистическая система насквозь и сознательно нерациональна. Бесмысленны колхозы, которые отнимают у людей всякую заинтересованность в труде. Бесмысленна стахановщина, социалистическое соревнование и обязательное перевыполнение плана, которые автоматически ведут к понижению производительности труда. Бесмысленны концлагери с их диким расточением рабочей силы. То-есть бессмысленно все это именно с точки зрения рационализации. Но большевикам нужна не рационализация, а фикция рационализации. Огромная роль фикционализма в системе большевистского властвования освещена в книге: «Очерки большевизмоведения». Все дело именно в системе властвования и связанном с нею фикционализме, этой главной опоре советской власти.

Большевики не заблуждающиеся утописты; они осуществили строй, который им нужен и нашли средства для его поддержания. Только для раннего, незрелого большевизма предметом веры было общечеловеческое счастье. Тогда он стоял за злые средства и добрые цели. Теперь его средства и цели одинаково злы.

* *
*
* *

Хотя моему мнению о максимализме русских я готов противопоставить утверждение: русские — минималисты. Они стремятся не к максимуму, а к минимуму. Правда, минимум этот обычно очень приближается к максимуму возможного. Чувство возможного очень развито у русского народа. Он — реалист, отчасти даже оппортунист. Петр Великий вовсе не был максималистом. Реформа его сама по себе не грешила чрезмерностью, была подготовлена русским прошлым и была принята огромнейшим большинством русского народа, отчасти даже старообрядцами. Протест вызвала, собственно, не реформа, а отчасти способы ее проведения, которые иногда заслуживают безусловного осуждения, а главным образом — непомерные жертвы, которых требовал от народа Петр. Но не реформа, а бесконечная война заставляла его это делать.

Не был максималистом Стенька Разин, который хотел связать свое движение с церковью и монархической идеей. Его совет обходиться без попов при заключении браков, а венчаться «вокруг ракитова куста», не содержал в себе никакого антирелигиозного выпада, а был просто указанием на древний свадебный обряд, еще не вполне мертвый в XVII веке, и вызван был просто недостатком по-

пов и трудностью разобраться в вопросе, который поп правильный, а который нет.

Отнюдь не были максималистами люди, совершившие великое историческое дело реформ императора Александра II.

О крестьянских антибольшевистских восстаниях, в которых можно открыть все, что угодно, кроме максимализма, уже упоминалось выше.

* *
*

Я не ставил себе целью исчерпать содержание книги Н. О. Лосского. Я откликнулся только на одну ее сторону, которая не может не вызвать возражений. Это — издавна знакомые схемы: экстремизм, максимализм, большевистская революция, как проявление русского народного духа. Старая ересь Н. А. Бердяева. До чего это печально: защищать русский народ не от вражеских налетов — враги наши не заслуживают уважения: они злы, пошлы и бездарны, — а от друзей, и каких! — имена их составляют славу России. Как могло случиться, что мы получили о народе нашем представление не менее фантастическое, чем у социалистов эпохи хождения в народ? Как могло возникнуть это колоссальное недоразумение? Это — одна из самых грустных загадок наших дней.

ФЕДОР АРНОЛЬД

НА РАЗВАЛИНАХ ДИКТАТУРЫ

ОЧЕРКИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ГЕРМАНИИ

КАК БЫ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ

Для нас, русских, духовная жизнь послевоенной Германии представляет особый, я бы даже сказал, волнующий мир, заслуживающий всестороннего, внимательного изучения. И это совсем не потому, что в стране «мыслителей и поэтов» — как в свое время неосторожно окрестила Германию мадам де Сталь — за последние годы произошло что-либо из ряда вон выходящее, нечто, обещающее оказать незаурядное влияние на умы человечества. Ни нового Гете или Шиллера, ни нового Канта, Гегеля или Ницше в Германии пока не появилось и, забегая вперед, можно предположить, что в ближайшее время и не появится. Напротив, именно в последние годы ряд виднейших немецких писателей, научных деятелей, художников и артистов ушел в могилу, унеся с собой целую эпоху немецкой духовной культуры.

Несмотря на отсутствие звезд первой величины и на уход многих крупнейших деятелей культуры, духовная жизнь Германии имеет особый, своеобразный и неповторимый характер. Она — как бы опытное поле, на котором можно проследить развитие духовных сил целой нации в единственных в своем роде условиях. То, что делает духовный мир немцев и происходящие в нем события столь знаменательными, это не столько постоянное соприкосновение с коммунизмом в лице советской зоны Германии, (отражающееся, кстати сказать, совсем не так уж заметно на духовной жизни страны), сколько зарождение и рост этой духовной жизни на развалинах тоталитарного строя.

Духовная жизнь Германии потому-то так интересна и значительна для нас, что она на живом примере показывает, каковы симптомы духовного становления пятидесятиmillionного народа после эпохи тоталитарного владычества. И нам, много спорящим о

духовном возрождении родины, о ее духовной жизни после освобождения от коммунизма, о путях покоммунистической России, следовало бы серьезно заняться анализом всех перипетий духовного развития понацистской Германии.

Конечно, в задачу автора настоящих очерков не входит, да и не может входить всестороннее освещение духовной жизни Германии в течение последних лет. Это под силу только группе людей и может быть следствием лишь систематической и продолжительной исследовательской работы. Очерки не претендуют также на полноту. Отдельные, представляющиеся значительными события в области культуры и искусства, особенности духовного бытия народа после освобождения от тоталитаризма, тенденции в искусстве, литературе, отчасти и в политической мысли, как проявления этого бытия, — вот тема очерков, предлагаемых вниманию читателя.

Оговорюсь заранее: я прекрасно понимаю, что любая параллель между народами, особенно в столь сложной и многогранной области, как духовная жизнь, всегда весьма несовершенна и хромает, как говорится, на обе ноги. Кроме того, слишком уж различны исторические судьбы таких народов, как наш и немецкий, слишком велика разница между их духовными и культурными традициями. Наконец, есть существенные различия и в истории самих тоталитарных режимов. Эпоха нацизма была гораздо более кратковременной, а потому не вполне оформившейся по сравнению с тоталитарной системой у нас на родине. И, все-таки, есть нечто общее, позволяющее смотреть на современную духовную жизнь Германии не только глазами любознательного стороннего наблюдателя, но и глазами «заинтересованного» политика-публициста. Это общее, допускающее гипотетические сравнения с положением у нас на родине после освобождения ее от коммунизма, заключается во внутреннем родстве нацистского и коммунистического тоталитаризма.

Родственность нацизма и коммунизма — это, прежде всего, родственность идеократий, систем, опирающихся на идеологию. Отсюда поразительное сходство и методов властвования, и принципов руководства экономикой, и форм организации духовной и культурной жизни. Но родство нацизма и коммунизма заложено еще глубже — они имеют, как показали исследования последних лет, общие идейные корни и опираются на одну и ту же социологическую среду. Оба тоталитаризма вышли из просвещенчества XVIII века и романтизма XIX. Оба порождены полуинтеллигентами индустриального века, «деклассированным», пользуясь марксистским определением, элементом, выбрасываемым, как шлак, современным обществом на поверхность. Оба тоталитаризма держались, (а коммунизм и продолжает держаться), на вышедшем из этой среды слое олигархов и организованной по военному образцу партии (в одном случае одетой в коричневые рубашки и черные мундиры, а в другом, за недостатком материальных благ, во что попадетсЯ).

ДЕНЬ «НОЛЬ»

Если попытаться дать общую характеристику всему развитию духовной жизни понацистской Германии, то легко придти к пессимистическим выводам (какие, замечу кстати, и делаются большинством немецкой интеллигенции). Когда оглядываешься назад, кажется, что сразу же после разгрома нацизма, в период величайшей разрухи и почти полного отсутствия политической самостоятельности, т. е. с мая 1945 по июнь 1948 года, имелся налицо целый ряд многообещающих предпосылок к живой духовной жизни. Ситуация во многом походила на первые годы после первой мировой войны. Несмотря на развалины, всеобщую разруху, голод и холод, на миллионные караваны беженцев, — а, возможно, именно благодаря этим неблагоприятным внешним условиям, — шли оживленные споры, возникали, как грибы после дождя, издательства и объединения писателей и художников. В охваченных ознобом умах, перед лицом разверзшейся пропасти военной, политической и, в конечном счете, общенациональной катастрофы, рождалось убеждение, что настал как бы первый день творения, день «ноль», начиная с которого на испепеленной в буквальном смысле слова земле можно и нужно строить только нечто новое, принципиально отличное от всего предыдущего. Разрыв с традицией казался настолько далекоидущим, катастрофа настолько полной, что напряженным до предела нервам представлялось все возможным и осуществимым — только не возврат к старому, хотя бы и до-гитлеровскому.

Двадцатое июня 1948 года стало поворотной датой всего дальнейшего развития Германии. Этот день, действительно, явился в известном смысле днем «ноль», но только совсем не в том, в каком его понимала немецкая интеллигенция. Он был, несомненно, поворотным пунктом, но не в духовной, а в экономической жизни, в повседневном бытии миллионов немцев в тогда еще формально единой Германии. Проведенная в этот день девальвация денег и установление паритета немецкой марки по отношению к доллару и фунту стерлингов стали сигналом к экономическому возрождению Западной Германии — единственной части бывшего Райха, о которой сегодня можно говорить как о Германии, без каких-либо дополнительных эпитетов.

С этого дня и начинается — чем дальше, тем больше — заметный отход широких кругов немецкой общественности от духовных проблем, от «проклятых» вопросов современности. Вместо появления ростков новой духовной жизни произошло расслоение общества на «интеллигента» и на «мещанина». Так, во всяком случае, кажется многим интеллигентным, мыслящим немцам.

НЕВРАЛГИЧЕСКИЙ ПУНКТ

В действительности процесс значительно более глубок и сложен. Один из его характернейших симптомов состоит в том, что людям в сегодняшней Германии как бы «отшибло память». Не то, что они взаправду позабыли войну и нацизм, пережитую катастрофу, и живут сегодня так, как будто на календаре стоит 1938 или даже 1928 год. Нет, возвращения вспять и «реставрации» довоенного «германского духа», о чем нередко толкуют за границей (и еще чаще в среде немецкой интеллигенции!) в Германии нет. Этот призрак могут узреть только наблюдатели, совершенно лишившиеся здравого восприятия действительности и чувства реальности. Но, в то же время, отсутствует и ясное представление о случившемся. Немцы, по существу, психологически еще не переварили катастрофу. Они просто «забыли» ее вместе с предшествовавшими двенадцатью годами тоталитарного режима. Если в разговоре с любым немцем не затрагивать прошлого, или невидимо присутствовать в немецком семейном кругу, за чашкой кофе, и прислушиваться к разговорам, то в девяносто девяти случаях из ста о недавнем прошлом ничего не услышишь. Сознание целой нации «вытеснило» в подсознание предшествовавшую эпоху. Пробуждение 1945 года было настолько страшным, последующие годы так полны лишений и борьбы за существование, национальная катастрофа была настолько «тотальной», что о близком прошлом не думают и не говорят, или, точнее, почти не думают и почти не говорят. . .

Часть немецкой нации, оставшаяся свободной, как бы начала десять лет назад свое существование, не зная толком, что собственно с ней произошло до этого. И только теперь, в самое последнее время, когда прошлое постепенно становится историей, начинается осмысление случившегося. Именно последние полтора-два года были полны судебными процессами, на которых разбирались дела бывших деятелей нацистского режима. Эти деятели были величинами хоть и малыми, но зато непосредственными исполнителями тех «акций», которые создали немецкому народу пресловутую и, по существу, нелепую славу нации, состоящей, якобы, из «запечных дел мастеров».

Винить немцев в запоздалости этой реакции трудно, так же, как и в «забывчивости». Пятьдесят миллионов не могут быть шизофрениками, постоянно бьющими себя кулаками в грудь и посыпающими главу пеплом. Нельзя неотрывно смотреть в ужасное лицо тоталитаризма, упорно воскрешать картины прошлого и, одновременно, нормально жить, т. е. работать, строить, рожать детей и удовлетворять естественные потребности в еде, сне, тепле. Кто ожидает от целого народа, что он будет ходить в рубище, носить вериги и замазывать грехи, совершенные его государством, тот сам болен и нуждается в психиатре.

Конечно, немцы глубже и полнее осознали бы происшедшее, вместо того, чтобы просто «забыть» его, если бы суд над нацизмом в свое время совершили они сами, а не представители стран-победительниц. Можно с уверенностью сказать, что суд и расправа над «своими» были бы и более полными и более ужасными, чем все то, что началось Нюренбергским трибуналом и затем утонуло в море миллионных процессов «денацификации». Нормы были навязаны извне, на основе нередко чисто умозрительных конструкций, мало отвечавших действительному положению вещей в Германии. Гнилая по самой своей сути идея о «коллективной вине» немцев, столь же нелепая, как и идея о «коллективной вине» русских, помешала немцам преодолеть прошлое так, как этого можно было бы желать и как об этом мечтали многие, наиболее мыслящие и заботящиеся о судьбах своего народа представители Германии.

Проблема ответственности за возникновение и укрепление нацизма — это тот невралгический пункт, который скрывается под цветущей внешностью теперешнего немецкого благополучия. В эпоху мощных государственных аппаратов, не взирая на парламентскую демократию снимающих по существу с рядового гражданина ответственность за государственную политику, фактически невозможно требовать от «маленького человека на улице», чтобы он чувствовал за собой какую-либо вину за злодеяния своего режима. Рядовой немец может стыдиться разве что того временного угара «энтузиазма», который он, возможно, пережил, рукоплещая «фюреру» на каком-нибудь импозантном параде.

ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК

То, что средний немец, освободившийся от наставников, требовавших от него покаяния, несколько ободрившийся, восстановивший свое самоуважение (а, подчас, и самомнение), начал сам, по своей воле, задумываться над прошлым и при этом нередко сознавать размеры своей действительной ответственности за него, — одно из примечательнейших явлений. Наблюдается оно в совершенно неожиданных областях. Так, к немалому изумлению издателей, да и «политических наблюдателей», невиданными тиражами, перевалившими в течение двух лет чуть ли не за полмиллиона, разошелся и продолжает расходиться дневник еврейской четырнадцатилетней девочки Анны Франк, найденный в квартире-тайнике в Амстердаме, где скрывалась семья Франк после занятия Голландии войсками Гитлера. Более чем на двадцати немецких сценах в сезонах 1955-56 и 1956-57 г. г. шла драматическая переделка этого дневника. В гробовом молчании, по неписанному ритуалу воздерживаясь от аплодисментов даже после последнего занавеса, десятки тысяч немцев

смотрели трагедию простой еврейской семьи, впервые, пожалуй, ощущая человеческую сторону «нюрнбергских законов». Здесь, в зале театра, десять лет после крушения нацизма, добрая половина немцев впервые столкнулась лично с еврейской семьей и ее судьбой. Это не преувеличение. Еще в 1949 году институты по изучению общественного мнения установили, что почти каждый второй немец не был лично знаком с каким-либо евреем. Зато большинство, хотя бы только раз, читало антисемитский листок «Штюрмер».

Успех книги и пьесы не остался без последствий. Особенно велик он у молодежи, не знавшей нацизма, а потому лишенной той известной предвзятости, которая все еще характерна для некоторой части взрослых. Анна Франк стала героиней молодежи, и вот, в марте 1957 г., на покрытой вереском равнине неподалеку от Гамбурга, можно было увидеть необычное зрелище. Десятки автобусов и легковых автомобилей подвигались к месту, где расположено кладбище концентрационного лагеря Берген-Бельзен. Там, в одной из братских могил, среди 30.000 других трупов, вероятно, покоится и Анна Франк. Более тысячи школьников разных возрастов, юношей и девушек, приехали, несмотря на проливной дождь, чтобы положить цветы на предполагаемую могилу их героини. А наместилась сперва небольшая делегация всего в пятьдесят-сто человек. . .

То впечатление, какое дневник Анны Франк произвел на широкие круги, особенно среди молодых читателей, вызвал у интеллектуально более зрелых слоев объемистый том дневников писателя Йохена Клеппера. Йохен Клеппер покончил жизнь самоубийством в 1942 году вместе со своей женой-еврейкой и приемной дочерью, когда стало очевидным, что, несмотря на все протекции и широкую известность Клеппера, нельзя будет спасти девочку от отправки в концлагерь. (Известность Клеппера — результат широкого распространения его большого романа из жизни «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Министерство Геббельса популяризовало книгу, хотя при внимательном чтении сразу же бросается в глаза ее ненацистская направленность). Потрясающий своей глубиной и яркостью дневник Клеппера — это хроника всех ступенек на пути к катастрофе, которые прошел писатель, несмотря на успех и доброжелательное отношение «власть имущих». Это один из наиболее потрясающих документов недавней эпохи тоталитаризма. Читая сделанные для себя, а не для опубликования, заметки Клеппера невольно ловишь себя на мысли, как, в сущности, много родственного в его трагической судьбе, в его представлении о задачах художника, и в положении современных русских писателей. Тень «кацета», витающая над семьей Клеппера, и будничное удушение творческой мысли — это, ведь, и повседневная судьба работника искусства у нас на родине. . .

ВОЗРОЖДЕНИЕ «БИДЕРМАЙЕРА»

Однако, важнее запоздалой и пока еще далеко не повсеместной «реакции на прошлое» — реальность, то, что составляет сегодняшнюю суть немецкой жизни. И в этом отношении Германия представляет собой нечто новое, доселе невиданное. Наблюдатели немецкой жизни, сетующие на отсутствие чувства вины у немцев, и немецкая интеллигенция, сетующая на потерю «нового начала», которое, казалось, вот-вот возникнет в первые послевоенные годы, не замечают, что вокруг них растет реальная новая Германия, непохожая на то, что было до сих пор в немецкой истории.

Новы не только фасады домов, огромные зеркальные витрины, напор уличного движения, готового, казалось бы, разорвать город на части, как бродящая жидкость бутылку, нов весь уклад жизни. Исчезла пресловутая «животная серьезность» («тиришер эрнст»), исчезли солидность и «прусская» подтянутость, исчезли маниакальная одержимость и театральная поза вечно «несправедливо обиженного» другими народами германца. Подчас создается впечатление, что немцы впервые стали трезвыми людьми, начинающими ощущать прелесть комфорта и «жизни ради жизни».

На улицах немецких городов и даже деревень сегодня не увидишь парней, подстриженных коротко, «под Гинденбурга», и плотных, высокогрудых девушек с «германскими» лицами и заплетенными косами. Анекдотическую известность приобрел по всей Германии протест некоторых старых учителей, отказывавшихся пускать в класс девочек, одетых в модные, по возможности в клетчатые или даже пестрящие всеми цветами радуги штаны. Пристрастие к губной помаде и гримировке бровей и ресниц в корне уничтожают «германскую естественность». Сегодня во всех уголках страны девушки и женщины прекрасно знают, что надо носить в соответствии с интернациональной модой. В воскресный день, даже в небольшой деревушке или местечке, можно увидеть девушек, идущих на танцы, на сельский праздник или в кино, одетых в платья «мешочного» покроя, обутых в туфли итальянского фасона. То же касается и мужчин, прежде всего молодых: длинные, зачесанные назад волосы, рубашки подчас невероятной расцветки, яркие носки и туфли с простеганным рантом. И, конечно, неизменный тяжелый велосипед с мотором или скуттер («роллер», как здесь говорят), либо мотоциклет. . . Народные песни с их немецкой тяжеловесностью и сентиментальностью, с прославлением родной местности, родной липы и родного колодца, или повествующие о романтике гор — исчезли из обихода молодежи. Они перекочевали в кино, где к каждой старой мелодии опытными сценаристами прицеплена чувствительная до тошноты романтическая или балаганно-комическая история. Это так называемый «гайматфильм», т. е. фильм на якобы народном, связан-

ном с «родной почвой» материале. В повседневной практике народную мелодию заменила джазовая и танцевально-салонная музыка, а на смену волынке, лютне или скрипке пришел новенький автомат с граммофонными пластинками или портативный «радио-чемодан».

Уровень и стиль жизни становятся повсюду одинаковыми. В далеком селе сегодня курят сигары или сигареты, как в городе, а не трубку, перекочевавшую в музей или в бойко торгующие «магазины сувениров», предназначенные для иностранных туристов. Везде можно встретить новехонькое радио последнего образца или новый автомобиль. На полях трактор все больше вытесняет «овсяной мотор», как иронически называют теперь крестьянскую лошадь. В немецкой деревне не меньше стиральных машин или электрических плиток новейшего образца, чем в городах, а домики рурских горняков внешне ничем не отличаются от «односемейных» домов предпринимателей средней руки на городских окраинах.

Индустриализация страны, частично проведенная заново вследствие разрушений военного и демонтажей послевоенного времени, привела к типичной для высокоразвитых промышленных стран «атомизации общества». Но эта «атомизация» имеет — во всяком случае для Германии — свои положительные стороны. Это — бегство от «коллектива» к личности, от оглядки на «народное мнение» к «индивидуальному плану». Всего тринадцать лет спустя после господства нацизма никому уже не придет в голову «по-товарищески» остричь под машинку молодого человека, отпустившего себе шевелюру, или считать «дегенератом», а то и хуже — духовным союзником «плутократии» — увлекающегося джазом юношу. Доказывать вредность «негритянской» (как говорили в нацистской Германии) или «буржуазной» (как ее называют в СССР) музыки и политическую неблагонадежность ее поклонников выпало теперь на долю коммунистической партии в советской зоне Германии. На Западе Германии человека, который стал бы говорить о «порочности» такой музыки и связывать ее с политикой, просто высмеяли бы или освистали. И если не так давно негритянскую певицу Жозефину Беккер, посвятившую себя на склоне лет пропаганде расовой терпимости, пригласили выступить с речью в исторической Паулус-кирхе во Франкфурте на Майне, в этой священной для немцев колыбели их свободы и демократии (здесь собрался в 1848 году первый немецкий парламент), — то это больше, чем политический жест. Ведь главное состоит в том, что никто из немцев не воспринял это выступление как нечто предосудительное.

Взоры немцев обратились на Запад. Это не только результат расчленения Германии. Немец не только в Германской Федеративной Республике, но и в советской зоне обращен лицом на Запад, а не на Восток. Вена ближе, скажем, для баварца, чем Париж или Брюссель, а тем более, чем Рим или Палермо, но, вероятно, в последние годы больше немцев побывало на берегах Сены или Тибра, чем на Дунае

или в Венском лесу. (Я не говорю уже о паломничестве на юг в летнее время; Германия летом — это кочевая страна, движущаяся в Италию, Швейцарию, в австрийские Альпы или на Балеарские острова; каждая продавщица или секретарша считает для себя обязательным побывать в Римини или на Ривьере, — но необязательным на Северном море или в Шварцвальде).

Временная столица Германии — Бонн — недалеко, всего в нескольких часах езды от любого конца Германии, и хотя никто и не подумает говорить о рейнском университетском городке, как о «столице», — говорят просто «Бонн», — любой может поехать туда и, если надо, поговорить с любым чиновником, или даже министром. «Он может увидеть там, — как писал один немецкий журналист, — президента, писателя по профессии, не скрывающего своего швабского происхождения, любящего называть собеседников по имени, без титулов и званий, и пишущего удивительное количество писем, часть из них от руки. При встрече с ним тебе начинает казаться, будто он лично знаком со всеми людьми в стране. . .»

На смену погоне за «величием», за «масштабами», за внешней pompой, пришли известная простота и интимность. Рост заводов и производственных цифр, нагромождение банков, страховых обществ, контор и торговых домов не выражают внутреннего мира современного немца. Здесь больше задушевности и непринужденности, чем прославленной прусской резкости и напористости. Самая большая и богатая часть Германии, окружающая Бонн, — Рейнско-Вестфальская, — не стала новой Пруссией, хотя исторически и относится к ново-прусским провинциям бывшей Германской Империи. «Рурские бароны» — это фантомы коммунистической пропаганды. Здесь просто делают деньги, а не гонятся за властью. Это царство «бизнеса», а не инкубатор, в котором высасывают претензии на европейское или мировое господство. Не малочисленные казармы и огромные стадионы, служившие некогда для массовых демонстраций, а дымящиеся трубы заводов, доменные печи и горы породы — вот внешние ориентиры, по которым следует судить о сегодняшней Германии.

Жизнь немца ушла с площади и от парада в интимную атмосферу домашнего очага, в круг близких. Германия переживает сегодня своеобразный ренессанс «бидермайера», т. е. ориентации на среднего человека и его духовный мир. Центром стал микрокосм своей квартиры, своего дома, своей семьи, как и сто тридцать лет назад. Мир теперешнего немца — это, прежде всего, его жилье, его домашний уют и семейные заботы. Это нередко ведет к мещанству, к потере горизонтов, к известной ограниченности. Но какое благо это мещанство в сравнении с топотом подкованных сапог и громовыми воплями «зиг-хайль!» взвинченной фанатиками и демагогами толпы! Да к тому же, ограниченность домашнего круга компенсируется постоянным контактом с другими странами, с другими народами. Отдыхать едут за границу, наполняя итальянские, тирольские, швейцар-

ские или датские гостиницы, заполняя палаточными лагерями все ландшафты Европы. А профессия часто требует поездок по портам и торговым центрам мира. Пожалуй, нет такого немецкого предпринимателя или торговца, который не слетал бы хоть на два-три дня в году в Нью-Йорк или Каир, не съездил бы в Лондон или Истанбул, а то и в Нью-Дели, Калькутту, Токио. Мир близок и открыт во все стороны, кроме железного занавеса, и это самая действенная гарантия против замкнутости и самовлюбленности.

Такой кажется нам Германия сегодня — совсем не величественной, много работающей, постепенно выходящей из забвения и начинающей, пусть пока ощупью, искать свое отношение к недавнему прошлому. Вместе с тем это страна, которая начинает получать вкус к жизни, как таковой, к будничным радостям простого человека, чувствующего все больше и больше, что истинным центром и смыслом бытия являются не «исторические миссии», а он сам и его человеческий мир.

«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ . . .»

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» — это общеизвестное бонмо, приписываемое Дидро, показывает, что мы привыкли смотреть на литературу, вернее на ее «читабельную» часть, как на своеобразное зеркало или барометр духовной жизни. И здесь, как и во многом другом, первое впечатление, получаемое в Германии, далеко не положительное.

На вопрос, что читает рядовой немец, ответить, вероятно, так же легко и так же трудно, как и в любой другой стране свободного мира. Утром, в переполненном трамвае, в вагоне «У-бан'а» или пригородном поезде, каждый второй или третий пассажир читает, конечно, газету или иллюстрированный еженедельный журнал. Огромные заголовки на полстраницы, набранные шрифтом для близоруких, сенсационные сообщения об очередном убийстве, автомобильной или воздушной катастрофе, о спортивном рекорде или ином поражающем воображение событии.

Но эта столь знакомая нам картина хотя и свидетельствует о нежелании «среднего человека» заниматься большими или малыми проблемами, ничего не говорит о настоящей книге и ее распространении. Мечтать о том, чтобы в условиях свободы каждый читал Толстого или Бунина, а в современной Германии, скажем, Гете или Томаса Манна, — интеллектуальная маниловщина. И если сегодня у нас на родине классическую русскую литературу или, например, Бальзака читают даже в трамвае, то, будем откровенны, сие происходит в большой степени оттого, что для рядового совет-

ского гражданина «Преступление и наказание» ближе к криминальному роману, чем «Правда» (для нас как раз наоборот).

Сетовать на то, что в условиях свободы печати широкие массы читающей публики к серьезной книге редко прикасаются, не вполне уместно, хотя и вполне резонно.

Но это все касается литературного «ширпотреба», «удобочитаемой» продукции, а не немецкой литературы и не тех книг, которые действительно покупают или, во всяком случае, читают широкие круги немецкой общественности. Здесь дело обстоит и сложнее, и многограннее, и подчас не так уж безнадежно...

Сразу же после 1945 года немецкий книжный рынок, как и следовало ожидать, наводнили переводы заграничной и, в первую очередь, американской и английской литературы. Немецкий читатель явно нагонял утерянное за годы нацизма. Наиболее значительные произведения из Англии и Соединенных Штатов расходились большими тиражами. Этот естественный голод к иностранным книгам, это стремление наверстать упущенное, в настоящее время в основном удовлетворены. Крупные переводные произведения, такие, как романы Джойса, Фолкнера, Хемингуэя, Грэхэма Грина, Стейнбека, Торнтона Вайльдера и др. за последние два-три года начали выходить дешевыми изданиями, ища новых, еще более широких читательских кругов.

То, что теперь переводится и расходится большими тиражами, — это иностранная литература, так сказать, «второго сорта», произведения, хотя и причисляемые еще к литературе, но явно склоняющиеся в сторону сенсационного и мелодраматического романа. Здесь и знаменитый «Эмбер» Катлен Виндзор и «Бонжур, Тристес» Франсуа Саган и бесконечные романы Дафны де Муарье и сентиментально-нравоучительные книги Пирл Бак. Очень популярны сейчас в Германии также книги с врачебно-больничной героикой, так называемый «арцт-роман». Среди авторов этого рода первое место, несомненно, принадлежит англичанину Кронин.

Читается, а, главное, и покупается «толстый» салонный или «женский» роман (в основном американского происхождения), «развлекательного» характера, иногда с историческим колоритом. Цена на такие романы весьма солидна — двадцать с лишним немецких марок. Книгопродавцы главным образом и существуют на эти «двадцатимарковые» романы, как их шутя называют перед лицом загадочного факта одинаковой стоимости книг именно этой категории.

И подобно тому, как каждая табачная фабрика в Германии спешит выпустить новый, или уже имеющийся в продаже сорт сигарет, но обязательно с фильтром, — так и каждое издательство торопится выбросить на рынок серию дешевых, преимущественно переводных криминальных романов. Потомки Шерлока Холмса и Пинкертона наводнили прилавки и продаются даже в самых серьезных магазинах, торгующих академическими изданиями.

К «ВОЙНЕ И МИРУ» ЧЕРЕЗ КИНО

Особенности внедрения литературы «второго сорта» в читательские круги — это ее рекламирование через кино. Стоит появиться фильму, снятому по мотивам того или иного романа, как в витринах всех книжных магазинов можно увидеть новые издания книги, обрамленные фотографиями из демонстрируемой где-нибудь в городе картины. Книгопродавцы охотно идут на эту необычную рекламу, т. к. продажа книги в таких случаях сразу делает прыжок вверх. Так, к фильму Майка Тодд «Вокруг света в 80 дней» в прошлом году было специально выпущено новое издание романа Жюль Верна, давно всеми забытого. Или, например, во время демонстрации фильма «Мост на реке Квай», издательству Ровольт пришлось допечатать пятьдесят тысяч дешевого издания книги, которые, кстати, уже разошлись. Конечно, реклама здесь «двусторонняя» — многие, прочитав книгу, хотят затем увидеть ее в кино.

От фильма выиграли и некоторые более серьезные книги. Если роман полукитайянки-полуголландки Хан Суин «Все великолепие этого мира» еще можно считать литературой, так сказать, «второстепенной», несмотря на высокую поэтичность книги, то этого уже никак нельзя сказать о книгах Хемингуэя «Кому пробил час» или «Прощай, оружие». Посмертную дополнительную популярность таким путем получил и крупнейший немецкий писатель Томас Манн благодаря фильмам, сделанным по его романам «Признания авантюриста Томаса Круль» и «Королевское высочество» (последний появился на экране еще незадолго до смерти писателя). То же можно сказать и о русской классике, такой, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» Толстого или «Игрок», «Преступление и наказание», «Идиот», «Белые ночи» Достоевского и даже... «Шинель» Гоголя.

Вообще, русский роман прошлого века неожиданно наводнил магазины и книжные клубы. Систематически стали выходить в дешевых изданиях романы Толстого, Достоевского («Братьев Карамазовых» ожидает, видимо, в недалеком будущем большой успех в связи с появлением на экране американского фильма с Юл Брюннером и немецкой кино-звездой номер один — Марией Шел), проза Пушкина, «Обломов» — Гончарова, «Мертвые души» — Гоголя, повести Лескова. О Мережковском я уже и не говорю — его «Леонардо да Винчи» можно найти в любом немецком книжном шкафу.

КНИЖНЫЕ КЛУБЫ

Особое и немаловажное место в немецкой жизни занимают книжные клубы или товарищества, выпускающие по удешевлен-

ным ценам прилично изданные книги для своих членов, вносящих ежемесячно или поквартально взносы в размере от трех с половиной до двадцати марок. Рассматривая богато иллюстрированные каталоги книжных клубов, можно составить себе довольно полное представление о том, что же читает средний немец, ибо клубы — предприятия сугубо коммерческие и, так же, как и фильм, на риск идут неохотно. Своего читателя они знают хорошо и издают, как правило, только то, что находит спрос. Число всех абонентов книжных клубов точно неизвестно, но оно колеблется, судя по всему, вокруг цифры в два миллиона. (В 1952 году в 38 книжных клубах состоял миллион читателей), за последние шесть лет число это, по крайней мере, удвоилось). И вот, в каталогах клубов можно увидеть рядом с собранием сочинений немецкого классика — обязательно в кожаном переплете — (это для книжного шкафа) — литературу «читабельную»: здесь и упомянутые выше Кронин, Бак, де Муарье, неизбежные Сельма Лягерлеф или Гульваг, Бромфильд или Диппинг, Харсани и, конечно, Митчел с ее «Развеянными ветром». Повезло и Дудинцеву — шум вокруг «Не хлебом единым» не только вызвал к жизни немецкий перевод, но и удешевленное издание, предпринятое самым крупным из немецких книжных клубов — так называемым «Кружком читателей издательства Бертельсманн». Однако, в каталогах можно увидеть и литературу, так сказать, «без скидки»: русских классиков, Бальзака, Флобера, Мопассана, Стендаля; из современников — Грэхэма Грина, Томаса Манна, Хемингуэя, Жана Жюно, Бернаноса, Мориака, Камю. Далее — научно-популярную литературу, альбомы и книги по разным видам искусства, в первую очередь — по живописи.

Общая тяга к книжным клубам — симптом весьма интересный. Здесь чувствуется, с одной стороны, большая неуверенность читателей, теряющихся нередко в магазине, не знающих толком, что же именно им выбрать, — в то время, как дома можно внимательно прочесть каталог с его пространными объяснениями к каждой книге. С другой стороны — это стремление к самообразованию, к расширению своего горизонта. Последнее обстоятельство особенно бросается в глаза. За последние 3-4 года скачкообразно возрос интерес к научно-популярной литературе, к книгам из различных областей знания, к биографиям великих людей.

«Я СКАЖУ ТЕБЕ ВСЕ»

Сенсацией и поворотным моментом в этом отношении был неожиданный успех изданной в 1949 году и разошедшейся в более, чем миллионе экземпляров(!) книги никому до того неизвестного автора Керам (псевдоним). Речь идет о книге «Боги, могилы и ученые»,

описывающей открытия археологии прошлого и настоящего века, — от расшифровки египетских иероглифов и раскопок Трои до открытия гробницы Тут-анх-амона. За Керамом, написавшим еще одну (более слабую) книгу о раскопках в Малой Азии «Тесное ущелье и черная гора», последовал ряд книг подобного же жанра, из которых особым успехом пользуется «А Библия, все же, была права . . .» Здесь, на основании новейших научных открытий в области астрономии, геологии и археологии доказывается, что рассказанное в Библии не является аллегорией или мифом, а действительно в свое время произошло.

Научно-популярная книга — новый вид литературы в Германии, если и не в принципе, то, во всяком случае, в смысле широкого ее распространения. Занятна в этом отношении известная параллель к криминальному роману: каждое издательство, выпускающее так называемые «карманные книги», уже не может обойтись без серии научно-популярного характера. Начало тут положило большое франкфуртское издательство Фишер, включившее в серии «карманных книг» — сперва очень осторожно — маленькие книжечки о мыслителях и ученых прошлого. Еще в 1951-52 году появились «Беседы с Сократом» Платона, небольшой сборник статей Зигмунда Фрейда и снабженная комментариями выборка из Паскаля. Успех этих книг привел к систематическому выпуску подобных книжек, так что сегодня, рядом с избранными сочинениями Мартина Лютера или Гегеля, можно увидеть томики избранных произведений или отрывков из сочинений Конфуция, Киркегора, Шопенгауэра, Ницше, Маркса, сборники буддистских или античных философов, книги о доисторическом периоде человечества, о новом абстрактном искусстве, о истории литературы, поэзии, театра, кино. Одним словом, появились массовые издания, вводящие среднеобразованного читателя во многие области знания.

Если издательство Фишер начало с произведений известных мыслителей, то издательство Ровольт, с 1950 г. выпускающее большую серию (по три книжки в месяц) «карманных» ротационных романов, не задумываясь долго открыло новую серию «карманных книг» под общим заглавием «Немецкая энциклопедия Ровольта», уже насчитывающую более семидесяти выпусков. В пестрой смеси здесь и история искусств, и психология, и вопросы экономики, и проблемы физики, — особенно ядерной, — и социологические анализы . . . Смесь, правду сказать, не только пестрая, но и весьма разнокачественная. Системы во всем этом пока еще маловато и книжонки выпускаются иногда весьма спорные. Так, например, Ровольт без особых колебаний включил в состав своей «энциклопедии» весьма сомнительную книгу берлинской журналистки Бовери «Предательство в XX веке». В этой книге в одном ряду «предателей» оказались и коммунистический шпион Зорге, и заговорщики против Гитлера, и антикоммунисты . . .

Тяга к справочнику и энциклопедическому словарю вообще велика. Вышел и уже разошелся новый двенадцатитомный Брокгауз, выпущенный католическим издательством Гердер «Большой Гердер», выходит 10-томный «Государственно-политический лексикон», издается четырехтомный «Экономический атлас мира». Большие книжные клубы, как, например, Бертельсманн и «Немецкая книжная община», выпустили по четырехтомному лексикону, а в этом году начал выпускать сокращенное (четырёхтомное) издание своей большой энциклопедии и Брокгауз. Наряду с этими большими справочниками — необозримое море более мелких, по отдельным вопросам, от толковых словарей до руководств по джазу, балету, концертной музыке... «Умный алфавит», «Я скажу тебе все», «Стопроцентная секретарша», «Расписание движения мировой культуры», — вот небольшая выборка из наиболее оригинальных названий.

Дешевая «карманная книга» (1,90—2,40 н. м.), от криминального романа до «Божественной Комедии» Данте, и научно-популярная литература, включая энциклопедии, справочники, исторические таблицы и т. п., — вот своеобразный противовес «толстому» роману или трилогии. Оба типа книг мирно уживаются друг с другом и придают несколько своеобразный характер «миру книг», окружающему современного немца.

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ДИДРО

Сделать здесь по методу, предложенному Дидро, общий вывод не так уж просто. После многих лет тоталитарного режима и геббельсовской пропаганды ушедший в личную жизнь немец хочет, очевидно, во всем ориентироваться сам, сделать самостоятельно выводы и поэтому всеми силами противится готовым рецептам или «тотальным» идеологическим толкованиям действительности. Отсюда тенденция к справочнику, к научно-популярной книге. Ощущая себя (пусть отчасти бессознательно) членом большого коллектива свободных народов, современный немец желает быть всесторонне образованным, сменить узкий немецкий горизонт «своей колокольни» на более широкий. Конечно, это только начало, но начало обнадеживающее.

С другой стороны, тот же немец бежит, до известной степени, от духовной проблематики современности. Если он не занят «самообразованием», то хочет отдохнуть, уклониться от больших жизненных проблем, отвести им место только в сфере профессиональной. Вне ее он хочет только развлечься, отвлечь мысли от повседневных забот, а порой и забыться. Отсюда тяга к легковесному роману, в особенности к роману с исторической подкладкой, к детективно-криминальной повести. Это, может быть, и мало утешительно, и не более,

чем сознательный самообман, но, с другой стороны, понятная реакция на годы тенденциозной литературы с исключительно политической подоплекой. Неудивительно, что в такой атмосфере своеобразный «come back» переживает австрийский писатель Адальберт Штифтер с его длинным, написанным прекрасным слогом, но совершенно лишенным движения и целиком потонувшим в описаниях природы и уже пережитых страстей романом «Позднее лето». Одно уже название романа определяет отношение автора к действительности. Это, действительно, «бабье лето», когда «нет безобразия в природе» и страсти человеческие, равно как и разбушевавшаяся летом природа, уже успокоились, как бы просветлились и одухотворились. Пожалуй, ни одна книга так не соответствует современному «бидермайеру», как этот роман Штифтера.

ВОЗВРАТ К «АВАНГАРДИЗМУ»

Ну, а настоящая немецкая литература? Та, что по праву может называться «художественной»? Что с ней? Существует она вообще? Пользуется ли успехом у читателей? Вопросы совсем не праздные, ибо немецкая литература переживает именно в настоящее время известный кризис. Немецкой литературе и поэзии нацизм нанес жестокий удар. Это чувствуется именно теперь, когда смерть унесла в могилу виднейших писателей старшего поколения: Томаса и Генриха Манна, Готфрида Бенна, Альфреда Доблина, Германа Броха, Бертольта Брехта и ряд других.

Для немецких писателей среднего и младшего поколения в послевоенный период, особенно же после «немецкого чуда» («Дойчес Вундер», т. е. материальный расцвет после 1948 года) и ухода широких слоев общества в «бидермайеровский индивидуализм», как бы «распалась связь времен», исчезли ясные ориентиры. В известной степени виной тому тяготеющий над ними расцвет литературы (и духовной жизни вообще) в бурные двадцатые годы. Многие литераторы невольно пытаются возвратиться к традициям того славного времени и, оперевшись на них, сделать шаг в современность. И именно эта попытка обречена на неуспех. Слишком уж изменилась жизнь за последние тридцать лет. То, что казалось смелым, судьбоносным, открывающим перспективы будущего, кажется сегодня историей, к тому же историей довольно далекой от современности.

Это касается как художественных приемов, так и тех мыслей, тех убеждений и представлений, которые волнуют писателя, создают в его воображении образы, так или иначе отражающие современность. Характерный для двадцатых годов «авангардизм» лишился, перед лицом развития тоталитаризма в Германии и в России,

своего основного ядра — веры в возможность построения лучшего мира путем социального переворота, мира, опирающегося на интеллектуалов и на гуманистические идеи.

Критика осколков «старого общества» и, особенно, общества «буржуазного», война, объявленная «мещанству», не только как особому духовному восприятию жизни, но и как социальному явлению, — эта основная тематика литературы двадцатых годов утратила свою внутреннюю силу, как только подверглись сомнению постулаты, исходя из которых велась эта критика. Нацизм и война, непосредственное знакомство с коммунизмом и трагедия Восточной Европы весьма недвусмысленно показали несостоятельность мечтаний о построении лучшего мира «разумным способом». Скептицизм по отношению к идеям, вышедшим из просвещенчества XVIII и романтизма начала XIX века, явился и скептицизмом по отношению к революции во всех ее вариантах.

Эта большая и сложная тема, разумеется, заслуживает более глубокого освещения. По своей сущности это философская тема, тема преодоления тоталитаризма и новых горизонтов. На ней мы еще остановимся при характеристике современной немецкой философии и социологии. Здесь о ней приходится упоминать только постольку, поскольку очевидна неспособность немецкой литературы справиться с проблемами современности, с отсутствием у нее прочного идейного фундамента.

Сразу же после войны немецкие писатели попытались объединить необъединимое — скептицизм к идеям «авангардистов» двадцатых годов с возрождением стиля и художественных методов «авангардистов». Взять метод, оторвавшись от идейного мира, его породившего, оказалось, конечно, невозможным.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ «ОБЩИНЫ»

Зато послевоенные годы привели к известному ренессансу экспрессионизма двадцатых годов; нынешняя молодежь попыталась строить на нем свое восприятие действительности. Умерший еще в 1924 г. Франц Кафка переживает в эти годы свое второе рождение. Его книги «Процесс» и «Замок» — эти полные тоски кошмары «атомизированного», беспомощного по отношению к окружающему человека, становятся именно в первые пять лет после войны общеизвестными, а сам Кафка — как бы духовным вождем нового поколения писателей.

Как и Кафка, неверием в идеалы и полным отчаянием отвечает умерший молодым (26-ти лет, в 1947 г.) поэт и драматург Вольфганг Борхерт на катастрофу нацизма и войны. В его «Снаружи перед дверьми» отразилась вся неспособность молодого поколения,

пережившего войну, найти себе место в жизни. Кошмарами и страхом полна также книга писателя Германа Казак «Город за рекой» (сюрреалистическое изображение мертвого города). Ужасами войны полон и роман умершей в 1950 г. писательницы Елизаветы Ланггессер «Неизгладимая печать».

Вместе с Кафкой снова становятся популярны поэты раннего экспрессионизма и позднего символизма — Георг Тракль с его обреченным нигилизмом («все пути ведут в черное тление»), или Райнер Мария Рильке. Его лирика, отчасти напоминающая «Стихи о прекрасной даме» Блока, и роман «Записки Мальте Бригге», впервые в немецкой литературе ставящий проблему человеческого одиночества в современную индустриальную эпоху, пользовались в первое послевоенное десятилетие огромным успехом. Это увлечение, в настоящее время приметно затухающее, особенно наглядно иллюстрируется одним интересным явлением в литературной жизни Германии — образованием своеобразных «общин» поклонников вокруг того или иного живого или мертвого писателя или мыслителя. Имеется «община» Рильке, поклоняющаяся умершему в 1926 г. поэту и создавшая вокруг него целый культ. Память поэта ревностно охраняется, дабы кто-нибудь, не дай Бог, не осмелился оскорбить покойного критикой его стихов или опубликованием фактов из его жизни, могущих повредить безупречной чистоте «божества». Имеется целый ряд других «общин», не менее ревностных. В последнее время литературная общественность Германии была свидетелем двух яростных протестов «общин» против критики их кумиров. Один спор возгорелся вокруг оценки творчества известного публициста и писателя двадцатых годов Курта Тухольского, другой — вокруг посмертного издания философских трудов Ницше.

В первом случае протест вызвало предисловие писателя и литературного критика Германа Кестена к составленному им одному из избранных произведений Тухольского. Жена покойного опротестовала предисловие и наложила запрет на выход книги. «Вина» Кестена состояла в том, что он изобразил Тухольского не только живым человеком (а не стоящим вне всякой критики небожителем), но и лишенным ясных политических представлений публицистом, что и привело Тухольского, эмигрировавшего после прихода Гитлера к власти в Швецию, к самоубийству. Кестен опубликовал опротестованное предисловие в литературно-политическом ежемесячнике «Дер Монат» и тем возбудил яростные нападки поклонников Тухольского не только против себя, но и против редакции журнала, «осмелившейся» напечатать «кощунственную» статью Кестена.

Не менее примечателен и шум, возбужденный новым трехтомным изданием трудов Ницше. Его составитель и редактор, профессор Шлехта, не постеснялся высказать в своей сопроводительной статье хорошо известную узкому кругу специалистов, но не широкой общественности, истину, что сестра Ницше, против воли филосо-

фа, сошедшего с ума, сделавшаяся его литературной наследницей, сознательно фальсифицировала труды брата, подделываясь под конъюнктуру. Выпущенная ею книга афоризмов «Воля к властвованию», послужившая основой для нацистской идеологии, была подделкой. В книге были искусственно соединены произвольно отобранные и частично даже дописанные «ламой» (так называл Ницше свою сестру) отрывки из литературного наследства философа. Шлехта не включил поэтому «Волю к властвованию» в трехтомник, а, отобрав действительно принадлежащие перу Ницше отрывки, опубликовал их под скромным заглавием «Из наследства восьмидесятых годов». Шлехта в своей статье доказывает, что нацисты фактически опирались не на труды Ницше, а на фальшивки «ламы», в то время как из противоречивых высказываний философа вообще невозможно вывести какую-либо идеологию. Несмотря на эту реабилитацию философа, проф. Шлехта подвергся доходящим до личных оскорблений нападкам «общины» почитателей Ницше.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ «ПАТРИАРХ»

«Общины» поклонников, конечно, явление, может быть, и не специфически-немецкое. Но они, несомненно, симптоматичны, если возникают вокруг творчества такого писателя как, например, Герман Гессе. Гессе — писатель старшего поколения, единственный из живых «маститых», к тому же получивший в 1946 году нобелевскую литературную премию.

Восьмидесятилетний писатель, живущий уже сорок четыре года в Швейцарии и после 1943 г. не написавший ни одного крупного романа, но все время выпускающий томики набросков, статей и стихов, — явление сугубо немецкое. Среди народов, не говорящих по-немецки, Гессе почти неизвестен, и сделанные после присуждения ему нобелевской премии переводы особой популярности ему не принесли. Зато, как по окончании первой, так и после второй мировой войны, Гессе получил очень широкое распространение среди немцев и его романы издаются в последние годы огромными тиражами (в одной Западной Германии — полтора миллиона). Будучи в глазах читателей своего рода «патриархом» немецкой литературы, Гессе в то же время не пользуется хорошей славой ни у литераторов, ни у свободной от преклонения перед ним критики.

Причина успеха Гессе у широкой массы читателей — в полном субъективизме его творчества, не заботящегося о изображении объективной действительности. По замечанию известного немецкого писателя Роберта Куртиуса, Гессе «в такой же мере не желает художественных, как и социальных ориентаций. Во все новых и новых подходах к решению задачи, в новых и новых вариантах, он посто-

янно делает читателя свидетелем развития человеческого образа, развития, начинающегося, как правило, с выяснения несостоятельности героя при решении жизненных задач».

Проблематика романов Гессе — это конфликт между инстинктом и разумом, между плотью и духом, выраженный либо во внутренней борьбе основного героя с самим собой (так в романе «Степной волк»), либо в изображении судьбы двух героев, из которых один представляет разум, а другой — плоть (так в наиболее распространенном романе Гессе «Нарцисс и Златоуст»). Морализирующий смысл книг Гессе, подобно Пирлу Бак вышедшего из семьи миссионера, очевиден. Их смысл — отказ от бунта плоти во имя гармонии духа, в чем Гессе видит всеобщий идеал как для отношений между отдельными людьми, так и между народами. Горе только в том, что Гессе нигде не достигает большой глубины. Это автобиографический монолог, к тому же довольно поверхностный, но претендующий на глубину. Для потерявших самоориентацию немцев, склонных вообще к самоанализу, романы Гессе — это нечто вроде проповеди Луки из горьковского «На дне». Отсюда и успех у среднего немца, духовно, как и сам Гессе, не преодолевшего состояния подростка, а потому тяготеющего к контрастной живописи и абсолютным истинам.

Герман Гессе типичен для современного духовного состояния Германии не потому, что он отражает в своих произведениях духовный климат послевоенных лет, а потому, что его произведения, как и упомянутый уже роман Штифтера, подошли к душевному состоянию широких читательских кругов. Однако, это не большая дорога литературы. Гессе относится скорее к той категории писателей-романистов, которыми создан ряд широко известных «психологических романов», как, например, Эрнст Вихерт (умерший в 1902 г.), или живущий и пишущий и поныне Эрнст Юнгер. Литература с большой буквы в Германии — либо литературное наследство недавно умерших писателей, либо еще неоформившееся окончательно творчество молодых.

ПОСЛЕДНИЕ «КЛАССИКИ»

Говоря об умерших в последние годы немецких писателях, без сомнения относящихся к мастерам слова, к современной «классике», нельзя не остановиться на трех именах: Томас Манн, Готфрид Бенн и Бертольт Брехт. Вместе с ними нельзя не упомянуть и двух австрийцев — Роберта Музиля и Германа Броха. Рассказать о их значении и о их влиянии на духовную жизнь Германии очень трудно — оно огромно в интеллектуальных и литературных кругах. С другой стороны их произведения не получили столь широкого распростране-

ния, как вещи писателей менее значительных. Это особенно относится к Бенну, Музилю и Броху. С Томасом Манном и Бертольтом Брехтом дело обстоит несколько иначе. Всем им, — за исключением Брехта, о котором следует сказать отдельно, — свойственно восприятие военной и послевоенной действительности и попытка ее преодоления. Это созерцательная критика, ищущая причин общего духовного кризиса Европы, поиски, лишенные выводов, сознательно не претендующие на прогнозы. На весь мир названные писатели смотрят в известной мере с «олимпийской» высоты своего творчества и своего возраста.

Томас Манн создал в послевоенные годы два крупных романа: «Доктор Фаустус», и уже упомянутый в другой связи — «Признания авантюриста Феликса Круля». Последнее произведение Манна очень характерно: здесь мастерство писателя достигает предела возможного. И, в то же время, как бы самодовлеющий юмор писателя, его любовь к гротескным противопоставлениям, как бы повисают в воздухе. За тематикой «Круля» не чувствуется никаких глубоких проблем. Феликс Круль не дьявол, разлагающий жизнь, и не антихрист, ее уничтожающий, а просто бесенок, весело и остроумно барахтающийся и кувыркаящийся в лишенной внутренней цельности действительности. «Феликс Круль» — это нечто вроде «Жиль Блаза», новый плутовской роман, с той только существенной разницей, что плут романов эпохи барокко — это герой, в сущности, положительный, жизнеутверждающий, предшественник Фигаро Бомарше, бунтарь, демонстрирующий полноценность «низших слоев», в то время как Феликс Круль — несомненно удачное обобщение слабостей современного общества.

Гораздо значительнее другой роман Томаса Манна — «Доктор Фаустус», в котором писатель пытается осмыслить происшедшее и дать художественное толкование немецкой катастрофе. «Доктор Фаустус», пожалуй, самое крупное событие немецкой литературы послевоенных лет. Роман написан в 1947 г., но стал известен в Германии только в 1949-50 г.г. и сразу же получил широкое распространение. Манн видит в своем герое, гениальном композиторе Адриане Леверкюн, как бы воплощение немецкого духа с его титанической глубиной и безразличием к гуманизму. При этом гениальность для Манна равнозначна болезни. Отталкиваясь от оказавших на него большое влияние Достоевского и Ницше, Томас Манн рисует Леверкюн больным, умышленно заразившим себя еще в молодые годы сифилисом, чтобы достичь вершин художественного мастерства. (Манн всегда защищал гипотезу, по которой в свое время Ницше также вполне сознательно заразил себя сифилисом во имя достижения гениальности). Но связь между болезнью и гениальностью — только одна сторона поставленной Манном проблемы. Другая — связь гения со злом. Болезнь, гений и злодейство превращаются в неразрывный триумвират, определяющий, по мнению писателя, ду-

ховную сущность немецкой гениальности. Эта антитеза к пушкинскому «гений и злодейство — две вещи несовместные» — без сомнения, самое спорное в романе, поскольку таким образом все гении, по крайней мере немецкие, автоматически зачисляются в злодеи.

Стремление к познанию сущности мироздания, к его рациональному осмыслению, — это «фаустовское» свойство духа, — толкает Адриана Леверкюн к сделке с дьяволом, заключенной, как оказывается, уже давно, еще в момент самозаражения страшной болезнью, разрушающей организм и одновременно толкающей дух к вершинам познания. Болезнь становится реальным фактором во время работы композитора над гигантской ораторией «Доктор Фаустус» (кстати, создаваемой на основе старинной народной легенды, а не гетевской трагедии). Леверкюн делает попытку создать новую, внутренне законченную и математически ясную музыку, как бы отображающую исконную закономерность мироздания. Его безразличная холодность к окружающему, его уход в «башню из слоновой кости», сидя в которой он стремится силой творчества вырвать мир из его обычных связей, — типичная установка немецкого, да и не только немецкого интеллигента. Леверкюн предчувствует катастрофу, но она остается для него безразличной. Он пишет музыку, навеянную созерцанием дюреровских всадников из Апокалипсиса, и остается равнодушен к окружающему его аду Германии военных лет.

Этот большой роман имел очевидный успех, несмотря на его сложность и перегруженность специальными музыкальными темами, занимающими в нем особое место и, по единодушному мнению композиторов и музыкальной критики, оставляющими настолько интенсивное впечатление, что творчество Адриана Леверкюн кажется вполне реальным, а его музыка действительно написанной.

Такого общего успеха не имел роман австрийского писателя Германа Броха «Смерть Вергилия». Написанная блестящим языком книга, собственно говоря, не укладывается в обычное представление о романе. Почти единственное содержащееся в нем событие описано в первых двадцати-тридцати строках — вход корабля с умирающим Вергилием на борту в гавань Бриндизиума. Остальное — монолог Вергилия, рассуждения поэта, знающего, что он скоро умрет, о смысле человеческого и поэтического бытия. Поэт оглядывается на пройденный им жизненный путь и держит суд над собой и своим творчеством. Кульминационный пункт этого суда и самоосуждения — завещание уничтожить его крупнейшее произведение «Энеиду».

Нигде так, как в этом последнем произведении Броха — единственном, заслуживающем эпитета «завершенный» — не ощущается столь полно кризис современного европейского романа, не охвативший еще Соединенные Штаты, но повсеместный здесь, на его родине. «Смерть Вергилия» — это «антитеза», это преодоление столетнего периода в истории литературы, начавшегося Стендалем и Бальзаком, достигшего своего апогея в Толстом и Достоевском и

кончившегося «Буденброками» Томаса Манна, романами Анатоля Франса и горьковским «Климом Самгиным». Социально-критический роман должен был умереть в тот момент, когда политическая практика с невиданной доселе жестокостью и недвусмысленностью показала, что раздирающие наш век духовные конфликты не могут быть разрешены одним только социальным экспериментом. «Открытие», сделанное человеком в последние тридцать-сорок лет и заключающееся в том, что переживаемый христианским миром глубокий кризис имеет духовные корни и неразрешим одной только экономической и политической практикой, — подорвало основу, уничтожило право на существование социально-критической литературы. Только в Соединенных Штатах, куда европейский кризис был «занесен» значительно позднее, социально-критический роман сохранил еще свое значение или стал сочетаться с психологическим романом особого типа, отражающим духовный хаос индивидуума в эпоху атомизации общества и распада старых связей.

У Броча преодоление социально-критического романа осуществлено наиболее полно. Это касается не только литературной формы и языка в его «Смерти Вергилия». Передавая длительный разговор между Вергилием и Октавианом Августом, Броч по-новому определяет место художника в действительности. Здесь он во всей широте ставит старинную проблему взаимоотношения власти и искусства, взаимосвязи между истиной и ее практическим претворением в жизнь. Спускающаяся в трансцендентальные глубины мудрость Вергилия бесполезна без реальной «исполнительной власти» Августа. Но вопрос заключается в том, насколько философское познание потусторонних «корней бытия» терпит фиаско при своем земном воплощении в виде конкретной политики государства. По сути, это по-новому поставленная проблема «Великого Инквизитора». «Исполнительная власть» на земле только тогда имеет некий метафизический смысл, а тем самым и право на существование, если она выполняет завещание человечества, воплощенное в духовном творчестве. Броч показывает, следуя Гегелю, что непосредственные побудительные причины, толкающие «исполнительную власть» к выполнению этого духовного завещания, в конечном счете случайны и второстепенны. Это всего лишь «уловка» истории. Октавиан, например, ратует за сохранение «Энеиды» ради прославления дома Юлиев. Но, все же, умирающий Вергилий, уступив Августу, выходит внутренне победителем, убедившись в том, что позже будет сказано словами Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»...

Именно неспособность художника преодолеть социальную ограниченность в своем творчестве делает столь проблематичным все, что создано в последние два десятилетия жизни крупнейшим из немецких драматургов современности, Бертольтом Брехтом (умер в 1956 г.). Большой мастер языка, Брехт не отказался от социально-

политических увлечений своей молодости. Близкий к коммунистам в двадцатые годы, он предпочел и в послевоенное время остаться придворным поэтом и драматургом коммунистических вождей в советской зоне Германии. Его театр, близкий по своей структуре к Маяковскому, — это связь поэзии с плакатом, подлинно драматической ситуации с поверхностной агитационной задачей. Только в законченной в первые послевоенные годы драме (о тридцатилетней войне) «Мамаша Кураже» Брехт в главном избежал политического лубка, которым полны другие его пьесы — «Смерть Лукулла», «Пунтилла и его слуга», «Хороший человек из Сечуана». (О его большой драме «Галилей», увидевшей свет рампы только незадолго до его смерти, говорить в этой связи нельзя, т. к. она написана еще в годы эмиграции). Сугубо поверхностная трактовка — например, основной тезис «Смерти Лукулла» заключается в том, что в войнах повинны жаждущие славы генералы, — сводит на нет все поэтические и драматические удачи Брехта. Эта примитивная плакатность привела к большому скандалу в литературно-политической общественности свободной Германии. Министерство иностранных дел ГФР отказалось субсидировать заграничные гастроли одного театра, включившего в репертуар одну из драм Брехта. Спор, перекинувшийся теперь в Австрию, показал, что отсутствие какой-либо последовательности и постоянства является одной из постоянных величин на Западе. Несмотря на то, что коммунистическая тенденция в драмах Брехта очевидна — (так, в «Хорошем человеке из Сечуана» зрителю «доказывается», что в «капиталистическо-демократическом» обществе не только бессмысленно, но даже преступно быть хорошим, порядочным и справедливым человеком) — большая часть немецкой интеллигенции яростно требовала включения Брехта в репертуары театров во имя «свободы искусства» и «свободы мнений» . . . против которых прямо направлены все драмы Брехта! Недомыслие интеллигенции остается в этом пункте столь очевидным, что невольно начинаешь сомневаться в интеллигентности этой интеллигенции. Я не говорю уже о том, что, насколько мне известно, никому из спорящих не пришло в голову подумать над тем, как, собственно, должны играть Брехта актеры и ставить его режиссеры? Как можно правдиво изображать мысли и чувства, не обладающие основной предпосылкой — правдоподобием? Играть в стиле гротеска, подчеркивая всю сомнительность установок Брехта, — значит сознательно исказить пьесу; играть «правдоподобно», т.е. принимая тенденцию — или, как говорил Станиславский, «сквозное действие», — за «условную истину», значит грешить ежеминутно против «правды жизни и правды чувств».

Насколько социальная критика Брехта в настоящее время «стреляет мимо цели», как говорят немцы, продемонстрировал колоссальный успех его же пьесы-оперы (и книги) двадцатых годов «Трехгрошовая опера» (книга вышла под заглавием «Трехгрошовый роман»).

О них вспомнили в связи с демонстрацией старинного фильма под тем же заглавием. Написанная Брехтом в сотрудничестве с композитором Куртом Вайль по мотивам старинной английской оперы нищих, «Трехгрошовая опера» была в свое время задумана как обличающая «капиталистическое общество» карикатура. В двадцатых годах она так и была воспринята. Теперь, спустя тридцать лет, пластинки с балладами и песенками из «Трехгрошовой оперы» разошлись в огромных количествах и пьеса воспринимается только с ее романтической стороны. Ее герои, — воры, убийцы, нищие и проститутки, — принимаются теперь не как карикатура на «добропорядочное общество», а как своеобразная романтизация и стилизация гангстерства. Блестящая музыка Курта Вайль, конечно, многим способствовала этому неожиданному успеху. Куллеты о «Меки-мессер» насвистывают почти в каждой немного подвыпившей компании . . .

Иначе, чем Манн, Брехт и Брехт реагировал на немецкую катастрофу Готфрид Бенн — крупнейший поэт и стилист, остававшийся в Германии и во времена нацизма. Гвардейский офицер в прошлом (перед первой мировой войной) и врач по профессии, Бенн ответил на двенадцать лет тоталитаризма и затмения немецкого духа не возвратом к экспрессионизму, проводником которого в немецкой поэзии он в свое время был, а холодной классикой, доведенной до предела отточенности прозой. Опубликованные им в последние годы перед смертью (последовавшей в 1957 году) книжки — «Три старца» и «Птоломей» — представляют собой как по законченности языка, так и по философской глубине, пожалуй, самое значительное из того, что появилось наряду с Манновским «Фаустусом» и «Вергилием» Брехта. Когда читаешь Бенна, то кажется, что здесь достигнута вершина современной немецкой литературы.

В доведенной до предела скупости и краткости форме Готфрид Бенн умеет отразить всю полноту жизненных явлений. Написанные почти телеграфным языком фразы, если взять их в отдельности, звучат как афоризмы. Глубина мысли и выразительность языка достигают совершенства. Здесь как бы положена граница, дальше которой, по крайней мере в ближайшее время, невозможно развитие немецкого писательского искусства.

Тяга к глубине и отточенности стиля, столь характерные для Бенна, также симптом времени. Наше время стремится к освобождению от «приподнятости» характеров, от напыщенности языка, «красивости» и от затасканных штампованных выражений, порожденных эпохой нацизма. Здесь нужно искать секрет неожиданного успеха и большого влияния на интеллектуальные и литературные круги умершего еще в 1942 г. и почти никому неизвестного австрийского писателя Роберта Музиля, написавшего ряд новелл, критических статей, две пьесы и большой неоконченный роман «Мужчина без качеств». Выразительность и гармоничность прозы Музиля сделала его посмертно своего рода «мэтром» для немецкой литературы.

Его имя ставят рядом с Прустом и Джойсом, этими отцами современного романа. В известной мере способствовала этому, конечно, и тематика его неоконченного романа. В нем ставится проблема человека двадцатого века, стремящегося сохранить хотя бы некоторый налет романтики и скепсиса в противовес бодрой пошлости и прозаическому «жизненному успеху». Устроители и герои жизни в глазах героя романа Ульриха повинны в атомизации сознания. Сокрушительная жизнь начинается там, где начинается сомнение, — без этого возможен только хаос, ведущий к катастрофе (например, нацистской).

Музиль не столько критик социальных и бытовых несправедливостей и конфликтов, — каким был молодой Томас Манн и до самой смерти остался его брат Генрих, — сколько мастер эпического романа. Он стремится осмыслить происходящее путем описания самой «истории болезни», а не ее духовного перерастания в символику или философию, как это мы видим у Томаса Манна, Германа Броха и Готфрида Бенна.

ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕР

В тот момент, когда казалось, что эпический роман вместе с Музилем ушел в могилу, когда после Манна, Броха и Бенна, под влиянием Джойса, Пруста и современного американского романа эпическое изображение действительности, казалось, стало столь же невозможным, как и социально-критический роман, — на осиротевшем троне немецкой литературы появилась новая фигура. О ней нельзя сказать, что она заняла место ушедших классиков, только потому, что ее влияние на современников еще ограничено. Это земляк Музиля, австриец Хаймито фон Додерер, своими двумя романами «Штрудельгофштиге» и «Бесы» сразу же завоевавший признание всей литературной общественности Германии.

«Штрудельгофштиге» — так называется одна улица-лестница в Вене — только прелюдия или отдельный вариант к основному роману Додерера «Бесы», плоду его двадцатилетней работы. Заглавие выбрано не случайно и сознательно перекликается с Достоевским, хотя стиль Додерера куда ближе к Томасу Манну с его бесконечными переплетениями фраз, отступлениями, замечаниями автора, и т. д. Этот стиль Додерер довел до совершенства, одновременно показав его границы, за которыми начинается его распадение. Как и Достоевского, Додерера занимает вопрос о причинах хаоса, который предвидел в жизни своего народа русский писатель и который испытал, если и не в таком виде, автор новых «Бесов». И тем, чем для Достоевского было нечаевское дело, убийство студента Иванова, для

Додерера оказался пожар венского дворца юстиции 15 июля 1927 г., символизировавший для него начало мировой катастрофы.

На более чем тысяче трехстах страницах романа Додерер переплетает две темы. Первая из них — роковое скольжение в иллюзию, во «вторую действительность», создаваемую политическими идеологиями и долженствующую подменить реальную действительность. Вторая тема — семейная интрига, развивающаяся вокруг наследства. (Последняя сюжетная линия служит по преимуществу для связи между бесконечным числом персонажей этого гигантского романа и для приведения в действие всего повествования). На десятках примеров Додерер показывает — с обескураживающей правдоподобностью и жизненностью — различные варианты бегства от действительности в политически-романтический хаос, несущий в себе тоталитаризм. То, что у Достоевского было гениальным предвидением будущего, основанным на анализе человеческих характеров его современников, превращается у его последователя Додерера в реальный анализ уже происшедшего, в анализ общества, упавшего в пропасть тоталитаризма. При этом на его полотне все живет, все насыщено фактами, наблюдениями, изобилует захватывающими местами, пронизано увлекательной фабулой, пропитано тонкой лирикой и порхающим с первых же страниц юмором. Поистине, восстание эпического романа из гроба во всей славе его и, одновременно, знакомство с новым большим писателем!

ГАНС ШОЛЬЦ И ГЕНРИХ БЕЛЬ

По сравнению с действительно солидным наследством, оставленным писателями старшего поколения и единственным в своем роде феноменом — Хаймице фон Додерером, фигурой, к тому же, во многом типично австрийской — все, что написано немецкими писателями среднего и младшего поколения кажется малозначительным и проходящим. Это скорее необходимое околотературное «окружение», но не сама литература. И если никогда не присуждалось столько литературных призов и премий, как именно в последние годы в Германии, то это скорее свидетельствует об известной растерянности, вызванной избытком хорошей, средней литературной работы и отсутствием дарований первой величины.

Конечно, такое утверждение слишком общо. Имеется ряд талантливых молодых поэтов, например, Карл Кролов, или живущая почти постоянно в Риме Ингеборг Бахман, Мария-Луиза Кашниц. Пауль Целан, Рудольф Хагельштанге, Ганс Пьонтек, Гюнтер Эйх, все больше работающий для радио сторонник «авангардизма» двадцатых годов, многосторонний и очень одаренный поэт. Среди прозаиков нельзя не назвать Ильзе Айхингер, Вернера Варзинского, Эрхарда Кестнера, Герта Гайзера или Альбрехта Геза. Но это все

литературные будни, подчас весьма «погожие», но все-таки будни. Несколькo в стороне стоит полный горького сарказма, эффектный стилист, сатирик Грегор фон Рецори, выходец из Балкан, со своими «экзотическими», но, одновременно, обращенными к современности романами «Эдип побеждает под Сталинградом» и «Горноста́й из Чернополя». В этом молодом и неровном литературном лесу хочется остановиться только на двух именах: Ганс Шольц и Генрих Бель.

Первый поразил литературные круги, да и завоевал большую популярность у читателей, совершенно неожиданно и, к тому же, одной единственной книгой — «На зеленых берегах Шпрее». Это берлинский роман несколько неожиданной конструкции: шесть товарищей собрались в одном берлинском баре, чтобы отпраздновать возвращение из плена одного старого приятеля. При этом каждый из них рассказывает (или читает) какую-нибудь особенно примечательную историю. Из этих рассказов, едва заметно связанных между собой общностью некоторых действующих лиц, и состоит роман Шольца. От истории еврейской девочки в маленьком польском городке во время войны, через историю знакомства немецкого военнопленного с офицером-американкой и до описания будней советской зоны Германии — этот полный лирики и юмора роман набрасывает этапы немецкой эпопеи последних десятилетий. Он раскрывает эволюцию человеческого духа и человеческих отношений между 1939 и 1950 годами. Книга написана таким живым, сочным и, в то же время, точным языком, что невольно становится страшно: сможет ли Шольц написать второй, по крайней мере столь же хороший роман?

Иначе — Бель. У него нет ни искрящейся легкости Шольца, ни сразу же пришедшего успеха. Он уравновешеннее и, если так можно выразиться, «литературнее». За время, прошедшее с момента опубликования его первой небольшой книги «Поезд был точен» (1949) он непрерывно рос от романа к роману, от одного сборника рассказов к следующему. Бель еще молод (он родился в 1917 г.), но уже выдвинулся в первые ряды немецких писателей. Особенную известность принес ему роман «И не сказал ни единого слова». В романе описывается семейная жизнь возвратившегося с войны человека, который не может больше найти контакта с женой и детьми и уходит от них. Он физически не в состоянии жить с ними в одной комнате. Здесь Бель, как и в других своих романах и повестях, пытается найти причины трагедии «маленького человека», — его обреченности, одиночества и потерянности в послевоенной немецкой действительности.

При этом Бель совсем не революционер. Он скорее моралист, усматривающий причину несостоятельности общества не в социальном или экономическом укладе, а в самом человеке. Не общество, не «система» привели человека к тому, что он ощущает себя песчин-

кой, атомом в океане людей, не понимает смысла происходящего, потерял, одинок, внутренне неудовлетворен и, как ему кажется, движим неведомыми силами, на которые он не имеет влияния, — в этом виноват сам человек, потерявший свой внутренний мир и свою цельность. Для убежденного католика Генриха Бель жизнь имеет цель и смысл, и критику современного человека и человеческих отношений он ведет с христианских позиций. В этом отношении его не может поколебать даже прискорбная практика некоторых служителей церкви и фарисействующих верующих. Острие своей критики Бель часто направляет против тех, кто превращает веру и любовь к ближнему в формальную «акцию», а иногда даже в выгодное предприятие. Так в своей полусатирической большой повести «И не только в рождественское время» он с беспощадной прямоотой говорит о превращении Святок в ежегодную ярмарку, заслонившую смысл праздника. В уже упомянутом романе «И не сказал ни единого слова» он рисует уничтожающий портрет дамы — благотворительницы, которая держит пустую комнату в своей квартире специально для ведения душевспасительных разговоров, в то время, как живущая в ее квартире семья героя ютится в одной комнате и грозит распасться, так как не в состоянии справиться со своими проблемами. Бель нападает на институции, созданные человеком, не потому, что они сами по себе плохи, а потому, что человек потерял к ним правильное внутреннее отношение. Не смысл человеческого бытия ставит Бель под сомнение. По его мнению «связь времен» распалась потому, что человеком и обществом потеряно ощущение взаимосвязи между временным и вечным, между повседневной жизнью и бессмертием человеческой души.

НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Таков далеко не полный обзор послевоенной немецкой литературы. Можно было бы назвать еще ряд имен, попытаться дать характеристику еще ряду произведений, но это не изменило бы общей картины. Старшее поколение ушло в могилу, оставив в качестве заветания несколько десятков книг, написанных с большим мастерством, исполненных большой жизненной мудрости и глубокой философской мысли. Произведенный в них анализ эпохи во многом верен и преодоление недавнего прошлого с позиций европейского гуманизма часто звучит подкупающе убедительно. Но путь к их книгам, будь то «Доктор Фаустус» или «Смерть Вергилия», «Птоломей» или «Мужчина без качеств» — труден, доступен только небольшому кругу сугубо-интеллигентных читателей. Новое литературное поколение, так сказать, «молодежь» в литературе, пока еще не нашло своего места, не смогло выделить ни одного исключительно крупно-

го дарования. Это, вероятно, случилось оттого, что новой литературной генерации не удалось покамест создать свое собственное, новое миросозерцание, без которого не может быть великих художественных произведений. Успех Генриха Беля потому так показателен, что он — один из немногих — не ощущает проблематичности самого человеческого бытия, не подвергает сомнению самые «основы». Другое дело, является ли занятая им творческая позиция приемлемой для большинства и не ограничивает ли она с самого начала радиус действия его книг. Но, как бы там ни было, Бель, во всяком случае, справляется с действительностью, чего нельзя сказать о целом ряде молодых писателей. Нацизма они не приняли, а идеи двадцатых годов, к которым они невольно обратились, явно изжили себя. Война, ее бессмыслие, человеческая катастрофа, ею вызванная, — все это до сих пор тяготеет над творчеством молодых, на этом комплексе переживаний и идей построено большинство произведений последних лет.

Медленное оздоровление целого народа после двенадцати лет тоталитаризма, повидимому, еще не дошло до творческого сознания молодого и среднего поколения писателей и поэтов. Жизнеутверждающая бодрость, которой дышит, например, роман Ганса Шольца «На зеленых берегах Шпрее» — явление в «молодой» немецкой литературе весьма редкое.

Современные немецкие писатели не принимают «бидермайера», — что вполне понятно, — но и не верят больше в спасительную силу социальных идей и в благодетельную роль революции. А на одной критике, как известно, далеко не уедешь. . .

Настроения, господствующие в немецкой литературе, представляются мне, в известной мере, возможными и в молодой литературе освобожденной России. Пример Венгрии и брожение умов у нас на родине показывают, что именно писатели и поэты, особенно молодые, ожидают от падения коммунизма прежде всего общего и немедленного духовного «ренессанса». В Германии мы видим, что широкие массы после освобождения от тоталитарного режима в первую очередь стремятся к восстановлению своей личной жизни. Здесь оздоровление политической и хозяйственной жизни привело к своеобразному духовному «бидермайеру». Большие идеи, заложенные в основу нового, свободного строя, в течение определенного первоначального периода выражаются в бытовом преуспевании миллионов людей. Очевидно, такое же обогащение внутреннего мира освобожденного народа, или даже только его ведущих слоев, — процесс, требующий известного времени.

Конечно, в свободном обществе художник всегда будет в какой-то мере стоять в открытой оппозиции к существующему порядку. Ведь в свободном государстве он — общественная совесть, сейсмограф, отмечающий все конфликты, потрясения и даже простые колебания. С другой стороны, он, конечно, должен быть чутким и к голосу буду-

щего, к большим положительным идеям, заложенным везде, где живет и творит свободный человек.

В «оправдание» немецкой — да и не только немецкой — литературы необходимо, однако, заметить, что философское осмысление современности — задача в высшей степени трудная. «Связь времен» распалась повсеместно, — в том смысле, что за последние пятьдесят лет везде произошли колоссальные изменения во всей духовной, социальной, политической и экономической жизни. Эти фундаментальные перемены еще не «освоены» человечеством. Отсюда повышенный интерес к философским, философско-искусствоведческим и социологическим анализам, в результате которых хотя бы отчасти обрисовываются контуры ближайшего будущего. В Германии эта тяга к философскому и социологическому анализу по понятным причинам особенно сильна. За последние годы здесь появился ряд весьма интересных работ, авторы которых стремятся, с одной стороны, преодолеть тоталитаризм (рассматриваемый, как характернейшее явление нашей эпохи), а с другой — найти в настоящем те конструктивные элементы, на которых можно строить будущее «в большом плане». Но эти интересные исследования — тема для отдельного очерка, равно как и вопросы, связанные с развитием немецкого театра, кино, живописи и архитектуры.

***ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА***

МАРЕК ГЛАСКО

МЫСИК

или все переменялось

РАССКАЗ

Поезд остановился на маленькой станции. Журналист вылез. С кожаным чемоданом в руке он пошел вдоль старых, смешных вагонов. Был пасмурный осенний день; на оголенных деревьях тяжелыми каплями оседала мгла. Вылезший из поезда человек взглянул на небо и с отвращением отвернулся: оно было похоже на грязную тряпку. По перрону шел начальник станции с красным флажком; он подходил на старого, усатого моржа. Человек из поезда пошел к нему навстречу:

— Далеко ли до города? — спросил он.

Начальник станции приостановился.

— Вы хотите идти в город? — сказал он, ударяя себя по руке древком флажка.

— Поэтому я и спрашиваю дорогу, — сказал журналист. — Мой следующий поезд уходит через несколько часов, я еду дальше. — Он провел рукой по лицу и сказал: — Мне необходимо побриться. Я не спал двое суток и стал похож на бандита.

Они шли по влажному гравию перрона. Поезд уже ушел, в мутном воздухе лениво таял дым. Влажные рельсы лоснились. Начальник станции сказал:

— Вы далеко едете?

— Достаточно далеко.

— Вы, может быть, работаете в отделе снабжения?

— С чего вы это взяли? Я работаю в редакции.

— Мой сын работает по снабжению, — сказал начальник станции. — Он — в Варшаве. Вы тоже из Варшавы?

— Да.

— Маевский, Казимир, может, знаете?

— Нет.

— Они все разъезжают.

— Напрасно. Сидели бы лучше дома.

— Почему?

— Из поезда можно выпасть. В поезде можно простудиться.
— В поезде я познакомился однажды с одной женщиной, — сказал начальник станции.

— Ну, и что же?

— Ничего. Она поехала дальше.

— Очень благородно с ее стороны, — сказал журналист и зевнул. Потом он спросил: — Ну, так как же? Далеко до города?

— До города рукой подать, — сказал старик. Усы его были влажны. Он подмигнул и спросил: — А вы серьезно к парикмахеру?

— А вам что за дело?

— Я подумал, не захотите ли вы выпить сначала рюмочку. Водка у меня найдется.

— Ничего не меняется в этих маленьких, паршивых городках, — сказал журналист со злостью. — Я сам родился в такой же дыре. Тут у вас тоже дом терпимости возле костела?

— Нет. Аптека.

— Я слышал, — сказал журналист, — что тут многое изменилось. Кое-что построили новое. Правда это?

— Правда, — сказал начальник станции. — Сами увидите. До города недалеко. Минут пятнадцать. Ну что, зайдете ко мне?

— Нет, — сказал журналист. — До свидания.

Действительно, через пятнадцать минут он был уже в городе. На базаре стояло несколько подвод. Лошади дремали, опустив головы в мешки с кормом. На улице валялась солома; вероятно, сегодня тут был базарный день. Шел дождь; прохожие ежились от холода.

— Где тут парикмахер? — спросил журналист какого-то человека с неопределенным лицом, неопределенной профессии и неопределенного возраста.

— Что?

— Парикмахер.

— Что парикмахер?

— Здесь парикмахер?

— Где?

— Тут.

— Тут?

— Да, тут.

— Ну так что?

— Теперь понимаете?

— Нет, — сказал неопределенный человек, и на его лице отразилась мучительная работа мысли. — Я ведь здешний. А парикмахер тут сейчас в закоулке.

— Не в закоулке, а за углом.

— Тогда я не знаю.

— Зато я знаю, — сказал журналист. — Прощайте.

Он отошел и сейчас же увидел парикмахерскую. Над дверью ви-

села медная тарелка, а в витрине — кукла в завитом парике всматривалась бессмысленными глазами в серую пустоту улицы.

Журналист вошел.

— Добрый день, — сказал он.

— Добрый день, — ответил парикмахер. — Садитесь, пожалуйста.

Журналист сел и вытянул ноги. Он ужасно устал: он не спал уже третьи сутки, перевидал массу людей, узнал многое, несколько раз его чуть-чуть не надули. Он мечтал о том, чтобы поскорей вернуться в Варшаву и растянуться на своей собственной постели. В Варшаве у него была маленькая, черненькая подруга с личиком Мики-Маус; и его все время приводила в бешенство мысль, что в его собственной, удобной постели, с его собственной девочкой, может быть, спит теперь кто-нибудь другой.

Парикмахер завязал ему салфеткой шею и сказал:

— А насос вы вынули?

— Какой насос?

— А вы разве не на велосипеде?

— Нет, — сказал журналист. — А что? Крадут?

— Э, — сказал парикмахер, — нельзя сказать, чтобы крали. Но заведующий кооперацией потерял свой насос; у него вентиль спускает; так что лучше, все-таки, внести. Таковы-то дела, понимаете?

— Понимаю, — сказал журналист и взглянул на парикмахера.

Парикмахер был стар; его лысая голова была покрыта смешным утиным пухом, увядшие уши торчали, черные глазки быстро бегали. Он спросил:

— Голову мыть?

— Нет, не надо.

— Не надо, — повторил парикмахер. Он запустил свои когти в волосы журналиста и сказал: — Нагните голову. Так что же? Стрижка и бритье?

— Стрижка и бритье.

— Голову не мыть?

— Не мыть.

— Ох, — сказал парикмахер, и лицо его стало сосредоточенным.

Он помолчал с минуту, осматривая журналиста взглядом хирурга, а потом сказал:

— Вас постричь м ы с и к о м ? *)

— Боже сохрани. Обыкновенно, пожалуйста.

— Конечно, — сказал парикмахер. — Конечно, обыкновенно. Теперь, знаете, уже никто не хочет стричься мысиком. А раньше — стриглись. Главным образом шпана. Тут неподалеку жил один такой. Некто Ленька Мацевский. Он приходил ко мне каждую субботу и говорил: «Ну, господин Собисяк! Пострижете меня как полагается,

*) Мысик, «кантик» по-польски, кроме особого вида прически обозначает также «обман» на хулиганском жаргоне.

мысиком. Только смотрите, чтобы волосы держались как следует, шикарно, а не то... вы знаете меня!» Так он говорил. Это был заправский хулиган! Первейший в городе. Не хотели бы вы получить от него по морде, доложу я вам. Вы мне верите?

— Абсолютно, — сказал журналист и уселся поплотнее в кресле.

— У него были дружки-приятели. Такая же шпана, как и он, конечно. По субботам становились они, бывало, под костелом и затевали такую игру р а з и н я н а ч е р т е. Проводили это, значит, черту по тротуару, и кто бы ни прошел мимо, давали ему по шее.

— Зачем?

— А так. Для развлечения. Теперь уж нет таких. Все переменялось.

— Переменялось?

— О, да, — сказал парикмахер с воодушевлением. — Само бы не изменилось, люди все изменили. Сказать правду, все изменилось. У нас тут завод строят, слышали? Музыкальные инструменты будут делать, парней послали уже куда-то на выучку. До войны был тут у нас только один специалист по этой части. Органы починял. Выпивала был. Величали его «маэстро». Он сам говаривал: «Вы, сволочи, должны называть меня «маэстро». Я человек тонкого труда. Если придет мне тут крышка, так и подохнете все без покаяния, потому что костелы закроют — костел без музыки у Бога не в счет, хотя бы вы и по десять злотых клали на тарелку». Ну и приходилось обращаться к нему, как он хотел. Пил он здорово. Пил так, как никто тут до него не пил и пить уже не будет. Иногда запивал дня на три, а не то и на все пять. Тогда он ходил по городу и орал: «Отрясаю прах от ног моих и проклинаю!» Евангелие хорошо знал, все в костелах просиживал. По-латыни тоже мог изъясняться. У меня стригся. Тоже — мысиком. А вас как постричь? Мысиком?

— Обыкновенно, — сказал журналист и вздохнул. Зеркало, перед которым он сидел, было засижено мухами. Журналист рассматривал с минуту черные точки, потом спросил: — А что с ним стало?

— С ним? — повторил парикмахер. — Ничего. Помер он. Перед смертью кричал: «Нету Господа Бога, сволочи! Если хотите слушать музыку, то проведите себе электричество и купите радиоприемники вместо того, чтобы в костел ходить!» Водка его сгубила. Теперь уже так не пьют. Все изменилось, времени нету для озорства. Великие дела предстоят, знаете. Люди переменялись: работают, специальности приобрели, рассуждают иначе. Я тоже, знаете, стал другим человеком. Видно брошу свою профессию к чертовой матери. Крем?

— Да, — сказал журналист. Он взглянул на парикмахера и сказал: — Стары вы уж. Теперь, на старости лет, куда вам профессию менять. Тяжело вам придется.

— Да, — сказал парикмахер, — стар я стал. Вы даже не знаете, какой я старик; мне восемьдесят стукнуло. Дочь у меня в Венецуэле, внук есть. Хотите, покажу карточку?

— Зачем? — сказал журналист. — Какое мне дело, к черту, до вашего внука?

— Вот именно, — сказал парикмахер, морща лоб. — Какое вам дело до моего внука? А иногда хотелось бы поговорить. Да не с кем. Раньше, бывало, люди сидели на крылечках, болтали, сплетничали. Теперь уж не то. Всем некогда: кто работает долго, кто в кино ходит, другие радио завели, молодняк спортом увлекается. А я, знаете, человек общественный, больше всего люблю общество. Слово — всегда слово. Раньше люди больше разговаривали друг с другом, чем теперь. Попадались хорошие рассказчики. Бургомистр тут у нас был когда-то. Так тот, бывало, как придет ко мне, сейчас же говорит: «Ну, господин Собисяк, рассказывайте, пожалуйста!» Тоже у меня стригся.

— Мысиком? — спросил журналист.

Парикмахер призадумался.

— Нет, — сказал он через минуту. — Он был лыс, как луна. Но вот у его жены был любовник, так у того прекрасные были волосы и стригся он мысиком. Умора была с этим любовником, говорю вам! Все про него знали, только сам хозяин города ничегошеньки.

— А ну вас к черту, перестаньте, — сказал журналист. Он снова подумал о своей Мики Маус и оцепенел от ужаса; его однажды долго обманывали, когда он был еще начинающим, без всякого положения, и теперь, когда он с невероятным трудом слегка продвинулся, он понимал, что никогда уже не сможет поверить девушке, что она любит его бескорыстно и ради него самого.

— Вы думаете, что я вру? — спросил парикмахер.

— Не хочу я слушать про это, — сказал журналист. — В городе, в котором я живу, большинство женщин и теперь убеждено, что социализм начинается с зада, а не с головы. Надоело.

— Вы еще молоды, — сказал парикмахер, — и послушайте лучше, что вам скажет человек постарше вас. Тут раньше у баб были любовники. Иногда муж накрывал такую, и тогда весь город сбегался посмотреть, как он колотит ее каблуком по голове. Жил тут некто Барциковский, шорник. Он застал раз хахалю у своей жены и спустил его с лестницы, а ее бил целую неделю и все спрашивал: «Говори, а последний — тоже мой?» Надо вам знать, что у них было пятеро детей, а последний ребенок родился полгода тому назад и был рыжий. Сам Барциковский был брюнет с волосами жесткими, как проволока, и никак не мог поверить, что и последний, рыжий ребенок — тоже его. Итак, он все бил ее и спрашивал: «Говори: мой или не мой?» Через неделю она умирает и последние ее слова перед смертью были: «Этот пятый — твой, а те четверо — нет». После этого она скончалась. А Барциковский выпил бутылку водки, взял топор и порешил всех пятерых. Да, да. Всякое бывало в нашем городке. Теперь уже не то. Все изменилось; строят, работают, некогда глупостями заниматься. Теперь у каждого заботы посерьезнее.

Парикмахер перестал говорить; отступил на шаг и рассматривал сидящего в кресле взглядом человека, который только что закончил величайшее произведение своей жизни. Потом он сказал:

— Готово. Голову мыть не надо?

— Не надо, — сказал журналист. — Вы не собираетесь как-нибудь в Варшаву?

— Стар я стал, — сказал парикмахер, позванивая ножницами. — Такое путешествие уже не для меня.

— Людей повидали бы.

— Всюду есть люди.

— Да, — сказал журналист. — Хорошо, что я зашел к вам, старина. Я возвращался в плохом настроении. В провинции люди выдумывают, трусят. Теперь мне будет как-то приятнее возвращаться.

— Возвращаться всегда приятно, — сказал парикмахер. — Дом — всегда дом.

— Не в этом дело. Приятно видеть, что в маленьком, загаженном городке, в таком городке, где всегда идет дождь и всегда — грязь, где нет электричества и где ночная жизнь прекращается, если у одной проститутки заболит зуб, — что тут совершенно переменился человек. Это приятно видеть.

— Да, — сказал парикмахер. — Ну, что ж? Настали великие времена, вот и люди меняются. Я, к примеру сказать, совсем переменился.

— Соберитесь же как-нибудь в Варшаву.

— Видно, скоро помирать придется.

— Как хотите.

Журналист вышел и снова стал пробираться по грязи через базар; лошади дремали, опустив головы, так же, как и час тому назад. На подводах спали пьяные мужики. Шел дождь; город, как поганый гриб, впитывал в себя влагу. Журналист шел, насвистывая.

На вокзале начальник станции сказал ему:

— Ну, что? Постриглись?

— Да, — сказал журналист и приподнял шляпу.

— Зайдете теперь ко мне? — спросил начальник станции.

— Теперь можно и зайти, — сказал журналист и вошел вслед за начальником станции в его будку.

Начальник станции налил.

— Всего лучшего! — сказал журналист.

— Всего! — сказал начальник станции. — Этот парикмахер, у которого вы стриглись, порядочный мальч. Я сам у него стригся, когда у меня еще были волосы.

— Я даже знаю, как.

— Как?

— Мысиком.

— А вы почему знаете?

— Пресса все знает, — сказал журналист. — Это хороший старик. У него котелок варит и он многое умеет подметить. — Он хлопнул начальника станции по коленке и спросил: — Все изменилось, да или нет?

— Да, — сказал начальник станции.

— Давайте дернем еще по одной, — сказал журналист. — Выпьем за перемены. Я сам родом из маленького городка. Когда человек родился в таком маленьком городке, ему потом полжизни кажется, что ничего в мире не меняется. Плевать я хотел на маленькие городки! Я рад, что все изменилось, что люди изменились, что бабы изменились. Ура!

Он поднял вверх рюмку и вдруг заметил в зеркале свои глаза. Он машинально подошел к зеркалу и увидел, что пострижен гнусным, мерзким мысыком. Не допив водки, он выскочил на перрон и отправился в Варшаву. С тех пор прошло уже много месяцев, а он все еще думает: «Посмеялся надо мной этот дурак — или нет?»

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО З. Ю.

МАРЕК ГЛАСКО—один из наиболее популярных молодых польских писателей. Ему 25 лет. Принадлежа к писателям «вольнодумцам», он был вынужден в 1958 г. выехать в Париж, где издал две книги: «Первый шаг в тучах» (рассказы) и «Кладбище» (повести). Произведения М. Гласко переведены на английский и французский языки

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

СОБАКА-ПОВОДЫРЬ

РАССКАЗ

Он спросил ее: что было потом? Она рассказала.

— Странно. Я совсем не помню этого!

— Разве ты не помнишь, как уходил караван?

— Я должен вспомнить. Но не могу. Я помню, как женщины с кувшинами на головах ходили по тропинке к берегу, за водой, я помню стадо гусей, которых подпасок гонял на водопой и обратно. Я помню, как медленно они ходили и всегда — то подымались вверх, то спускались вниз. Там тоже бывали сильные приливы и отливы, и отмели были желтые, и за проливом виднелся далекий остров. Все время было ветрено, и не было ни мух, ни москитов. Была крыша, был цементный пол, были столбы, которые подпирали крышу, и все время обдувало ветром. Было прохладно днем, было приятно и прохладно ночью.

— А помнишь, как подошел большой парусник и сел на мель при отливе?

— Да, я помню парусник и его команду, помню, как они сходили с лодок на берег и поднимались по тропинке; как они напугали гусей и женщин тоже.

— Это было в тот день, когда мы поймали много рыбы, но пришлось вернуться — была большая волна.

— Это я помню.

— Ты хорошо вспоминаешь сегодня. Не слишком утомляй себя.

— Жаль, что тебе не пришлось слетать в Занзибар. Тот верхний берег, где мы тогда были, был хорош для посадки. Ты могла бы без труда приземлиться и подняться с него.

— В Занзибар всегда можно слетать. Не старайся вспоминать чересчур много. Довольно на сегодня. Хочешь, я прочитаю тебе?

— Нет, пожалуйста, не читай. Просто рассказывай. Рассказывай о хороших временах.

— Хочешь, я расскажу, что сейчас на дворе?

— Идет дождь. Я знаю.

— Идет проливной дождь. В такую погоду туристы никуда не пойдут. Дикий ветер. Мы можем сойти вниз и посидеть у огня.

— Можно. Все равно. Они меня больше не раздражают. Я люблю слушать их болтовню.

— Некоторые из них невыносимы. Но есть и довольно милые. Мне кажется, что самые симпатичные — те, кто ездит в Торчелло.

— Верно. Мне не приходило это в голову. Совсем бездушные там действительно ничего не увидят.

— Может, тебе приготовить что-нибудь выпить? Ты знаешь, я совсем не гожусь в сиделки. Я этому не училась, и таланта к этому у меня — никакого. Но приготовить выпить — это я умею.

— Давай, выпьем.

— Что ты хочешь?

— Что-нибудь.

— Я тебе сделаю сюрприз. Я приготовлю его внизу.

Он слышал, как открылась и закрылась дверь, слышал ее шаги на лестнице и снова стал думать.

— Я должен отправить ее путешествовать. Только надо придумать, как это сделать. Я должен придумать что-нибудь практическое. То, что случилось со мной — это на всю жизнь. Я должен придумать такой путь, чтобы не погубить ее жизни и не погубить ее. Она очень добрая, но она не создана для милосердия. Для т а к о г о милосердия. Милосердие изо дня в день — скучное занятие.

Он услышал, как она поднимается по лестнице и почувствовал, что теперь, когда она несла стаканы, походка ее была другой, не такой, как раньше, когда она спускалась вниз с пустыми руками. Он слушал, как стучал дождь по окнам, и вдыхал запах буковых поленьев, горевших в камине. Когда она вошла в комнату, он протянул руку за стаканом немного преждевременно. Но вот его пальцы ощутили стакан, высокий и холодный; он взял его и почувствовал прикосновение ее стакана к своему.

— Это наш старый рецепт для здешних мест. Холодный вермут и джин.

— Хорошо, что ты не сказала: «со льдом».

— Нет. Я бы так никогда не сказала. Это мы — «обломились на льду».

— «Предоставлены самим себе», «поставить все на карту», «на веки вечные», — помнишь, мы решили не употреблять этих выражений?

— Это было тогда, когда я убила льва. Разве не чудесный был лев? Я не дождусь, когда мы увидим его чучело.

— Я тоже — не дождусь.

— Прости меня.

— А помнишь, когда мы запретили и эту фразу?

— Я чуть-чуть не сказала ее еще раз.

— Знаешь, нам чертовски повезло, что мы попали сюда. Я помню

эти места так ясно, как будто о с я з а ю их. Это новое слово, и скоро мы его запретим. Но это действительно замечательно. Когда я слышу дождь, я могу представить себе, как он бьет по камням, по воде канала, по лагуне, я знаю, как гнутся деревья при разном ветре, как церковь с колокольной меняются при разном освещении. Для меня не могло быть более подходящего места. Действительно, отличное место! У нас хорошее радио, хороший диктофон, и я буду писать лучше, чем когда бы то ни было до сих пор. Если не будешь торопиться с диктофоном, ты сможешь разобрать все слова. Я могу работать неспеша, и я могу видеть слова, когда произношу их вслух. Если они не подходят, я слышу, что они не подходят, и я могу переделывать и работать над ними, пока не добьюсь своего. . . Милая, во многих отношениях лучшего нельзя и желать.

— О, Филипп. . .

— Мерзость! Тьма остается тьмой. . . Это не совсем настоящая тьма. У меня хорошее внутреннее зрение, и голова у меня все лучше и лучше, и я могу вспоминать и могу думать. Вот, подожди, ты увидишь.

— Твоя память — все лучше и лучше. Ты крепнешь.

— Я окреп. Вот если бы ты. . .

— Если бы я что?

— Если бы ты уехала на некоторое время отдохнуть от всего этого и пожила бы в другой обстановке. . .

— Разве ты не хочешь меня?

— Конечно, хочу, дорогая.

— Тогда зачем же говорить о моем отъезде? Я знаю — я плохая сиделка. Но я могу делать то, чего не могут другие, и мы любим друг друга. Ты любишь меня, и ты знаешь это, и мы знаем то, чего никто не знает.

— Мы занимаемся чудесными вещами в темноте.

— Мы занимаемся чудесными вещами и днем.

— Знаешь, я предпочитаю в темноте. Это даже и лучше.

— Не лги. Не старайся быть таким чертовски благородным.

— Послушай, как шумит дождь. А что сейчас, отлив?

— Полный отлив, и ветер отогнал воду еще дальше. Можно дойти почти до Бурано.

— Все свободно от воды, за исключением одного клочка. А птиц много?

— Все больше чайки и морские ласточки. Они сидят на отмелях, и когда взлетают, их подхватывает ветром.

— А береговых птиц совсем нет?

— Немного. Роются на отмелях, что выступают из воды только при таком отливе и таком ветре.

— Как ты думаешь, придет же наконец весна?

— Не знаю. Пока что совсем не похоже на весну.

— Ты уже выпила все?

-
-
- Почти. Почему ты не пьешь?
- Я хотел продлить удовольствие.
- Выпей. Помнишь, как было ужасно, когда тебе совсем нельзя было пить?
- Нет. Видишь ли, пока ты ходила вниз, я сидел и думал: ты могла бы поехать в Париж, а потом в Лондон, побыть среди людей, развлечься, потом вернуться. К тому времени была бы уже весна, и ты могла бы рассказать мне обо всем.
- Нет.
- Я думаю, это было бы разумно. Знаешь — это долгая и дурацкая история, и мы должны привыкнуть проводить время. Я не хочу, чтобы ты измоталась. Знаешь. . .
- Лучше б ты не говорил так часто: «знаешь».
- Вот видишь, это как раз то, о чем я говорю. Я мог бы научиться не раздражать тебя своим разговором. А ты еще больше любила бы меня после возвращения.
- А что ты будешь делать по ночам?
- Ночи не тяжелы.
- Ну, конечно. . . Ты еще скажешь, что научился спать.
- Я научусь. Это входит в мои планы. Ты ведь знаешь, что это будет так. Если ты уедешь и немного отвлечешься, у меня будет спокойно на душе. Тогда, в первый раз в жизни со спокойной совестью, я буду засыпать автоматически. Я возьму подушку, она будет символом моей спокойной совести, обниму ее и засну, как убитый. А если я случайно проснусь, я просто буду лежать с моими грязными, хорошими, счастливыми мыслями. Или я буду принимать всякие чудесные и остроумные решения. Или вспоминать. Знаешь, я хочу, чтобы ты развлекалась. . .
- Ради Бога, не говори: «знаешь».
- Я постараюсь не говорить. Это запретное слово, я забыл. Так или иначе, я не хочу, чтобы ты была какой-то зрячей собакой слепого.
- Это неправда, и ты это знаешь. Между прочим, это называется не «зрячая собака», а «собака-поводырь».
- Это я знаю. Иди, посиди со мной, если тебе не противно.
- Она подошла и села рядом с ним на кровать, и они вместе стали слушать, как громко стучит по окнам дождь. Он старался не дотрагиваться до ее головы, до ее милого лица, так, как это делают слепые, но прикоснуться иначе не было возможности — только так. Он прижал ее к себе и поцеловал в темя. Он думал:
- Придется попробовать в другой раз. Нужно сделать это не так неуклюже. К ней так приятно прикасаться, и я люблю ее, и я причинил ей столько горя, и я должен окружить ее заботой во всем, в чем могу.
- Я больше не буду говорить: «знаешь». Начнем с этого.
- Говори. Говори, сколько хочешь.
- Дорогая моя, не плачь, пожалуйста.

— Я не хочу, чтобы ты спал с какой-то мерзкой подушкой.

В его уме неотвязно стояла одна мысль: «Это нужно прекратить, прекратить сейчас же».

— Слушай, мы сейчас сойдем вниз и пообедаем на нашем любимом старом месте, у камина, и я расскажу тебе, какой ты замечательный котенок и какие мы с тобой счастливые котята.

— Мы действительно — счастливые.

— Мы все обдумаем и устроим, как следует.

— Только я не хочу, чтобы ты меня прогонял.

— Ну, кто же тебя гонит?

Но спускаясь вниз по лестнице, осторожно нащупывая каждую ступеньку и держась за перила, он думал:

— Я должен заставить ее уехать, заставить уехать как можно скорее, но так, чтобы ее не обидеть. Все это мне не очень удастся. Но я обещаю. Что еще можно сделать? Ничего. Я ничего не могу сделать. Но, может быть, постепенно я все это устрою.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО В. ШИДЛОВСКОГО

ОЛЬДУС ГЭКСЛИ

„ОБЫКНОВЕННО РАЗРУШЕНО“

Молодой гид-христианин, сопровождавший нас по лабиринту иерусалимских улиц, был родом из местности, оказавшейся по другую сторону стены, ныне отделяющей древний город от нового, нежизнеспособное Иорданское государство от нежизнеспособного Израильского государства. Он был грустен и озлоблен, в чем не было ничего удивительного. Жизнь разбила его надежды на будущее; некогда зажиточная семья, к которой он принадлежал, теперь бедствовала. Они потеряли свой дом и участок земли; их банковский счет был «заморожен», а валюта обесценена. Удивляться приходилось не столько его озлобленности, сколько меланхолической покорности, сглаживавшей остроту его горечи.

Гид он был хороший, пожалуй, даже слишком хороший: он безжалостно решил показать нам все бездарные церкви, выстроенные в 19-ом веке на развалинах старых мест паломничества. Для некоторых туристов нет большего наслаждения, чем совершать путешествия по собственным историческим ассоциациям и фантазиям. Я к ним не принадлежу. Когда я путешествую, мне хочется видеть вещи, имеющие значение сами по себе, а не просто чувствовать себя в окружении пустоты, населенной литературными ассоциациями, памятниками викторианской эпохи и домыслами археологов. В Иерусалиме, разумеется, есть нечто большее, чем призраки и архитектурные нелепости. Это не только один из самых тоскливых, но и один из самых странных и, по своему, красивых городов мира. К сожалению, наш гид был слишком добросовестным проводником, чтобы пропустить хотя бы один случай напомнить нам об ужасах прошлого, вызывая к жизни невоплощенные или плохо воплощенные ассоциации. Он заставил нас осмотреть все: не только соборы св. Анны и св. Иакова, храм Голгофы, но и место, где предположительно находился дом Каиафы; все то, что английские протестанты построили в семидесятых годах, и все то, что, в ответ на это, в восьмидесятых годах было возведено царем и германским императором; и еще

то, что копты и французские францисканцы считали красивым в девяностых годах. К счастью, даже самые тоскливые моменты нашего паломничества не были лишены некоторой приятности. Наш грустный молодой человек говорил по английски хорошо и бегло, но манера его речи напоминала игру виртуозов 18-го века: он сопровождал свой рассказ фиоритурами, а порой и целыми каденциями, которые были продуктами его собственного творчества. Наиболее интересным новшеством, введенным им в разговорную английскую речь, было добавление почти к каждой фразе слова «обыкновенно». Не знаю, что он хотел этим сказать. Возможно, что ровно ничего, и что добавление этого наречия просто было языковым тиком, которому иногда подвержены нервные люди. Я знал одного профессора, лекции и разговор которого каждые несколько секунд сопровождалось повторением выражения: «и вещь с вещью». Эта «вещь с вещью» была явной нелепостью. Но назойливое повторение слова «обыкновенно» приобретало в устах нашего молодого спутника некий смысл — часто больший, чем сам говоривший хотел придать своим словам. «Этот квартал, — говорил он, показывая нам какую-нибудь архитектурную нелепость викторианской эпохи, — этот квартал (это тоже было одним из его излюбленных слов) очень богат древностями. Св. Елена построила здесь огромную церковь, которую самаритяне, обыкновенно, разрушили в 529 году, после Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Потом на это место пришли крестоносцы и построили еще большую церковь. Здесь была мозаика, самая прекрасная в мире. В 17 веке, после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, турки, обыкновенно сняли обшитую свинцом крышу для своих военных надобностей; из-за этого внутрь стал попадать дождь и церковь упала. Теперешний квартал был отстроен прусским правительством в 1879 году, после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, а все развалившиеся дома, которые вы видите здесь, были, обыкновенно, разрушены во время войны с евреями в 1948 году».

Обыкновенно разрушено, а затем обыкновенно восстановлено, разумеется для того, чтобы снова быть разрушенным и восстановленным — и так до бесконечности. Этот словесный тик лаконически выражал весь ход истории в одном пятисложном слове. Прислушиваясь к речи нашего молодого знакомого, в сопровождении которого мы бродили по бурой, сухой грязи Святого Города, я чувствовал себя подавленным не просто мыслью о длительности человеческого страдания, но глубоким и непосредственным ощущением смысла этого страдания, органическим чувством его присутствия.

Кишащая жизнь среди развалин, во мраке могил прошлого; толпы болезненных детей; заезженные ослы и вьючные животные в человеческом облике, согбенные под страшными тяжестями; смертельные враги, разделенные стеной; группы, состоящие из руководящего ими священника и паломников, одуревших от бессмыслен-

ных шаблонов, от которых основатель их религии так настойчиво предостерегал — все это было вне времени, вне какой-либо исторической эпохи. Они были здесь с самого начала, в том или ином одеянии, под властью того или иного хозяина, вознося молитвы тому Богу, который в данный момент временно находился у власти. Они были здесь с египтянами, с Иисусом Навином, были здесь, когда Соломон, во всем своем величии, приказал рабам, во всем их ничтожестве, строить храм, который Навуходоносор приказал, обыкновенно, разрушить, а Седекия, тоже обыкновенно, приказал восстанавить. Они были здесь во время продолжительной и бессмысленной войны между двумя царствами, во время следующего разрушения при Шоломее, и еще последующего — при Антиохе, во время отстройки при Ироде, и во время величайшего, самого значительного разрушения при Тите. Они присутствовали при разгроме Иерусалима Адрианом, который выстроил совершенно новый римский город с банями и театром, с храмом Юпитера и Венеры вместо древнего Храма. Они были здесь, когда восстание Бар Кохбы было подавлено и залито морем крови. Они были здесь во время упадка Римской империи и торжества христианства, присутствовали, когда Хосрой Второй разрушил церкви, и когда халиф Омар ввел ислам и, что весьма необыкновенно, — ничего не разрушил. Они встречали здесь крестоносцев, которых потом провозжали, приветствовали турок, а потом присутствовали при их отступлении перед ликом Алленби. Они были здесь в эпоху палестинского мандата, пережили смутный 1948 год; они были здесь сейчас и, несомненно, останутся здесь среди неизменной бурой грязи, попеременно строя и разрушая, убивая и умирая насильственной смертью, и так до бесконечности.

«Не думаю», написал недавно лорд Рассел, «что сумма человеческого страдания была когда-либо в прошлом так велика, как в последние двадцать пять лет.» С этим трудно не согласиться. Или, может быть, если подумать, мы придем к заключению, что льстим самим себе. Почти во все исторические эпохи моралисты любили хвастаться тем, что их эпоха — время самого преступного поколения, когда-либо жившего со времен Каина, и что поскольку Бог справедлив — они самые несчастные люди. Мы, например, теперь считаем, что тринадцатый век был эпохой высочайшего творческого расцвета, но люди, жившие в эпоху строительства соборов и схоластической философии, считали свое время безнадежно погрязшим в разврате, исключительно дурным и наказанным по заслугам. Кто прав: они или мы? Я думаю, что на этот вопрос нужно ответить: и они, и мы. Избыток зла и страдания может убить в людях способность к творчеству; но в известных — очень широких — границах величие вполне совместимо с организованным безумием, узаконенным убийством и состоянием острого, хронического страдания большинства. Все наиболее значительные религии состоят из смеси глубокого пессимизма и безбрежного оптимизма. «Я покажу вам стра-

дание», говорит Будда, указывая на обыденного человека, не достигшего духовного прозрения. И в таком же смысле христианские теологи говорят о грехопадении, первородном грехе, юдоли слез, а индусы — о влиянии создаваемого самим человеком рока, его злой кармы. Но какие сверхчеловеческие горизонты открываются над страданием, слезами и несчастиями, порожденными самим человеком! Индусы утверждают, что при желании человек может отождествиться с Брамой, Основой всего бытия; христиане говорят, что при желании человек может исполниться духа Божия; буддисты говорят, что при желании человек может жить в преображенном мире, в котором сливаются воедино нирвана и самсара, вечное и временное. Но увы, с позиции оптимизма, основанного на опыте немногих, святые и мудрецы вынуждены возвращаться к пессимизму, порожденному картиной, которую являет большинство: вход — узок, порог — высок, избраны лишь немногие, потому что только немногие хотят быть избранными. В действительности большинство обычно само себя разрушает; до сих пор, однако, человек разрушал себя несколько менее основательно, чем создавал. Несмотря на все, он продолжает существовать. Дух разрушения был достаточно силен, но в течение большей части существования истории техника была слишком слаба. Единственным способом передвижения монголов были лошади, их единственным оружием были луки, стрелы и ножи. Будь у них наши машины, они смогли бы уничтожить все население нашей планеты. Им пришлось довольствоваться скромными триумфами: истреблением всего нескольких миллионов, уничтожением культуры только в западной Азии.

В нашем мире до сих пор никому еще ничего не досталось даром. В некоторых областях прогресс прикладных наук и умение организовать несомненно способствовали облегчению человеческой участи; но это было достигнуто за счет увеличения страдания в других областях. Худший враг жизни, свободы и порядочности это — полная анархия; их враг номер второй это — стопроцентная эффективность. Наиболее благоприятные условия для удовлетворения человеческих стремлений создаются, когда общественное устройство — не слишком плохо, а индустриализация — в состоянии умеренного развития. Хаос и бестолочь вредны для людей; но вреден и чересчур эффективный режим, вооруженный всеми орудиями высокоразвитой техники. Когда такой режим принимается, обыкновенно, за разрушение, опасность грозит всему человечеству.

Монголы были эстетами милитаризма; они верили в необходимость ненужного истребления, в разрушение ради разрушения. Наши преступные намерения — менее просты и непосредственны; но зато у нас есть идеалы. По обе стороны железного занавеса конечной целью объявлено благо Человечества и победа Правды. Крестовые походы могут длиться столетиями и войны, ведущиеся во имя Бога или Человечества, обычно отличаются дьявольской жестоко-

стью. Непревзойденной глубине человеческих страданий в наше время соответствует непревзойденная высота социальных идеалов, у сторонников тоталитарных систем с одной стороны, и у христиан и демократов-общественников, — с другой.

А, кроме того, есть еще и простая арифметика. Сейчас на земле значительно больше людей, чем в прежние столетия. Страдания, обычно причиняемые обычным действием законов природы и обычными действиями людей, теперь — удел двух с половиной миллиардов мужчин, женщин и детей, а не трехсот миллионов, населявших землю во время Христа. Поэтому совершенно очевидно, что общая сумма наших теперешних страданий больше общей суммы страданий в прошлом. Каждый человек — центр мира, который очень легко превратить в мир сплошного страдания. Катастрофы и преступления 20-го века могут превратить в личный ад в десять раз большее число человеческих миров, чем катастрофы и преступления, происходившие две тысячи лет назад. Кроме того, благодаря техническому прогрессу, в наше время меньшее количество людей имеет возможность причинять больше страданий большему числу людей, чем когда-либо в прошлом.

Сколько евреев было угнано в Вавилон после захвата Иерусалима Навуходоносором? Иеремия дает цифру в четыре тысячи шестьсот, а автор Второй Книги Царств называет цифру в десять тысяч. По сравнению с насильственными переселениями, происшедшими в наше время — это был суший пустяк. Сколько миллионов было угнано с родных мест Гитлером и коммунистами? Сколько миллионов было изгнано из Пакистана в Индию и из Индии в Пакистан? Сколько сот тысяч должны были бежать вместе с нашим молодым гидом из родного дома в Израиле? У вод вавилонских сидели и плакали самое большее десять тысяч человек. В одном только вифлеемском беженском лагере больше народу. А вифлеемский лагерь — лишь один из многих, рассеянных по всему Ближнему Востоку.

Если принять все это во внимание, нужно признать, что лорд Рассел, вероятно, прав: общая сумма страданий сейчас больше, чем когда-либо в прошлом. А как насчет будущего? Человечество, возможно, никогда не прибегнет к бактериологической войне и водородной бомбе, которым газеты сейчас уделяют столько внимания. Люди, часто говорящие о самоубийстве, редко кончают с собой. Наибольшую опасность для счастья людей представляет биологическая угроза. Я родился за шесть лет до начала нового века и тогда на нашей планете жили — один миллиард двести миллионов человек. Сейчас на ней живет два миллиарда семьсот миллионов; через тридцать лет население, вероятно, составит четыре миллиарда человек. Сейчас около одного миллиарда шестисот миллионов человек страдает от недоедания. В восьмидесятых годах нашего столетия общее число людей, страдающих от недоедания, возможно, достигнет двух миллиардов пятисот миллионов, причем не исключена возможность,

что многие из них будут голодать в полном смысле этого слова. Во многих частях света это положение может создаться значительно раньше. В своем докладе о народной переписи 1951 года главный директор Статистического отдела в Индии сделал краткий обзор биологической проблемы во второй по населенности стране мира. Сейчас на территории Индии живет триста семьдесят пять миллионов человек, причем прирост достигает пяти миллионов в год. Ежегодно производится семьдесят миллионов тонн основных продуктов питания; максимум, которого можно будет достигнуть в будущем, это — девяносто четыре миллиона тонн. Девяносто четыре миллиона тонн можно будет снабжать питанием в теперешнем, недостаточном объеме четыреста пятьдесят миллионов человек. Население Индии достигнет четырехсот пятидесяти миллионов человек в 1969 году. После этого наступит положение, которое главный директор называет «катастрофой».

В алфавитном указателе имен в конце шестого тома «Исторического исследования» проф. Тойнби Попилий Лонат упоминается пять раз, а Порфирий Батамейский — два раза. Но слово «население» («population», — прим. пер.), которое должно было бы находиться между этими именами, отсутствует. Во втором томе г. Тойнби много пишет о роли «давления острой необходимости», — но он ни разу не упоминает самой острой формы этого давления: влияния естественного прироста населения на имеющиеся на земле ресурсы. Вот как этот автор описывает впечатление от римской Кампаньи, которую он посетил после двадцатилетнего отсутствия: «В 1911 году студент, совершавший паломничество на Аппиеву дорогу, почти сразу же за воротами города попал в пустынную местность. Когда он повторил это паломничество в 1931 году, он увидел, что за это время Человек подчинил себе всю местность, расположенную между Римом и Кастелли Романи. Впервые после третьего века до Рождества Христова, человеческая энергия снова начинает оказывать давление на римскую Кампанью». И это — все. Причина, почему «энергия оказывает давление» не объясняется. Между 1911 и 1931 годами население Италии увеличилось почти на восемь миллионов. Часть этих восьми миллионов поселилась в римской Кампаньи. Они поселились здесь не потому, что Человек — с большой буквы — мистическим образом увеличил давление своей энергии, а потому, что — как всякому ясно — ему некуда было больше двинуться. Если рассматривать историю, не принимая во внимание демографические данные, невозможно полностью понять прошлое, настоящее становится совершенно загадочным, а будущее — абсолютно непредсказуемым.

Какие предсказания можно сделать, основываясь на общей сумме человеческих страданий в будущем, если рассматривать ход событий не только с культурной, политической и религиозной, но и с демографической точки зрения? Во-первых, едва ли можно сомневаться в том, что большее количество людей будет страдать от боль-

шего голода, и что во многих частях света недоедание превратится в периодический и хронический голод. (Интересно было бы кое-что узнать о голоде в прошлом, однако, в алфавитном указателе г. Тойнби максимальное приближение к этому слову — famine — это место между словами Магомет Фалак-аль-Дин и Тай Фанний). Во-вторых, едва ли можно сомневаться в том, что, хотя меры по борьбе с рождаемостью и могут принести известную пользу в более отдаленном будущем, они не могут избавить идущее за нами поколение от ожидающих его страданий. В-третьих, едва ли можно сомневаться в том, что прогресс в области аграрной будет медленнее, чем прирост населения. (Агрикультура не упоминается вовсе в алфавитном указателе г. Тойнби, хотя Агригент упоминается дважды, а Агий — король Спарты — упоминается сорок семь раз).

Для того, чтобы жизненный уровень в промышленно-отсталых странах подымался, сельскохозяйственную продукцию нужно увеличивать ежегодно по меньшей мере на два с половиной процента, желательно — на три с половиной. Между тем, согласно данным пищевой и сельскохозяйственной организации при ООН, в 1956 году на Дальнем Востоке продукция на душу населения окажется на десять процентов ниже, чем в 1938 году (при условии, что теперешний пятилетний план будет выполнен на 100 проц.).

В-четвертых, едва ли подлежит сомнению, что по мере того, как количество населения, «разрабатывающего землю», в отчаянных поисках продуктов питания, будет расти и люди будут все больше страдать от голода, разрушительный процесс эрозии и обезлесения будет развиваться во все ускоряющихся темпах. Поэтому по мере того, как количество людей будет расти, плодородность земли будет уменьшаться. (Попытка найти Эрозию в алфавитном указателе г-на Тойнби окажется тщетной, вместо этого вы найдете Эзархаддон, Эзотеризм и Эсперанто; поиски леса — («forest» — переводч.) — не дадут ничего, кроме Формозы).

В-пятых, едва ли можно сомневаться в том, что обусловленное ростом населения увеличение спроса на имеющиеся на земле ресурсы приведет к росту политической и социальной неустойчивости и что это приведет к войнам, революциям и контрреволюциям.

В-шестых, едва ли можно сомневаться в том, что, независимо от политических принципов и религиозных убеждений, которых придерживаются человеческие общества, обусловленное ростом населения увеличение спроса на имеющиеся на земле ресурсы приведет к усилению власти центральных правительств и к ограничению гражданских свобод. Ибо ясно, что когда больше людей борются между собой за меньшее количество пищи, отдельному человеку придется больше работать, чтобы заработать свой паек, а центральное правительство должно будет все чаще вмешиваться в жизнь страны, чтобы спасти хилую экономику от гибели и чтобы подавить

проявления народного недовольства, порожденного растущей бедностью.

Если лорд Рассел доживет до ста двадцати лет, (чего я ему, для нашего общего блага, желаю), возможно, что он будет когда-нибудь вспоминать о середине 20-го столетия, как о Золотом веке. В 1954 году он решил, что общая сумма человеческих страданий никогда не была так велика, как в предыдущую четверть века, но «то ли еще будет!» По сравнению со страданиями четырех миллиардов человек, которые будут жить в восьмидесятих годах, страдания двух миллиардов людей, живших непосредственно перед второй мировой войной, во время нее и после нее, могут показаться земным раем.

Но сейчас мы были в Иерусалиме, где рассматривали обыкновенно разрушаемые древности, смешавшись с толпой обыкновенно нищих жителей и обыкновенно суеверных паломников. Здесь стоит Стена Плача, у которой некому плакать: Израиль находится по другую сторону ограды, и единственный вид сообщения между обеими сторонами — редкие очереди ружейного огня, или взрывы ручных гранат, которыми обмениваются противники. Здесь возвышался, в окружении поддерживавших его стальных лесов, Храм Гроба Господня — пустой гроб, на который христиане не обращали никакого внимания в течение трех веков, но который, после царствования Константина, стал в глазах Европы важнейшим предметом во всей вселенной. Здесь был Силоам, храм св. Анны, место древнего Храма и здесь же был еврейский квартал — более зловещий, чем Помпеи — разрушенный — обыкновенно — в 1948 году и еще — обыкновенно — не восстановленный. Здесь, наконец, стоял армянский собор св. Иакова, разукрашенный множеством довольно посредственных, но не лишенных прелести картин священного содержания и пестрой мозаикой. Большой собор сиял, похожий на священную карусель. Этот собор был единственным оазисом радости во всем Иерусалиме. И не только оазисом радости. Войдя во внутренний двор, который посетитель должен пересечь, чтобы попасть к главному входу, мы услышали странные, дивные звуки. Где-то наверху, в одном из домов, расположенных вокруг внутреннего двора, кто-то играл Фантазию из Баховой Партиты в ля-минор, играл замечательно хорошо. Из открытого окна, где-то на третьем этаже, на вековечную городскую грязь лился стройный поток ярких, чистых нот. Искусство и религия, философия и наука, мораль и политика, все это — способы, при помощи которых люди пытались найти стройный смысл в текущем потоке событий, внести порядок в хаос жизненного опыта. Нашим самым трудным опытом является опыт Времени — ощущение продолжительности, в соединении с мыслью о постоянном умирании. Музыка — это возможность постичь опыт Времени. Подобно скульптору, высекающему статую из куска мрамора, композитор берет отрезок сырого, так сказать, безличного Времени и извлекает из него сложный узор, сотканный из звуков,

тишины, гармонических секвенций и контрапунктических нитей. Когда играют или слушают музыкальное произведение, Время превращается в нечто значительное само по себе, в нечто, связанное воедино внутренней логикой стиля и темперамента, личных чувств, переплетающихся с художественной традицией, творческих прозрений, выраженных в рамках технических условностей, но перерастающих эти рамки. С какой неутомимой настойчивостью эта Фантазия прокладывает себе дорогу во Времени! Без суетливости и без надуманного героизма она успешно претворяет отрезок обыкновенного смертного времени в символ и даже в реальность чего-то большего, чем человеческая жизнь. Через хаос прорыт туннель радости и понимания, и всем слушающим становится ясно, что постоянное умирание есть также — постоянное творчество. Именно это-то все время, на свой неподражаемый лад, и говорил нам наш молодой знакомец. Обыкновенно разрушено, но также обыкновенно — и ровно столько же раз — восстановлено. Его словесный тик был беспристрастен, как беспристрастны дождь, солнечный свет, благодать и стихийные несчастья. Мы вышли со двора и пошли по узкой улице. Звуки Баха стали замирать, где-то закричал осел, пахло неубранными нечистотами. «В 1916 году после Рождества Нашего Господа», сообщил наш проводник, «турецкое правительство, обыкновенно, устроило бойню, в которой погибло около семисот пятидесяти тысяч армян».

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО О. А-ВА

Настроения, выраженные одним из крупнейших современных английских писателей О. Гэсли (роман «Контрапункт» и др.) в «Обыкновенно разрушено», характерны для части западно - европейских интеллектуалов.

Речь Вильяма Фолкнера

*ПРОИЗНЕСЕННАЯ ИМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1949 ГОД*

У меня такое чувство, что эта награда дается не мне — она дается моему труду. Труд же этот — творчество всей жизни, которая, в поте лица и в духовных муках, творит не ради славы и уж, конечно, не ради выгоды, но стремится создать из борений человеческого духа нечто, не существовавшее прежде. Поэтому я принимаю награду только как доверенное лицо. Полученным деньгам нетрудно будет найти применение, достойное целей и традиций этой награды. Но мне хочется, чтобы и оказанное мне внимание нашло себе такое же применение. Я воспользуюсь этим торжественным моментом, чтобы обратиться отсюда, как с кафедр, к юношам и девушкам, посвятившим себя такому же мучительному и тяжкому труду. Среди них уже есть тот, кто когда-нибудь ступит на место, где стою сейчас я.

Трагедия нашего времени — во всеобщем и повсеместном страхе, который уже так долго длится, что мы даже привыкли к нему. Проблемы духа не существуют более. Есть только один вопрос:

когда меня взорвет бомба? Из-за этого молодой писатель, или молодая писательница, позабыли о проблемах человеческого сердца, находящегося в конфликте с самим собою — между тем, только об этом и можно хорошо писать, только об этом и стоит писать, только это и заслуживает мук и труда писателя.

Молодой писатель должен вспомнить об этих проблемах снова. Он обязан понять, что нет ничего низменнее, чем жить в страхе, и, поняв это, позабыть страх навсегда, ничему не оставляя места в своей лаборатории, кроме старых истин сердца, старых общечеловеческих истин, без которых всякий литературный труд эфемерен и обречен — таких истин, как любовь, честь, сострадание, гордость, жертвенность. И покуда писатель не сделал этого — над его трудом тяготеет проклятие. Он пишет не о любви, но о возделении; он пишет о поражениях, но в них ничто ничего ценного не теряет; он пишет о победах, но в них нет надежды, и, что хуже всего, в них нет ни жалости, ни сострадания. В его тоске нет

скорби, и раны ее не оставляют шрамов. Он пишет не о сердце, а о железах.

Пока он не научится всему этому, он будет писать так, как будто наступил конец человека. Я же отказываюсь принять конец человека. Конечно, нетрудно сказать, что человек бессмертен просто потому, что он не исчезнет с лица земли; что когда отзвучит и заглохнет последний удар колокола времен с одинокой скалы, бесцельно повисшей в умирающем багрянце последнего заката, — даже и тогда все еще будет раздаваться слабый лепет несмолкшего человеческого голоса. Но я отказываюсь принять и это. Я верю, что человек не просто

уцелеет: он восторжествует. Он бессмертен не потому, что из всего живого он один обладает несмолкающим голосом, но потому, что у него есть душа, дух, способный к состраданию, самопожертвованию и терпению. Долг поэта, писателя — напоминать об этом. Поэту дано великое право поддержать человека на его тернистом пути к бессмертию, возвышая его душу, напоминая ему о мужестве и чести, о надежде и гордости, о сострадании, жалости и жертвенности, — обо всем, что составляло былую славу человека. Голос поэта не должен быть только эхом: он может стать одним из устоев, одной из опор, помогающих человеку уцелеть и восторжествовать.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО М. КОРЯКОВА

Вильяма Фолкнера (род. в 1897 г. в США), правнука романиста Вильяма Фолкнера («Белая роза Мемфиса»), многие считают одним из величайших современных писателей («Звук и безумие», «Сарторис» и др.) Альбер Камю (сын с.-х. рабочего, род. в 1913 г. в Алжире) переведен на все языки, кроме русского («Иностранец», «Миф о Сизифе» и др.).

Речь Альбера Камю

ПРОИЗНЕСЕННАЯ ИМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1957 ГОД

При получении отличия, которым ваша свободная Академия сочла возможным меня почтить, я чувствую тем более глубокую благодарность, что понимаю, насколько эта награда превосходит мои личные заслуги. Каждый человек, а тем более художник, хочет быть признанным. Я тоже этого хочу. Но, узнав о вашем решении, я сопоставил его значение с тем, чем я, в сущности, являюсь. Как мог человек еще сравнительно молодой, обуреваемый сомнениями, чье творчество находится в становлении, человек, привыкший трудиться в одиночестве, или в уединении в обществе друзей, как мог этот человек услышать без некоторого трепета приговор, выдвинувший его, одинокого, предоставленного самому себе, в центр неумолимо-яркого прожектора? В каком душевном состоянии мог он принять это отличие, в то время, как другие писатели в Европе — и даже некоторые весьма крупные — обречены на молчание и его родина подвержена непрерывным бедствиям?

Я был растерян и смущен. Я

смог вернуть себе душевный мир только примирившись с излишней щедростью судьбы ко мне, и так как я, по своим личным качествам, не мог считать себя достойным ее даров, у меня не нашлось другой опоры, кроме той, которая всегда, в продолжение всей моей жизни помогала мне, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Это — идея, которую я себе создал о моем искусстве и о роли писателя. В знак благодарности и дружбы, разрешите мне рассказать простыми словами, в чем она состоит.

Лично я не могу жить без моего искусства. Но я никогда не ставил его выше всего остального. Наоборот, искусство мне необходимо потому, что оно не отделяет меня от других и позволяет мне жить таким, каков я есть, на равной ноге со всеми. В моих глазах искусство не есть личное наслаждение — оно является средством для пробуждения чувств у возможно большего числа людей, давая им образ общих страданий и радостей. Вот почему искусство не требует от художника изоляции, оно приводит его к самой

смиренной и самой универсальной истине. Часто тот, кто избрал судьбу художника, сделал это потому, что считал себя отличным от других, но вскоре он поймет, что может питать свое искусство и свою отдельность от других людей лишь осознав свое сходство с ними. Художник себя выковывает в постоянных колебаниях между собой и другими, на полпути между красотой, без которой он не может обойтись, и общественностью, от которой он не может оторваться. Вот почему подлинные художники не презирают ничего. Они принуждают себя понимать, вместо того, чтобы судить. И если им приходится делать выбор в нашем мире, то они могут выбрать только то общество, где, по глубокому замечанию Ницше, царствовать будет не судья, а творец — будь-то интеллигент или рабочий.

Поэтому-то роль писателя неотделима от тяжкого долга. Сегодня, по существу, он не может служить тем, которые творят историю. Он служит тем, которые истории подчинены. В противном случае писатель остается одиноким и лишается своего искусства. Все армии тиранов, с их миллионами людей, не могут вывести его из этого одиночества, особенно же — если он согласен идти с ними в ногу. Но достаточно молчания одного неведомого заключенного, на другом конце света, чтобы вывести писателя из самоизгнания, по крайней мере всякий раз, когда среди привилегий свободы он вспомнит об этом молчании и даст ему прозвучать посредством своего искусства.

Никто из нас не велик достаточно для такого призвания. Но во всех жизненных положениях, неизвестный, или временно пользующийся известностью, скованный, или в данный момент имеющий возможность свободно высказываться, писатель может обрести чувство живой связи с общественностью, которое и оправдывает его. Это случится при том условии, если он примет на себя два обязательства, составляющие величие его призвания: служение истине и служение свободе. Потому что его призвание — объединить как можно большее число людей, и это призвание нельзя удовлетворить ложью и рабством, на которых произрастает одиночество — всюду, где они существуют. Каковы бы ни были наши личные слабости, высокое значение нашего призвания всегда будет корениться в двух трудновыполнимых обязательствах: в отказе лгать о том, что нам известно, и в сопротивлении угнетению.

В течение более двадцати лет безумия истории, потерянный, беспомощный, как все люди моих лет, в конвульсиях нашей эпохи, я находил поддержку в смутном ощущении, что писать сейчас — дело чести, потому что этот акт нас обязывает, и обязывает больше, чем только к писательству. Эта обязанность, — в частности для меня, такого, как я есть, с теми силами, которые мне даны, — вместе со всеми, переживающими то же историческое время, нести общие невзгоды и делить одни и те же надежды. Людям, родившимся в начале первой ми-

ровой войны и достигшим двадцати лет, когда установилась власть Гитлера и начались первые показательные процессы, этим людям пришлось завершить свое образование, встретившись лицом к лицу с Испанской войной, со второй мировой войной, с миром концлагерей, с Европой пыток и тюрем. Эти люди ныне должны растить своих детей и свое искусство, дать им созреть, в мире, которому угрожает термоядерное разрушение. Никто, мне кажется, не может ожидать от них оптимизма. Я даже иду так далеко, что думаю: не переставая бороться против тех, кто под гнетом отчаяния отстаивает право на бесчестие и бросается в современный нигилизм, мы должны понимать их ошибки. И, все же, большинство в моей стране и в Европе отвергло этот нигилизм в поисках устоев. Мы научились жить в катастрофическое время, жить для того, чтобы родиться вторично перед тем, как вступить в открытую борьбу с инстинктом смерти, действующим в нашей истории.

Вероятно, каждое поколение верит, что оно призвано переделывать мир. Но мое поколение знает, что оно мира не переделает. Однако, перед ним, быть может, стоит гораздо большая задача: она состоит в том, чтобы удерживать мир от самоуничтожения. Приняв в наследство от развращенной истории смесь из отживших революций, заблудившейся техники, мертвых богов и истощенных идеологий, при которых никчемная держава может все уничтожить, но никого не умеет убедить, и где разум опустился

до прислуживания ненависти и угнетению, — нашему поколению пришлось заново, на одних своих отрицаниях, построить внутри себя и вокруг себя хотя бы часть того, что составляет достоинство жизни и смерти. Лицом к лицу с миром, которому грозит распад и в котором великие инквизиторы угрожают установить навсегда господство смерти, наше поколение знает, что оно должно в неистовом беге против времени восстановить между нациями мир, который не был бы основан на рабстве, вновь примирить труд и культуру и совместными усилиями воссоздать Ковчег Завета. Нет уверенности в том, что это поколение сможет выполнить столь гигантское задание, но есть уверенность, что повсюду в мире оно уже приняло двойной вызов — истины и свободы — и при случае показало, что умеет отдавать свою жизнь без проклятий. Это поколение заслуживает признания и поощрения всюду, где оно находится, и, особенно, там, где оно жертвует собой. Во всяком случае, с вашего безусловного согласия, я хотел бы передать этому поколению ту честь, которая здесь оказывается мне.

В то же время, говоря о высоком звании писателя, я хотел бы поставить его самого на подобающее ему место: у него нет других заслуг, кроме тех, которые он делит со всеми своими товарищами по борьбе: легко уязвимый и упрямый, несправедливый и страстно преданный справедливости, он делает свое дело без ложной скромности, но и без гордыни, на глазах у всех, вечно раздираемый

болью и красотой. Он призван рождать из своей двоякой природы творения, которые он упорно пытается поднять выше разрушительных колебаний истории. Кто же может после этого ждать от него готовых решений, прекраснодушного морального кодекса? Истина таинственна, неуловима, ее нужно всегда заново завоевывать. Свобода опасна, тяжела, захватывающа.

Мы должны стремиться к этим двум целям с напряжением и решимостью, сознавая заранее, что можем ослабеть на долгом пути. И потому: какой писатель посмеет, не кривя душой, сделаться проповедником добродетели? Что касается меня, то я должен еще раз заявить, что я очень далек от этого. Я никогда не мог отказаться от солнечного света, от счастья сознавать себя живым, от свободы, в которой я вырос. Но хотя многие мои ошибки и недостатки и можно объяснить этой моей склонностью, она, несомненно, помогла мне лучше понять

мое ремесло и сейчас помогает мне стоять, не оглядываясь назад, плечо к плечу со всеми безмолвными людьми на свете, которые терпят удел, выпавший им, только потому, что помнят или переживают вновь мгновения свободного счастья.

Таким образом, сведя себя к тому, чем я в действительности являюсь, с моими границами, внутренним долгом, с моей трудной верой, я могу в заключение гораздо свободнее сказать вам о всей значительности и щедрости присужденного мне отличия, с большей свободой сказать, что я хотел бы принять его как дань, отдаваемую всем участникам в борьбе, всем тем, кто не получил никаких наград, но, наоборот, знал только страдания и преследования. Мне остается поблагодарить вас от всего сердца и, в знак личной признательности, повторить во всеуслышание все тот же давний обет верности, который молча дает про себя ежедневно подлинный художник.

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО И. ЧА.

***ДОКУМЕНТЫ
ВОСПОМИНАНИЯ***

Из переписки И. С. Шмелева с П. Б. Струве и К. И. Зайцевым

ПРИГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемые ниже фрагменты переписки И. С. Шмелева (1875—1950) с П. Б. Струве (1870—1944) и К. И. Зайцевым (ныне архимандрит Константин) распадаются хронологически на две группы. К первой группе принадлежат письма И. С. Шмелева к П. Б. Струве и К. И. Зайцеву, написанные в 1925—26 гг. и сохранившиеся в личном и редакторском архиве П. Б. Струве за эти годы. Архив этот хранился в Париже и избежал гибели, постигшей большую часть бумаг П. Б. Струве в Белграде уже во время второй мировой войны. Эти более ранние письма относятся к первым годам существования ежедневной парижской газеты «Возрождение», основанной А. О. Гукасовым, который пригласил П. Б. Струве быть ее редактором. Для этой цели П. Б. Струве весной 1925 г. переехал в Париж из Праги, где он занимался научно-преподавательской деятельностью, связанной с основным при содействии чехословацкого правительства Русским Юридическим Факультетом. Для того, чтобы принять предложение Гукасова, П. Б. Струве отказался от одновременно полученного им предложения профессуры в Софийском Университете. Редактирование им «Возрождения» продолжалось, однако, всего немногим более двух лет: в конце лета 1927 г. он был «уволен» Гукасовым и заменен Ю. Ф. Семеновым, под редакцией которого «Возрождение» просуществовало как ежедневная газета до 1936 г., после чего превратилось в газету еженедельную. Оно прекратило свое существование с вторжением немцев во Францию.

К участию в «Возрождении», которое мыслилось им как беспартийный, независимый, «либерально-консервативный» орган национальной мысли, П. Б. Струве привлек широкий круг сотрудников. За немногими исключениями, в «Возрождении» П. Б. Струве приняли участие все видные зарубежные русские писатели: И. А. Бунин, А. И. Куприн, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, Н. А. Тэффи, А. В. Амфитеатров, И. Д. Сургучев, А. А. Яблоновский и др. Среди приглашенных, но отказавшихся сотрудничать, был также Д. С. Мережковский. В интересном письме, сохранившемся в архиве П. Б. Струве, Мережковский, выражая сочувствие «либерально-консервативной» идее задуманной газеты, с сожалением отказывался от сотрудничества в ней, мотивируя это тем, что в числе ее сотрудников состоят В. В. Шульгин и И. А. Ильин. Длинный, принципиально мотивированный отказ от сотрудничества прислал П. Б. Струве и Н. А. Бердяев. Когда в 1927 году П. Б. Струве вынужден был покинуть созданное им «Возрождение», вслед за ним из газеты вышел целый ряд ее ближайших сотрудников, в том числе И. А. Бунин. И. С. Шмелев не был среди ушедших, но, продолжая сотрудничать в «Возрождении» и при новой редакции, он поддержал своим сотрудничеством и основанные П. Б. Струве на место «Возрождения» еженедельные газеты — сначала «Россию», потом «Россию и Славянство».

В первой группе печатаемых ниже писем мы находим пятнадцать писем и две открытки И. С. Шмелева, охватывающих почти ровно год — с 18 мая 1925 г. по 6 мая 1926 г. Из них одиннадцать адресованы П. Б. Струве, а остальные — К. И. Зайцеву, который был помощником редактора «Возрождения» и, часто заменяя П. Б. Струве во время его отлучек, поддерживал со многими сотрудниками тесную личную и эпистолярную связь. Первое письмо Шмелева, датированное 18 мая 1925 г., является ответом на приглашение сотрудничать в газете.

Вторая группа писем состоит из четырех писем П. Б. Струве к И. С. Шмелеву. Три из них написаны в 1935 г. в связи с намечавшейся поездкой И. С. в Югославию для литературных выступлений, а одно в 1939 г., уже после начала войны. Письма эти печатаются по фотокопиям, любезно присланным мне племянницей И. С. Шмелева, Ю. А. Кутыриной. Подлинники их хранятся в доме-музее Шмелева в Ванв, под Парижем. Письма И. С. Шмелева, относящиеся к этому периоду, по всей видимости пропали вместе с остальным архивом П. Б. Струве в Белграде. С другой стороны, ранние письма П. Б. Струве к И. С. Шмелеву тоже как будто не сохранились (или не были найдены) — мною печатаются здесь все письма П. Б., полученные от Ю. А. Кутыриной в ответ на мою просьбу.

Все печатаемые ниже письма представляют несомненный интерес для будущего биографа Шмелева и для изучающих его творчество. Письма 1925–26 гг. содержат интересные подробности литературной работы И. С. в Зарубежье, а также любопытные литературные высказывания — о Лескове, о Мельникове-Печерском, о Ремизове. Со свойственной ему напористой страстностью, И. С. высказывает в них также свои мысли о России, ее прошлом и будущем.

Если не считать того, что все письма печатаются по новой орфографии (которой до конца не признавали ни П. Б. Струве, ни И. С. Шмелев), нами воспроизводятся все особенности правописания и пунктуации подлинников. В прямые скобки взяты раскрытые нами части сокращенных слов, а также другие редакторские дополнения, в том числе даты сверху письма, если у автора они находятся в другом месте. Подчеркнутые автором места переданы жирным шрифтом. Неправильное написание И. С. Шмелевым некоторых иностранных имен оставлено без изменений.

ГЛЕБ СТРУВЕ

ПИСЬМА И. С. ШМЕЛЕВА К П. Б. СТРУВЕ И К. И. ЗАЙЦЕВУ

1.

18 мая 1925 г.

Villa „A l'alouette“
Capbreton (Landes)

Глубокоуважаемый
Петр Бернгардович,

Приветствую от всей души! И да будет газета Ваша — истинно Возрождением русского дела! Столько раздробил у нас и столько сил идет впустую (говорю о прессе). Верится, что Вам удастся многое сплотить, много сил привлечь в одно русло и сделать газету влиятельным органом национальных стремлений.

Благодарю за доверие Ваше. Посильно готов быть Вам полезным, буду стараться. Захватило меня врасплох письмо Ваше, ничего готового нет, был в длительной работе. Пришлю через недельку — к

27-28 мая статью-очерк. Что-то вертится, но еще не ухвачу. По всей вероятности что-то выйдет. Мож[ет] быть это будет ряд (2-3) очерков-бесед, связанных общим заглавием — «Сидя на берегу» (встречи и разговоры — о России и русском, родном, — и о прошлом). М[ожет] б[ыть] и подзаголовки будут — I, II, III с названием этюда. Сов[ершенно] самостоятельные, — не обязывающие продолжать. Попытаюсь...

Должен еще сказать, что к регулярной работе в газете не считаю себя способным, т[ем] б[олее] что начаты работы основные. Понимаю, что главное — служение великому делу русскому и как-то стыдно говорить о гонораре, заработке. Я и не говорю. Полагаю, что все наладится. Заплатите что можете. Правда, жить и работать теперь очень тяжело.

Горячо желаю успеха прочного, славного.

Горячо преданный Вам и посильно готовый быть полезным

Ив. Шмелев

2.

27 мая 1925

Capbreton, Landes

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Одновременно посылаю для «Возрождения» — кусочек, «Сидя на берегу». К дальнейшему, правда, он не обязывает меня перед читателем, — но он является как бы вступлением к чему-то. Я знаю — к чему. [И]*) я делаю это уже давно, и печатал «этюды» по газетам. В записях и в памяти есть много кусков, — они к[ак]-ниб[удь] свяжутся книгой (в параллель «Солнцу мертвых»). М[ожет] б[ыть] эта книга будет — «Солнцем живым» — это для меня, конечно. В прошлом у всех нас, в России, было много **живого** и подлинно светлого, что, б[ыть] м[ожет], навсегда утрачено. Но оно б[ыл] о. Животворящее, проявление Духа Жива, что, убитое, своею смертью воистину должно попрасть Смерть. Оно жило — и живет доньше — как росток в терне, ждет... Ну вот, кусочки, воспоминания, лица, души. Правда, эти кусочки еще ждут охвата, и я буду их понемножку вытаскивать из души, из памяти. Будут оживать — я их буду печатать между делом, которым занят давно и кот[орого] не могу кончить за скудостью обидной — и времени, и средств. Вот почему и дал необязывающее меня к дальнейшему «вступление».

Очень прошу, за невозможностью читать корректуру, (дальность) не откажите указать, чтобы не было допущено ошибок, — очень их боюсь.

Душевно преданный Вам и Вашему деланию святому

Ив. Шмелев

*) Здесь небольшой кусочек бумаги оторван.

21 июня 1925

Capbreton
(Landes)

Глубокоуважаемый и дорогой
Петр Бернгардович,

Сейчас читал и перечитал во второй раз ст[атью] Вашу «Вождь» — и не могу удержаться, не могу не написать Вам — как это верно, как это с в я т о верно, как это нужно-нужно! Воистину — это крик всего русского, лелеемый, Богу возносимый крик-молитва народа русского. Это — правда. Правда души, чуемая совестью и сердцем, и правда разума, все более становящаяся правдой бесспорной, математической. Я не экономист, не политик, не логик; я беру, — чувствую — внутренним чувством, я и по происхождению, и по навыкам первых — самых чутких — лет жизни всегда был как-то внутренне сроден с массой простых людей. И если во мне вот уже годы — вот уже 8 лет, с первых дней революции-смуты, болит все внутреннее, — я знаю, что эта боль моя — общая с болью (невидимой) народной. Я знаю: народ болеет именно — без Вождя, без средоточия своим неясным устремлениям, без оплота Правды. За жизнь в Крыму и Москве после Октября, в посещениях деревни, — я в глазах видел эту тоску-боль. Я ловил ее в словах коренного русского человека, здорового, крепкого, человека-строителя жизни, — не попросил зеленой, конечно. Все, что осталось здорового в России, из чего она будет делаться, что явится закваской (и из молодежи также) — все сказало бы именно то, что (если бы умело и имело возм[ожность]), что сказали Вы — так сильно, так правдиво, так смело — и так полновластно-будительно, — авторитетно. Эта статья — событие! Это — место — этап, с которого нам всем надо идти, как кто может. Вот чудесный пункт — объединения и отбора, отъединения.

Мне писать хочется. Когда-то, давно-давно, я скромно позволял себе, читая Вас, не соглашаться со многим. Я, либерально настроенный, я был, по плоти духовной, весь — в монархии, не в личной, т. е. не боготворил Александра или Николая, но суть — душа — идея монархии являлась для меня душой России. Правда, мне не выпало на долю мужества тогда говорить об этом и случая быть общественным акт[ивным] деятелем. Теперь я с свящ[енным] чувством-трепетом слушаю Вас и горжусь за родное, что оно имеет в Вас сильного, авторитетного борца. Слава Богу. Вокруг Вас должны сплотиться люди русские, лучшие люди русские, закваска русская, и великое тесто приметя отлично и высоко поднимется.

Простите, дорогой, просто хотел этими несвязными строками обнять Вас издалека.

Преданный Вам Ив. Шмелев

26 июня 1925

Capbreton (Landes)

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Посылаю при сем для «Возрождения» — Крестный ход, 2-ой этюд. Как Вы увидите — это, как бы, вступление или в х о д. 3-ий очерк будет — Золотая Книга и — начало рассказов о России живой, о ее Правде. Это будет моя попытка оправдания России. Она (Россия) в этом не нуждается, конечно, но надо ее показывать. То, что сказали Вы в В[ашей] статье о «царизме» — Вы говорили о России и Правде ее. Дело теперь специалистов в ряде статей — бросить в слепые или злые глаза, которые не хотят видеть. Материал громадный и благодарный. Мое дело — другое. Я дам (попытаюсь) ряд встреч, разговоров, картин — и попытаюсь искусства приемами показать. Я знаю, что меня относит в сторону от задуманного и начатого, но это же имеет и живую связь с ним. Я дам побитую Правду. Попробую. И один из ближ[айших] очерков — разбитое именье «буржуйское» (я буду давать правду). Я дам и чиновников, и мужиков, и рабочих, и интеллигентов. Я заставлю их говорить — в картинах. Но работа кропотливая, ответственная — и потому я буду все это делать медлительно. М[ожет] б[ыть] я и не выполню всего, но я буду выполнять. И очерки, раз для газеты — постараюсь делать цельными.

Столько фактов — удивит[ельного] хода и прогресса прежней России, и надо их бросать в глаза. Вы делаете — великое дело! Простите, я не ценитель, я только один из русских и читатель. Лепет бессвязный и увертливый Посл[едних] Нов[остей] на В[ашу] статью — бесстыдно жалок. Земства! Я их хорошо знаю. 8 лет работал я над земск[ими] сметами. Куда ни погляди — русс[кая] жизнь была истинно, органически народна, всенародна. Пусть подсчитают, сколько было мужиков в Унив[ерситетах], гимназиях, — везде! В 23 году Россия заканчивала план всеобщ[ей] грамотности!

Ваш Ив. Шмелев

[Приписка сверху письма]:

Очень прошу б[олее] тщательной корректуры: в прошл[ом] очерке, в сам[ом] конце — все исказивший пропуск «НЕ» и «он не уйдет со мною».

5.

13/VII 1925

[Capbreton]

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Вот уже с 9 числа не идет мне газета, д[олжно] б[ыть] с экспедицией что-то не вышло. Будьте добры, прикажите, чтобы выслали и дослали №№ с 9-го. Читаю с б[ольшим] удовольств[ием]. Дня через 3 вышлю след[ующий] очерк — «Золотая Книга», а дальше — «Совхоз Манино» (в двух очерках).

Гонорар за «Кр[естный] ход» не получил.

Преданный Вам Ив. Шмелев

6.

14 июля 1925

Capbreton s/mer
(Landes)

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Вот — Золотая книга, этюд оч[ень] коротенький, но в него я не мог вводить «от жизни» ни слова, чтобы не мешать с «варевом». Это — конец «вступлению». Дальше должны пойти очерки, встречи, картины побитой правды — жизни. — След[ующий] очерк, предполагаю — «Деревня», ж и з н ь. М[ожет] б[ыть] будет озаглавлено «Москва» (не знаю), затем «Манино» (совхоз, где и б[удет] дан «словарь») и м[ожет] б[ыть] еще будет — «Дорога» (раньше). Все вольется в свою форму. Газету почему-то не получаю с 9-го числа. Вообще, с корреспонденцией происходят у нас «чудеса»: стр[ашное] замедление, завалы. В librairie напр[имер], посл[еднее] время сплошь и рядом не могу поймать Echo de Paris (Говорят, в librairie: что не нравится — «запихивают»! или «заганивают» дальше!) а Humanite дост[авляется] оч[ень] аккуратно. Письма получаю часто на 5 день из Paris. . . Тоже и с Рус[ским] Врем[енем]. Но Посл[едние] Нов[ости] всегда точно. М[ожет] б[ыть] это все моя мнительность, а м[ожет] б[ыть] и чудеса Парижа. В наше время все возможно. Был бы очень благодарен, если бы все №№ Возрожд[ения] с 9-го июля удалось посмотреть.

С совершенным уважением

Ваш Ив. Шмелев

В ст[атье] С. Прокоп[овича] есть фраза: за время царского правления ничего не сделано для поднятия культ[уры] масс! Это же недомыслие, нарочитость, ложь!

7.

31/VII/1925

Capbreton s/mer
(Landes)

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Ради Бога, простите, — знаю, как Вы заняты, — и скажите слово, чтобы мне дослали газету — с 9-го июля не вижу, а здесь не продают. Импульса продолжать задуманные очерки — нет. Скажите, м[ожет] б[ыть] мои очерки неинтересны газете, — и я почту себя свободным. Читаю Милюкова, а Вас не могу, не вижу, — такая досада! Осчастливьте вниманием к

преданному Вам Ивану Шмелеву

8.

5 авг[уста] 1925

Capbreton s/mer

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

С стесненной душой посылаю очередной этюд — «Город-призрак». Посылаю, дабы быть чистым перед совестью своею: согласился работать — работой. Пищу в «Возрождении», ибо мне близки его пути. Не для заработка, понятно. Я вношу тем самым перебой в основную работу. И то, что я даю «Возр[ождению]» — я везде напечатаю и не за меньшее вознаграждение. У меня просят газеты, я отказываю, не могу дробиться. Но что же меня смущает? С 9-го июля я не получаю «Возр[ождения]» — и приходит сомнение: не нужна моя работа? Так сказали бы мне об этом! Я два письма писал, моя племянница дважды была у Вас, говорила с В[ашим] сыном, — и вот уже две недели, и не идет газета, и ответа не имею. Охота пропадает посылать.

Очень прошу Вас, разрешите мои сомнения, я всегда боюсь быть в тягость. Такой уж у меня мнительный характер.

Искренно уважающий Вас

Ив. Шмелев

P. S. Не имею и № с очерком — Золотая Книга.

9.

12 авг[уста] 1925

Capbreton s/mer
(Landes)Глубокоуважаемый
Петр Бернгардович,

Живу я далеко, не имею сведений, к кому помимо Вас обращаться по делам с «Возр[ождением]»; но от Вас я получил приглашение сотрудничать и потому писал Вам (потому и сейчас пишу), что с 9-го июля не получаю газеты, ни ответа на письма. Писал три раза (15 и 31 июля и 5 авг[уста]), продолжал посылать очерки. Наконец, по моей просьбе, моя племянница была у Вас, не могла Вас видеть и объяснялась с Глебом Петровичем, прося выяснить дело с посылкой газеты. Было это в конце июля, но до с[их] п[ор] ни газеты, ни ответа. Если бы я, как подписчик, послал в контору подп[исную] плату, мне бы газета шла, полагаю. Как сотрудник, я, оказывается, поставлен в худшие условия. Я теряюсь: да что такое? Что имеет против меня «Возрождение»? Я, наконец, чувствую себя связанным: как мне посылать газете, если ни на письма ответа, ни газеты, — будто я уже и не существую. Я внес перебой в свою текущую работу, начал ряд очерков именно для газеты, — и теперь все бросил. Такое отношение ко мне я чувствую положительно обидным, оскорбительным, ничем необъяснимым, и мне сдается — лучше заявить об отказе работать, чем пребывать в положении как бы несуществующего для редакции. Впервые за всю мою 20[-летнюю] работу это со мной случилось.

Примите уверение в совершенном моем уважении

Ив. Шмелев

10.

[30—XII—1925]

[Париж]

Дорогой Кирилл Осипович,

Очень рад принять участие в товарищеской беседе и встрече Нового Года. Сегодня издаю себя в замучивших меня невралгических болях, — отпустило.

Сердечный привет Вам и всей редакционной семье. Благодарю за приглашение.

Сердечно Ваш Ив. Шмелев

30 дек[абря] 1925

11.

18 янв[аря] 1926 г.

12, rue Chevert
Paris, 7^e

Дорогой Кирилл Осипович,

Податель этого письма — капитан Корниловского полка Александр Порфирьевич Кривошеев. Движимый горячим чувством к трудному положению соратников-инвалидов, он написал статью-призыв, — читать ее нельзя без волнения. Оригинально, искренно, сильно. Какой-то, сказал бы я, толстовский прием. Думаю, что эта статья должна произвести большое впечатление. Не откажите обратить внимание, горячо прошу Вас. Здесь — сердце, боль и — выход. Но Вы же сразу определите: Вы — чуткий, духовный человек. Странная вещь: этот милый капитан-воин имеет удивительное сердце — все от сердца. Есть у него еще — письмо к рабочим. И еще одно письмо призыв — другого офицера. Если можно, возьмите! Это крик души, познавшей многое.

Не откажите. Кривошеев — несомненно даровитый, почва. Если бы такие пополняли ряды редеющей интеллигенции!

Ваш сердечно Ив. Шмелев

12.

8 февр[аля] 1926 г.

12, rue Chevert
Paris VII^e

Дорогой Кирилл Иосифович,

Почти две недели прошли, как я обратился к Вам с предложением-просьбой дать место в «Возрожд[ении]» заметке о посещении меня Томасом Манном, о его беседе и проч. До сей поры заметки не появилось. Не откажите уведомить, что мешает ее появлению? Быть может, давая ее, я поставил редакцию в затруднение? Очень обяжете, выяснив мне то, чего я не имел в виду, и я, приняв это во внимание, извинюсь за беспокойство.

Давая заметку, я исходил из факта. Факт, по-моему, не безразличный для русской эмиграции, которую стараются **честить** там, всячески «исключать» (нежелат[ельная] часть) — здесь (представители левых течений). Факт визита одного из крупнейших германских писателей — русскому писателю-эмигранту. В частности, советская печать меня поносит, называет (как и некоторых брат[ьев]-писат[елей]) «бывшими», «покойниками» и т. п. Здешние левые и «демократ[ические]» органы также сводят счеты со мной, также помогают советским. Эта тихая травля ведется с той поры, когда я

здесь «определился». Литерат[урная] информация взяла за обыкновение (у левых) обо мне не упоминать или меня «обливать». Я знаю: есть скрытое стремление мешать читателю (новому) узнавать меня. Мое «Солнце мертвых» многим стало поперек горла. И если я борюсь со всем этим, я борюсь не за свое имя (я его уже имею и его никто не сотрет), а за достоинство писателя эмигранта, желающего писать так, к[а]к велит ему его дух и воля. Я борюсь против г. г., жаждущих выпрямлять писателя, то грозящих ему отлучением, то ласкающих за покорность. В частности, есть молчаливый уговор в лев[ом] стане — обо мне молчать. Меня переводят (и много), мои книги им[еют] успех, меня печатают в видных европ[ейских] органах (Figaro, Revue de Geneve, Vossische Zeitung, Mercure de France) — о сем ни слова. Мне присылают приветы Romain Rolland, Rujard Kipling, Gergardt Gaupmann (на эт[их] днях), Lo Gatto, Anders Osterling (швед[ская] акад[емия]) — ни слова. Мои книги переводятся и переиздаются в видн[ых] европ[ейских] изд[ания]х. Ни слова. Меня умышленно хоронят. Плевать мне. Но не плевать — моим читателям в России, к[от]оры[е] д[олжны] знать, что я жив, пишу, и мой голос слышен. Я говорю с легк[им] сердцем — я не нуждаюсь в трубах и рекламе. Моя реклама — мною написанное. Но когда меня хоронят, я хочу сказать громко: я еще жив. Я не хочу доставлять радость — врагам т а м и печаль друзьям — т а м. Всетаки наша пресса т у д а доходит. Вот почему я и просил о заметке. Печатают о борцах, о певцах, о кино-артистах, о чем угодно. Я полагал, что напечатать о привете мне от крупного европ[ейского] писателя — не пустое слово и для эмигр[ации] и для топтателей русской культуры. Но если редакция имеет основания не печатать, я прошу возвратить мне мою заметку. Поверьте, я из самых чистых побуждений пишу.

Душевно Ваш Ив. Шмелев

[Приписка сверху письма]:

В ближ[айшие] дни надеюсь прислать для Возр[ождения] рассказ на 2 фельетона, переписываю.

13.

11/II/1926 г.

12, rue Chevert
Paris, 7^e

Дорогой Кирилл Иосифович,

С большим интересом и громадным удовлетворением прочитал Вашу статью о Лескове. Очень верно! Вы взяли, на мой взгляд, самую «точку», самую главную сущность. Правда, Вы ее лишь наметили, но Вы пока другим и не задавались, понимаю. Этот светлый толчок важен. Лескова не знают, его перлы в грязной ракушке. И

умьшленно идут и ведут (шли и вели!) читателя неискушенного мимо этой «ракушки»: ну, это так, серый быт! А вот, поглядите, блеск-то европейский... — и указывают Видекинда, Гюисманса... Многие их знали больше. Помню, как один болван (или шулер) при мне в библиотеке стыдил одного студентика: Как, вы еще эту посконь (!) треплете. Да возьмите же Мирбо...

Но есть и еще чудесный и неоцененный писатель: Мельников-Печерский. Конечно, его нельзя ставить рядом с Лесковым, но... это самобыть, и яркая, и звонкая самобыть. «В лесах» его — наше. Это опыт русского эпоса. А Лесков, родственник Гоголю, часто поднимается вровень с ним и уходит вглубь — вровень. А язык его (я исключаю «коверканье» слов), чутье языка его — несравненно выше (да и понятно, он — недренный русский). И я не знаю солидной работы о языке Лескова. Это — россыпи неисследованные. И Вы делаете прекрасный почин: надо толкнуть молод[ых] словесников — в эту сторону. Его «слова» — (не словечки) — текучая лесовая и полевая вода, ж и в а я. Не канавочная (хоть и в русской траве), как это частенько у Ремизова — до оскомины!, не приукрашенная сомнительными радугами фотогена (и маслица), пусть даже и русской марки.

Душевно Ваш Ив. Шмелев

Р. С. При всем этом, я Ремизова люблю и ценю, когда он ненадоживает.

14.

3 марта 1926

12, rue Chevert
Paris VII^e

Глубокоуважаемый

Петр Бернгардович,

Сейчас, проверяя корректуру II-ой части «Тени дней», я узнал о Вашем категорическом распоряжении — разделить этюд на 2 части. Это я считаю невозможным: этюд гибнет. Я согласился на резку 1-ой части, но там было около 600 строк, больно было, но — что делать! А в этой части 360 строк — и она не терпит резки.

Прошу Вашего распоряжения: или пустить этюд целиком, или бросить его. Я хочу говорить читат[ельской] душе так, как велит мне мое чутье. 360 строк! Печатают и ббльшие рассказы. Почему же для моих «Теней» такое дробление?

Прошу Вас, отмените это распоряжение. Я в типографии заявил Л. И. Львову, что не могу отдать на резку мою работу. Заявил и К. О. Зайцеву и просил его. Я согласен, чтобы рассказ пошел в след[ующий] четверг, но в целом виде. От резки страдает «нерв»

рассказа. Это же не набор слов случайный, а искусство. Прошу Вас принять во внимание душу писателя. Я не гоняюсь за строками и даю раз в 2 месяца.

Очень прошу Вас принять к сердцу мои доводы.

Преданный Вам Ив. Шмелев

15.

Великая Суббота 1 мая (18 апр[еля]) 1926

Capbreton

Христос Воскресе,

дорогой Петр Бернгардович! Сердечно обнимаю Вас и целую, добрый христианин и славный русский человек!

Ив. Шмелев

16.

26 апр[еля] 1926

Capbreton
(Landes)

Дорогой Кирилл Иосифович,

Увы, не наслаждаюсь в Ландах, а болею, болею. И больным насилиу выбрался из Парижа, и здесь все то же. Не завидуйте. Моя болезнь — уже 14-ый год — невралгия или чорт в желудке и во всех паренхимах. А м[ожет] б[ыть] и хуже. Теперь обострилась, до изнеможения. Я было сложил оружие — жри! И погода поганая, и еще мышей появилось в моем коттедже, занимаюсь ловлей мышей. А тут надо бы в 8 мест дать! И письма, и билье-ду, и... И ничего не мог сделать. Лежу два часа, сижу $\frac{1}{2}$ ч[аса], крехчусь час и т. д. Ваше 1-ое письмо было мне переслано, но я сидел в подушках — и только глазами похлопал да пожевал воздух. Чуть отпустило — получил Ваш ехргès. Труба взбодрила старого коня, и я сел писать вчера, как получил. Даю эту д. Не судите строго. Он — все же — весенний. Из него должна бы вывернуться повесть. Будут «отпуска» — выйдет. Не будут — вот, кроки. И только вошел во вкус, как взяло под ребра, и я принял сразу два порошка яду, пропис[анного] милым Спирид[оном] Ник[олаевичем] Васильевым. Стало легче, и я смог переписать на машинке.

Шлю раг ехргès'ом. Очень прошу — не откажите сказать, чтобы была аккур[атная] корректура, и если можно, монотипный набор.

Сердечно жму Вашу руку. Не откажите передать свидетельство моего глубокого уважения Вашей матушке. И от жены — также.

О, если бы я имел теплую квартирнку под Парижем, я бы ни в какие Land'ы не ездил. И если выбьюсь из болей (а здорово я сдал, чую), осенью поселюсь где-нибудь в пригороде, ближе к людям. Да и болеть вдали от света (здесь одни французы и ветер) трудно.

Ваш сердечно Ив. Шмелев

Я прошу из гонорара отчислить (по конторе) в абонемент за 3 мес[яца], с 1 апр[еля] у меня кончился абон[емент], и я боюсь, как бы не прекратили высылку «Возр[ождения]», что уже было в прошлом году. Здесь я не могу достать Возр[ождение]. Не откажите, если это не трудно, распорядиться, чтобы мне выслали лишн[их] 3 №№ с рассказом, в мой счет. И. Ш.

17.

6 мая 1926 г.

Capbreton (Landes)

Дорогой Кирилл Иосифович,

Не откажите дать место прилагаемому обращению о помощи хроникам-инвалидам на Шипке. Одновременно посылаю во все парижские газеты.

Преданный Вам Ив. Шмелев

ПИСЬМА П. Б. СТРУВЕ К И. С. ШМЕЛЕВУ

1.

**Сребрничка
Белград 22.V.935**

Дорогой Иван Сергеевич!

Я надеюсь, что Вы в свое время получили мою открытку с изображением молодого Короля. Здесь устроили небольшой вечер, посвященный Вам. Я не мог присутствовать на нем, но мне передавали, что то, что говорил **Ляцкий**, было бессодержательно, а то, что говорил молодой **Прокофьев**, было хорошо, содержательно, продумано и прочувствовано.

Вы, вероятно, знаете, что дело о Вашем приезде в рамках Союза уже поднято, в связи с ознаменованием 10-летия существования Союза. На заседании Комиссии я очень решительно говорил в поль-

зу этого плана. Но очень желательно, чтобы Вы еще раз написали и А. И. Ксюнину, и мне специально о своем категорическом желании приехать этой осенью в Белград. Это полезно будет для того, чтобы наперед отрезать всякие разговоры о том, что Вы не желаете и не можете, будто бы, совершить такую большую поездку.

Ваше письмо, как я уже писал Вам, меня очень тронуло. Большое Вам спасибо на добром слове.

Моя семья и я шлем наши сердечные приветы Вам и Вашей супруге и наперед радуемся Вашему приезду.

Обнимаю Вас.

Душевно преданный Вам

Петр Струве

2.

Сребрничка 4
Белград 4.VI.935 г.

Дорогой и глубокоуважаемый

Иван Сергеевич!

Благодарю Вас за милое письмо от 30.V.

Когда я получил Ваше письмо, мне пришло в голову, что о Вашем возможном приезде в Белград надлежит написать Св. Патриарху Варнаве. Надумано — сделано! Посылаю Вам копию своего письма с приложением достоверного изложения слова, произнесенного Патриархом в Русской церкви (текст этот был в свое время послан в Париж: Е. К. Миллеру, Митр. Евлогию и А. В. Карташеву; в Прагу: кн. П. Д. Долгорукову, еп. Сергию и Н. А. Цурикову).

Вам, мне кажется, надлежит послать Патриарху все Ваши книги, представляющие религиозно-церковный интерес, по адресу:

A Sa Sainteté le Patriarche Serbe VARNAVA

Sremski Karlovzi

Yougoslavie

с препроводительным письмом и препроводительными надписями.

Н. А., мой сын и я шлем наши приветы О. А. и Вам. Очень желаем Вашего приезда.

Душевно Вам преданный

П. Струве

ПРИЛОЖЕНИЕ

Копия письма П. Б. Струве Патриарху Варнаве

Академик П. Б. СТРУВЕ

Сребрничка ул. 4
Београд.
4 июня 1935 г.

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО,
Глубокочтимый Владыко Патриарх!

Не могу удержаться от того, чтобы не сказать прежде всего Вашему Святейшеству, что Ваши проникновенные слова, произнесенные в русской церкви в Белграде и на проводах останков русских воинов, всем русским, как слышавшим эти слова, так и только о них узнавшим, доставили глубочайшее удовлетворение и великую радость. Отраднo было в наше скорбное время, исполненное таких искушений и лукавств, услышать мудро-любовное и твердое слово веры, утешения и ободрения Первоиерарха Сербской Церкви. Я счел своим долгом написать некоторым своим друзьям за границей о Ваших словах и о произведенном ими на здешних русских впечатлении и, по полученным мною откликам, я знаю, что и за границей русские люди восчувствовали весь смысл и все значение Вашей поддержки.

Позволяю себе обратить внимание Вашего Святейшества на следующее обстоятельство. По моим личным дружеским отношениям с замечательным и вдохновенным писателем нашим Иваном Сергеевичем Шмелевым мне стало известно, что он имеет намерение на время приехать в Югославию для публичных чтений. Иван Сергеевич Шмелев воистину является тем славным русским писателем, который своим художественным пером нелицемерно служит великому делу: блюдения лика Святой Православной Руси в умах и сердцах всех, кому доступна и мила свободная русская речь. И позвольте сказать Вам, Ваше Святейшество, что ничто не было бы так дорого Ивану Сергеевичу, как если бы Вы, Святейший Владыко Патриарх, тем или иным способом поощрили его приезд в Югославию. Я пишу это без уполномочия и без ведома моего друга Ивана Сергеевича, пишу не ради каких-либо внешних целей, а по внушению моей преданности тому же делу, которому служит Иван Сергеевич.

Прошу великодушно извинить меня в том, Ваше Святейшество, что я решил обратиться к Вам с настоящим письмом. Поверьте мне,

что меня на это подвинули, во первых, потребность выразить лично Вашему Святейшеству те глубокие чувства признательности, которыми сейчас полны многие и многие русские сердца, и, во вторых, глубокое убеждение, что приезд в Югославию такого русского писателя, как И. С. Шмелев, может послужить тому великому делу взаимного духовного просвещения и любовного общения двух братских и единоверных славянских народов, которое так мудро и твердо творите Вы, Святейший Владыко Патриарх.

Испрашивая Вашего Архипастырского благословения и Ваших святых молитв, остаюсь глубоко преданный Вам

Петр Струве

3.

**Сребрничка 4
Белград 12.VI.935**

Дорогой Иван Сергеевич!

После того, что я писал Вам последний раз (с приложением копии моего письма к Е[го] С[вятейшеству]), я говорил с В. Н. Штрэндтманом и заручился от него полной поддержкой. Сегодня я узнал, из источника, заслуживающего доверия, что здешняя т. н. Державная Комиссия даст на Ваш приезд сюда Дин. 4000. Из этого осведомления я вообще получил впечатление, что дело устроится в формах, для Вас приемлемых.

Привет Вашей супруге и Вам от Н. А. и от меня.

Душевно преданный Вам

П. Струве

4.

**7, Шаворска, 7
Белград 26. X. 939**

Дорогой Иван Сергеевич, почти тотчас по получении Вашего письма я был у А. И. Белича и изложил ему Ваши желания. Он поставил на Вашем прошении в Издательскую Комиссию свой griffe и я со своим письмом направил Ваше прошение **Дежурному Члену Державной Комиссии Евграфу Евграфовичу Ковалевскому**. Я бы советовал Вам по получении настоящего письма со ссылкой на него со своей стороны написать Евгр. Евгр., адресовав ему лично письмо так: **Mr E. Kovalevsky, Membre Présent de la Commission d'Etat**

**pour les Réfugiés Russes, Maison Russe Emp. Nicolas II, Rue Kralja Natalja.
Beograd, Yougoslavie.**

Письмо, конечно, нужно написать по русски.

Я был рад получить от Вас письмо. Всем, конечно, сейчас живется тяжело. О. Савве напишу о Вашей доброй памяти. В Ладомирове в продовольственном отношении живется плохо; картофеля и капусты, к[ото]рыми живет и питается братья, мало.

Нина Александровна благодарит за память и шлет привет. Поклонитесь от нас Кульманам.

Обнимаю Вас и желаю всего лучшего.

Душевно Вам преданный

Петр Струве

Неизданное письмо

П. И. Чайковского к Дезире Арто

ПРИГОТОВИЛА К ПЕЧАТИ Н. Б.

Печатаемое ниже неизвестное письмо П. И. Чайковского к певице Дезире Арто-Падилла предоставлено нашему альманаху Нью-Йоркским Обществом имени П. И. Чайковского (Tchaikovsky Foundation), которое называют иначе «Чайковским Фондом». Этот русский музыкальный архив был создан двумя американцами, любителями русской музыки, в частности классической, с целью собрать и сохранить все, что имеет отношение к русскому музыкальному искусству и к истории русской музыки, в особенности — до 1917 года. Общество возникло в 1945 году и, как сказано в его уставе, «ставит себе целью издание и распространение до-советской русской музыки, собирание материалов, документов и редких изданий, как книжных, так и нотных, чтобы сделать архив центром документации».

Первым долгом инициаторы этого дела собрали библиотеку, где можно найти все, что нужно тому, кто интересуется русской музыкой. Затем ими были переизданы все три балета Чайковского, рояльное переложение одноактной редакции «Лебединого озера» и «Гамлет-Увертюра». Они собрали большую библиографию русских композиторов, в частности, исключительно богатую коллекцию по Ребикову, первые издания русских опер (роскошный экземпляр вел. кн. Владимира Александровича «Руслана и Людмилы»), неизвестные письма русских композиторов (около десяти писем Чайковского, письма Львова, Ребикова, Рубинштейна и мн. др.). В коллекции имеется довольно много неизданной музыки, в том числе — Глинки. В своем роде этот русский музыкальный архив, вероятно, не имеет себе равного вне пределов Советского Союза.

В музыкальном мире США «Чайковский Фонд» хорошо известен. Видные композиторы, балетные постановщики и отдельные исполнители пользуются им. Но и до Советского Союза дошла его слава: Музей имени П. И. Чайковского в Клину вошел в связь с «Чайковским Фондом», завязалась переписка. Недавно вернувшись в Нью-Йорк американские журналисты, побывавшие в Клину, сообщили по радио, что куратор Музея имени Чайковского Ю. В. Давыдов (родной племянник Петра Ильича, сын его сестры Александры) сообщил им об установлении контакта с «Чайковским Фондом» в Нью-Йорке.

Одно из писем П. И. Чайковского, приобретенное недавно «Чайковским Фондом», представляет особый интерес: оно написано к бывшей «невесте» композитора, которую он встретил в Лейпциге в 1888 г., после двадцатилетней разлуки. За эти годы она вышла замуж за певца Падилла и стала одной из пер-

вых певиц Европы. В свое время, в 1868 году, Чайковский посвятил ей «Романс» (ор. 5), теперь он написал для нее серию романсов (ор. 65) — четыре на слова французского поэта Поля Колэна, один — на слова Тюркети, и один — на слова Бланшкотта. В связи с возобновившимся знакомством, между Чайковским и Дезире Арто завязалась переписка. Она продолжалась в течение 1888—1890 годов.

В книге «Дни и годы», представляющей собою биографическую канву жизни Чайковского, сообщено, что в Государственном литературном музее в Москве имеются четыре неопубликованных письма Чайковского к Арто. В сборнике «Переписка с Танеевым» (и другими) после этого были опубликованы три письма, — два из них, написанных Чайковским Дезире Арто в 1888 году, и одно — в 1890 году. Письмо, печатаемое ниже, относится к 1889 году и написано из с. Фроловского, где Чайковский в это время работал над «Спящей Красавицей». В примечании ко второму письму Чайковского к Арто, написанному 17/29 октября 1888 г., читаем*):

«Романсы Арто получила только в августе следующего года и тогда, 21 августа, писала Чайковскому...»

Как видно из печатаемого нами письма, Юргенсон не выслал Арто романсы, и Чайковский сам поспешил это сделать. Высланные 8-го августа (по нов. стилю), они дошли до нее в середине месяца, так что ее письмо от 21-го августа есть, несомненно, ответ на нами публикуемое письмо.

Арто приняла романсы с благодарностью, пела их часто и писала Чайковскому, что она «гордится» тем, что он создал их, думая о ней.

Добавим, что печатаемое нами письмо написано на восьмушке веленовой бумаги с водяным знаком: Royal Irish Linen, Marcus Ward & Co. Сверху изображена корона. Почерк торопливый, сделано несколько ошибок во французском правописании. Обилие восклицательных знаков характерно для писем композитора, особенно в минуты волнения и раздражения.

Н. Б.

*) «Чайковский и Танеев». Письма. Составитель и редактор В. А. Жданов. Госкультпросветиздат, 1951, стр. 374.

ПИСЬМО П. И. ЧАЙКОВСКОГО

27 Juillet

8 Aout

1889

Chère, bonne, très respectée Madame!

Je viens d'apprendre par Mme Mouromtzewa que Vous n'avez pas encore mes Lieder!!! J'en ai eu une insomnie et ne saurai Vous exprimer combien Mr. Jurgenson et sa manière d'agir me désespèrent. Et voila bientôt un quart de siècle que j'ai affaire à cet homme! Il est d'une distraction, d'un desordre unimaginable! Heureusement j'ai ici un exemplaire de l'édition allemande et je m'empresse de Vous l'envoyer en Vous suppliant de ne pas m'en vouloir! Je vous jure que ce n'est pas ma faute! Figurez Vous que l'édition russe depuis le moi de Septembre est toujours en train de paraître mais ne parait pas!!!! Mais il aurait pu depuis longtemps Vous envoyer des épreuves! Enfin tout est bien qui fini bien.

Chère Madame je Vous écrirai une autre fois pour vous raconter tout ce que j'ai fait depuis le moi de Fevrier 1889; maintenant je n'ai que le temps de Vous ecrire ces quelques lignes. Recevez chère Madame l'expression de mon respect et de mon affection inalterable!

Tout à Vous
P. Tschaikowsky

ПЕРЕВОД ПИСЬМА

27 июля / 8 августа 1889

Дорогой, добрый, многоуважаемый Друг мой!

Я только что узнал от г-жи Муромцевой, что Вы еще не получили мои романсы!!! У меня сделалась бессонница, я не могу Вам выразить, до чего меня приводит в отчаяние г. Юргенсон и его поведение. И подумать только, что скоро четверть века, как я имею с ним дело! Его рассеянность и беспорядочность невообразимы! К счастью у меня здесь имеется экземпляр немецкого издания и я спешу его Вам выслать, умоляя Вас не сердиться на меня! Клянусь Вам, что я не виноват! Представьте себе, что русское издание должно было выйти в сентябре, и до сих пор еще не вышло!!!! Он давным-давно мог выслать Вам корректуры! Итак, все хорошо, что хорошо кончается.

До свиданья, дорогой Друг, я напишу Вам в другой раз и расскажу все, что я делал начиная с февраля 1889 года; сейчас тороплюсь написать эти несколько строк. Примите уверение в неизменном к Вам уважении и преданности!

Весь Ваш
П. Чайковский.

***УЧАСТНИКИ
АЛЬМАНАХА***



В. А. Александрова

В. А. АЛЕКСАНДРОВА
(ШВАРЦ)

Родилась в Ковно. Училась на историко-филологическом факультете Высших Женских Курсов в Одессе, затем — в Москве. В 1922 г. вместе с мужем была выслана из Советского Союза. До 1933 г. жила в Берлине, сотрудничала в «Социалистическом вестнике», в немецкой и австрийской прессе. В 1933 переехала во Францию, где продолжала регулярное сотрудничество в «Социалистическом вестнике» и французском журнале «Мысль и Действие».

С 1940 г. живет в Нью-Йорке. Была (в 1951-56 г. г.) редактором Издательства имени Чехова.

О. Н. АНСТЕЙ

Родилась в 1912 г. в Киеве. Стихи начала писать в раннем детстве, но в СССР не печаталась. Выехала из СССР в 1943 г. С 1946 г. сотрудничает в большинстве зарубежных повременных изданий. В 1949 г. в Мюнхене вышла книжка ее стихов «Дверь в стене». Печатала также рассказы и статьи.

Н. Н. БЕРБЕРОВА

Печатается с 1922 г. Автор книг о композиторах Чайковском и Бородине, романов, рассказов, стихов. В 1948 г. — книга «Шесть повестей». В «Новом журнале» — роман «Мыс Бурь» (1950-51 г. г.). По-французски — книга «Александр Блок и его время».

С 1950 г. — в США.

В. К. ЗАВАЛИШИН

Родился в 1915 г. Окончил Техникум Печати и Ленинградский университет. Работал у академика Орлова. Автор очерков о художественных ремеслах в России и исследований по древнерусской литературе. Работал в Лентехфильме как сценарист. После

войны остался на Западе. Печатается в зарубежных изданиях. В Издательстве Прегера вышла его работа (на английском языке) «Ранние советские писатели».

Живет в США.

Проф. ЮРИЙ КЛАЙН

Работает на философском факультете Колумбийского университета в Нью-Йорке. Автор книги «Спиноза в советской философии». Переводчик двухтомной «Истории русской философии» В. Зеньковского на английский язык. Был в СССР в 1956 и 1957 г. г. Во время второй мировой войны был штурманом воздушного флота США и получил боевое отличие.

С. А. ЛЕВИЦКИЙ

Родился в 1909 г. в Либаве. Учился в Карловом университете в Праге (окончил в 1938 г.). Состоял лектором Русского Свободного Университета (там же). В 1945 г. бежал на Запад, с 1949 г. — в Америке.

Живет в Вашингтоне, преподает в Джорджтаунском университете. В 1948 г. вышла его книга «Основы органического мировоззрения».

В. Ф. МАРКОВ

Родился в Ленинграде, в 1920 г. В Ленинградском университете изучал западную литературу. Начал печататься в 1946 г. в Германии. Первая книга стихов: «Стихи», Регенсбург, 1947. Затем — «Американские новеллы», книга переводов, Регенсбург, 1948. В «Новом журнале» поместил поэму «Гурилевские романсы». В 1952 г. в Издательстве имени Чехова вышла под его редакцией антология послереволюционной поэзии «Приглушенные голоса».

Живет в Калифорнии.

Л. Д. РЖЕВСКИЙ

Родился в Москве в 1905 году. Окончил Московский университет, защитил диссертацию на ученую степень кандидата филологических наук. В Европе со времени второй мировой войны. Его работа «Язык и тоталитаризм» вышла в Издательстве мюнхенского Института по изучению СССР (1951 г.). В Издательстве имени Чехова издан его роман «Между двух звезд».

Живет в Скандинавии, читает лекции в одном из университетов.

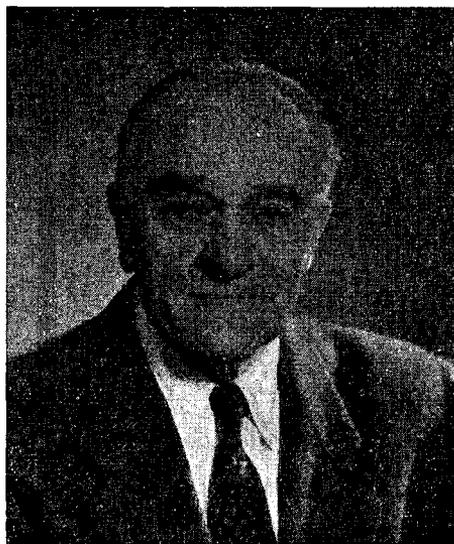


Б. А. Филиппов

Б. А. ФИЛИППОВ
(Г. ПЕТРОВ)

Родился в 1905 г. Окончил Ленинградский Восточный институт в 1928 г. и Ленинградский вечерний Институт промышленного строительства в 1933 г. На протяжении 1933-1935 г. г. — доцент истории архитектуры в том же институте (Главстройпрома). Был арестован органами ГПУ в 1927 и 1929 г. г. С 1936 по 1941 г. г. отбывал пятилетний срок заключения (по ст. 58-10 — антисоветская пропаганда) в Ухтопечорском (Ухто-Ижемском) лагере НКВД. В СССР, кроме книг и статей по архитектуре и организации строительных работ, изданы книга стихов (1924 г.) и повесть (1926 г.).

В эмиграции вышли книги: «Град Невидимый», стихи, Рига, 1944 г., «Юность», лирическая повесть, 1944 г., «Кресты и перекрестки», рассказы, Вашингтон, 1957 г. Под редакцией Б. Ф. и с его статьями и комментариями вышли в Издательстве имени Чехова в Нью-Йорке: К. Леонтьев «Египетский голубь. — Дитя души», 1954 г., Н. Клюев «Собрание сочинений» в 2 т. т., 1954 г. и — вместе с Г. П. Струве — О. Мандельштам «Собрание сочинений», 1955 г. В Издательстве «Посев» — Ф. М. Достоевский «Записки из подполья», 1946 г.



А. А. Шик

А. А. ШИК

Родился в Москве, окончил Московский университет. Революция прервала литературную и

адвокатскую работу. За границей вышли книги: Лукиан, «Диалоги гетер» (1918 г.), «Женатый Пушкин» (1936 г.), «Одесский Пушкин» (1938 г.), «Гоголь в Ницце» (1946 г.), «Денис Давыдов» (1951). По-французски — «Женитьба Пушкина» и «Жизнь Гоголя».

Живет в Париже.



Д. Н. ШУБ

Из России — в 1908 году. Автор книги о Ленине, вышедшей в 1948 году на английском языке и затем переведенной на 13 языков. Перевел «Мать» М. Горького на английский в 1913 г., а также и другие рассказы Горького. Постоянный сотрудник «Форвертса», «Нью Лидера» и др. американских и русских изданий.

В. И. Юрасов

В. И. ЮРАСОВ
(ЖАБИНСКИЙ)

С 1947 г. — «новый» эмигрант.
С 1951 г. — в США.

В 1951 г. в Издательстве имени Чехова вышел его роман «Враг народа», в 1952 г. (там же) «Василий Теркин после войны». По-английски (Колумбийский университет) — «Советская экономи-

Альманах «Мосты» находился уже в печати, когда разыгрались события, связанные с опубликованием романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и награждением автора нобелевской литературной премией.

В следующей книге альманаха будет дан подробный разбор романа и политических событий, сопутствовавших появлению этого выдающегося литературного произведения.

Будет освещен также весь творческий путь поэта и писателя.

Заметки о книгах

(БЕГЛЫЙ ОБЗОР)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Среди множества различных книг о Советском Союзе, главным образом написанных людьми, побывавшими там, выделяется не так давно вышедшая книга Джона Гюнтера «Внутри России сегодня». Книга, сразу же после ее выхода, стала пользоваться шумным успехом. Она переведена на многие языки. Во Франции она была принята несочувственно. Критика писала оскорбительные для Гюнтера вещи, говоря, что, видимо, он никогда не был в России. Гюнтер был в России четыре раза. Его хлесткая манера типичного американского журналиста с одной стороны привлекает к нему миллионы читателей «широких кругов», с другой — более строгие читатели не находят в ней серьезного подхода к серьезным вопросам, касающимся СССР.

*

Американец и поляк, встретившись в тюрьме в Польше, по выходе из тюрьмы написали совместно роман «Гневный Урожай». Герман Филд и Станислав Мирженский, оба живущие сейчас в США, вложили в этот роман свои общие переживания и впечатления.

*

Вышел новый роман популярной американской писательницы Эдны Фербер «Ледяной дворец». Действие происходит на Аляске.

В. А. Боткин, американец русского происхождения, автор многих книг по фольклору США, выпустил книгу «Сложи мою ношу» (история рабства в Америке, как она отразилась в народных песнях, стихах и преданиях).

*

Известный славист, проф. Р. О. Якобсон (Гарвардский университет), вместе со своими сотрудниками выпустил библиографический справочник «Сибирские народы и их языки».

*

Вышла книга Герберта Маркуза «Советский марксизм. Эволюция марксизма от Маркса до Сталина. Критический анализ».

*

Вышла в свет книга, в которой собраны высказывания о международном положении, составленная Чалмерсом Робертсом: «Можем ли мы встретить Россию на полпути?» В книге помещены речи и статьи президента Эйзенхауэра, Хрущева, Даллеса, Кеннана и др.

*

Э. Д. Саймонс, знаток советской ли-

тературы, выпустил книгу о трех советских писателях-прозаиках, Федине, Леонове и Шолохове, под названием «Русский роман и советская идеология». В книге разбирается творчество вышеназванных писателей и влияние на их романы современных идеологических факторов.

*

В скором времени выйдет в свет еще одна книга о Советском Союзе, «Разговор с Россией», принадлежащая перу бывшего американского пресс-атташе в Москве, Марвина Кальб. Кальб провел в СССР несколько лет и говорит по-русски.

*

Вышел объемистый том (283 страницы) проф. Томаса Виннера «Устное и письменное искусство Казахстана в Центральной Азии». Виннер — один из самых крупных специалистов США по казахскому фольклору.

*

Ввиду успеха книги Милована Джиласа «Новый класс», изд-во Прегера выпустило его раннюю книгу (автобиографию) «Страна без справедливости» — о детстве автора в Черногории и начале его карьеры в югославской коммунистической партии.

*

Величайшее археологическое открытие нашего века, свитки, найденные у берегов Мертвого моря, продолжают стоять в центре интереса не только историков и археологов, но и широкой публики западного мира. Среди многочисленных работ, как специальных, так и популярных, (среди которых наибольшей славой пользуется книга Эдмунда Вильсона «Свитки Мертвого моря»), выделяется работа изльского профессора Миллара Борроуза, который посвятил последние десять лет изучению манускриптов,

найденных близ Кимрана. Сейчас проф. Борроуз выпустил второй том своего исследования «Новое в вопросе свитков Мертвого моря». Книга состоит из описания результатов того, что было сделано за последнее время учеными, занятыми расшифрованием свитков. Вопрос о личности «Учителя Справедливости» находится на пути к полному разрешению; вопрос о близости найденных манускриптов и Библейских текстов также. Большое место в книге занимают переводы свитков, которые были сделаны в последние годы. Полный перевод свитков появится не ранее, чем через десять лет, ввиду большого их числа.

АНГЛИЯ

В Англии недавно вышла книга, имевшая громадный успех и переведенная на многие языки: «Третий глаз». Автор ее, тибетский лама Лобзанг Рампа, мистик и провидец, рассказывает о своем «религиозном опыте». Первые подозрения, что книга — фальсификация и плод фантазии, появились после опубликования немецкого перевода в Германии. Сейчас автор разоблачен: это англичанин Хоскинск, ничего общего с Тибетом не имеющий. Однако, несмотря на разоблачение, тираж книги не упал и многие читатели, как в Англии, так и во Франции, продолжают считать, что книга им приносит «духовное утешение».

*

В Англии существует группа молодых прозаиков (и драматургов), начавшая писать после второй мировой войны. Эту группу прозвали «Сердитые молодые люди». К ним принадлежит, между прочим, и Осборн, пьесы которого идут с большим успехом в театрах Европы и Америки. Сейчас к этой группе начинают примыкать молодые писатели и в других странах. Так, например, в США к ним можно причислить Донливи, автора романа «Человек из имбиря». Английская

критика так характеризует основные черты этой группы: «Сердитые молодые люди, немного бунтовщики, они дерзки, слегка аморальны, не слишком строгих правил в смысле поведения, довольно многоречивы, но всегда талантливы.»

*

Вышел второй том работы А. Л. Розе «Черчилли». Это — история рода сэра Винстона Черчилля. Первый том был доведен до смерти герцога Марльборо (1722 г.). Второй кончается биографией Винстона Черчилля.

*

Вышла книга сына Зигмунда Фрейда, Мартина Фрейда, «Человек и отец». Небольшая книжка рассказывает о жизни Фрейда в семье и охватывает период, главным образом, до 1920 года.

*

Опубликованы письма Елизаветы и Роберта Броунинг к брату Елизаветы — Джорджу. Близкая дружба связывала всех троих. Письма охватывают период с 1838 по 1889 гг.

*

Известный английский писатель Пристли выпустил книгу эссе «Мысли в пустыне». Книга посвящена современности и ее проблемам.

СКАНДИНАВИЯ

Тор Хейердаль, автор нашумевшей несколько лет тому назад книги «Контики», закончил новый труд — «Аку-Аку». Эта книга — результат его пребывания на о. Пасхи, где Хейердаль долго жил и сблизился с местными жителями, которые открыли ему тайну громадных, высеченных из камня фигур, уже давно бывших загадкой для путешественников и ученых. Жители о. Пасхи очень доверяли скандинавскому писателю и считали,

что его хранит особый дух, Аку-Аку, вселившийся в него и подаривший ему особую мудрость. Тайну каменных фигур Хейердаль теперь раскрывает в своей книге.

ФРАНЦИЯ

Ромэн Гари (русский по происхождению) — один из наиболее известных французских писателей, начавший печататься после второй мировой войны, — выпустил книгу «Корни неба». Книга пользуется большим успехом и переведена на многие языки.

*

Пять пьес Жоржа Ануиля вышли в свет в одном томе. Ануиль считается сейчас ведущим драматургом Франции, пьесы его ставятся во всем мире. Том содержит «Антигону», «Эвридику», «Горностая», «Репетицию» и «Ромео и Жаннету».

*

Вышла новая книга Андре Мальро о Гойя — «Сатурн».

*

Среди многочисленных книг о положении Северной Африки и арабского мира французская критика отмечает книгу Жака Бенуа-Мешен «Судьба арабов».

*

Вышел новый роман французского писателя Эрвэ Базэна «Племя женщин». Базэн, в свое время лауреат Гонкуровской премии, с первой книги стал наиболее видным представителем «нового» поколения французских романистов. Роман написан на тему любви падчерицы и отчима.

*

Во Франции выходят в последнее время в большом количестве произве-

дения русских писателей во французских переводах. Отметим три различных издания «Братьев Карамазовых», «Семейную хронику» С. Т. Аксакова в переводе Сильвии Люно, издание «Тараса Бульбы» с иллюстрациями художника Дана Солохова, а также том повестей Б. Пастернака, Ф. Гладкова и собрание поэзии и прозы В. Маяковского (1913-1930). Продолжает выходить во французском переводе полное собрание сочинений А. П. Чехова.

*

Вышла еще одна биография Достоевского на французском языке:

«Страстная жизнь Достоевского». Автор — Тассос Атанассиадис.

*

По-французски вышла книга Александра Шульгина — «История и жизнь».

*

В прошлом году во Франции было начато изданием полное собрание сочинений Пушкина. Сейчас вышел 3-й том, содержащий переписку, критические статьи и мелочи (перевод Андре Мейниэ).

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
ОТ РЕДАКЦИИ	5
<i>ПОЭЗИЯ — ПРОЗА</i>	9
БОРИС ПАСТЕРНАК: Уезд в тылу (два отрывка из главы романа)	11
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ: Три стихотворения	21
ВЛАДИМИР ЮРАСОВ: Страх (четыре главы из романа)	24
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА: Три стихотворения	68
Л. РЖЕВСКИЙ: Подюжины талантов (рассказ)	71
Н. БЕРБЕРОВА: Памяти Шлимана (рассказ)	88
О. АНСТЕЙ: Три стихотворения	107
В. ЧЕНЦОВ: На хуторе (рассказ)	110
Н. НАРОКОВ: Таня (глава из романа)	115
<i>ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО</i>	131
Н. ОТРАДИН: Долгий разговор	133
ВЛАДИМИР ЖАБИНСКИЙ: На литературном фронте	152
ВЛАДИМИР МАРКОВ: О большой форме	174
Н. БЕРБЕРОВА: По поводу статьи В. Маркова «О большой форме»	179
В. АЛЕКСАНДРОВА: Константин Паустовский	181
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВ: Кандидат былых столетий, полководец новых лет (поэзия Н. Заболоцкого)	193
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ: Четыре стихотворения	223
ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН: Фантаст, не покидавший родины (Александр Грин)	228
Д. ШУБ: Максим Горький и коммунистическая диктатура	239
АЛЕКСАНДР ШИК: Юность Никоши (из книги «Безрадостная жизнь Гоголя»)	253
В. ЖАБИНСКИЙ: Фальсификация или фольклор?	266

ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА	271
ПРОФ. ЮРИЙ КЛАЙН: Материалистическая философия и современная наука	273
СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ: Н. А. Бердяев — философ трагической свободы	287
Е. ЮРЬЕВСКИЙ: 75-летие со дня смерти К. Маркса	305
Н. ОСИПОВ: Кривое зеркало	317
ФЕДОР АРНОЛЬД: На развалинах диктатуры (<i>очерки духовной жизни Германии</i>)	335
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	367
МАРЕК ГЛАСКО: Мысик, или все переменилось (<i>рассказ</i>)	369
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ: Собака-поводырь (<i>рассказ</i>)	376
ОЛЬДУС ГЭКСЛИ: «Обыкновенно разрушено»	381
ВИЛЬЯМ ФОЛКНЕР: Речь, произнесенная при получении нобелевской премии в 1949 году	390
АЛЬБЕР КАМЮ: Речь, произнесенная при получении нобелевской премии в 1957 году	392
ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ	397
ГЛЕБ СТРУВЕ: Из переписки И. С. Шмелева с П. Б. Струве и К. И. Зайцевым	399
Н. Б.: Неизданное письмо П. И. Чайковского к Дезире Арто	416
УЧАСТНИКИ АЛЬМАНАХА	419
ЗАМЕТКИ О КНИГАХ	425

« М О С Т Ы »
А Л Ь М А Н А Х
ИЗ-ВО ЦОПЭ
MUENCHEN 2
GAIGLSTR. 25
G E R M A N Y